Цена 90 коп.

Индекс 73293

«Октябрь», 1988, № 5, 1—208.

ОКТЯБРЬ 5 1988

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

5

1988



ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

5

1988

МАЙ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Георгий ПРЯХИН

Прощание славянки

РОМАН

1

Нет, не только сейчас, задним числом, в самолете, а еще раньше, сразу он понял, что все это произошло по его вине. Почувствовал. Почуял. Враз захолонувшим нутром, шкурой, прилипшими к полу пятками. Он и испугался-то в первую очередь своей вины. Собственно говоря, у него еще накануне, с вечера, было ощущение, что добром это не кончится. Он лежал тогда, не раздеваясь, в спальне на кровати, изо всех сил стараясь удержать свою помаленьку стухающую злость на том достаточно энергичном уровне, когда легче верить (уверить себя), что ты, безусловно, прав и что гнев твой, безусловно, праведный. Чего только не летело в костер! — обрывки старых споров, обид, предположения (управляемые, на длинной и все-таки крепко намотанной на руку вожже), что жизнь не удалась, что вечная его поденка никем в доме не ценится и даже не замечается, что...

И все-таки пламя спадало, когда через захлопнутую дверь он услышал, что жена прошла в комнату к теще и, плача, стала допытываться:

— Ты что, обещала ему к вечеру капусты потушить?

— Да нет, — недоуменно, медленно отвечала та.

— Как же нет! Он говорит, что обещала, — продолжала жена запальчиво. — Скандал мне на кухне устроил. Не кормят его, видите ли. Переработал! Бутылку швырнул, мне стеклом ногу порезало. Вон, смотри, кровит...

Вот тогда-то он и почувствовал неладное.

Пусть бы она что-то ответила, пусть бы тоже закричала (чего он, честно говоря, и представить не мог — чтобы теща кричала), пускай бы, наконец, заплакала.

Только бы не молчала.

Он это молчание не то что слышал, чувствовал, осязал. Оно затягивалось, и он погружался в него, как в холодную осеннюю воду: так ему становилось неуютно и тоскливо. И хоть лежал он по-прежнему при полном параде, кожа от соприкосновения с этим сопредельным молчанием стала пупырчатой, гусиной. Мальчишеской. Не дядя — 182 на 82 — лежал наискосок кровати, а нашкодивший пацан.

«Зачем она?» — уже не с раздражением, а с неприятным для себя удивлением думал он о жене.

Это было впервые — что жена на него кому-то жаловалась...

Теща молчала.

Он не лежал на кровати — он был придавлен к ней, потому что уже тогда почувствовал, как на него, на его дом надвигается, наваливается беда.

2

Вспомни Муртагина...

Азат Шарипович Муртагин.

Подполковник Муртагин.

Чингисхан!

Почему Чингисхан? Вспомнил?

Он был невысокий, в меру плотный той не очень твердой, податливой, выспевшей плотностью, что нередко первой обличает людей восточной крови. Ее даже можно назвать не плотностью, а полнотой, если бы не исходящее от нее ощущение, предчувствие скрытой и скрытной силы, пружины, упрятанной в недрах этой мякоти. Немного сутулился, голова на короткой шее почти всегда опущена. Он и ходил, глядючи не по сторонам, а неизменно себе под ноги. То ли настолько занятый своими мыслями, то ли в такой степени осторожный, корректирующий каждый свой шаг.

Шаг у Муртагина неспешный, мягкий, кошачий. Во что бы ни был обут, всегда кажется, будто он скользит по полу в сафьяновых «черевиках» с заломленными носами. Муртагин имеет способность неслышно и неожиданно вырастать у человека за спиной. Даже ваша обычно скрипучая, как немазаное тележное колесо, дверь к нему нечувствительна. Раскрывается мягко, беззвучно, оглянешься — на пороге подполковник Муртагин. Ты первое время вскакивал при его появлении. Обдергивал гимнастерку, вытягивался во фрунт:

— Здравия желаю, товарищ подполковник!

Правда, это продолжалось недолго. На второй или третий день в ответ на этот заздравный спич Муртагин, поморщившись, сказал:

— Успокойтесь, товарищ сержант.

С тех пор вы здоровались за руку. К тому же однажды на твое теперь уже спокойное, почти цивильное «товарищ подполковник» он ответил, что его зовут Азат Шарипович. И назвал тебя по имени. Но это у вас не прижилось. Ты его по-прежнему за редким-редким исключением (когда вы не на людях, когда вы, например, за полночь сидели над каким-либо докладом: он в своем кабинете, а ты в общей комнате со скрипучей дверью, он писал, а тебе приносил готовые странички перепечатать — машинистка Валя давно отпущена — и, если что не так, поправить: «Я же человек нерусский») называл «товарищем подполковником». Он это принимал и больше тебя за редким-редким исключением «Сергеем» не погонял. В понятие «если не так» входят, между прочим, не только орфография и синтаксис: принеся иной раз очередную страничку, Муртагин требовал прочесть ее при нем, и, стоя у тебя над душой и даже заглядывая в нее своими темными, лишенными блеска и оттого как бы впитывающими все вокруг глазами, вроде бы шутливо спрашивал: а что думают на сей счет товарищи сержанты? а товарищи рядовые? — когда еще переводил тебя на службу в политотдел, он первым требованием ставил знать мнение рядовых. У вас с ним установилась дистанция — вытянутой руки.

Кстати, все в вашей общей политотдельской комнате здоровались с ним за руку. Вот майор Ковач — старший инструктор по оргпартработе. Маленький, крепкий, открытое лицо, светлые, с проседью волосы, отброшенные назад. Вот кто любил здороваться! Рука короткая, короткопалая, всегда тщательно вымытая и крепко, до скрипа вытертая простым, солдатским вафельным полотенцем. Рука довольно сильная, поленообразная, и, как многие небольшие, но коренастые (он и сам поленообразный — чурбачок) люди, он любил этой силой козырнуть. Насладиться. И здоровался так: еще только завидя вас, еще только идя навстречу, уже широко отставляет правую руку, а сойдясь, с улыбкой, с довольным смешком всаживает свою ладонь (это уже не полено, это уже клин!) в вашу. И удовлетворенно хакает: «Хха!»

Дровосек.

Если ваша ладонь улетит при этом выше вашего носа и если вы потом будете долго трясти свои слипшиеся, онемевшие пальцы и дуть на них, как на горячие сосиски, майор Ковач отечески утешит вас: «Годен к нестроевой!»

Майор Ковач все делал с удовольствием. С азартом. Он жил, аппетитно поедая эту жизнь. С удовольствием отчитывал молоденьких ротных замполитов (вот на кого ты смотрел с большим интересом, когда они, особенно новички, появлялись в нашей комнате, где им предстояло пройти, как сыновьям Тараса Бульбы, испытание батькиной силой, — а каждого нового человека майор Ковач подвергал особо строгому освидетельствованию — рукопожатием — на предмет годности или негодности к нестроевой). С удовольствием сидел над своими отчетами, каждый раз напевая при этом одно и то же: «А где мне взять такую песню?..»

Больше всех майор Ковач любил здороваться с тобой: рука у тебя была когда-то подходящая. Большая, тяжелая, фамильная. От тесного общения с лопатой ладонь сама стала похожей на лопату. Майор Ковач с удовольствием здоровался с нею. Это не то что игрушечная ладошка капитана Купрейчика, инструктора по культмассовой работе. Завидя майора Ковача, капитан Купрейчик начинал жалобно морщиться. Такое впечатление, что капитан иной раз не прочь был улизнуть, разминуться с напористым майором, но маневрировать в узком штабном коридоре или тем более в вашей общей политотдельской комнате невозможно. Таран неизбежен!

Штаб у вас сборно-щитовой, временный, походный. Самое капитальное в нем — два основательных, мордастеньких часовых из комендантского взвода, стоящих у входа со старомодными карабинами у правого носка.

Стоило вспомнить штаб, как тут же в памяти выплывает и капитан Откаленко, твой тогдашний непосредственный начальник. Великолепная грудная клетка на великолепном торсе, и тот, в свою очередь, — на замечательных ногах. Длинные, стройные, мускулистые. Пособие по ногам. Когда капитан Откаленко заступал дежурным по части и приходил на развод в перетянутой ремнями «пэша» и в хромовых сапогах, то на него любо-дорого было посмотреть. Особенно на сапоги. Отчим у тебя был сапожником, и ты не раз видел, как, стачав голенища, он жестоко распяливал их на деревянном брусе — даже клинья загонял, чтоб растянуть побольше! — обильно смазывал ваксой, начищал, надраивал до глубокого, кажется, изнутри изливающегося лоска и так оставлял распятые голенища на несколько суток, чтоб они приобрели форму.

На лацкане капитан носил значок мастера спорта СССР. Когда-то играл в именитой футбольной команде.

Если подполковник Муртагин скользит, то капитан Откаленко выступает. Вальяжно, капризно, переставляя замечательные ноги, как переставляет их почтительно ведомый под уздцы какой-нибудь знаменитый иноходец на дорогом аукционе.

Между прочим, командир строительной части подполковник Каретников, под началом которого ты прослужил строителем, секретарем комитета комсомола части, до перевода в политотдел, всех заслуживающих того отчитывал одной фразой: «Надо работать, а не изображать конский топот за кулисами!»

Семнадцати лет, в сорок третьем, пришедший добровольцем на фронт, подполковник Каретников, видно, давно не был в театре. Не знает, что сейчас не только конский топот, но и нежный вздох изображают фонограммой.

Единственное, что подкачало у капитана Откаленко, — это волосы: голова уже лысовата. Короткая стрижка, и надо лбом жиденький мысок. А так все на уровне: лоб, крупный нос, маленький рот. Рот обычно плотно, по-мужски сжат, а кажется, будто играет на этих сухих губах этакая капризно-снисходительная усмешка. Она не покидает губы капитана Откаленко даже тогда, когда его, не дай бог, отчитывает подполковник Муртагин. Очень тихо, немногословно, но внятно. Снисходительная усмешка как бы означает: говори, мол, говори, а я-то знаю...

Хотя губы плотно, до побеления сжаты.

Высоко несет свою улыбку капитан Откаленко. И как бы там ни пыжился майор Ковач, встретив его утром в коридоре или в кабинете, капитан просто подает ему, не глядя, вялую большую руку, что хочешь с ней, то и делай. Вяло подает, как внаем сдает. А что с нею сделаешь: рука хоть и безвольная, а неподъемна. Энтузиазм, пыл пропадают, когда вот так ее подают, и майор тушуется. Тискает ее, сановную, на бегу, смущенно — вот и все здоровканье!

Энтузиазм требует ответного интереса. Тепла. Вот почему майору Ковачу больше нравится здороваться с тобой. И вообще с рядовым и сержантским составом. Рядовой и сержантский состав охотно поддерживает его чудачество. Потрафляет ему. Майор общителен, легко вступает в разговор, у него масса знакомцев во всех частях. Когда вы с Откаленко проводите совещание секретарей комитетов комсомола частей, а проходят

они обычно в зале на втором этаже, каждый из них считает своим долгом на минутку спуститься вниз, забежать в общую политотдельскую комнату: поздороваться с майором Ковачем.

Поскольку части военно-строительные, то секретари комитетов комсомола не офицеры, а сержанты. Даже к самому скучному совещанию сержант относится иначе, чем офицер. Для него это в любом случае возможность отвлечься от будничных дел, увольнительная на целый день: многие секретари добираются в городок из дальних, глухих мест, которые на военном языке именуются скупо и исчерпывающе — «точка».

«Точка» — это казармы да лес. Со временем, возможно, возникнет что-то еще, но тогда уже строителей здесь не будет. Казармы на «точках» такие же, как и штаб. Сборно-щитовые. Стенки тонкие, легкие, можно сказать, утлые. Горят, как стращают новобранцев старшины, две минуты...

Временные. Кочевые. Вечный поход.

Если совещание уже само по себе знаменует известное разнообразие в жизни сержантов, то рукопожатие майора Ковача — неофициальную часть. Концерт после совещания. Хотя, надо заметить, концерт вполне искренний. В нем много энтузиазма и тепла — с обеих сторон.

Майора любили. Дверь в комнату не закрывалась, и капитан Откаленко, помощник начальника политотдела по комсомольской работе, снисходительно взирал на шествие этой народной любви.

Пожалуй, майору Ковачу хотелось подчас столь же решительно поздороваться и с подполковником Муртагиным. Но не решался. Робел. Причины тут совсем не те, что в случае с капитаном Откаленко. И начальственным положением Муртагина они тоже не исчерпываются. Муртагин расположен к майору. Хотя понять его расположение или нерасположение к человеку трудно: так он ровен со всеми. Скажем, все догадывались, что к капитану Откаленко он не расположен, но тем учтивее ведет себя с ним, отчитывает очень редко. Другим, пожалуй, перепадает чаще.

Стоило Муртагину выйти за дверь, как все его укоризны, только в значительно умноженном числе и весе, капитан Откаленко тут же переадресовывал тебе, своему инструктору. Перепасовывал.

Что касается отношений Ковача и подполковника, то Муртагин, конечно же, знал о его чудноватой манере. И руку ему, вполне возможно, подавал не без некоего лукавства в своих смородинно-темных татарских глазах. Подполковник Муртагин, даже будучи расположен к человеку, не располагал к панибратству. Не любил эффектов. В том числе эффектов чинопочитания или, наоборот, «свойскости».

Майор пожимал ему руку и сразу брался за дело.

Глаза у Муртагина чаще всего опущены вниз. А кто еще ходит, опустивши глаза долу? Пахари — за нескончаемой своей бороздой...

3

Его детство отравлено страхом: мать жила с отчимом, Василием Степановичем Колодяжным, обходительным, даже вкрадчивым человеком в трезвости, но страшно преображавшимся с первой же каплей вина: побелевшее, помертвевшее лицо его косоротило слепой звериной яростью, он бешено — так воют и рвутся юзом пошедшие траки — скрипел мелкими крошившимися зубами и матерился запредельным, задыхавшимся от мгновенно взятой высоты, от разреженности леденящим кровь речитативом.

Отчим — человек пришлый, нездешний и по происхождению — откуда-то прямо с войны, — и по своей сапожной, беспривязной профессии. И мат его тоже был нездешним. Пугающе изощренным, темным, как чужая молитва. Его ругань была редкостной не только в словах — свои, деревенские мужики «самовыражались» многоэтажнее, но все равно их доморощенный мат никого особенно не пугал. Они и перебрехивались-то лениво, для порядка, чтоб не забыть. Отчим же не был пустобрехом. Его ругань была изощрена в злости, в ней и мата как такового не было — одна злость. Ведь и молитву молитвою делают не сами по себе «божественные» слова — у деревенских мужиков они присутствовали в полном раскладе, — а страсть. Страсть — вот что роднит мольбу и проклятье.

Ругательства отчима были темны, непонятны, но от них стыла в жилах кровь, как от выхваченного посреди заурядной, бескровной, «свойской» драки финского ножа.

Для других родительский дом на всю жизнь остается самой надежной защитой. Для Сергея же он был самым уязвимым местом на земле. Солнечное сплетение. Он и сейчас ему снится таким — средоточием боли, опасности и любви. Сколько раз, отчаявшись унять, утешить, улестить мужа — такие робкие попытки вызывали новый взрыв бешенства, — мать подхватывала свой малолетний выводок и на ночь глядя пускалась огородами вон со двора.

Помните картинку: сестрица Аленушка с братцем Иванушкой бегут от грозы. Какой-то мосток, обнявшие Аленушкину шею детские ручонки, повернутая к нам, озаренная молнией простоволосая голова. Мать была старше Аленушки, да и не так хороша: доярки смолоду, «смаличку», выглядят старше своих лет. И, кроме детских ручонок, пугливо обвивавших ее шею, еще две пары ладошек цеплялись за грубую диагоналевую юбку. И не гроза бушевала за ними...

Хотя почему не гроза? В хате все крушилось, трещала под топором последняя мебель, окна озарялись изнутри сполохами ослепительно-лютого мата. Когда они утром рано-рано, чтоб тоже их поменьше видели (напрасная предосторожность — в селе каждый знал, что Настю «гоняют»), подходили к хате, отчим, напевая что-то под нос, мирно бродил вокруг нее, вымеряя сантиметром выбитые стекла: ничей дом в селе не стеклился так часто, как Настин.

Ночевать они бегали по чужим углам. Мать даже к родственникам на ночлег не просилась, а все больше по товаркам мыкалась. Стеснялась родственников. Постучится в чужое окно: пустите, мол, люди добрые. Люди выйдут, глянут: а как не пустишь, если за матерью — еще трое? Пустят их в комнату, к столу пригласят, а мать непременно и от ужина откажется, и вообще всеми силами старается занимать со своим выводком как можно меньше места. Отсутствовать. Сидит где-нибудь в темном углу, дожидаясь, пока кинут им на всех пару фуфаек да соломы на подстилку, обхватит руками троих своих сыновей, чтоб не шебуршили, — а они, словно понимая, играют молча, отъединенно, автономно, не смешиваясь с хозяйской детворой, — и отсутствует. Наблюдает из своей темноты за ярким кругом чужого семейного стола. Чужого счастья. Как семья, ведомая главой, покойно ужинает, как заботливо колготятся вокруг него, главы, вечерние хозяйкины руки, — много чего виделось ей из чужих углов. Виделась и собственная ее незадавшаяся бабья доля...

Такой она ему и запомнилась — Аленушкой. Гонимой. Может, и впрямь по репродукции, что висела у них в простенке, — а в каком сельском доме не было в те годы этой репродукции: то она бежит, то над тем же мостком сидит да слезу точит. Всего две ипостаси. Из другой же, счастливой жизни Аленушки репродукций почему-то не было. Что касается Серегиной матери, то тут счастливого эпилога вообще не последовало. Драма завершилась в первом действии. Может, потому еще она и запомнилась ему Аленушкой, с е с т р и ц е й, что старухой он мать не увидел. Она умерла молодой. Он же у нее был старшим, потому и немудрено, что осталась она в его памяти, в его жизни матерью-сестрицей...

Молва о «выступлениях» отчима достигла младшего Настиного брата, проживавшего в другом районе, и тот однажды нагрянул к сестре — проучить дорогого зятя. Отчим как раз, опять натворив бед, отлеживался в кровати (слава богу, железная, сечению не поддавалась), приходил в себя. Брат матери был и моложе отчима, и мощнее. Отчим уже выходил из золотой мужской поры, ехал с ярмарки: его уже потихоньку гнуло и выпаривало. Так вроде еще больше закостеневший, зажелезившийся, с топором к нему не подступись, а вот на излом, да если еще через колено, да с замечательным словом, с которым не то что человека — черта своротить сподручно, так и окажется, что гнуться не гнется, а вот ломаться — ломается. Еще как! Ибо никакого железа, оказывается, там, внутри, и нет — так, труха. Черная, изъязвленная старыми ранениями кость.

Дядька же только входил в золотую мужскую пору — да и от природы ему отпущено было больше: в любую дверь ему приходилось входить, побычьи пригибая низкий, заросший светлым волосом, безрогий (как будто их ему только что спилили, чтоб не «брухался» и два свежих спила зудят, чешутся, так и подмывает попробовать ими на прочность все, что встречается на пути) лоб. Не просто моложе, а лет на двадцать моложе

отчима был Серегин дядька, недавний артиллерист на острове Шикотан, а теперь замечательный комбайнер, только что вернувшийся с уборки урожая на целинных и залежных землях, ехавший через саму Москву и привезший с целины свернутый в трубочку почетный диплом и справку на пять тонн хлеба, которые он намеревался «перегнать» в муку, а муку продать на базаре и «перегнать» в автомобиль «Москвич-408» — последнее слово тогдашнего отечественного легкового автомобилестроения. Неосуществленная мечта — дядька всю жизнь слишком легко верил начальственным справкам.

...Дядька остановился над кроватью с невесть откуда взявшейся заводной ручкой и хрипло сказал, чтобы родственничек, такой-растакой, поднимался: надо выйти во двор поговорить.

Тишина установилась в хате. В этой тишине явственней извивались сквозняки, в разбитые окна засекало нудной осенней мжичкой. И разор очевиднее, оголеннее. Жили они и без того бедно, а тут еще этот погром — что есть горше порубленной, поруганной бедности?

Мать брата не видела, она в сарае доила корову. В хате был один Сергей: мать, возвращаясь с ночлега в чужой хате, прошла сразу к Ночке, а он, стараясь не смотреть на отчима, не видеть его и самому быть невидимым, проволок братьев мимо кровати, мимо него в переднюю комнату и там уложил их досыпать.

Дядькин голос — Сергей тоже не видел, как тот прошел в хату, не знал, что дядька приехал, что он здесь, рядом, — застал Сергея в передней комнатенке, и он уже кинулся к двери: дядьку Сергей любил, скучал о нем, а теперь вдвойне обрадовался его приезду. Но последовавшая затем тишина отбросила Сергея в глубь комнаты, к кровати, и прижала его там, распластала над безмятежным сном братьев. Тишина пала, как снег, все собою забелив, окрасив, убив.

— Я тебя в гробу выдою! — прозвучало в ответ в этой тишине.

Жутко прозвучало.

И долгий зубовный скрежет — как будто бы его, дядьку, этими мелкими, злыми, как у хорька, зубами перемалывают. В доме у них была, осталась от черных дней такая крупорушка, состоящая из двух маленьких каменных жерновов — один, тяжелый, неподвижный, и другой, полегче, с железной отполированной ручкой: хватаешься за нее обеими руками и крутишь, подсыпая внутрь круга в продолбленный «колодец» просо или кукурузу. Если жернова пойдут один по другому вхолостую, из-под них, обжигая, искры летят.

Дядька растерялся.

Ругательства опять же не было, так, чушь собачья. Химера. Но нас и пугают-то больше всего химеры. То, что невозможно представить, что не приснится даже в дурном сне. Химера, с лихвой обеспеченная самой реальной, неподдельной, иссушающей ненавистью. Слова могли быть и другими, слов вообще могло не быть — одно это вырывающееся змеиное шипение. Шип. Единство слова и жала. Жала и яда.

Дядька остолбенел.

Через приоткрытую дверь Сергею был виден только отчим. Сразу заострившийся нос, побелевшие скулы с желваками, неплотно прикрытые глаза — он сам-то лежал в кровати, как в гробу! Напрягшийся, бледный, ушедший теменем в подушку. Затравленный.

Сергей не видел дядьку и в глубине души даже обрадовался этому. Ему было обидно: дядька только сопел растерянно. Хотя был не робкого десятка, и, пожалуй, еще минуту-другую — и отчиму несдобровать. Но в самом зените паузы, выигранной отчимом, в хате появилась мать. Вошла в фуфайке с чуть подвернутыми, до лоска зализанными теленком рукавами, с подойником в руке — подоила корову и направлялась к сепаратору. Еще в сенях увидела и брата, и мужа, поняла, что происходит, оставила ведро, кинулась к брату, обняла его, обвила, заворковала: когда же это приехал, как прошел, что она не увидела! Да и немудрено, что не увидела, в сарае возилась, у коровы, молочка сейчас парного попьем, завтрак сготовим. Как я о тебе, братка, соскучилась, а тебе, Василь Степаныч, — короткий, быстрый взгляд на отчима — тоже хватит вылеживаться, вставать надо да бежать к Нюрке-продавщице, попросить по такому случаю бутылочку беленькой, окаянной.

Василь Степанович вскочил — он принял игру моментально, тем более что речь зашла о бутылке. С дядькой было труднее: тот все крутил головой в поисках ускользнувшей препоны, бодал пустоту. Стянув с него шапку, поднявшись на цыпочки, мать долго, осторожно гладила эту все тише и тише бодавшуюся голову...

«Окаянная», — одно только слово и вырвалось, да и то почти лишенное и гнева, и жалобы.

То был еще не самый страшный день. Самым страшным, если не считать дня, когда матери не стало, когда она умерла от тяжелой, стремительно развившейся болезни, был день другой.

Начало лета. Он с братьями ходил в лесополосу за тутовником и абрикосами. Места у них степные, даже пустынные, скудные. Никаких грибов, ягод, орехов. Единственное, что можно с о б р а т ь, — это то, что растет в лесополосах, высаженных когда-то путем всеобщей повинности в рамках великого плана преобразования природы и разделявших совхозные поля на просторные четкие соты. Соты, в которых наливались, зрели, если не истреблялись суховеями, хлеба. А что в лесополосах? — тутовник, яблони-дички, абрикосы... Абрикосы! — кто-то дерзнул посадить их в этих гиблых местах (может, просто другого посадочного материала не было), и какой же отрадой были они для детворы! Родили скупо — в полном соответствии со всем, что родилось в этой степи. Чтобы «набрать» или просто полакомиться, они прочесывали многие километры продольных и поперечных лесных полос.

Поперечные обильнее, может, потому, что стоят п о п е р е к весенних талых вод. Абрикосов было мало. Они не доспевали, не додерживались до зрелости. Сохранялись, как правило, лишь на самых верхушках, поближе к солнцу, подальше от досужих глаз. Их надо было сперва высмотреть, а потом еще и добраться до них, в кровь обдираясь о колючие ветви и сучья. Они были д о б ы ч е й, эти абрикосы. И какой! — крупные, плоские, вроде как пришлепнутые с боков — так мать пришлепывала на клеенке или на дощечке только что слепленные пирожки (косточка внутри абрикоса тоже была сплюснутая, как облизанная волной галечка на речном берегу). Развернешь ладонь — и вполовину твоей ладошки светится, сочится сладким ароматом желтый, с красными подпалинами, с примятыми в результате твоего охотничьего усердия краями плод. Звезда, добытая с неба!

Порубленные в войну (топором войны) сады возрождались в селе трудно, медленно, спустя десятилетия, и посадочный материал для них давали лесополосы. В первую очередь — абрикосы. Они приходили из степи и становились под окнами.

Вспомните картину Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Вытянувшийся в струнку, в д е р е в ц е, мальчик в белой полотняной рубахе. Так и саженцы вытягивались по весне, облитые молочно-розовым цветом, внимая под окнами какому-то своему видению. А летом, случалось, погибали. Изъятые из-под спасительной сени старших собратьев, не выдерживали здешних засух, суховеев. Вода во дворах была привозная или приносная, за несколько километров, из артезиана, стоявшего посреди села, и никому даже в голову не приходило расходовать ее на полив этих «сумнительных» жильцов на белом свете. И тогда на место погибших заступали другие. Такие же тонюсенькие, молчаливые, сумнительные, зябнущие под бесконечными осенними дождями. И — такие же внимательные. Упрямые. Пока село наконец не зазеленело, не закурчавилось в голой и горькой степной балке.

Знаменательно, что сей хрупкий, молитвенно замерший отрок Варфоломей — не кто иной, как будущий несгибаемый Сергий Радонежский.

С о б р а т ь можно было лишь то, что росло в лесополосе. Все, что росло в поле, можно было только украсть.

Доспевать абрикосам почти не удавалось. Детвора «обносила» их загодя. Она не выдерживала этого томительного ожидания: лето над степью струилось медленно, отстойно, балка с селом на дне превращалась в неподвижный прозрачный омут. С апреля по октябрь — лето. Сильнее нетерпения подгонял детвору в лесополосы азарт: вдруг абрикосы оборвет кто-то другой. Кто кого опередит! Их можно есть и уже начавшими зреть, бурелыми, и даже совсем зелеными, горькими, когда они только набирают-

ся мякоти,—ее и мякотью-то не назовешь: такая она жесткая, грубая—когда в них зарождается косточка. Затем наступает пора, когда абрикосы становятся кислыми, приятно кислыми, вяжущими. Их тогда не едят, а грызут. Прямо с крупной, еще не затвердевшей, белой, молочной косточкой и с молочным, только-только народившимся ядрышком, заключенным, как жемчужина, в этих живых податливых створках.

В это самое время абрикосы, как правило, и «обносили». Надо уловить этот момент: раньше—невкусно, позже—поздно.

Сергей знал эту пору и теперь возвращался из лесополосы с добычей. День уже переломился, сгорел. Молодой, упругий зной зачинающегося, восходящего лета сменился теплым и долгим тлением, столь характерным для здешних июньских вечеров. Тихо, просторно: горизонт очистился от марева, от продуктов сгорания, оседавших на нем, когда день пылал в полную силу, в бешеную, до самого солнца, высоту, с прекрасной тягой, с цикадным гудом, свирельно отдававшимся в ушах. Горизонт как будто протерли—как мать по весне моет, протирает окна,—и мир сразу раздвинулся, раскрылся и на какое-то время примолк. Исчез, растаял в бесконечности цикадный звон жары, пропали, стушевались перед этим внезапно открывшимся необоримым простором дневные звуки, а вечерние, донные, глубокие, полноводные, вторые, еще не решались выступить вперед. Странный, удивительный миг прозрения и немоты. Мир словно накренился: можно заглянуть далеко-далеко, даже за горизонт, за борт—и онемел. Замычит, собираясь домой, затосковав по дому, по оставшемуся там теленку, чья-то первая, самая нетерпеливая корова в стаде. Густой, протяжный, тоскующий мык низко-низко понесется, заполощется над степью—и конец немоте, заколдованности. Сразу как прорвется все: собачий лай, переклик соседей, тарахтенье моторов: в степи приступает к работе вторая смена. А там уже как-то разом, словно от одной спички, и звезды вспыхнут.

Сергей тащился с братьями по степи. Младший сидел у него на горбу, средний держался за руку. Они медленно, притомленно двигались по колено в этой спекшейся предвечерней тишине, одни в необъятном, как бы расступившемся вокруг них пространстве. Впереди уже возникло село, и даже их улица уже отслоилась, выделилась из массы домов, когда Сергей заметил, что навстречу им, размахивая руками, кто-то бежит. Поняв, что его увидели, заметили, человек, мальчик—то был Митька Литвин, сын многодетных соседей Литвинов, которым на улице дали смешное прозвище: «Гасу нэма?»—так часто мать их, мать-кормилица, тощая, черная, сгоревшая в заботах, ходила по соседям занимать керосин: «Гасу нэма?»—закричал:

— Вашу мамку Колодяжный зарезал!

Крик низко-низко несся над степью, и, казалось, даже травы, вспугнутые им, зашелестели, заструились, прогибаясь под этой ношей. Все очнулось, зашевелилось, зашептало испуганно, залопотало. Не с коровьего мычанья, не с чьей-то перебранки—сумерки начались с этого истошного крика. Сергей сначала остановился. Замер. Невольно оглянулся вокруг: вдруг это не им кричат, вдруг—чудо: следом идет кто-то еще. Степь до горизонта и за горизонтом была безжалостно пуста: только они да бежавший навстречу, припадая в траву, размахивая руками, Митька Литвин.

— Вашу мамку зарезали! Вашу мамку зарезали!

Первым опомнился самый маленький. Прямо над ухом у Сергея раздался пронзительный вопль. И без того звеняще высокий, он—толчками—все набирал и набирал высоту, уходя в бездну, в которой вот-вот должны были засветиться первые звезды. Младшего брата будто бы самого резали. Сергей однажды видел, как резали новорожденного ягненка. Ягненок был каракулевый, и его определили на шапку. Самые первосортные шапки—из ягнят. «Курпейчатые»,—говорят о них. Овцы, когда их режут, совершенно безгласны, покорны: лежат, заломив, словно для удобства режущих, шеи, заведя потускневшие глаза. А ягнята—блеют. Еще не могут смириться. Мужик, стоя на коленях, опустил нож, и из-под его рук взлетел, выпорхнул вместе с цевкою горячей крови, забился, затухая и серебряно кувыркаясь в вышине, изумленный, протестующий, неизвестно куда, за какие пределы пытающийся вырваться крик. Стон. Плач. Песнь...

Так и у брата. Слов не было в его крике. Со словами у него вообще было еще туго. Увереннее других он знал слово «мама». Его, судя по всему, и понял. Его, судя по всему, и кричал:

— А-а-а-а-а-а!—лезвийно вскинулось, встало, засветилось надо всем вокруг. Как молния. Только обычная молния бьет с небес в землю, эта же вонзилась с земли в небеса.

— А-а-а-а-а!

Руки брата разнялись, он поехал по Серегиной спине вниз и свалился в траву. Сергей его не удерживал. Для него это был сигнал к действию: вместе с братом с него свалилось объявшее его, сковавшее оцепенение. Бросил бидон, доверху забитый абрикосами—они мягко раскатились по траве,—и побежал навстречу Митьке. С размаху налетел, схватил его, оробевшего, за грудки, затряс что было сил, хрипло, отрывисто повторяя:

— Что ты мелешь, гад?

Митька года на два младше Сергея, они были закадычными друзьями.

Когда-то, в тридцатые, в их селе была комендатура: сюда со всей округи собирали раскулаченных—из тех, кто помельче, пожиже, кто Соловков вроде бы не заслуживал, хотя село их с его вечными засухами, пылью, безжалостными ветрами—летом они реяли над степью, как исчадья далеких пожаров, зимою же со свистом несли над нею скупой, разъедающий кожу снег—было не слаще Соловков. Соловки местного значения—в плодородном и в общем-то благодатном крае это было едва ли не единственное гиблое, изгойное место. Лишай, порча на здоровой, цветущей шерстке ставропольских степей, где жизнеспособность, плодовитость иссякает здесь, на юго-востоке, под опаляющим дыханием великих закаспийских пустынь.

Во времена комендатуры село, видимо, было поделено на «сектора»—для удобства управления. В нем и сейчас сохранился длинный кирпичный барак. Здесь когда-то и располагалась собственно комендатура с ее чужой, казенной «частью», а теперь как бы по традиции жил разный пришлый люд, не имевший своего дома, угла. Барак был поделен, буквально посечен на соты (с прорубленным для каждой отдельным ходом)—«квартиры», но тем не менее его до сих пор называли не домом, не общежитием, а комендатурой. Люд обитал там чужеродный, перекати-поле, и барак по названию—чужеродный.

Во времена комендатуры, опять же, наверное, для простоты управления, село потеряло свое название. Его тоже заменили цифрой. Десятое. Было Николо-Александровское, стало—Десятое. Цифра припечаталась крепко, въелась, как тавро. Комендатуры давным-давно нет, а село так и зовут: «Десятое да Десятое». «А, десятские». «Мы—десятские»...

Сергей и Митька были самые что ни на есть десятские, ибо сама принадлежность к Десятому предполагала почти пырейную живучесть, вечную трудоспособность—оба были в своих семьях старшими сыновьями и просто не помнили себя в совершенном безделье: их многочисленные заботы подрастали быстрее их самих.

Способность «держать» удары, причем не только метафизические... Способность к возрождению. Тоже, можно сказать, как у повилики или пырея. Ты их с корнем, с корнем, а дождик брызнул—глядишь: опять полезло упрямое семя. Зазеленело. В земле, казалось, и корешка не осталось — один дух. Дух и зазеленел...

— Ты что мелешь, гад?

Еще чуть-чуть—и он вытряхнул бы из Митьки душу. Но Митька не сопротивлялся и не кричал. Он терпеливо ждал. Он знал, что надо терпеливо ждать, пока человек придет в себя. Только белобрысая голова его с закрутившимся, как у барашка на лбу, чубчиком жалобно болталась.

— Она у нас дома, беги,—выдохнул он, улучив наконец момент.

Сергей и сам понял, что Митька говорил чистую правду. По Митькиному лицу. Оно было необычно бледное, испуганное. Жалкое. Как сорванный одуванчик, мелькнуло почему-то в голове.

Сергей отпустил Митьку и, не разбирая дороги, побежал в село. В горле пересохло, ноги подгибались, были как ватные, сердце колотилось так, что казалось—его слышно на всю степь. Страшные, одна страшней

другой, картины возникали перед глазами. Мать лежит, запрокинув, как овца, голову, и на шее у нее зияет закипающая черной пеной рана. Мать-то уж точно бы не кричала. Мать у них — овца.

Сергей вбежал во двор Литвинов. Двор, обычно такой многолюдный, многоголосый, был пуст. Сергей пересек его, на мгновение задержался на порожках — может, все это сон, может, и Митьки не было, и крика его, вести, прошелестевшей, как змея, по степи?

Когда видишь, как ползет змея, всегда кажется, что это сон. Трава зловеще раздвигается, в ней остается влажный след, и ты, еще только завидев, как бесшумно, словно там, в глубине ее, вовсе и не ползет, а течет, раскрывается, приоткрывается эта доселе плотная и однородная травяная масса, как эта раскрывшаяся, раскроившаяся, темно-зеленая, влажно, нутряно зеленая ранка приближается к тебе, ты, еще не встретившись взглядом с лишенными век глазами гадюки, на мгновение замираешь: сон?

Сергей толкнул дверь.

В хате было полно народу. Все многочисленные Литвины и их соседи образовали плотный, гомонящий, испуганно суетящийся круг, но, увидев Сергея, замолчали, расступились, чтобы через минуту еще сильнее запричитать и засуетиться.

В центре разорвавшегося круга, поддерживаемая Литвинкой, сидела на табуретке Серегина мать. В лице ни кровинки, когда-то густые, а теперь поредевшие, порыжевшие, потускневшие косицы развились и жалко топорщились по бокам. Она обернулась к Сергею, взглянула на него померкшими глазами. Глаза у нее были маленькие, простенькие, глубоко упрятанные. Светлые-светлые, с едва угадывавшейся, словно со дна, сквозящей голубизной. Как два теплых, робко посвечивающих из укромной глубины голубиных яичка. Сейчас они были необычно темны. Она увидела сына, и вместе с радостью в глазах, во всем ее облике обозначилось чувство вины: столько людей, шум, столько хлопот — теперь вот и он, Сергей, будет втянут в этот гам вокруг нее. Сам же Сергей в первый миг и не понял, что почувствовал, когда увидел мать, сидящую на табуретке. Точнее, чего больше было в его ощущениях — радости, что мать, слава богу, жива, пусть хотя бы пока жива, или жалости. Он увидел ее как-то всю сразу: и эти бедные, пожухлые, потемневшие на концах, будто их вымачивали, кудельки, и эти глаза, и эту виновность... И его сердце, доселе больно, гулко громыхавшее под самым горлом, как обернули тряпкой. Удары его стали глуше, мягче, оно потеряло молодую упругость, набухло, набралось непрозрачной влаги, соку, вмиг перезрело, минуя столько еще не прожитых лет. То была жалость, жаль, острая, горячая, как слеза, и захлебнувшееся ею сердце деревянной колодезной бадьей ринулось вниз. Он заплакал.

На коленях у матери стоял таз с керосином. Она держала в тазу ладони. И без того красноватый, цвета легкой ржавчины, керосин окрашивался лениво поднимавшимися снизу, со дна, малиновыми, багровыми языками. Кровью. Когда Сергей заплакал, мать пошевелила рукой, попыталась поднять ее, забыв, что руки в керосине, неосознанно, привычно хотела погладить его по голове, но Литвинка молча мягко удержала ее руку в тазу. Мать только пошевелила пальцами, а со дна таза сразу поднялся, вспучился, словно извергнулся под керосином алый лоснящийся сгусток.

— Ты чего плачешь, сынок? Не плачь, все хорошо, — сказала, выпела она странным, неожиданно чистым, девичьим, не своим голосом.

Она была еще в шоке, еще не пришла в себя.

Так же, как со дна таза от ее ладоней тяжело поднималась кровь, точно так со дна ее светлых глаз всплывала боль.

Оказывается, пьяный Колодяжный накинулся на нее с ножом. Она выскочила во двор, он догнал ее. Все хотел дотянуться ей до горла, она пыталась урезонить его, обезумевшего, хваталась в горячке за нож руками, и Колодяжный ее рук не жалел. А ножи в домах у сапожников, у мастеровых всегда острые, как жала.

Она еще долго потом ходила с забинтованными руками, носила их перед собой, нянчила, баюкала. Первое время не могла ни в доме прибрать, ни по хозяйству управиться. Ходила неприкаянно по комнатам, по

двору, извелась, почернела, как Литвинка, не столько от боли, сколько от этой своей беспомощности. Ненужности. Ее лишили рук, и она сразу всю себя почувствовала лишнею. Потому что руки в ней были главными. Деятельными, ласковыми, связующими с окружающим ее миром. С детьми. С коровой Ночкой. Со всем-всем вокруг.

В те дни Сергей научился женской работе. Научился доить корову: мать стояла рядом, подсказывала, разговаривала с коровой, поглаживала ее наглухо забинтованной, страждущей и оттого еще более чуткой рукой. Сам искренне напуганный случившимся, юлил перед нею Колодяжный. «Настенька, Настюшечка, Настюрочка...» — знал, чем взять. Целыми днями домовито стучал сапожным молотком, а скудную денежку, которую приносили ему за починку односельчане, тут же, не глядя, переправлял матери. Небрежно так, как само собою разумеющееся, отводил протянутую клиентом руку к жене: «Ей, ей отдайте. У нас она хозяйка...». «Хозяйка», святая простота, рдела от смущения. Корова Ночка, в отличие от хозяйки, была не столь простодушна. Колодяжный был человек сноровистый, бывалый, по дому убирался еще ловчее, чем Сергей, — опять же присущая мастеровым свойскость, родственность любой работе, — но когда попытался подойти с подойником к корове, та неожиданно затревожилась, заупрямилась и лягнула его. Погнувшаяся доенка, жалобно зазвенев, покатилась в сторону, сам Колодяжный, отскочив, обиженно потирал ушибленное колено. А ведь смирнее, смиреннее Ночки, казалось, не было в стаде коровы.

Руки у матери заживали плохо. Уже и повязки сняли, выпростали ладони из пеленок, а они, натруженные за день, к вечеру снова и снова сочились кровью. Раны не закрывались, а когда наконец «загоились», зарубцевались, на месте их на всю жизнь остались черные пугающие следы. И без того темные, обожженные работой ладони сразу стали старше самой матери. Они как будто трещинами пошли. Гладишь ладонь, а она вся в этих глубоких, занозящих сколах — как черная, старая, хотя и теплая еще иконная доска. Вот уж воистину: «Изъ одного дерева икона и лопата...» (Даль).

На них бы молиться, а она стесняться стала своих ладоней. Здороваясь, прятала их под передник, как будто ладони у нее были, как у школьницы, в чернилах. И если случалось ей бывать в каких-то компаниях, на свадьбах, руки всегда держала под столом, на коленях.

У Сергея даже фотография сохранилась: деревенская свадьба, на переднем плане, прямо в траве, мужики сидят, точнее, полулежат, клонясь друг другу на плечо, и каждый держит в руках бутылку и стакан, тянут их вперед, как будто предлагают фотографу выпить. За ними, на втором плане, стоит народ посерьезнее: жених с невестой, невеста вся в белом, сдно лицо темное, загорелое, крестьянское. Все держатся друг за друга, за руки (жених обнимает невесту, и рука его на законном своем месте — у нее на груди), одна мать стоит отъединенно, с краю, сбоку припека, заведя руки за спину. Спрятав их от фотографа. Людей немного, видно, из всей свадьбы для фотографирования выбрали только родню. Не всех Сергей знает по именам. Но лица ему знакомы все — даже тех, кого давно уже нет в живых. Он ориентируется среди них так, как ориентируется на местности человек, попавший после долгого перерыва на родину. Разве важно на родине знать названия улиц? Он вырос среди этих лиц и так рано оторвался от них, что они навсегда остались для него молодыми. Такими, как на этой фотографии. Может, он и не узнал бы их сейчас, постаревшими, а молодыми узнает. Это лица его детства. Родина детства. Родина. Родня. У всех на груди приколоты гроздья цветов. Цветы живые, не бумажные: люди сфотографированы под огромной, старой, корявой грушей, возносящей ввысь целый смерч молодых, глянцевитых, плотно сомкнувшихся листьев и объятой фосфоресцирующим свечением, — весна. У яблонь цветы — розоватой щепотью, чашечкой, у груши — простецкие, плоские, крупной, молочно-белой четырехпалой ромашкой. Крестом. Груша, вышитая крестом?..

На обороте фотографии надпись красными чернилами: «На память братику Вани от сестрицы Лиды. Ваня, жилаю тибе с этой фотокарточкой прийти домой боивым и здравым домой. Ой! Ваня быстрей иди домой, жилаю, чтобы дни твоей службе проходили тебе низаметно, чтоб быстрей,

быстрей домой. Ваня прошу любить и жаловать всех, все это тибе останется в воспоминании об гражданской жизне. Стем сестрица Лида».

Главное — домой!

«Ваня» один из тех, кто сидит с бутылкой на переднем плане и кого давно уже нет в живых.

Ах, как хорошо, бурно, лупато, осиянно цветет на карточке древняя, необоримая, каждую весну возрождающаяся груша их рода!.. Груша их Дома. Жива ли она сама?

...Сергею больно было смотреть на ее руки. Больно было видеть, как легко попалась она на удочку отчима. Что она простила того — враз, легко и безоговорочно. Сам Сергей еще тогда, от Литвинов, кинулся к своему дому, зажав в руках топор. Где он его высмотрел в чужой хате, как схватил, и сам не помнил этого. Его поймали уже во дворе: мать заметила и закричала тем же высоким, пронзительным, не своим голосом. Никто в суматохе не заметил, как он цапнул топор, как выскочил, а она заметила. Почувствовала, сама еще не пришедшая в себя. Когда его перехватили, он остервенело сопротивлялся, ругался, взрослые вынуждены были повалить его наземь. Как раз в это время во двор входил Митька, младший Серегин брат сидел у него на горбу, средний держался за руку. Митька и был приставлен к Сереге на ночь: присматривать, чтобы тот опять не вытворил чего-нибудь. Если что — звать взрослых. Рано утром Колодяжный сам пришел к Литвинам за женой и детьми. Виновато, искательно здоровался со всеми, у всех просил прощения. Сергей поразился: как легко мать, еще обескровленная и обессиленная, поднялась ему навстречу, вложила свои закутанные, с проступившими вишневыми пятнами на марле руки в его, бережно протянутые к ней.

Тут было что-то не то.

Тут было что-то, смутившее даже Литвинов.

Оно смутило и Сергея. Сбило с панталыку. Не то чтобы поколебало его желание, ночную клятву во что бы то ни стало о т о м с т и т ь, а затнало это желание внутрь. Они шли домой. Колодяжный вел мать, рядом с ними топали младшие дети, Сергей плелся на некотором отдалении. Он, может, вообще не пошел бы домой — пусть себе воркуют, — если бы мать время от времени не оборачивалась к нему, не улыбалась слабо и виновато. Искательно.

И все равно стоило потом ему увидеть перед собой намечающуюся (как будто в его волосах свила себе гнездо неведомая птица) лысину Колодяжного, когда тот сучил молоточком, сидя на низком сапожном стульчике и напевал свои протяжные хохлацкие песни, у него зябко чесались руки. Взять топор или лом, подкрасться — и с размаху. Не-ет, он-то как раз ничего не забыл! Наоборот: чем больше млела перед отчимом мать, тем горше, злее, острее закипала в нем жажда мести.

Однажды с вечера приготовил топор, сунул глубоко под кровать в комнате, в которой обычно работал отчим. Днем оставалось только выбрать момент, когда они останутся в комнате вдвоем — а работал отчим всегда с увлечением, даже с упоением (тоже свойство настоящих мастеровых), не замечая ничего вокруг: тем самым он, вечно распевающий за работой, напоминал на своем табурете с сиденьем из сыромятных ремешков скворца на голой весенней ветке. Голова певчески задрана, глаза устремлены в окно напротив, в утро, в небо, а руки сами легко и привычно делают привычную работу.

Дывлюсь я на небо
Тай думку гадаю:
Чому ж я не сокил,
Чому ж не литаю?..

Это была его любимая песня, и когда он ее пел, забыв обо всем на свете, мучаясь и наслаждаясь какой-то своей неизреченной болью, у матери, незаметно оказывавшейся в хате, начинали дрожать ресницы. Откликались на эту муку. Да только ли они откликались? — в комнате в этот момент как будто создавалось напряжение, силовое поле, свежо и тревожно — последний, перед дождем, знобящий вздох пойманного ветра — касаясь, омывая каждого, кто здесь был.

Они несколько раз уже оставались в комнате одни. Сергей подходил к кровати и даже один раз как бы по делу лазал под нее, пошебуршал там и вылез с пустыми руками. Отчим по-прежнему сидел над чьим-то сапогом. Часто-часто, как кузнечик лапкой, сучил своим легоньким сапожным молотком, вытаптывая на подошве стежку из медных гвоздей. Совершенно беззащитный, спиной к Сергею. Голова певчески задрана, глаза устремлены в окно напротив...

Ты ж мэнэ пидманула,
Ты ж мэнэ пидвела...

Сергей был измучен и опустошен. С мыслью о мести пришлось расстаться. Ему шел тогда двенадцатый год. А через два года матери не стало. Так и остались ее руки неотомщенными.

Впрочем, кому было мстить? Последний раз Сергей видел отчима через год после смерти матери. Приезжал в село, к родственникам, из города, где вместе с братьями воспитывался в интернате на полном казенном обеспечении. Автобус шел по селу, когда Сергей увидел в окошко отчима. Он не сразу узнал того. Прямо у обочины, обдаваемый пылью, стоял неузнаваемо состарившийся, опустившийся человек. Человек согнулся, когда-то внушительный остов одряхлел, оканчиваясь, как гнутый ржавый гвоздь, жалкой, помятой шляпкой, резко увеличившейся, расросшейся — тоже, как ржавчина, — лысиной. Был ли он пьян? Пустые, выцветшие глаза были устремлены на автобус, но вряд ли кого в нем видели. Повисшие, выхолощенные руки дрожали. Встречал кого? Ждал автобус, надеясь, что в нем приедут на каникулы — или хотя бы проедут мимо — его дети? Мать не была зарегистрирована с ним, и, когда она умерла, Сергей просто забрал братьев и ушел от него — сначала к родственникам, а потом в интернат. Отчим не возражал. Скорее всего он побоялся возражать. Мать умерла от раковой опухоли, но Сергей не понимал тогда, что такое рак, и твердо считал, что причиной смерти были ее изувеченные руки.

«Вашу мамку зарезали!» И этот крик, и обескровленное, почти потустороннее лицо матери, медленно обернувшейся к нему от таза с кровавым вулканом на дне, — все это навсегда врезалось в память, в душу — а последняя была в тот страшный миг растревожена и размягчена, как воск, — и соединилось, срослось с понятием смерти вообще. Мать, слава богу, была жива, но в тот день Сергей впервые понял, осознал, что она умрет. Что она смертна.

Весть, прошелестевшая над степью, все равно была вестью о смерти. И он уже больше не забывал ее. Так глубоко она вошла в него, обжигающим тавром въелась. Нельзя сказать, что теперь он был подготовлен к смерти матери, смирился с ее неизбежностью. Он и сейчас, почти сорокалетним человеком, не может смириться с тем, что матери нет. Все его существо по-прежнему восстает против этого. И с годами этот бунт — особенно в минуты душевной смуты — даже горше, болезненней. Потому что он сам понимает его безнадежность. Нет, весть не подготовила его. Она отравила — ожиданием. Тайным, подспудным, но неусыпным. В чашу его сыновней любви капнули яду, и она замутилась, со дна ее всплыли боль и кровь. Он знал теперь, что все кончится, и это знание и было тем самым цитварным семенем, что так горчило и так, до слез, опаивало. Раньше, обидевшись на что-то, он часто на ночь глядя убегал из дома. Уйдет недалеко, ляжет в канаве, в траве, положив руки под голову, и смотрит, как вызревают на небе звезды, как они роятся, как это беззвучное, размеренное роенье вдруг пронзит, затрепетав, почти что вскрикнув, одна, всегда неизвестная — никогда не угадаешь, какая упадет, — звезда. Управившись по дому, по хозяйству, мать не выдерживает, выходит его искать. Бродит вокруг, зовет, сначала строго, потом все пронзительней и, наконец, чуть не плача. А он, пока мать на него не наткнется, лежит — и ни звука в ответ. Ему даже нравится, даже сладко мучить ее. Какой же он был дурак! Знал бы, что совсем скоро сам будет вот так же потерянно бродить впотьмах в своих сиротских снах и звать, звать мать, — безответно. Вернее, теперь-то, после того страшного дня, он и об этом догадывался. Теперь-то больше не прятался. Наоборот, ходил за матерью, как большой неловкий теленок.

...Сейчас он знает, хорошо знает, что такое рак, но в глубине души по-прежнему связывает два этих дня воедино: день, когда были загублены руки матери — они, изрезанные до костей, так и не зажили окончательно, болели от работы, болели от погоды, — и день, когда болезнь свела ее в могилу. Другая болезнь. Но в детстве он просто уверен был, что она погибла от ран, нанесенных отчимом. Что рак? Может, рак оттого и приключился. Отчим, конечно, о его мыслях догадывался. Они, наверное, явственно читались на Серегиной физиономии. Возможно, отчима и самого посещали эти мучительные догадки. Словом, когда Сергей, глядя ему прямо в глаза, заявил, что забирает братьев и уходит, тот смолчал. Понуро отвернулся, потом сказал: мол, зачем же уходить из своего дома, он и сам отсюда уйдет.

И вышел.

Братья с двух сторон молча вцепились Сереге в руки. Не то что забрать, увести — их отодрать от него было нельзя. Да отчим и не собирался уводить, хотя это теперь были целиком его дети. Сергей говорил с вызовом, нарывался на скандал, а скандала не получилось. Отчим просто ушел. Сергей с удивлением почувствовал, что тот его, кажется, побаивается. Словно ему — задним числом — стало известно про топор. И все-таки жить им втроем было почти невозможно. Сергей понимал это. Дом продали, деньги положили на книжку, а сами какое-то время пожили у родственников — до устройства в интернат.

...Кому было мстить? Человеку, прошедшему всю войну, не единожды раненному, контуженному и в общем-то тоже изувеченному?

Сергей в детстве удивлялся, как отчиму удавалось во гневе так жутко, длинно — казалось, искры сыплются — скрипеть зубами. От этого скрипа кровь в жилах стыла. Честно говоря, Сергей и сам хотел научиться так же скрипеть, чтобы тоже пугать народ. Скрипнул — и все замерли. Нишкни! Стоило отчиму заскрипеть зубами, так его не то что мать или дети, а даже самая забубенная компания начинала бояться. Замирала в растерянности и страхе. Но сколько Сергей ни бился, ни упражнялся тайно, в одиночестве или при младших братьях, стараясь нагнать на них страху, такого зубовного скрежета у него не выходило. Так, писк. Курам на смех. Даже маленький братишка, как ни таращил Серега на него глаза, только лыбился, на его потуги глядючи. И лишь много позже, взрослым уже человеком, вспомнив нечаянно об этих своих смешных упражнениях, Сергей неожиданно для самого себя понял: чтобы так скрипеть, надо быть контуженным.

Он сам поразился простоте своего внезапного, хотя и запоздалого открытия.

В следующий приезд на каникулы им мимоходом сообщили, что отец-то их непутевый помер. Как-то тихо, не так, как ему бы полагалось, помер. Не от белой горячки, не от поножовщины. Просто тихо сошел за тот год на нет. Старуха зашла, у которой он жил, занесла жестяную коробочку из-под чая, где были орденская книжка отчима и его награды. То, что осталось, не затерялось. Был там, между прочим, и орден Славы третьей степени. Сергей долго хранил коробочку в интернате, но сберечь не смог. Трудно сохранить что-либо, когда нет самого хранилища — дома. Вечерами мальчишки часто просили Сергея достать из-под матраца коробку, открыть ее, дать потрогать, а то и поносить потускневшие солдатские регалии. Когда спрашивали, чьи это, Сергей сначала говорил: отчима. Потом, незаметно для самого себя, стал отвечать: отца.

И странное дело: чем дальше уходит Сергей от детства, тем чаще вспоминает отчима не с чувством неосуществленной, неудовлетворенной мести, а значит, собственной несостоятельности, ибо все, что мы не осуществили, все, за что не отомстили, мстит потом нам, подтачивает нашу цельность и состоятельность. Нет, он вспоминает о нем с чувством вины. С чувством жалости и вины. Разведенные раньше по разным полюсам, теперь они постепенно воссоединялись в его памяти — мать и отчим. В жизни они помирились раньше. В памяти же вон сколько лет потребовалось для примирения. Да и ссорились ли они в жизни? Скорее это сам Сергей находился в состоянии необъявленной войны с отчимом. Теперь ненависть куда-то ушла, растворилась, хотя он по-прежнему уверен, что в могилу мать свел все-таки отчим. Если и не свел, то, во всяком случае, поторопил. Он верит в это и все равно жалеет его. И чувствует себя виноватым, что позволил ему так незаметно, бесследно, так беспризорно сойти на нет. Умереть в безвестье, в чужих стенах. Что не были при нем, ни разу не видели его после отъезда из дома младшие братья, его, отчима, сыновья, — это уже серьезней. Его вина — что он отлучил братьев от их отца. Что когда-то провез их мимо него, растрепанного, потерянного, вышедшего встречать автобус. Хороший, плохой ли, он им родной. А Сергей распорядился за них. Отлучил.

Может, и он его, отчима, поторопил?

4

Да, это было впервые, что жена на него кому-то жаловалась... Слышать это было неприятно. Тем более что уверенность в своей правоте прошла. Ему уже и самому было стыдно за свою выходку. Так бывало уже не раз: под глубоким, покойным теплом смиренности в нем всегда что-то тлело. Добраться туда непросто. Но если уж его что-то пронимало, причем на первый взгляд подчас не самое обидное, не самое существенное, если уж доходило, пробивалось до углей по каким-то закупоренным путям озонное дыхание обиды, гнева, то все в нем мгновенно занималось бездымным бешеным огнем. Мог ударить, мог вцепиться в горло, швырнуть что угодно, наговорить самых скверных слов: жуткие, темные, горячие, неизвестно как попавшие туда ругательства вылетали, как раскаленные камни. В другое время никто, и сам он в том числе, и не подозревал о таких залежах. В минуты ярости его била дрожь, он чувствовал, что лишается основы, якоря, воспаряет, теряя силу, обращаясь в почти бесплотный, злой, сам себя жалящий дух.

Исчадие ада.

Или это отчим мстил ему, окопавшись где-то на самом дне этого с виду весьма благочинного молодого человека?

Правда, от таких вспышек больше всего страдал сам Сергей. Мгновенно начинавшиеся, они так же мгновенно и проходили, оставляя душевную опустошенность. Выжженность. Стыд и раскаяние. Те, против кого вспышки были направлены, чувствовали это и, пожалуй, этим пользовались: с ним после подолгу не разговаривали, а если и заговаривали, то лишь для того, чтобы напомнить о безобразной выходке, поддержать в нем состояние искательности и раздерганности.

Теща тогда так ничего и не ответила жене. Но через несколько минут Сергей услышал (вот ведь странно: зароешься в подушку, бежишь от всех звуков, от самой жизни, гонишь ее, а звуки, жизнь еще острее — через подушку-то! — жалят тебя), как она грузно поднялась в своей комнате и медленно, тяжело прошла мимо его закрытой двери на кухню. Готовить. Зачем? Ему совсем не хотелось есть. Перегорело. Да и хотелось ли есть раньше? Это было воскресенье, день, практически единственный на неделе, ибо по субботам он тоже часто дежурил или бывал в редакции по другим делам, когда Сергей наконец-то принадлежал себе. Детям и письменному столу. Эти слова можно написать и через запятую, и с двоеточием. Себе, детям, письменному столу. Себе: детям и письменному столу. Он дорожил каждой крохой такого времени. Трясся над ней, дрожал голодной собачьей дрожью. Дети ему не мешали. Он сидел за письменным столом, они, случалось, висели на нем, как пиявки, и все равно ему не мешали: он научился писать и так. Лишь в крайнем случае, когда у него что-либо не получалось, не вытанцовывалось, выставлял их из комнаты и закрывал дверь. (Для самой маленькой, Маши, закрытых дверей в доме не существовало: выставленная за дверь, она тут же поворачивалась на одной ножке и простодушно заявлялась в комнату опять — у него уже не поднималась рука выгонять ее снова, и она устраивалась рядом с ним, за столом, что-то черкала на его листах, посапывала, ластилась к нему, и это ее посапыванье, шебуршанье, это ее существование рядом, даже когда у него что-либо не получалось, ободряло, поддерживало, грело. Он напоминал себе хату, под стрехой которой прилепилось ласточкино гнездо: хате самой от него становится теплее...)

Он и теперь втайне побаивался, что вот сейчас откроется дверь — в комнатах замков не было — и войдет, впорхнет Маша. И что он тогда

будет делать? Зарываться еще глубже? Как сохранит остатки своего гнева? Как взглянет на нее, и каким она увидит его? Перед нею, пожалуй, ему было бы стыднее всех. А может, это и был самый простой выход из тупика — если бы в комнату впорхнула Маша.

Но она не вошла. Иногда только ее ножонки в теплых шерстяных носочках шустро-шустро (все — бегом!) протопывали мимо его закрытой двери, и этот ее беглый домовитый топоток всякий раз отзывался в нем. Правда, совсем уже другой, не глухой нотой. Там, внутри, трогали что-то сильно-сильно натянутое, и оно вибрировало. Звенело.

Дзи-инь...

Да нет, конечно, не так уж и хотелось ему тогда есть. Просто день, который всегда экономил для себя, оберегал от любых посягательств, пошел коту под хвост. Редакция участвовала в проведении международного журналистского семинара, и Сергей был определен в группу встречающих. Целый день провел в Шереметьеве. Встречал, обнимал, садился в машину, вез в гостиницу. Потом возвращался в аэропорт, опять встречал, опять обнимал, опять вез. И так целый день. Дело даже не в хлопотах. Дело есть дело, и как человек служивый Сергей привык интересы дела ставить выше собственных, частных.

Но к концу того воскресного дня Сергею стало совершенно очевидно: то, чем он сегодня занимается, на что тратит «личное», как говорят в армии (сорок пять минут: подшить воротничок, написать письма, покурить, почитать — как много в нем умещалось!), кровное время — не дело. Вернее так: «недело». Вместе, слитно. Все, что угодно, может, даже весьма существенное, но — недело. Ощущение пустоты и некоторой нечистоплотности осталось после всех этих ни к чему не обязывающих торопливых объятий и поцелуев (вообще-то Сергей терпеть не может эту заразно распространившуюся по свету моду — целоваться с мужиками). После столь же ни к чему не обязывающих, вымученных разговоров в машине: как долетели, как у вас там погода, а у нас, видите, ранний снег. О да, конечно-конечно, Москву и надо смотреть снежной зимой...

На ужин в гостинице Сергей не остался. Там было кому остаться и без него. Но это уже дела не меняло. Не могло изменить. День был вытрачен, выброшен, домой он вернулся злым. Прошел на кухню, потребовал есть. Перед ним поставили *что-то* и бутылку кефира. Бывая не в настроении, он все женины блюда не из тех, что когда-то готовила мать, называл уничижительно: «что-то».

Вот тут-то он и вспомнил о тушеной капусте. Она-то и была из тех, давних, материнских разносолов. Вот только обещали ему приготовить или он это выдумал, ляпнул сгоряча, в раздражении?

Он отодвинул *что-то* от себя, а бутылку с кефиром столкнул на пол. Выругался вполголоса, неразборчиво, сквозь зубы. Чтоб не разобрал никто из малолетних. Хотя для малолетних, пожалуй, важнее не слова, а интонация. Она куда определеннее и страшнее. Когда в дом входит, вламывается, как тать, эта интонация, малолетние, а их у него трое, печально — слава богу, что не пугливо — жмутся по углам. Он замечает это, хотя и не может остановиться сразу, хотя подчас *это*, как ни странно, распаляет его еще больше, подстегивает, подзуживает. Распаляется, а у самого сердце тоже сжимается печально и пугливо. Ведь у него оно обременено и другой памятью: в такие минуты он сам себя слышит и видит маленьким. Маленьким, пугливо сжавшимся мальчиком — себя, взрослого, разъяренного, чужого. Хлопнув кухонной дверью, Сергей ушел в спальню. Жена осталась на кухне. Одна. Он не знал, что осколком бутылки ей поранило ногу.

...Что замышляет в эти мгновения его старший, тринадцатилетний сын, безотрывно следящий за ним темными пристальными глазами откуда-нибудь из своего угла?

5

Помнишь, как ты впервые увидел Муртагина? Была поздняя осень. Вы работали на строительстве жилого офицерского городка в Красных Сосенках. Красные Сосенки — это название района, где располагается штаб вашего инженерно-строительного соединения. Даже скорее не района,

а микрорайона, малой части его. Название неофициальное, прилипшее само по себе. История его, рассказывают, такова. Районный городок, где вы размещены, старый, даже древний. Центр его, сердце составляет старинная ткацкая фабрика. Точнее, две фабрики: ткацкая и швейная, находящиеся практически под одной крышей. Ну, крыш-то там много, потому что здания старые и разбросанные, автономные — мануфактуры ведь не знали конвейера, — а вот изгородь, точно, одна.

Капитальная, жженого кирпича — уж не в Батыевы ли времена зарождалась у нас легкая промышленность? — крепостная стена, скрывающая такие же красные, цвета ржавчины, хотя кирпич, как известно, и не ржавеет, толстостенные, непробиваемые приземистые строения. Здесь и располагаются испокон веку ткацкая фабрика и небольшое швейное производство. По существу — цех при ней. В войну, говорят, здесь выпускали портянки. Сухие портянки — походный солдатский дом. И греет, и лечит. Можно сказать, мы дошли до Берлина в энских фланелевых портянках. И текстильное и швейное производство, разумеется, преимущественно женское. Так что фабрика и в этом смысле тоже — сердце Энска. Чувствилище, сотнями, тысячами женских тропок связанное с каждым домом городка. Дома почти все одноэтажные, деревянные, потемневшие от времени и непогоды, что делает город еще более старозаветным. Если и не темное, то уж сонное царство. Сонное женское царство — благодаря производству, благодаря двум длинным, дощатым, довоенного образца общежитиям и профтехучилищу, которое здесь называют бантохранилищем, хотя никаких бантиков пэтэушницы не носят, предпочитая ничем не взнузданные молодые гривы. Городок и впрямь юбочный.

Когда возникла нужда в гарнизоне, жилые дома для офицеров стали строить на окраине городка — деревянные дома на улицах стоят плотно, как бревна в плоту, тяжелые, неразъемные, набухшие. С блочным, бетонным — и все равно карточным по сравнению с этим вечным, фундаментальным деревом — домом в них не вклинишься. На окраине, то есть на пустыре, поросшем мощными, редкими, будто ненароком оброненными сеятелем соснами, можно. Их, сосны, и называют Красными Сосенками. Почему-то так, уменьшительно, *сосенками* — это корабельные-то, в два обхвата сосны: чтобы взглянуть на упершиеся в небо вершины, надо придерживать шапку на собственной макушке. Их когда-то сажали, и они были маленькими, махонькими сосенками. И нежность к ним так и кочует из поколения в поколение: «сосенки». Почему красные? Их высокие, почти обнаженные тела напряженно выгнуты, подставлены скупым северным ласкам и женственно смуглы. И только утром, на восходе солнца, и вечером, на закате, нежно, стыдливо розовеют. Белый, пуховый туман плавает на пустыре, под ногами соснового бора, пронзенный, потоптанный самим воплощением солнечных лучей; темные кроны в этот час как-то скрадены, и кажется, будто влажно-алые стрелы летят не с земли в небо, а с неба на землю. В землю.

Бор — нечто тайное, сумеречное, пугающее. А тут свет, простор. Может, потому *бором* сосенки никто и не называет.

Строительство жилого офицерского городка в Красных Сосенках начали с танцевальной площадки. Да-да, не с бытовок, не с колерных, не с сараев, не с того рукотворного хаоса, который окружает и предваряет у нас любую мало-мальски значительную стройку, а с такой необязательной и даже странной — если не вредной — в подобных обстоятельствах вещи, как танцплощадка. Чья-то светлая голова придумала: гарнизон, воинский постой сразу стал желанен в городке. По вечерам, особенно в выходные дни, когда солдатам давали увольнительные, потянулись к Красным Сосенкам от фабрики, от общежития, от ПТУ, от женского, девичьего сердца городка, да, считай, и от каждого его дома теплые, прочные — шелковые! — ниточки. Два сердца образовались в городке: одно давнее, традиционное — в центре, где фабрика, и другое, новое, упругое, молодое, веселое — в Красных Сосенках. Там, посреди деревьев, посреди развернувшейся строительной площадки, возник прочный, ладно и весело сработанный солдатами — для себя старались! — дощатый настил с решетчатой оградой и с крытой затейливой эстрадой для оркестра.

Настил соорудили высокий, капитальный, с бетонированной подушкой, чтобы в любую непогоду танцплощадка не тонула в грязи. И она

действовала, делала свое дело — в любую погоду. И еще как делала! За два армейских года ты на стольких солдатских свадьбах побывал, первые ниточки, узелки которых завязывались на этих вот капитальных, охрою крытых досках. В городке есть Дом культуры имени Чкалова (вон как тосковало женское сердечко по мужским фамилиям!), недавно появился и Дом офицеров, в вестибюлях которого тоже пляшут по выходным, а все равно солдатская танцплощадка в Красных Сосенках самая популярная, притягательная. Функционирует даже зимой, в самые лютые морозы.

Солдаты приходят туда группками, вольным строем, в шинелях, стоящих колом, и в шапках-ушанках с поднятыми ушами. Вообще-то в такие морозы уши у шапок положено опускать и даже завязывать тесемки под подбородком, и офицеры, особенно пожилые, фронтовики, такие, как твой бывший командир подполковник Каретников, строго следят за этим. И поначалу от казарм получившие увольнительную и должные наставления на плацу перед штабом солдаты идут в полном согласии с требованиями устава и своего пожилого начальства, но при подходе к танцплощадке обязательно останавливаются и уши у шапок щегольски, молодцевато задирают наверх. Нарушают форму одежды — и многие из них потом, вернувшись с танцев, неистово, хотя и с жалобными воплями, бегают по казарме, по узкому проходу между двумя рядами хохочущих двухъярусных коек, зажав ладонями уши, колер которых колеблется от цвета кровельного железа до цвета гусиных лап.

Девчонки же в такие вечера приходят на танцы, до бровей закутанные в платки кроличьего или козьего пуха. И в валенках. Валенок здесь не стесняются: городок-то, во-первых, рабочий, а во-вторых, северный. Зато как же они хороши, эти бойкие, окающие, пунцовощекие, осененные, опушенные (кристаллические реснички инея по краям платка, то есть совсем уж у самых бровей и на бровях!) молоденькие ткачихи в коротких теплых, уютных валеночках, на которые даже если и наступишь неуклюжим солдатским сапогом, то все равно не больно!

Руки, когда подходишь к ним, они держат так: мягко опустив их по швам и чуть-чуть развернув, раскрыв заиндевевшие ладони — как и губы — по направлению к тебе. Вот она я вся!

Ладони у них, даже в пуховых рукавичках, даже через шинельную драп-дерюгу твердые! Определенные. Средоточие нежности и работы.

Солдаты шагают к танцплощадке строем, ткачихи летят стаей.

...«Чья-то светлая голова»? Забыл, чья? Позже, когда уже служил в политотделе, случайно на одном совещании узнал, догадался, кто на свой страх и риск распорядился строительство жилого офицерского городка начать с сооружения танцплощадки. Совещание было значительным, специально на него прибыл генерал из Москвы.

Приезжий генерал держал строгую генеральскую речь, в которой помянул между прочим и о том, что отпущенные на оборону Родины народные средства надо использовать только на предусмотренное дело, а не разбазаривать на сомнительные объекты, вроде всяких там танцулек, «как то было в прошлом году в вашем же управлении инженерных работ, когда некоторые присутствующие здесь товарищи допустили использование служебного положения и вмешательство в сферы, выходящие за пределы их компетенции. Забыли, что они всего лишь политработники, а не строевые командиры, принимающие единоначальные решения да и то в пределах четко очерченного круга служебных полномочий».

При этом, оторвавшись от бумажки, генерал быстро, но вполне определенно взглянул на сидевшего неподалеку от него, в президиуме же, подполковника Муртагина. Тогда-то ты и догадался, кому обязан своим появлением на свет «объект», функционирующий в Красных Сосенках, чьей голове — темноволосой, крепко сидящей на плечах голове подполковника Муртагина. А он даже бровью не повел. Как сидел себе, так и сидит, чертит что-то в записной книжечке.

Стройка в Сосенках продолжается, домов все прибавляется и прибавляется. Они отстоят на приличном расстоянии один от другого, и сооружают их, стараясь не повредить деревья. Сохранить сосны. Деревья диктуют и расположение домов. Люди как бы заселяют Сосенки, вьют среди них гнезда. Зато сбереженные красавицы придают унылым блочным пятиэтажкам какое-то своеобразие. Офицеры, населяющие пятиэтажки, молоды, дворы полны детворы, и это еще больше усиливает ощущение гнездовья.

Кто хоть когда-нибудь был строителем, тот знает, что такое стройка поздней осенью. Холод, грязь, уже схваченная льдом, но затем расквашенная сапогами и колесами, сквозняки, гуляющие по недостроенным этажам. На строительстве этого дома работало много первогодков и ты в том числе. Только-только закончился курс молодого бойца, карантин, как его еще называют, — когда вы без конца строились, ходили строевым, бегали кроссы, изучали уставы и стрелковое оружие. С окончанием карантина, по существу, закончилась и ваша военная служба. Служба закончилась, началась работа. Стройка, которая для многих вовсе не была в новинку: среди новобранцев было несколько закончивших строительные училища или техникумы, были даже парни с высшим специальным образованием, да и те, кто такого образования не имел, в мирной, гражданской своей жизни тоже, как правило, были связаны со стройкой или по крайней мере с конкретным, рабочим, мастеровым делом. Тут все были рукастые. Таких: как ты, безруких интеллигентов, «композиторов», как определил вас старшина Зарецкий, раз-два и обчелся.

Да, был строгий распорядок, были даже политзанятия с изучением военной машины вероятного противника и империализма в целом, было хождение строем в столовую и из столовой, на работу и с работы. На работу и с работы — а военной в вашей работе была только форма, еще не обвалявшаяся, не пригнанная, мешковато сидевшая на вас.

И вот в один из первых дней на стройке, холодный, неуютный, когда порывами, будто там обметали амбары, летевшая с неба пороша забивалась в пустые еще оконные проемы и во все щели, за ворот, в самую душу, казалось, надувало, — в такой день на стройку приехал Муртагин. По его распоряжению всем новобранцам велели построиться на улице перед домом. Строй получился неровным. И не потому, что, скажем, старшина Зарецкий был недостаточно ретив, — ретив, еще как ретив! — или что у вас так быстро выветрился карантин, просто какой может быть строй на строительной площадке? С ее ямами и горбами. И строй, как ни ярился старшина, получился с ямами и горбами. Возможно, старшина еще долго бы совершенствовал его, бегал из конца в конец, если бы подполковник не остановил его, сказав, что предела совершенству нет, а тут все-таки не плац, а стройка. Работа.

Он поздоровался с вами, вы по уставу ответили ему (и старшина, и командир роты остались довольны: ответ получился свирепо-дружным), и подполковник неторопливо пошел вдоль строя. Он подходил поочередно к каждому солдату, и цель столь тесного общения вы поняли не сразу.

Стояли руки по швам, поедая глазами самое непосредственное свое начальство — старшину Зарецкого, а подполковник подходил к каждому из вас, поднимал руку к голове и проверял, как на ней, на твоей голове, сидит солдатская шапка.

Шапки сидели неправильно.

Цигейковые, с матерчатым верхом, они то ли от старости, то ли от плохого хранения скукожились, как бы ссохлись и сидели мелко, на макушке, слетая при мало-мальски шальном порыве ветра, при резком наклоне. Растянутся ли они, тем более когда волосы наконец-то отрастут? Накануне старшина выдавал шапки без примерки, по списку. Ты пробовал поменять свою, но старшина легонько взял тебя за плечи, развернул к двери и, посмеиваясь, выставил из каптерки:

— Носи, Гусев. В этой шапке не один солдат помер.

Пошутил.

Подполковник Муртагин шел вдоль строя молча. Старшина Зарецкий первым смекнул, в чем тут дело. Какая цель. Он был смекалист, старшина Зарецкий. К середине обхода он, неотступно следивший за подполковником, вытянувшись во фрунт в хромовых, офицерских — не по уставу — сапогах, в теплом, на вате, бушлате, в шапке из хорошей, пушистой цигейки и с суконным верхом — шапка тоже не по чину, офицерская, — стал нездорово малиновым. Багровым. Так светится, накаляясь, чугунная плита. Темные крупные рябинки, усеивавшие лицо старшины, были как пятна бурой отслаивающейся окалины на этой плите.

Последним в строю стоял Абдивали Рузимурадов, узбек. Вообще-то в роте узбеков было много. В большинстве своем веселые, общительные, нежадные: им сразу стали слать посылки, и они потрошили их прямо в казарме. Каждого оделяли непривычными экзотическими гостинцами: сушеными, напоминающими слипшиеся сыромятные ремешки полосками дыни, урюком, желтоватыми, тоже липкими кусками, обломками не то сахара, не то засахарившегося меда. Надо сказать, даже то, что в общем-то было вам знакомо, в узбекском варианте оказывалось непривычным — непривычно сладким. Виноград привяленный («На чердаках вялим, каждую кисть вешаем отдельно на ниточке и вялим. Э-э, дарагой, после этой армии приезжай ко мне в кишлак, чердак ходить будем, там мно-ого чего есть...»). Но от привяленности гроздь, кажется, еще потяжелела. Полновесная, двух — трехъярусная, с муаровым налетом, обметавшим ее за несколько дней, проведенных в темном, сдержанно духовитом, прохладном таинстве восточного чердака, словно кутающаяся в черную паутинную шаль, гроздь царственно хороша. И сладка! Да что виноград — редька у узбеков и та оказывается сладкой. Крупная, непривычно зеленая и — еще непривычнее — сладкая!

При всей своей общительности они все-таки больше держались друг друга. Землячество! И общительность была не столько каждого в отдельности, сколько землячества в целом. Довольно замкнутое сообщество, доброжелательно обращенное ко всем, кто его окружает. Ко всему, что его окружает. Рой — они вообще любили кучковаться: в казарме, в уголке или в Ленинской комнате, обмениваясь полученными из дому письмами, — им чаще слали посылки, нежели писали письма, — живо и вместе с тем укромно обсуждая какие-то свои домашние новости. На стройке они при первой же возможности, в любую свободную минуту разводят костер. Разживут костерок, соберутся в кружок, сидя на корточках, тянут к огню плоские, темные, твердые ладони. Работники послушные, в меру старательные, правда, из всех работ больше всего любили ту, которая называлась «варить клей». Готовые квартиры оклеивались обоями, для них нужен был клей, разновидность клейстера — его и варили. Точнее, растапливали твердые, окаменевшие куски этого клея в ведрах на костре. Работа плевая, одного человека для нее хватило бы за глаза, но южане — а так повелось, что варка клея сразу и без споров оказалась в их ведении, — всегда просились на нее скопом: по двое, по трое, а то и вчетвером. И привлекала их, думаю, опять же не столько легкость этой работы, сколько возможность вот так, протянув к костру руки, посидеть вместе у огня.

Но Абдивали Рузимурадов был особенный узбек. Индивидуальный. Индивидуум. Достаточно сказать, что он всегда держался особняком. От всех, в том числе и от своих земляков. Он тоже был добродушный, улыбающийся, всегда улыбающийся, но сам по себе. В стороне. Рой, сведенный количественно до одного индивидуума. Доброжелательно обращенный — своей вечной, чуть растерянной улыбкой — ко всему, что его окружает, но при этом, даже при улыбке, прочно замкнутый в самом себе. Ты не забыл его?

Вообще-то улыбкой все его общение с окружающим миром и исчерпывалось. Он и слов-то никаких не произносил, только улыбался. Улыбка была его универсальным ответом на все случаи жизни. Старшина Зарецкий влеплял ему наряд вне очереди за нерасторопность на построении, а рядовой Рузимурадов вместо того чтобы мигом обдернуться, вытянуться, щелкнуть каблуками (вы щелкали когда-нибудь каблуками кирзовых сапог, в которых только что обслуживали бетономешалку на стройплощадке?), козырнуть и бодро — старшина любит, чтобы бодро, — выпалить: «Есть наряд вне очереди, товарищ старшина!» — вместо всего этого военный строитель рядовой Рузимурадов долго собирается, вытягивается, переступает с ноги на ногу — каблуками, значит, щелкает, застенчиво улыбается.

По-русски он не говорит, потому что не умеет. По-русски только улыбается.

Но впечатление такое, что он и по-узбекски не умеет. Перекидывался, конечно, фразой-другой с земляками, но изредка и, чувствовалось, по незначительным поводам. А так предпочитал уединяться. Даже работать отъединенно от других.

Не уверен, что его вполне понимали и сами узбеки. Рузимурадов был узбек, но из какой-то очень уж глубокой узбекской глубинки. Высокой. Откуда-то с гор, с самого поднебесья, как я понимаю, с отгонных пастбищ, где Абдивали, внук чабана, сын чабана и сам чабан, и провел до этого всю свою пока недлинную жизнь. Там, наверху, он и привык к одиночеству. Может, у них в горах и язык-то свой. Узбекский, но свой, особенный, просеянный от лишних слов. Слова остались самые необходимые.

Он и внешне отличался от других узбеков. Сам молодой, а в лице есть что-то общее со старой, археологической керамикой, бережно извлеченной из-под бог весть каких напластований. В той обожженности, закалке (когда уже и не поймешь: керамика перед тобой или бронза), которая качеством своим неизвестно какому пламени больше обязана — костру или огню вечности, времени, мучительному, тяжелому и верному. Глаза, почти лишенные ресниц и потому странно доминирующие на лице, с огромными темными зрачками, окруженными столь же темной, отсвечивающе-темной, сросшейся со зрачками радужной оболочкой, и кажется, будто и они, глаза, тоже подверглись этому медленному, осторожному обжигу. У Петрова-Водкина есть картина «Голова мальчика-узбека». Странные, притягивающие глаза мальчика-узбека принадлежат твоему сослуживцу Абдивали Рузимурадову.

Он темнее, прокопченнее других узбеков, хотя в варке клея никогда не участвовал. Работал преимущественно один, несмотря на то, что работать одному было трудно. И вытягиваться перед старшиной военному строителю рядовому Рузимурадову тоже было трудно. Потому что если есть в тебе всего-навсего метр с кепкой, то тянись не тянись — росту не прибавится. Хотя был он ладно скроен и крепко, не на живую нитку, сшит, ловок и ухватист. Маленький, твердый, как гладкий лещинный орешек. Первое время его донимали расспросами: как он умудрился попасть в армию? В нем же наверняка нет необходимой «нормы» — полутора метров. Спрашивали и на русском, и на узбекском. Абдивали лишь смущенно улыбался в ответ, как человек, которому привалил по лотерее непомерно богатый выигрыш. Лишь к исходу первого года службы он наконец заговорил, научился говорить сначала по-русски, а потом и по-узбекски. К тому времени вы, кажется, и забыли о своем навязчивом вопросе, а он вспомнил о нем. Очнулся. Созрел.

— Барана мало давал, — сказал он вдруг однажды во время обеда, когда отделение молча и дружно работало алюминиевыми ложками, вычерпывая ими до дна, а потом еще и вымакивая хлебным мякишем содержимое алюминиевых чашек. — Барана мало давал, — повторил Абдивали при общей изумленной тишине, ни к кому конкретно не обращаясь. И счастливо засмеялся: то ли оттого, что одолел наконец какой-то внутренний барьер, произнеся не одно слово, как раньше, а целых три подряд, то ли довольный, что в конце концов столь обстоятельно и исчерпывающе ответил на занимавший вас вопрос.

А вы уже давно забыли свой вопрос и сидели, ничего не понимая. Вы и сами были поражены такой словоохотливостью Рузимурадова. И потом: какие бараны? При чем бараны — когда народ сидит и упорно уминает вегетарианскую солдатскую пищу — гречневую кашу с таком? Все недоуменно переглянулись, оторвавшись от святого солдатского дела, особенно если ты служишь в строительном батальоне, а не в роте почетного караула. Рузимурадов же, напротив, углубился в чашку. И только заметив недоуменные взгляды, настороженную тишину — даже алюминий не звякал — пояснил, опять же с невероятной словоохотливостью:

— Военком надо было привести пять баран, а я только три с гор привел. Не знал. А назад было идти лень, да и баран жалко. Ладно, думаю, отслужу. И служу! И два баран целый остался. Сэ-ко-но-мил! — выговорил он по слогам трудное политическое слово и опять засмеялся, довольный и тем, что справился с таким заковыристым словцом, да и тем, что «два баран» действительно целехоньки и ждут не дождутся с действительной своего хозяина военного строителя Рузимурадова Абдивали.

...Отделение хохотало так, что на вас ошарашенно оглядывалась вся огромная и до отказа забитая солдатская столовая с длинными деревянными столами и опилками на полу — чтобы было и чище, и суше, и теплее, и тише. Сосредоточенные, с капельками пота на лбу, лица отрывались от

священнодейства и разом поворачивались к вам. Хохот был мощный, нутряной, здоровый, и путеводным колокольцем в нем выделялся смех рядового Рузимурадова.

Ты не забыл?

Но все это было много позже, почти через год после описываемого события.

Собственно, его разговорчивость, относительная, конечно, с этого признания и началась. Так ребенок: все впрок видит, все впрок понимает, а говорить начинает вдруг. Количество переходит в качество.

Что касается двух баранов, нельзя не вспомнить и такую малость. Она относится к первым дням службы. Шагали строем со стройки на обед. Путь ваш пролегал по улочке, имевшей скорее деревенский, нежели городской вид. Сельская, даже проселочная дорога посередине, снегом повитая, но все еще яркая, молодая, второго, осеннего, помета трава на обочине. По траве вдоль улочки не совершенно трезвый мужичок, расставив руки, гонялся за овцой. Видно, выскочила из клети, а там из калитки и, ошалев от воли, от холода, от этой сочной, хотя и подмороженной травы, понеслась куда глаза глядят.

Все перешучивались на ходу над незадачливым ловцом, а Рузимурадов, не обращая внимания на явное неудовольствие старшины Зарецкого, приотстал (ему вообще тяжело было шагать с вами в ногу, особенно если учесть, что направляющим в роте был двухметровый богатырь, шахтер Алеша Пахомов и замыкающий Абдивали, как правило, просто, без всякой «ноги» семенил за вами следом) и несколько раз ласково, даже взволнованно повторил:

— Чак, чак, чак...

Овца остановилась как вкопанная, а потом, круто изменив взятое раньше направление, послушно подошла к нему, уткнулась замшевыми, подрагивающими губами в колени. Абдивали, перехватив ее поперек живота, ловко взял на руки и понес навстречу подбегавшему, запыхавшемуся мужичку. Хозяину. Ввиду такого бережного отношения чужого человека к его скотинке хозяин уже не мог, как наверняка был намерен ранее, пнуть ее сапогом в бок, а вынужден был тоже принять овечку, матку, на руки и так, на руках, понес ее к своему двору. Абдивали вернулся к нам, получив в обмен на беззаботную улыбку от старшины Зарецкого свой законный наряд вне очереди за нарушение строя.

Рота уже не смеялась. Рота шла и спинами уважительно чувствовала, что следом за нею, последним, едва поспевая, семенит счастливый в данный миг человек. Вы даже завидовали ему. Человеку, который из всех слов знает только необходимые. Независимо от того, к какому языку они приписаны.

«Чак, чак, чак...» — это на каком языке? На овечьем?

Такой вот человек стоял на левом фланге. К нему, последнему, и подошел наконец подполковник Муртагин.

Вряд ли требовалось трогать шапку рядового Рузимурадова, чтобы понять, как она на нем сидит. Невооруженным глазом видно было, что это не шапка на нем, а он в шапке. Сидит, стоит. Словом, находится. В шапке находится, в бушлате находится, в штанах находится и особенно, с головой, находится в сапогах. Все на нем велико, все шалтай-болтай. Не Абдивали Рузимурадов, а военный строитель рядовой Филиппок. Сын полка. Смешной и, чего греха таить, жалкий в этих одежках с чужого плеча.

— Как тебя зовут? — спросил Муртагин.

В ответ ослепительная белозубая улыбка.

— Как тебя зовут? — повторил Муртагин свой вопрос по-узбекски. (Рассказывают, он специально выучил чуть ли не все языки, представляемые в его соединении.)

Улыбка последовала еще ослепительнее: Рузимурадов тогда был еще несокрушимым молчуном. Только улыбался.

Тогда Муртагин сказал несколько слов на языке, который не поняли даже наши узбеки.

Абдивали расцвел. Пожалуй, *такой* улыбки у него еще не видали. Вся мордаха, включая обычно грустные, самостоятельные — отстраненные? — глаза, одна сплошная, расцветшая, распустившаяся улыбка. Что за язык то был? Овечий?

Муртагин сдержанно улыбнулся, и старшина Зарецкий тотчас подхватил его улыбку, отразил и даже значительно увеличил. Но старшина рано радовался, считая, что гроза, слава богу, миновала. Муртагин хоть и улыбнулся, но это не помешало ему подозвать старшину, поставить его во фрунт и тут, на левом фланге, не столько перед всем строем, сколько перед замыкающим, перед Абдивали...

— Объявляю вам двое суток ареста с содержанием на гауптвахте, — негромко, но внятно (не только Абдивали — все услышали!) произнес он, поднося ладонь к виску.

— Есть, — подавленно, совсем не так, как учил вас отвечать в подобных случаях, ответствовал старшина.

В тот же день в политотдел были вызваны комбат, замполит и заместитель командира по хозяйственной части.

6

Сергей то ли уснул, то ли забылся, выдохшийся, увядший, — только законченные изверги, пожалуй, способны поддерживать в себе постоянный, ровный, работоспособный тонус злости, — когда дверь в спальне тихо отворилась и в нее вошла теща.

— Иди на кухню. Я тут капусты потушила, поужинай...

«Я тут...» Одно только слово, да какое там слово, полслова подправила, и все вышло почти безобидно. Без обиды на него. Я тут приготовила, пойди поешь. Скажи она «я там...» — уже звучало бы иначе. Я слышала тебя, негодяя, я там приготовила, удовлетворила твою чванливую прихоть — ступай лопай.

Что оставалось делать? Промолчать, притворившись, что не видел ее и не слышал? Отвернуться?

Или так же просто, таким же тоном, каким она заговорила с ним, ответить, что он ничего не хочет, что он извиняется за свои безобразия, за доставленные хлопоты, но пусть его оставят в покое. И все-таки даже ответить ей так — тоже значило обидеть. Это ведь не он в ее доме жил, а она жила у него. Сергей, сам когда-то не раз живавший у чужих людей, слишком хорошо знал психологию человека, оказавшегося, пусть хотя бы временно, под чужим кровом.

Молча встал и пошел на кухню. Теща медленно проследовала за ним. Какое-то время посидела с ним за столом, молча подвигая к нему то заранее нарезанный хлеб, то солонку. Да, теща старой, домостроевской закваски: Сергей всегда с пренебрежительным удивлением слушал мужиков, жаловавшихся на своих тещ, на их сварливость и встреванье не в свои дела. У них такого не было. Ни на какие приоритеты не посягала, никуда не вмешивалась, а если и принуждена была иной раз реагировать на случающиеся у Сергея стычки с женой, то всякий раз выступала не на стороне дочери, а на Серегиной стороне.

Во всяком случае, вслух. Что она думала про себя, об этом никто не знал.

Хоть она и сидела перед ним, а все равно видно было, что вообще-то ей не до него. И не до них. Бледна, голову ее туго, как бы спасая от невидимых ударов, повязывал, пеленал тяжелый теплый полушалок, бескровные, темные, иссеченные пучки пальцев мелко дрожали. Всю ее, чувствовалось, донимал внутренний озноб. Посидев с ним, сколько того требовало приличие, встала и ушла. Сергей почувствовал облегчение.

Точно так, как своего старшего сына, Сергей, наломав дров, стеснялся и этой чужой молчаливой женщины. Она напоминала ему мать. Напоминала скорее всего этой своей способностью быть не на виду, не в центре и в то же время везде.

Так когда-то в детстве и его мать, оставаясь почти незаметной в доме, давала ход, движение всему, что составляло эту солнечную систему детства — *дом*. Была так чисто, «заподлицо» пригнана, прилажена, приработана к нему, что сама казалась частью дома. Душой? Сердцем? Скорее сердцем, ибо душа бесплотна и созерцательна, а сердце деятельно. Трудолюбиво. Это его упругие сокращения чувствовались, осязались, как пульс, в любом закоулке дома, гнали сюда тепло, кровь: у матери и у до-

ма единый круг кровообращения. Сердце не бесплотно, оно во плоти и, стало быть, имеет способность уставать и даже останавливаться.

Останавливается сердце у матери — и замирает, немеет, о с т а н а в л и в а е т с я дом.

Внешне теща совсем не похожа на мать. Мать у Сергея была посуше, помельче, пошустрее при той же несокрушимой молчаливости на людях. Обычно молчаливость — удел людей крупных, основательных, самоценных. А тут молчаливость, затаенность маленького в общем-то человека. Правда, оставаясь одна, замечал Сергей, мать начинала негромко и быстро-быстро говорить. Сама с собою. Обсуждала свои заботы, строила планы. И еще очень часто вела нескончаемый разговор с отчимом. Монолог. Как истов, как убедителен был этот молитвенный шепот, едва не срывавшийся временами на плач! И все об одном: как бы мы хорошо жили, если бы ты, Вася, не пил, если бы ты держался дома, если бы ты жалел себя.

Себя!

Никогда не решавшаяся надоедать ему лично — высказать, «вычитать», по выражению сельских баб, полный реестр нотаций прямо в бесстыжие, «залитые», опять же по сугубо местному определению, или, наоборот, в только-только прохмелившиеся «зенки», она обращалась к отчиму вот так, робко, опосредованно, через окружавшую ее стихию.

«Вася» — Сергей и не слышал никогда, чтоб она его так называла в глаза.

В последнее время Сергей нет-нет да и поймает себя на том, что говорит сам с собой.

— Скоро поедем домой...

Потом спохватится: какое «домой»? У него и дома-то другого, чем этот, нет. Если о том, далеком, деревенском, так от него давно и следа не осталось. Он, оставленный, покинутый, в какие-то восемь — десять лет как будто сгорел, даже пригоршни золы по себе не оставив. Вознесясь — дымом, знойным степным маревом. Выструился — в том медленном, призрачном вихре, что стоит невесомым, незримым и вместе с тем неумолимым столбом надо всем сущим на свете и именуется временем. Огонь времени — это тлен.

Так вот, единственное, чем были похожи внешне теща и мать, — это руки. У матери они тоже были большие, словно вещь, разношенная, растоптанная ее владельцем. Руки были огрубевшие, заскорузлые. Надо сказать, мать и сама обращалась с ними, как с какой-либо необходимой в хозяйстве, но весьма прозаической вещью. Скажем, распарив их, чистила ножом, как чистят, скоблят молодую картошку. Или как точат инструмент.

Руки и у той, и у другой натруженные, тяжелые: душа выглянула наружу. Когда говорят «душа болит», то бьют себя почему-то в грудь. Если душа — это любовь, то у матерей она слишком деятельна, чтобы целиком помещаться в груди. Свой мир, свою солнечную систему они объемлют руками.

Душа болит — применительно к матери это болели загубленные отчимом руки. Израненная — в кровь! — душа.

Последнее его воспоминание о живой матери. Раннее-раннее утро. Он, сонный, выходит на порог своей хаты и тут, на пороге, обнаруживает мать. Как продолжение сна: матери несколько месяцев не было дома, лежала в больнице, в районе. Она, видно, только что сошла с автобуса, не хотела их будить, сидит, отдыхает на порожках. Сергей бывал у нее в больнице, но тут особенно резко бросилась в глаза ее нездоровая худоба — первое, что он почти бессознательно, еще не проснувшись окончательно, про себя отметил и от чего у него на мгновение, но жалостно, уже по-сиротски защемило сердце.

Тень помещалась на порожках, легкая, светлая, почти прозрачная. Он молча опустился рядом, мать взяла его голову, уложила к себе на колени и стала легонько перебирать отросшие, запущенные волосы, искать в них. А искать, конечно же, было чего: слишком долго они прожили в доме сами, без ее заботливого догляда. Всходившее солнце сдержанно грело, нежило их. А мать нежила, баюкала его кудлатую, большую, тяжелую — может, тоже от подростковой худобы и легкости всего остального в нем — голову. Сергей и по сей день явственно, отчетливо, счастливо (хотя и с таким глубоким, болезненным, болящим душевным эхом) помнит, чувствует

эти большие жесткие пальцы, с которых даже больница, даже болезнь не свели сухие окаменелости мозолей. Как ласковы, как чутки были эти функциональные, работе подчиненные руки! Мать молчала: что б о л ь ш е е, более существенное, более ласковое могла она высказать словами? С ним разговаривали ее руки. Пальцы. С ним разговаривала, прощалась с ним ее душа.

А как Маша льнет к тещиным рукам! Купается в них, как в полноводной реке с теплым и сильным течением, с пологими берегами, на которых ждет-дожидается тебя то ягода-ежевичка, то лещинный орешек, то еще какая нечаянная радость. Посмотрит Сергей, как самозабвенно они забавляются друг с дружкой, послушает, как заливисто, колокольчиком хохочет, барахтаясь в тещиных руках, его дочка, и даже ревность шевельнется в нем. Сыновей — а теща помогала им с женой выняничить и первых двух детей — не ревновал, а эту вертишейку ревнует.

Что бы он ни делал, чем бы ни был занят дома, а краешком глаза ревностно следит за Машей, за ее стрекозьими маршрутами...

Все последовавшее потом, под утро, Сергей помнит так, словно это случилось вчера. Закроет глаза — и перед ним опять проходит это.

Было, наверное, часов пять. Дом спал. Как обычно в дни разладов с женой, серьезных выпивок Сергей лег не в спальне, а в общей комнате, которую в семье чопорно зовут «залой».

Дом спал. Но под утро сквозь сон Сергей даже не расслышал, а почувствовал, ощутил странный, тревожный шум. Как будто кто-то двигался от «малышовки», тяжело, грузно, слепо оступаясь и хватаясь за стены в узеньком коридорчике. И сдавленно мычал.

Какая глубокая, неизъяснимая тревога исходила от этого слепого движения и шла — волнами, — предваряя его, проникая сквозь двери, стены и даже сквозь самый сон!

Беда!

С этим ощущением беды вскочил Сергей с дивана, закружился волчком, еще ничего не понимая. Отыскать штаны, попасть ногой в штанину... Дверь открылась, и в свете фонаря, торчавшего за окном, Сергей увидел тещу. Она стояла в дверном проеме, тяжело опершись левой рукой о косяк. Правая рука у нее, как-то странно вывернувшись, плетью повисла вдоль тела. Теща стояла согнувшись, опиралась о косяк не только левой рукой, но и плечом, привалилась к нему и вся подалась вперед, а правая рука висела отвесно — ладонь вывернута тыльной стороной, — как беспомощная, безжизненная, вывороченная ласта.

Седые, обычно увязанные в аккуратный пучок и повязанные косынкой волосы растрепались, повисли пегими космами. Левый глаз широко раскрыт, беда и в нем, в нем в первую очередь, свила свое воронье гнездо, зияет и кричит. Правый наполовину задернут веком, так что лишь полоска темного, черного, горячечного света выбивается из-под него. Рот перекошен, силится что-то вымолвить, а получается только одно: «А-а-а...»

Как тогда, в детстве, над степью.

Весть о смерти.

И боль, и страх — и в первую голову, пожалуй, страх, испуг, изумление, как перед роком, потрясшее человека до самого основания, и мольба о помощи... Все было в этом крике. Она вся была — крик, застрявший в двери, как в горле. Почему выбрала именно его дверь? Пошла не в спальню, к дочери, куда было ближе, а направилась сюда, в «залу»? Больше надеялась на его помощь? Жалеючи дочку, хотела первым известить его? Все-таки мужчина в доме. И крик ее был таким сдавленным, словно она все-таки не хотела поднимать лишнего шума: авось, еще обойдется. И дочка, передоверившая дом матери, ее не расслышала.

А может, она потому и явилась к нему, что знала, кто виновник ее беды? И встала над ним, как немой — с этими характерными для н е м ы х мучительными, сдавленными звуками — укор. Как судия.

7

Он и сейчас, в самолете, когда они наконец набрали высоту и теща постепенно успокоилась, замерла под простынями, которыми она тщательно укутана, спеленута, опять и опять вспоминает именно этот глухой пред-

утренний осенний час. Стоило только прикрыть глаза и на миг расслабиться. А ведь прошло сколько... ноябрь... декабрь... январь... февраль... март... апрель... май.. июнь... прошло без малого восемь месяцев. И чего он только за эти восемь месяцев не видел! У него вообще такое впечатление, что все это время не смыкал глаз. И не только потому, что он часто дежурил у тещи по ночам, стараясь хоть на несколько часов высвободить жену,—та однажды пришла из Боткинской и только переступила порог «залы», как тут же, в кругу обступившей ее, заждавшейся детворы грохнулась в обморок. Не выдержала. Дети были напуганы, оцепенели. Потом Маша первой с плачем кинулась к ней, а старшие бросились к телефону—звонить отцу. Ему.

Теперь они с женой сторожили по ночам каждый звук. Каждый стон. А стоны были разные. Было тонкое, почти детское, но непрерывное, ничем не остановимое—ни лекарствами, ни уговорами—поскуливание, на которое и их дети вдруг начинали отзываться среди ночи высокими, смятенными, сонными голосами. Как будто бы чувствовали родственную, страждущую, обратившуюся в детство душу и отвечали ей. Было громкое, в голос, в крик, рыдание. Блочные городские дома не приспособлены к такому открытому, нутряному, полногласному проявлению боли, даже когда так приспичит, проймет, что только в крике, в вопле, истошном, утробном, и можно хоть на мгновение избыть душевную или телесную муку. В такие минуты—да что минуты, часы!—они с женой болезненно прислушивались и к тому, что творилось за чужими стенами. Так и ждали стука или телефонного звонка: мол, что там у вас за безобразие, уймите же наконец! Но ничего, никто ни разу не стукнул и не позвонил, хотя слышали их все.

А утром Сергей ехал на работу. Служба есть служба, и надо справлять ее должным образом. И первое, что делал, войдя в свой кабинет,— запирал его на ключ, швырял в сторону кейс, а сам, не раздеваясь, плюхался в кресло. Клал руки на стол, умащивал на них голову и пять — десять минут спал. В отруб! Полный вакуум, ни грез, ни кошмаров.

Пока не начинали скрестись в дверь нетерпеливые литературные сотрудники и секретарша не делала нескольких кряду предупредительных звонков: просят соединиться такой-то и такой...

Собственно говоря, спать он начинал еще в машине. Втиснется в черную «Волгу», которая вот уже несколько лет возит его на службу и со службы, захлопнет дверцу, поздоровается с шофером, а пока тот ответит, Сергей уже спит. Правая рука держится за ручку над передней дверцей, а голова болтается на предплечье...

И все же не только поэтому ему кажется, что все эти месяцы он не смыкал глаз. Многое пришлось перевидать—поэтому ему и мнится, будто глаза его вовсе не закрывались.

Словно нырял под воду с открытыми глазами...

Когда-то, когда еще работал в Ставрополе, в краевой молодежке, ве́рхом журналистской карьеры казалась должность собственного корреспондента какой-нибудь центральной газеты. Не надо строчить в номер, в командировки можно ездить не на два-три дня, а на неделю и даже больше. Почет опять же, машина. Вся страна тебя читает... К ним в редакцию захаживал собкор центральной газеты: поиграть в шахматы, часами просиживая над доской, в разговорах—преимущественно в жанре совета—был медлителен и вальяжен. Куда ему торопиться? Он и писал не какие-нибудь заметки и корреспонденции, а эк-зер-си-сы. Новый журнализм! Беллетристика факта!

Беллетристика о чабанах, кочующих в беспредельной степи. (Просто гонят овец на стрижку с Черных земель, с отгонных пастбищ, на центральные усадьбы. По-хорошему надо стричь их там, на месте, не мучить овец этими бестолковыми переходами, во время которых они и заболевают, и скидывают в весе, а шерсть загрязняется и падает в сортности, да на Черных землях не хватает рабочих рук.)

Беллетристика о секретаре обкома комсомола...

А его сначала послали в большую газету на стажировку. Там он вроде бы показался, и стажировку продлили. Командировали в Казахстан—осветить уборку урожая. Был год жестокой засухи. Газеты отводили «под хлеб» полосы. И он мыкался из совхоза в совхоз, с элеватора на элеватор, с одной железнодорожной станции на другую. Не спал сутками, маялся животом. Забористая североказахстанская осень: снег, грязь—застала его, а он в пресловутой «болонье», в которой от плевка не спасешься, да в дырчатых летних сандалиях. Пропылился, прокоптился (пользовался в основном попутным транспортом—как наземным, так и небесным, то есть «кукурузным»), исхудал так, что сам вполне мог сойти за какого-нибудь комбайнера. Героя первой полосы. А что: комсомольская братва с ним особенно не чикалась—в командировочном удостоверении черным по белому отпечатано: «нештатный корреспондент».

Какой почет, какой комфорт человеку, если он нештатный? Не положено! Протокол на него не распространяется, а мы стали слишком большими, искушенными ревнителями неписаных протоколов.

У космонавтов принято понятие: нештатная ситуация. Есть штатные, обыденные, а есть нештатные—неожиданные,непредвиденные и, как правило, нежелательные.

Увы, нештатный зачастую и есть нежелательный.

...И охрип: через день вызывала по телефону Москва—телефонистки с редакционного коммутатора, как минеры, выискивали его то в одном районном центре, то в другом, и он диктовал, диктовал, покрывая ором несовершенство связи с «глубинкой». Можно было предположить, что голос его достигал Москвы не по проводам, а так, в свободном полете.

Заметки о передовиках, острые сигналы о непорядках в перевозках зерна, репортажи об участии в уборке воинов-автомобилистов, механизаторов, прибывших сюда с других концов страны. Какие там экзерсисы— сплошной прагматизм! Сплошная газетная черняга. Страна, как то бывало уже не раз, ждала выручающего целинного хлеба, и Сергею, как и множеству других собратьев-газетчиков, наводнивших в те осенние дни здешние скупые безоглядные степи, не было продыху. Печатали его тоже через день: известно ведь—чем меньше хлеба, тем больше печатают про хлеб. Командировку—опять же по телефону—все продлевали и продлевали.

А когда вернулся наконец в редакцию, его тут и оставили. Утвердили вскоре собкором по Волгоградской области. Привезли, представили. И тут же опять пошли телефонные звонки из редакции, задания, да Сергей и сам не сидел сложа руки. По-прежнему чувствовал себя, как на стажировке. На смотринах. Колесил по Заволжью, выискивал интересных людей, влезал в чужие распри.

Бедная старенькая, горбатенькая «Волга», державшаяся на проволочках, завязочках да на честном слове шофера Вити Дородникова, шебутного медведицкого казака, которому даже нравилась такая цыганская жизнь,— Сергей так и не дал машине, как старой заслуженной кобыле, сдохнуть своей спокойной смертью... Да и сам так и не успел вкусить воображаемых прелестей собкорства. Через год его перевели в Москву на должность заведующего отделом сельского хозяйства. И здесь он еще по инерции ездил, стараясь совмещать обязанности заведующего и корреспондента, но в его жизнь уже вошло корпение над чужими материалами (нередко действительно «материалами», сырьем), вошли ночные дежурства, придумывание заголовков, сокращение «хвостов», составление планов и справок. Потом стал редактором, членом редколлегии—таких, не столько журналистских, сколько сопутствующих журналистике, обозных, обеспечивающих ее обязанностей стало еще больше. Через два года—ответственный секретарь. Уж тут ушел в «обеспечение» с головой. Какие поездки, какое общение — его журналистский мир сузился до пределов редакционного коридора. Да еще типографии, с которой приходилось то любезничать, то ругаться. Он всегда чувствовал себя в газете рабочей лошадкой.

Возможно, и у него выходили бы «экзерсисы», но они от него не требовались. Не для этого его брали сюда. И «двигали» тоже не для этого. Точнее—слишком жестко и много требовали с него другого, чтобы его хватало и на экзерсисы. Правда, со временем, с новыми передвижениями эта его нелегкая, порой даже надсадная черновая работа становилась все больше... как бы это сказать—«цеховой», что ли. Уж больно специальной, даже специфической. Никто не отрицал ее полезности и даже важности. Но эта замкнутость пространства, это таинство для посвященных на поверку нередко оказываются игрой ума (еще чаще — нахватанности), не

более того. В минуты таких невеселых размышлений Сергей вспоминал излюбленное ругательство своего давнего армейского командира: «Вы работаете или изображаете конский топот за кулисами?!»

Конский топот за кулисами... Конечно, случается, когда в газете на первом плане виден один ответственный секретарь. Верстка, макет, броскость необыкновенная. Но положа руку на сердце надо признать, что это плохая газета. Главную роль, убежден Сергей, должен играть тот, кто берет взяток и копит мед. Кто берет живую жизнь и переделывает ее к лучшему.

Еще через три года он был назначен заместителем главного редактора. В определенном смысле служба стала вольнее. Поначалу было такое впечатление, будто его снизу, из преисподней, вдруг подняли в благостную обеденную залу.

Где подают.

Где говорят «Вы» — с большой буквы. Вы, Сергей Никитович...

Времени стало больше. Он уже не так жестко прикручен, припаян к повседневному ходовому механизму редакции. Уже мог бы отлучаться с галеры — в жизнь. В командировку. Писать самому, а не только править. Но три года, которые просидел сиднем, дают себя знать. Он стал тяжеловат на подъем, прирос к креслу, к машине, к дому. Сергею сейчас стыдно признаться в том даже самому себе, но что греха таить: он стал побаиваться. Воздуха. Писать в газету — если ты учишь писать других, решаешь участь их работы, то сам должен писать лучше них.

О, эта уверенность, дерзость, наглость не искушенного в столичном токовище провинциального стажера! Который диктовал стенографисткам, даже не зная их имен, про все, что видел вокруг: косовица хлебов напрямую, перевозка зерна, выездная торговля в поле. Он даже не знал, как, в каком виде, с сокращениями или без них, с переделками или без переделок его печатали: просто стенографистка, улучив паузу, сообщала: «Вас напечатали — на первой полосе. На второй...» Да для него тогда это и не было главным. Главным было — проорать. Приложить ладони рупором и проорать — в белый свет. Верил: услышат.

«Повсеместно не хватает пылезащитных очков. У комбайнеров воспаляются глаза...»

«На Аркалыкский хлебоприемный пункт вместо крайне необходимой зерносушилки прислали транспортер для погрузки свеклы, хотя свекла ни в районе, ни в области не выращивается...»

Но ведь слышали, черт возьми! Газет со своими материалами он действительно почти не видел. Не до них было, да и доходили они сюда, в степь, еще беспорядочнее, чем телефонные звонки. Но номер с «последушкой» в пятнадцать строк по поводу очков попался-таки ему на глаза: на полевом стане кто-то прицепил его кнопками прямо поверх доски с социалистическими обязательствами и последушку-ответ из «Союзсельхозтехники» обвел красным карандашом. «Сельхозтехника» клялась восполнить упущение. Там так и значилось: «В ответ на сигнал т. Гусева из Тургайской области сообщаем». Так он впервые увидел свою фамилию — черным шрифтом! — в центральной газете. Он был горд, словно увидел напечатанными те, собственные, слова, которые давеча вкричал, вдунул, в д о х н у л в холодную телефонную трубку.

Тогда он не писал, тогда он — воткнутый вилкой в развороченную степь — с и г н а л и з и р о в а л.

Заместителю главного редактора сигнализировать не пристало. Чин не велит.

И он стал готовиться к командировкам. Выбирать, изучать тему, формировать досье. Подготовка затягивалась (тут еще подворачивались поездки за границу, и надо было выбирать: или туда, или сюда). Подготовка усложнялась, совершенствовалась, становясь едва ли не самоцелью. В боксе это называется «бой с тенью»: демонстрируешь все свои приемы, всю свою огневую мощь и при этом не рискуешь получить в зубы. Он уже готовился на волю с таким печальным тщанием, с каким люди, наверное, собираются в тюрьму.

А поездки, если они и случались, теперь походили скорее на пикники. Ведь сейчас в его командировочном удостоверении было отпечатано совсем другое: ж е л а т е л ь н ы й.

— Здравствуйте, Сергей Никитович, как хорошо, что вы прилетели к нам, — говорили ему, беря под белы рученьки, в аэропорту.

Откуда пошла у нас эта мода, эта блажь: принимать командированных, как дорогих гостей? И ездить соответственно не в командировки, а как бы в гости?

Не работать, а гостить. Этакое всеобщее «в человецех благоволение»? Полный ажур во всех делах: никому не стоит никого побаиваться, всем надо совершенствоваться лишь в говоренье друг другу комплиментов? Минимум официоза, максимум интима. Сама служба становится отчасти не служебной, а салонной.

Круговая порука добродетели или круговая порука грешков? Каждый в чем-то, где-то... У каждого рыльце в пушку — так стоит ли об этом?

— Сегодня в нашей программе посещение дома, где останавливался Михаил Юрьевич Лермонтов. Да-да, доезжал и до наших захолустных пределов...

«Программа»... Опять же минимум дел, максимум развлечения. С непременным — все эти дни пребываешь в подвешенном состоянии и сам не поймешь, то ли под шафе, то ли в стельку — «отведываньем». «Местного производства...» «Только для узкого круга...» «Сам Никита Сергеевич велел когда-то присылать для его стола...» Слоноводство какое-то — провели тебя, как слона на веревочке. И — опять аэропорт, в горячем прощальном жесте воздетая рука, которая, впрочем, деловито опускается, как только ты ступишь на трап: слава богу, сбагрили. Гость на казенный счет...

Почему он думает об этом сейчас? Чего ради пустился копаться в себе? Нашел время!

Они летят на Ил-86. Самолет настолько громаден, что правильнее бы сказать: они сидят на Ил-86. Движения, полета не чувствуется. Под тобою прочный, чуть ли не бетонированный пол, по обе стороны от тебя, как в кинотеатре, ряды покойных кресел, фильм, вероятно, крутят скучный: люди дремлют, уйдя в кресла, как улитки в раковину. Что делается за иллюминатором, Сергею не видно: иллюминатор задернут занавесочкой, и та даже не пузырится. Не шелохнется. Штиль. Ноль движения. Лишь рев, тяжелый, надсадный и такой ровный, всепроникающий, что кажется, будто он заливает, обволакивает здесь все и вся.

Но Сергей благодарен гулу...

8

Сколько хлопот потребовала от него эта по здравому размышлению совершенно неминуемая операция — отправка парализованной тещи домой. К ней на родину. Несколько раз бывал в Министерстве здравоохранения РСФСР, в Управлении скорой помощи населению. Почти больничные коридоры с дешевыми линолеумными полами, с такими же дешевыми тиражированными плакатами на стенах, часть из которых Сергей видел когда-то еще в своей сельской амбулатории. Сколько у нас врачей на тысячу душ населения, как оказать первую помощь пораженному электрическим током — словно человек, приводимый, как правило, крайней необходимостью сюда, в эту едва ли не последнюю инстанцию вспомоществования, ждет помощи именно такой — советом. Ликбезом. А за высокими дверями деловитое пчелиное жужжание, внутренняя налаженная жизнь, в которую и стучать-то со своей болячкой боязно. Сергей всегда робел в подобных палатах невытравимой простонародной робостью, безотчетным страхом перед любым присутственным местом. Так и не научился напористости, умению показать себя, обронить к месту, что он не хухры-мухры... Чистоплюй, говорит иногда в сердцах жена.

Штурм этого бастиона длился несколько дней. Осада — применительно к Серегиному характеру. Так будет вернее.

Заявление. Сведения о прописке больной. Справка из Института высшей нервной деятельности человека, в котором последние три месяца лежала теща, — о том, что состояние больной позволяет транспортировать ее самолетом.

Томительные ожидания. Люди, в кабинеты которых он, наконец, попадал или которых он, наконец, заставал в их кабинетах, занятые, обреме-

ненные папками и телефонными звонками, ставили визы на его бумагах с осмотрительностью привратников рая.

Сергей жадно следил за каждой чиновной рукой.

Он трусил. Боялся этих задержек и возможных непредвиденных обстоятельств.

Московская станция санитарной авиации — господи, когда бы еще он побывал здесь! Санитарным самолетом больную везти нельзя. На такие расстояния они не летают. Аэропланы у нас, понимаете ли, маленькие, маломощные. «Морава» — 250 километров в час и через каждые четыреста верст посадка. Знаете, сколько вы будете так лететь до Минеральных Вод?

Молодой человек манежил Сергея с видимым удовольствием. Деликатно отворяя дверь к нему, Сергей только что застал молодого человека за пристрастным изучением через зарешеченное окно — станция располагается в полуподвальном помещении — проходящих мимо (пролетающих, проплывающих, прошествующих) женских ножек. Молодой человек делал им смотр. Сергей сидел перед ним в испарине.

— Но выход все-таки есть, — смилостивился над ним молодой человек в летной форме. — В таких случаях мы сотрудничаем с Аэрофлотом. По нашему требованию он предоставляет места в рейсовых самолетах, и наш медицинский персонал доставляет больных до места назначения. У вас сидячая больная или лежачая?

— Лежачая, — выдавил Сергей.

— Значит, для нее положены два места. Только придется недельку подождать, сейчас у нас просто нет свободных рук. Медицинского персонала, понимаете ли, не хватает...

— А если без персонала?

— Можно, конечно, и без персонала: оформим вас как нашего представителя. Но вы можете взять на себя всю ответственность за больного человека? У вас что — медицинское образование?

Сергея раздражал этот наставительный тон, и он вдруг с грубостью, которой и сам от себя не ожидал, рявкнул:

— Нет у меня медицинского образования! Что толку, что она восемь месяцев была в руках у медицинского образования?

Похоже, молодой человек был несколько обескуражен такой переменой интонации, живой интерес появился в его глазах — как давеча, когда он смотрел в окошко.

— Она кем вам доводится? Матерью? — спросил он просто.

— Тещей, — буркнул Сергей.

— Да, торопитесь же вы ее отправить, — произнес тот, взглянув на Сергея еще пристальнее, и принялся оформлять бумаги.

Сергей смолчал.

Потом с требованием станции сам поехал в «Трансагентство». Все здание поражено очередями. Они пронизывали его, ветвились, клубились. Но Сергей, как и учили его на станции, тем не менее протиснулся прямо к окошечку и, не обращая внимания на возмущенные толчки под ребра, громко сказал:

— Станция санитарной авиации просит три места на Минеральные Воды.

И протянул в окошко бумаги.

Толчки прекратились. В очереди на мгновение воцарилось затишье: дыхание беды коснулось и ее.

Потом еще надо было договариваться на городской станции «скорой помощи» о карете до аэродрома. Отъезд пришелся на субботу, и на станции санитарной авиации своей машины в этот день не было.

Договорился.

Они снесли тещу на одеяле вниз, во двор, уложили на носилки, установленные в машине на тоненьких рельсах, вкатили их по этим рельсам внутрь и закрепили, застопорили.

Сколько раз за это время он вносил и выносил ее из дома! Тогда еще казалось, надеялось: на несколько дней, ну, на несколько месяцев. В больницу. Из больницы. В больницу «скорой помощью» — когда она упала с кушетки и рассекла ухо и заушную полость. По звонку старшего сына прилетел домой и увидел в «малышовке», которая теперь полностью отдана теще, такую картину: теща, поверженная, по-детски всхлипывающая, на полу, голова у нее в крови. Седые волосы, перемазанные кровью... Над нею, на коленях, с мокрым полотенцем в руках, жена. Уткнулась головой в плечо матери и рыдает. В голос, как по умершей. И дети его стоят вокруг и тоже плачут. Громче, пронзительнее всех Маша. Размазывая слезы кулачками по щекам. У старшего слезы злые, горячие. Не смог он, мужчина, помочь матери: видно, они вчетвером пытались перенести тещу на кушетку и не справились. Измучились, выбились из сил — у сына и сейчас еще слезы вперемешку с капельками пота. Как ни напуган был Сергей, а все равно где-то в подсознании отметилось, грустно обозначилось: дети его непривычно запущенные, необихоженные. Даже Маша, всегда праздничная, выглаженная, и та стояла в замызганном платьишке и в спустившихся на сандалии гольфах. Печать беды, неблагополучия лежала и на них. Жена хоть и ушла с работы, а все равно ее на всех не хватало. На беду и на них: детей, мужа — всех остальных. Всех остальных, включая, пожалуй, и самое себя. Она, которой никогда не давали ее возраста, за несколько месяцев догнала свои годы и уже, кажется, их опережала...

Сергей поднял тещу, вызвал «скорую». Вынес ее с санитарами, отвез в Первую градскую больницу, где ей наложили швы. Потом возил в Институт, а через три месяца из Института. И вот теперь — на аэродром. Первое время он и носить ее не умел. Волок то с друзьями, когда в составе «скорой» были только женщины, то с санитарами на носилках, носилки не проходили в узких, без конца переламывающихся коридорах, не вмещались в лифтах. А теща у него тяжелая, крупная, к тому же парализованный, неуклюжий, нередко не понимающий, чего от него хотят, человек кажется тяжелее собственного веса. Первый раз, помнится, они ее чуть не уронили. А затем Сергей наловчился, приспособился, и уже не санитары командовали им, а он командовал санитарами. Укладывал тещу в плотное, крепкое шерстяное одеяло, сам брался за два его конца впереди, у изголовья, напарник хватался с другой стороны. Так, вдвоем, доносили до лифта, а там и до машины.

Сергей ревностно следил, чтобы и из квартиры, и из дома ее выносили головой вперед.

...Она лежала на носилках в «скорой», Сергей с женой сидели с двух сторон у ее изголовья. Жена гладила ее выпростанные руки и все говорила, говорила. Об их родном городке, в котором та не была почти год, о ее доме и огороде, которые ждут ее забот, о своих сестре и брате — брат живет под одной крышей с тещей, — ее детях, которые так ждут ее домой и так рады будут ее возвращению. Говорила вполголоса, ласково, увещевательно, как малому ребенку. Теща смотрела на нее — правый глаз у нее тоже стал понемногу открываться — покойно, грустно, рассеянно и внимала ей так же кротко, как дети внемлют шепчущим что-то на ухо матерям. И только когда поворачивалась на какое-то короткое время к Сергею, в глазах ее возникал, всплывал из бездны, выворачивая за собой непроглядную темень, тревожный вопрос: «Куда?»

Сергей молчал.

Раннее субботнее утро. Солнце просачивалось сквозь задернутые занавески автомобильного салона и делало их похожими на крылья бабочки.

Шум просыпающегося города сюда, в машину, почти не проникал. Сергей смотрел на жену, и ему казалось, что не только тещу, но и ее, жену, он сопровождает в «скорой», как вез, сопровождал ее трижды в роддом.

Тогда он вот так же гладил ее руку, и она — вот так же — покойно, рассеянно, но с затонувшей глубоко-глубоко тревогой слушала его увещевательный шепот...

Так они проследовали через всю Москву, добрались до Внукова. Следом за ними шла машина приятеля Сергея с подмогой. «Скорая» въехала прямо на аэродром и подрулила к медпункту.

Врач медпункта внимательно читала каждую из поданных Сергеем бумажек.

И опять он сидел напротив на жестком стуле, положив руки на колени и стараясь выглядеть как можно спокойнее.

Белоснежная наколка, такой же белизны и отутюженности халат, приятное молодое лицо, напоенное желтым утренним светом. Вот только узковатые губы чересчур поджаты да в уголках рта тоненькая, как волос, но уже прорезавшаяся складка.

— С таким заболеванием, как у вашей больной, полгода нельзя перемещаться по воздуху, — сказала молодая женщина, строго взглянув на Сергея.

Он сидел, повернувшись к ней, и никак не мог видеть лица жены, но затылком почувствовал, как оно напряглось и замерло.

Жена в последнее время перестала краситься, волосы, в которых потихоньку заструилась седина, закалывает простецким торопливым узлом. Лицо как бы выпросталось, вылупилось из скорлупы: тоже простое, без претензий, даже простонародное. Оно теперь почему-то напоминало Сергею лицо его собственной матери, которое знало одну-единственную косметику, один макияж, да и то лишь летом — простоквашу или кислое молоко. Женщины-колхозницы мазали им лицо и шею, чтоб не «сгореть» в степи на уборочных работах. И на этом выпроставшемся лице как-то сразу заметнее стали глаза. Они и раньше обращали на себя внимание. Один из друзей Сергея — он и сейчас находится здесь, в числе подмоги — поэт, холостяк (точнее, вечно разведенный), не то что взбалмошный, а несколько неупорядоченный человек — откровенно побаивается его жены и, когда они однажды тайком на балконе разливали принесенную поэтом начатую поллитровку, объяснил это так: «У твоей жены слишком трезвые глаза». Сергей тогда немножко обиделся, но еще больше поразился точности определения. В самом деле трезвые. Постоянной трезвости. Видящие тебя, Сергея, особенно в беспощадно-правдивом свете. Со всеми твоими потрохами и недостатками.

Так было.

А в последнее время у нее и с глазами что-то происходит. Их строгость, их трезвость как бы обратились вовнутрь. В себя. Как в затемнение. И сразу будто меньше зелени стало в них. Листва сброшена. И болезненно-чуткие, обнаженные, стынущие пространства открылись в них. Как в голом осеннем саду с его слюдяным воздухом, темными слезящимися стволами, печалью покинутых гнезд. И — неярким, теплящимся светом, обращенным внутрь. Если раньше сад, отражая, дробя, умножая его миллионом своих молодых, блещущих, полированных алмазов, источал свечение (помните у Пришвина: «весна света»), то теперь он сам вбирал скупой осенний свет. Вдыхал. В саду что-то умерло, завершилось, исчерпалось и что-то, возможно, нарождалось. Он б о л е л — отплодоносив, деревья действительно болеют.

...Сергей не видел в этот момент ее лица, но чувствовал, как оно напряглось и застыло. Как сжались в жалкий комок ее руки, шершавые, как бы подавшиеся от бесконечных стирок, от того остервенения, с которым она начищала всевозможной химией посуду, раковины и ванну. Когда по ночам она еще, случалось, ласкала его, он со смешанным чувством благодарности и неловкости слышал, ощущал, как они стараются, два этих подавшихся оселка, извлечь из самих себя всю оставшуюся нежность. Как бережно п р а в я т они его...

Медсанчасть аэропорта — это был последний пункт на пути Сергея с тещей из Москвы в Минеральные Воды и далее в Буденновск. Это был последний пункт, где все еще можно было повернуть вспять. И вовсе не этого, судя по всему, довольно своенравного, ангела-целителя в белоснежном облачении боялся Сергей.

Только человека, неслышно дышавшего — или не дышавшего? — у него за спиной. Жену. Того, что случайная задержка могла подтолкнуть жену к перемене принятого решения.

Принятого ею! — видит бог: Сергей в этом не участвовал. Всячески старался сохранять нейтралитет. Видел, что жена на пределе, что б о л е з н ь перекидывается и на детей, что они измучены и не обихожены. Что дальнейшее лечение тещи в Москве исчерпано. Что с точки зрения здравого смысла ей, пожалуй, и впрямь лучше было бы сейчас в родных стенах: из тех стен, из ее хаты, тещу хоть можно вынести во двор, под вишни и яблони, ею же когда-то и посаженные. С одиннадцатого этажа это сделать куда сложнее. Что те же соседки, старухи, будут навещать ее — беленькие платочки, нарочито громкий разговор о том о сем, — все это может утолить ее страдания.

Наконец, лучше бы перевезти пока живую, чем перевозить потом т е л о. Все равно ведь хоронить придется там, на родине, среди родных ей могил. Да и родни там куда больше, чем здесь, в Москве. Здесь они одни — оторвавшиеся. А хоронить придется неизбежно. И хлопот с перевозом тогда будет еще больше.

Все это он видел, знал, чувствовал, предчувствовал, но молчал, не подталкивал неизбежное — тоже ведь неизбежное!

Но и не противился ему. Дежурил у постели, сбивался с ног в поисках лекарств и снадобий. Добивался консультаций у профессоров — увы, эти светила повторяли то же самое, что в самом начале сказал врач «скорой помощи», зелененький юнец, у которого Сергей нечаянно заметил в саквояже с инструментами потрепанный медицинский справочник.

Устраивал тещу в Боткинскую — не каждый коренной москвич сподобится лежать в ней! — и даже «пробил» Институт высшей нервной деятельности человека. Но хранил неизменное молчание, если заходила хотя бы самая отвлеченная речь о будущем. О будущем тещи. Применительно к такому человеку, к такой болезни понятие «будущее» означает только одно: будущее, дальнейшее местопребывание. Будущее, сведенное к местопребыванию, — никакого будущего. Не противился решению, трудно, болезненно зревшему у жены. Предоставил ей всю муку решения — так ему казалось честнее. А она, возможно, ждала, искала его поддержки, беспомощная и растерянная. Или — его сопротивления.

Тонула, не в силах принять решение, но он ей на помощь не спешил.

И она решилась. И вот тут-то, когда она, наконец, решилась, он принялся за дело энергично и решительно. Может быть, только эта энергия и выдавала его. И как то бывает при барьерном беге — перед каждым новым барьером на мгновение замирает сердце, — так и здесь перед каждым новым или тем более неожиданным препятствием у него все напрягалось внутри.

Каждая пауза могла стать непоправимой.

Каждая пауза продлевала душевную муку жены. Это и было то сопротивление, которого она ждала. Чаяла, но спасительный круг сопротивления протягивали другие. Он не протягивал, протягивали объективные обстоятельства. И она могла воспользоваться им. Воспользоваться объективными обстоятельствами. Ибо решение хоть и было принято, но душевного покоя не принесло. Скорее напротив: теперь она мучилась не только болезнью матери, но и своей. У нее болела совесть — Сергей знал. Видел.

...Это был, пожалуй, последний барьер: дальше, сразу за медсанчастью, открывалось чистое летное поле.

— У нас после инсульта прошло значительно больше чем полгода. Посмотрите внимательнее историю болезни.

Сергей прямо, в упор глядел на молодую женщину — под его взглядом та даже вынуждена была оторваться от бумаг. И слова эти тоже произнес ей прямо в лицо. Негромко, раздельно, в упор.

И все-таки они предназначались не ей, хоть она и вскинула тревожно свою красивую голову. Не ей. А той, что сидела, напрягшись, и дышала — или не дышала — за его спиной.

Женщина, поджав и без того тонкие губы, еще раз пролистала историю болезни. Нашла дату, когда случился инсульт: 12 ноября прошлого года. У них «в запасе» еще два месяца. Сверх шести...

— Хорошо, мы вас отправим. Ждите, вас пригласят на борт до общей посадки.

Жена за его спиной потихоньку заплакала.

9

Ждали недолго. Вскоре их действительно пригласили к самолету. Чтобы лишний раз не перегружать, не переваливать больную, им разрешили подвезти ее к аэробусу не на аэропортовской «скорой помощи», а на

городской, на той, в которой она все это время, пока шло выяснение, и лежала.

Они вышли из медпункта, и тут случилось одно небольшое событие, которое теперь, в полете, вспомнилось Сергею. Да это и событием-то не назовешь. Просто вышли и столкнулись со строем суворовцев. Строй вольный, нестрогий. Юные раскрасневшиеся лица — два погона на плечах и два на щеках, — стриженые затылки. Отроческой свежестью повеяло от этого утреннего, весело переговаривавшегося строя. Подростков то ли отправляли куда-то на каникулы, то ли на летние полевые учения, если таковые у суворовцев бывают, то ли просто куда-нибудь на Кубань, в колхоз, на первую черешню. Как бы там ни было, их наверняка выпускали на волю, на вольницу — пусть хотя бы строем — из четырех стен, из опостылевших за учебный год классов. И они откровенно радовались этому.

В полет!

В самом деле, как скворцы-сеголетки в этих черных мундирах...

Видимо, их подвезли на автобусах организованно, прямо к летному полю — так они оказались здесь, с тыльной стороны аэропорта. Кто строил рожицы, кто прыскал в кулак, кто подталкивал локтем товарища. Словом, они вели себя, как обыкновенные школьники, мальчишки, хоть рядом со строем и шагал — он, пожалуй, был тут единственным, кто действительно ш а г а л, — их дородный усатый дядька Черномор.

Идут себе озорные, веселые, несмотря на ранний подъем, вольные даже в строю. Тем более что и дядька их командами не донимает. Вернее, команды-то подает: «Выше ногу!», «Тянем нос-сочек!», но сам же единолично их и выполняет. Тем и довольствуется. Самозабвенно шагает полковник Черномор!

Идут себе и идут. Если бы не эти черные скатки за спиной — шинельки все-таки пришлось взять с собой — да музыка, что идет за ними следом.

За мальчишками — нет, не шагал, не летел — мреял марш «Прощание славянки». Играли его такие же суворовцы, подростки, они шли вслед за строем, на некотором — в шаг — отдалении от него. Играли «вполголоса», как бы предназначая его только для своих же, для суворовцев, а не для всех обитателей Внукова, чтоб не нанести урон пассажирообороту. Не отвлекать, не вносить сумятицу. Из-за этой приглушенности и казалось, что марш мреет. Не суровый, едва отбеленный плат звучно полощется над асфальтом, а реденькая газовая косынка вьется вслед за черным юношеским строем.

И Сергей, и его жена, и его помощники остановились. Больная в машине и та повернула голову и долго-долго смотрела с носилок в окошко с отдернутыми занавесками на мягко колыхавшийся за ними, как бы в такт платочку, строй.

Всех достигло это чуточное касание...

Как беззаботно все выглядело бы, не будь этих тоненьких скаток за спиной да этой мреющей музыки позади.

И юность, подростковость, угловатость их сразу стала заметнее. Их словно углем начертили, набросали наспех, выделив в них самое существенное — эту щемящую мальчуковатость.

В какой еще мелодии так простосердечно — дыханием — соединяются мужественность и нежность, пафос и печаль! Понуждение — все-таки марш, и мольба — все-таки плач.

Может, и хорошо, что его в ы д ы х а ю т...

Жена кинулась к машине, достала из сумки коробку конфет и успела-таки сунуть ее самому маленькому оркестранту. Замыкающему. На ходу расстегнула ему пуговичку на гимнастерке и сунула прямо за пазуху. Тот так и продолжал свой путь с трубой в руках и с коробкой конфет за пазухой. Так и нес впереди свою невесомо-тревожную мелодию.

10

Жена прощалась с матерью в «скорой». Их, мужчин, по существу посторонних, пропускали дальше, к самолету, ее же, родную, единственную здесь родную, дальше не пускали.

И она, не тратя дорогое, стремительно убывающее, уплывающее из-под ног время на безуспешные мольбы побежала к машине, бросилась матери на грудь — наискосок, — и та спокойно, увещевающе погладила ее раскрывшиеся сединой волосы. Такой яркой, морозно-ослепительной в этих простеньких, сереньких, узлом заколотых волосах...

Они успели занести носилки до общей посадки. Им с тещей отвели целый ряд — последний. Сергей поднял подлокотники, кресла застелили толстым ватным одеялом, потом простыней, уложили на них тещу, сверху тоже прикрыли по самый подбородок простыней. Сергей примостился рядом. Наспех попрощался с друзьями, каждый сказал свое ободряющее слово теще — все слова остались безответными, — и подмога гурьбой двинулась к выходу. Навстречу уже шли первые пассажиры. Те, кто проходил в их салон, с настороженной украдкой оглядывались на последний ряд, на Сергея, на простыню, на человека под простыней. Такое соседство смущало. Будь это не самолет, а, скажем, поезд, к нему бы отнеслись спокойнее. А тут самолет, и не какой-нибудь, а аэробус на три сотни душ, пущенный по трассе Москва — Минводы. Трасса курортная, время летнее, июнь, и большинство пассажиров наверняка торопились на отдых. И предпочли бы, конечно, совершенно беззаботный, насколько это возможно на борту самолета, перелет из обыденности в праздник. Человек под покрывалом их стеснял. Не то что обыденность — сама беда, очевидная, беззастенчиво обнаженная, хоть и прикрытая этим белым саваном, летела вместе с ними. В этом был если не зловещий, не пугающий, то уж точно — предостерегающий знак. Сергей, сопровождающий беду, тоже попадал под эти любопытно-настороженные, украдчивые взгляды и чувствовал себя под ними неуютно.

Людей вокруг было много, даже чересчур много — а ведь еще несколькими минутами раньше казалось, что этот караван-сарай и заселить-то, наполнить до отказа невозможно. И все-таки теперь наконец он остался с больной наедине.

Как-то все сложится, справится ли? — об этом подумал, пожалуй, впервые. Раньше ему, занятому преодолением препятствий, это даже не приходило в голову. Честно говоря, он и предостережению молодого человека на станции санитарной авиации не придал тогда особого значения. Воспринял его как очередное препятствие, которое нужно было во что бы то ни стало и как можно быстрее преодолеть. Проскочить. Зато теперь все вспомнилось в одночасье. Справится ли? Да, людей вокруг много, даже слишком много. Не вокруг, а впереди, спиной к нему. Затылками — три сотни затылков впереди... Не хватало еще, чтобы из-за них с тещей поднялась суматоха, чтобы им потребовалась помощь извне, от этого ушедшего в кресла сообщества.

Впрочем, теща быстро успокоилась и даже, казалось Сергею, задремала. Ее большое, округлое, до сих пор бледное, бескровное лицо зарозовело. Словно какая-то еще не истребленная болезнью волна жизни с трудом занималась где-то в глубине, в недрах большого обезвоженного тела и неслышным всплеском достигала этих обесцвеченных, иссеченных морщинами щек, как бывает обесцвечен, иссечен и истончен осенними дождями и ветрами уже неживой, давно оторвавшийся от ветки, забытый лист.

Покоившееся на подушке лицо было значительным. Что придавало ему значительность? Смеженные, прикрытые глаза? Седина, выбивавшаяся из-под платка и обрамлявшая лицо ослепительно белым, рафинированно белым венцом? И опять Сергей впервые заметил, что за время болезни седина выровнялась, отбелилась, растворив встречавшиеся раньше пятна желтизны, тусклой замутненности. Жизни? Волосы не жили отдельно, они умерли отдельно, первыми, вспыхнув перед смертью невесомым светом пережитых старухой мук.

Венец был терновым, просто терн был цветущим.

Недавно жена, вспомнил Сергей, постригла тещу. Ей давно советовали обрезать матери косу, но она все тянула, не решалась. С этой прической, с роговым гребешком в подрезанных волосах теща сразу стала похожей на стахановку — не хватало только задорной косынки да туфель под названием «комсомолки». И похожей на мать Сергея — такую, какую он и не помнит вовсе, а знает лишь по фотографии, д р у г о й фотографии (их всего-то две и сохранилось). Мать фотографировали за хорошую работу, шаль за ее спиной растянули: в верхнем углу карточки так и остались видны часть лица и руки мальчишки, стоявшего на стуле и державшего за

один край темную клетчатую шаль. Ее фотографировали за хорошую работу на ферме для диплома — тогда еще не было досок почета и в ходу было другое выражение: «фотография на диплом» — снимали, наверное, прямо на ферме, потому что в пацане, державшем шаль, Сергей задним числом узнал сына совхозного зоотехника.

Ее фотографировали за хорошую работу, а она взяла и поставила у своих коленей его, Серегу. Ему было тогда года четыре, не больше. Черные короткие штаны с лямкой через плечо, белая, в полосочку рубаха, сурово насупленные брови и черная шерстяная, с пуговкой наверху фуражка на голове. Фуражка-то зачем? Дело, судя по всему, происходило летом, в жару. Чтобы показать: есть и фуражка, и штаны с помочами, и носочки... И мать сидит на табуретке с короткими волосами, с задорно повязанной косынкой, в черных туфельках с пряжками и пуговичками под названием «комсомолки» — наверняка бегала домой переодеваться. Сергей-то знает, как, в какой одежде работают на ферме. Сегодня работают, не говоря уж о том, как работали тогда. Ворот у белой кофточки чуть-чуть расстегнут, единственное, что не празднично на этой фотографии, — руки, выпростанные из засученных рукавов и сложенные матерью на коленях. Как черны они на белом! — уже загоревшие, задубевшие от солнца и работы, но сильные, уверенные, но еще не искалеченные. Она их еще не прячет: вот они, мои руки! Она еще вся дышит молодостью и уверенностью. Такой ее Сергей не помнит. *Такую* от него застят даже не годы: слишком скоро и слишком густо, черно пошли в ее жизни вслед за этим счастливым и ранним часом напластования и наслоения, из-под которых *такую* было просто не рассмотреть. И не запомнить.

Почему она поставила его рядом с собой? Боялась, что другого случая не представится? Какие там фотографы в селе в пятьдесят первом году! Потому и награждали ударниц их собственными же фотографиями. И уговорила, упросила фотографа? Или наоборот — настояла?

Вот они, мои руки. Вот он, мой сын. Мать родила Сергея без мужа.

Теща тоже, наверное, была когда-то ударницей. И носила такую же прическу и туфли с названием «комсомолки». Только теперь волосы у стахановки совсем-совсем седые. Безжизненно седые. И сама стахановка, когда-то моторная и трудолюбивая, тоже почти безжизненна. Неподвижна. Глаза прикрыты, и нездоровая асимметрия в лице почти незаметна. Разве что правый угол рта чуть-чуть ползет вверх да весь его кривит иногда пробегающая по увядшим, как и щеки, губам смутная, невольная, бессознательно-страдальческая усмешка. Да это и не усмешка вовсе — так, губы вздрагивают.

Самолет уже опробовал турбины, уже его вывели на взлетную полосу, уже он взревел, как бугай, которому неожиданно показали красную тряпку, — перед тяжким броском вперед, перед тараном. А теща так и пребывала в отрешенности — и от Сергея, и от самолета, и от выстроившихся на многие метры вперед затылков, да и, казалось, от самой болезни. Сергей и сам, глядючи на нее, стал успокаиваться. Ничто не предвещало худа. Может, так и пройдет весь полет и его страхи напрасны? Подумал о жене: как безотрывно и больно следит она сейчас оттуда, от медпункта, за их самолетом, за его могучим — тут не бугай, тут стадо бугаев, сокрушительно ринувшихся вперед, — разбегом. Ладони опять, наверное, сжатые в горячий комок. И когда они, разбежавшись, наконец взлетят, весь их долгий полет ее стонущая душа будет лететь рядом с ними. Острая жалость к ней, впервые за эти восемь месяцев такая острая, подступила к сердцу, подтопила его, горячая и вязкая, выталкивая сердце наверх, к горлу, и у Сергея перехватило дыхание.

Самолет оторвался от бетонки, сразу обретя упругую легкость и плавность пущенной в зенит стрелы.

И тут она закричала.

Сергей даже не заметил, когда больная вышла, выскользнула из состояния покоя и напряглась, как тяжелая басовая струна, которую рванули что есть силы. Выбившись из-под простыни, заметалась по ее прохладной, саванной поверхности обезумевшая ладонь. Все теребила ее края, разглаживала и поправляла, то стараясь потуже подвернуть ее под себя, то, наоборот, распуская концы простыни до пола. «Обирается!» — первое, что успел подумать Сергей, и похолодел. Даже не столько еще от ее крика,

сколько от этих пугающе знакомых движений бледной, морщинистой, старческой руки, из которой словно сразу вынули жизнь. Была рука — тугая, сильная, а за время болезни осталась одна пергаментная облатка. Жизнь как бы испарилась, выползла тихо и незаметно, как выползает змея из выношенной шкурки, покидая ее, белую и неживую, шелушащуюся, оставляя на произвол судьбы где-нибудь на полынном кустике.

11

Обирается! Тот, самый первый врач, зеленый юнец со «скорой помощи», как только вошел в комнату и увидел ее, распростертую на кушетке, увидел эти судорожные и вместе с тем монотонные, монотонно-судорожные, нескончаемые, заведенные движения, эти блуканья здоровой руки в поисках чего-то утраченного, ускользающего, так сразу же обернулся к шедшему следом Сергею и, глядя прямо в лицо, сказал:

— Она же у вас обирается. Не жилица...

И ему сразу вспомнилось, как обиралась перед смертью мать. Слабые, затухающие пробежки полупрозрачных пальцев по краю простыни — она словно проверяла на ней, ею же когда-то подрубленной, каждый стежок. Уже была в беспамятстве, уже никого не видела, никого не узнавала, и только руки — и впрямь как еще живая, искавшая выхода душа — боролись с обступившей тьмой. Невыразимо печальное, завораживающе-печальное зрелище. Мать умирала у него на глазах, и он не мог отвести взгляд от этих обирающих, охорашивающих, последнюю работу делающих рук.

Как он мог забыть!

И в больнице, когда ему выпадало дежурить подле тещи, он пристальнее всего следил за ее руками. За ее здоровой рукой. Покоится она или мечется, перебирая простыню или одеяло. Несколько суток рука не находила покоя: теща то полностью вынимала, выпрастывала одеяло из пододеяльника, то опять же бессознательно пыталась вправить его обратно. Остановить это загнанное нескончаемое снованье — так понял Сергей свою первоначальную задачу. В этом, даже больше чем в том, чтобы ворочать больную, когда приходили медсестры с уколами, и делать разные другие, требовавшие мужской силы дела, видел смысл своего сидения здесь. Гладил ее руку — кожа на руке (раньше он этого и не знал, не замечал) оказалась чуть-чуть рябой, ноздреватой, как пропекшийся кислый блин. Брал ее ладонь в свою.

Палата была тяжелая, почти у каждой кровати кто-то сидел, и все уже, конечно, были осведомлены, что Сергей *зять*, а не сын. Ему казалось, что его уличат в неискренности. Да что казалось: он стеснялся и самого себя. Его отношения с тещей были лишены какой-либо натянутости, но и сентиментальности тоже. Сергей не то чтоб терпел ее, когда она надолго поселялась в его доме, а даже привыкал к ней. Приходя вечером с работы, он с удовольствием видел ее в «зале» среди своего семейства, объединившегося вокруг телевизора, в кресле, с неизменным вязаньем в руках и неизменным же чадом на коленях. Чада меняются, принадлежность их неизменна — Серегины. Этого достаточно, чтобы Сергей был по отношению к ней ровен и доброжелателен. Но не более. И дело не только в том, что она, как ни говори, была для него чужой. Сергей слишком хорошо и больно — а с годами, кажется, все больней — помнил свою мать, чтобы быть сентиментальным, сюсюкающим, ненатуральным с чужой пожилой женщиной. Он и чужих детей никогда не прижимал, не подбрасывал, не гладил по голове, потому что слишком любил своих. Он и с чужими детьми ровен, даже ласков, но без фальшивых ужимок.

Ему и в голову не приходило проводить параллель между тещей и матерью. Он хоть и называл эту чужую женщину матерью, но сознавал, что это просто дань приличиям. В тех местах, откуда они родом, в той среде, в которой обретается его теща, зятья зовут тещ матерями.

А с годами и жену стал звать матерью. Так тоже было принято в том кругу, в котором он когда-то рос, так проще, короче. Тут слово «мать» тоже не отражало какую-то новую, более высокую степень нежности, близости. Напротив, было привычкой. Он сразу двух женщин в доме называл матерями, но сыном себя не чувствовал. Больше того. Когда

жена допекала его придирками, зло отрезáл: «Не забывай, что я тебе муж, а не сын!»

Матери... Давно привыкший к самостоятельности, отпочкованности, он и не ждал от них материнства. Иногда только, возвращаясь с дежурства, топтался у двери, ленясь лезть в карман за ключом, потихоньку шевелил дверную ручку — звонить нельзя, сразу детей перебудишь — в надежде, что жена или теща не спят, ждут, услышат и откроют.

Слышали редко. И тогда он лез все-таки за ключом и, открывая скрипучую дверь (когда же наконец смажет ее машинным маслом!), устало, беззлобно думал: эх, мать бы услышала! Мать бы ждала...

Он входил в прихожую, и из глубины квартиры сразу слышалось в темноте робкое, вкрадчивое шлепанье босых упругих пяточек. Маша! Вот кто его всегда слышит, чует, чувствует и крадется навстречу, боясь не темноты, а того, что разбудит, вспугнет мать и ей нагорит за то, что не спит, что встала, босая, из постели. Он принимает ее, сонную, ступающую во тьме скорее наобум, чем вполне осознанно, на руки. Та тычется теплыми со сна губами ему в подернувшуюся к ночи жесткими, колючими пеньками щеку, в шею, спрашивает на ухо, тоже не вполне проснувшись, что он принес. Он, принимая ее одной рукой, другой кладет на тумбочку «дипломат», расстегивает его, вынимает из заготовленного кулька конфету (узнала бы жена о таком святотатстве!), сует ей в ручонку. Стараясь не шуметь, сбрасывает, сдирает, уродуя задники, нерасшнурованные туфли, и, по-прежнему не зажигая света, в носках, крадучись, несет дочку на ее место, в ее еще не успевшую остыть кроватку.

Вот кто его ждет, слышит, вот кого ему надо было бы по справедливости называть матерью!..

А вот в больнице брал руку тещи, гладил, пытался мягко удержать в своей ладони, остановить, пресечь агонию. Делал шаг за шагом из им же очерченного круга.

Больше всего ему бы не хотелось, чтобы за этим занятием его застала жена. Больше всего боялся ее трезвого суда. Хотя в последнее время трезвость в ее глазах таяла. И если говорить честно, то еще неизвестно, каких глаз Сергей робел больше: трезвых или теперешних, б о л е ю щ и х. Страждущих. Те нередко вызывали в нем злость. Сдерживаемую, но вместе с тем собранную, концентрированную, колючую. Постоянную готовность к нанесению ответного удара. Эти — все чаще вызывают растерянность.

А рука мягко, почти по-девичьи выбиралась, выскальзывала из заточенья и продолжала свое слепое, спотыкающееся блужданье. Душа на излете... Шага его не принимала. Не доверяла.

Заходившие в палату врачи и медсестры, даже если направлялись к другим больным, каждый раз останавливались у кровати тещи и, чуть заметно покачивая головой, молча смотрели на них. На больную и сидящего сгорбившись возле нее Сергея. Все ждали...

А в один из дней, вернее то была ночь, рука остановилась. Сергей, как обычно, накрыл ее своей ладонью и, согнувшись на жестком больничном стуле, не заметил, как задремал. Сколько спал? Минуту? Час? Не понял. Но первое, что заметил, проснувшись, — ее рука так и покоится, накрытая, в его ладони. И сама она, кажется, спит. Спит? Рука теплая, мягкая — спит.

С тех пор больше не обиралась...

И вот теперь, через много месяцев, в самолете — опять. Лихорадочные, рыскающие движения. Как будто человек срывается, летит в пропасть и ему не за что ухватиться. И крик, такой же, как, наверное, при падении в пропасть. Крик, которому тоже не за что зацепиться. Вой.

Крик на предельной ноте, глаза раскрылись, разверзлись, молящие уставились на Сергея. Ряд затылков впереди зашевелился, словно высокие, «ришельевские» кресла сразу стали неудобными. К Сергею оборачивались недоуменные лица.

Сергей растерялся, взмок. Случись это в больнице или дома, в привычной обстановке, он быстрее нашелся бы, что делать. А здесь растерялся. Громадная масса людей, находившихся рядом с ним, сковывала его. Рядом — и так далеко. Он словно испугался огласки в чем-то неприличном. Как будто сразу всем все открылось: кого он везет, куда, в каком состоянии. В том, когда лучше не летать. В салоне сразу засквозило и бедой, и чуть-чуть скандалом. Хорошо еще, что рев от двигателей здесь, в хвосте, такой, что волосяной, сверлящий вой больной слышен только Сергею да одному-двум рядам пассажиров. Ближе к середине, к носу, конечно, тише. Сергей малодушно благодарил случай за то, что места им достались в хвосте. А может, для транспортировки больных всегда выделяют именно этот, последний, ряд, чтоб не шокировать здоровых?

Поймал тещину руку в свои ладони, как в створки раковины. Рука пугающе-холодная, дряблая и даже чуть-чуть осклизлая. Согревал ее, гладил, говорил какие-то ласковые, растерянные слова, которых она, конечно же, не слышала. Он и сам их не слышал в реве и крике, чувствовал лишь, что губы его шевелились, выговаривая, выпевая что-то ласковое и успокаивающее. Может, слова, которые он шептал в приливе нежности и жали к дочке Маше, когда та болела, металась в кроватке, в беспамятстве и жару. Слова тогда рождались сами, он над ними и не задумывался. Конечно, мог бы дать теще что-либо из захваченных в дорогу лекарств, успокоительного, хотя бы усиленную дозу тазепама. Но с некоторых пор даже в критические моменты они перестали давать ей успокоительное. Не доверяли. Опять же мимолетно вспомнилось почти забывшееся, почти зажившее. Когда умирала мать, их сельская фельдшерица оставила Сергею в доме беленькие таблетки. «Когда ей будет особенно больно, — сказала, — давай». Сергей и давал. Как только мать застонет в постели, он, сам мучаясь от ее боли, давал ей эту беленькую рафинированную таблетку.

Когда ей особенно больно... Ему казалось, она и не выходит из этого состояния — о с о б е н н о й б о л и. Где бы ни был — в доме ли, во дворе, где ему приходилось управляться по хозяйству, поскольку отчим пребывал с горя в запое, чутко улавливал, угадывал эти неслышные стоны, они отдавались в нем, как в колоколе, и он стремглав несся на их зов со стаканом воды, чайной ложечкой и с крохотной таблеткой в ней.

Мать переставала стонать, опять закрывала замутившиеся глаза. Раньше, когда была здорова, они напоминали спелые-спелые, почти прозрачные виноградины, теперь же с каждым днем болезни в них как бы шло новообразование клетчатки, твердой, мутной, застящей все и вся. Сергей считал, что матери становилось легче. Откуда было знать ему, что она не болеет — умирает? Откуда было знать, что от той болезни покамест нет лекарств? И что таблетки, которые он протискивает сквозь ее сцепленные зубы, не лечат. Лишь много лет спустя от той же фельдшерицы узнал, что таблетки были снотворные. Даже не болеутоляющие — снотворные. Значит, вполне возможно, что это по его вине мать умирала в беспамятстве, никого не видя и не узнавая. И может, последней, смертельной каплей и была-то не боль сама по себе, а эта мелово-белая, мучнистая таблетка. Цикута. И тогда, выходит, он, сын, а вовсе не отчим, поторопил ее смерть. С тех пор он и не доверял таблеткам, особенно таким. Безжизненно белым, дистилированным. По одному виду которых чувствуешь: отрава.

Теща была объята паникой, как пожаром. Сергею никак не удавалось нащупать пульс. Он наверняка был, но такой поверхностный, секущийся, идущий не тугой, волнообразной струей, а веером, микроскопическими брызгами, что Сергей не мог различить его в том хаосе, в который он погружался, внимая чужому больному телу. Искал пульс, чтобы не только найти, почувствовать чужую еще теплящуюся жизнь, но чтобы и твой пульс, все твое прорывающееся сквозь холод, сквозь панцирь, сквозь панический страх участие тоже различили, почувствовали, вняли ему — как голосу разума, спокойствия и поддержки.

Подать руку человеку, балансирующему на краю бездны в тщетных поисках опоры. Человек получит опору — пусть податливую, непрочную, требующую от него собственных усилий, пусть! — и, вполне вероятно, задержится, зацепится в своем безудержном скольжении во мрак.

Ты же почувствуешь себя даже не более усталым — более смертным, чем раньше.

...Он, кажется, мало-помалу нащупывал ее пульс. Рассеянный, тот все же собирался в пучок, пусть слабый, вялый, с трудом, редко, но доходил до его пальцев. Как заблудившийся свет, как пробивающийся в тумане пароходный гудок. Не то свет или звук, не то обман зрения или слуха. В эту минуту он не слышал ни гула самолета, ни тещиного крика. Они, конечно, существовали, он отмечал их краем сознания, но это был всего лишь фон, на котором, как на грубой восковке кардиограммы, змеилась, корчилась и ломалась, пропадала и появлялась вновь, вычерчивалась тревожно тонкая, как трещинка, кривая ее пульса.

Он слушал пульс, он, кажется, сам его порождал, вдыхал силой своего сострадания и страха, когда почувствовал, что кто-то подошел к нему и положил руку на плечо.

12

А ведь это Муртагин принимал тебя в партию.

Принимало, естественно, партийное собрание, потом была парткомиссия — все, как положено. Но партийный билет, точнее серенькую, совсем не торжественную кандидатскую карточку ты получал из рук Муртагина. Не забыл?

Карточку получал не один. Только из вашей части вас было двое — ты и ефрейтор Степан Полятыка. Ты к тому времени прослужил месяцев пять — кандидатом в члены партии тебя принимали по рекомендациям, взятым еще до призыва, у старших коллег по «гражданской» работе. Степан же — бывалый солдат. Служил второй год, весной предстояло увольнение в запас.

Служил... Трудно себе представить нечто менее служивое, чем ефрейтор Степан Полятыка.

Работал — этим его служба исчерпывалась сполна. Степан — плиточник. И не просто плиточник, а плиточник-мозаичник. Вероятно, по штату в строительной части, тем более вашего назначения, плиточники-мозаичники вовсе и не предусматривались. Это уже искусство, а здесь необходимо ремесло. Работа. Объекты, которые вы возводили, тоже меньше всего нуждались в панно, мозаиках и прочих финтифлюшках.

Точность! — копки и кладки — вот в чем они больше всего нуждались.

Это и была единственная тонкость применительно к вашим основным строительным объектам.

Свою специальность Степан получил еще до армии. Ты же с ним познакомился на строительстве офицерской столовой. Это огромное двухэтажное сооружение, в котором по окончании строительства, пожалуй, можно приютить сразу всех неженатых офицеров гарнизона. Все холостяцкие офицерские общежития Энска могли со временем столоваться в этом железобетонном заведении, соединившем в себе по воле безвестных проектантов угрюмые черты фабрики и казармы.

Столовую надо было сдать к Новому году, поэтому работы шли в три смены, круглосуточно — ночью при кинжальном свете прожекторов — в лихорадочном темпе. Все тут бегало, крутилось и гремело. Ее громада кишела людьми, сновавшими по обоим этажам, по перекрытиям и даже по кровле: все работы, включая заливку кровли горячим битумом и настилку рубероида, велись едва ли не одновременно, напоминая кишащий муравьями глиняный термитник.

Сходство тем полнее, что люди, как и муравьи, одинаковы: шапка, фуфайка, перепоясанная ремнем, сапоги. Солдаты.

Разница лишь в том, что муравьи трудятся молча, здесь же звучали отрывистые команды, гудели бетономешалки, рокотали, грозно выбрасывая короткую, но толстую, упругую, пульсирующую струю пламени, мощные калориферы, которые одновременно и обогревали рабочие места, и сушили штукатурку на стенах. Муравейник эпохи НТР.

И лишь один человек выпадал из лязга, грохота и суеты. Пребывал в молчаливом каменном веке. В веке мускульных усилий. Сбросив куцую солдатскую фуфайку, сгорбившись, как горбятся все истинно мастеровые люди, сидел на корточках и с помощью самолично обструганных палочек и шпагата делал только ему ведомые разметки в заранее приготовленном для него под его же молчаливым, но бдительным наблюдением, еще не затвердевшем бетоне. Возле него стопками лежала разноцветная керамическая плитка. Собственно, никто по цвету ее не подбирал: просто везли то, что было на складе, что получали на товарной станции. Он уже сам потом с помощниками сортировал ее, складывал стопками. Да и цвета у плитки самые что ни на есть расхожие: коричневая, белая, мутно-зеленая, желтая — вот, пожалуй, и все. Плитка толстая, грубая, глазурью тоже облита абы как, короче, та, которой облицовывают стены и полы в самых общественных, общественней некуда, заведениях.

Этой плиткой Степан облицовывал пол в офицерской столовой.

Часами напролет просиживал на корточках, сбив шапку на самый затылок, — звездочка всякий раз оказывалась где-то на боку, что вызывало смутное беспокойство у вышагивающего вдоль фронта работ своей роты старшины Зарецкого: проходя возле Степана, тот каждый раз задерживался, деликатно кашлял в кулак, но делать замечание все же не решался. Из-под шапки Степана распустившимся крылом выпадал темный, слипшийся от пота чуб. Увлекшись, прямо рукавом Степан любовно протирал каждую плитку, проглядывал ее, как яичко, на свет — нет ли где трещин в глубине. Руководствуясь какой-то своей геометрией, которую целиком держал в голове и которая пока лишь едва-едва угадывалась, намечалась «на местности», некоторые плитки обрезал, подгонял, подчинял своей шпагатной разметке.

Тут грохот кругом, железо и камень, огонь и ругань, командиры и подчиненные, а человек сидит себе на корточках и колдует по разметкам своего воображения. Есть ли что менее служебное, чем солдат на корточках? Ему бы стоять, вытягиваясь в струнку. Шагать, играя каждой мышцей и задирая донельзя начищенный носок. Бежать, ползти, зарываться в землю... А тут — худые колени враскорячку, мальчишечьи лопатки, эти наши недоразвитые крылья (с годами не то что не развиваются, а и вовсе тонут, вязнут в благоприобретенном жирке), под гимнастеркой свободно перемещаются. Шевелятся. Щуплый, смуглый, носатенький; глаза большие, навыкате, необычного, зеленовато-табачного цвета. Медлительные, не то завораживающие, не то завороженные глаза.

Он, случалось, и на обед не ходил, и тогда отделение приносило ему обед сухим пайком и бережно ставило рядом. Кто хлеб в газетке принесет, кто луковицу, кто банку тушенки.

И каждый, кто б ни шел мимо, старательно огибал приготовленный к облицовке участок пола и вместе с тем не обходил его окольными путями, а наоборот, прижимался к нему насколько это возможно, чтоб только не ступить в вязкий бетон, не сбить нечаянно колышек и не запутаться в хитросплетении шпагатных силков. И обязательно хоть на мгновенье останавливался возле Степана. Даже Муртагин однажды остановился. Шел-шел, потупив по обыкновению глаза, а тут как споткнулся. Постоял, посмотрел — сопровождавший его комбат Каретников стоял на некотором отдалении и молча, но весьма удовлетворенно усмехался: знай, мол, наших!

Подполковник Муртагин хотел что-то сказать, но смолчал, повернулся к Каретникову, понимающе поймав лукавую комбатовскую усмешку, сам улыбнулся в ответ, и они двинулись дальше.

Командир части наверняка не случайно из многих путей, которыми мог провести по «объекту» начальника политотдела, выбрал именно этот. Это и между ними был, пожалуй, самый короткий путь, потому что на этом пути между людьми, похоже, падал первый, самый прочный барьер.

И сновавшие по своим заботам солдаты тоже неспроста выбирали дорогу поближе к ефрейтору Степану Полятыке. Все летели на свет Степановой работы.

А работа была еще зашифрованной, еще только угадывалась, сама еще билась в шпагатных силках. Но с каждым днем становилась все явственней, все отчетливей — а может, и в ее неотчетливости, незавершенности было свое обаяние: каждый «достраивал», завершал ее сам, домысливал в меру собственной фантазии. Еще несколько дней — и выпростается она из-под шпагата, и расправит свои крылья, и поплывет, праздничная, по офицерскому полу.

Над офицерским полом.

Думается, что и офицерским-то пол делала именно она, Степанова работа. А без нее это был бы барак бараком.

С каждым днем пол все отчетливее превращался в палисадник. Пышный южный палисадник где-нибудь под Черновцами. Ефрейтер Степан Полятыка родом из тех благословенных мест. Палисадник такой пышности и такого изобилия, что не вмещаются за забором, за штакетником, а просачиваются, «пропотевают» наружу, как пропотевает хмелем и сахаром винный дубовый бочонок, — подсолнухи, — идешь, и кажется, будто шляпки их поворачиваются тебе вослед.

Твердые, ребристые, толщиной в мужскую кисть стебли подсолнухов обвивал вьюнок: цветы у него маленькие, напоминающие зрачок. Глаза как такового нет, один лишь зрачок весело таращится из зелени. Потом еще цветы — кажется, их называют «ленок». Похожи на ромашки, но стебли значительно выше, а лепестки у́же, длиннее и расположены в соцветии не так густо, не так кучно, как у ромашки. У ромашки лепестки гуще, накрахмаленные и наутюженные, протокольные, официальные, так сказать, как стоячий воротничок. У ленка же они изнеженные, томные, вяло раскинутые на сонной волне летнего безветренного зноя.

И маки еще царственно разбросаны по офицерскому полу — некоторые с облетающими уже лепестками.

Так вот, старшина Зарецкий, сам откуда-то с Украины, не перед ефрейтором Степаном Полятыкой робел, а перед этими подсолнухами, перед вьюнками, перед ленком и, разумеется, перед маками с их облетающими лепестками — внизу, у основания, темными, с подпалиной, а выше сплошь алыми, вощеными: другие перерабатывают солнечный свет в хлорофилл, а маки — сразу в кровь. Останавливаясь возле Степана, словно останавливался перед белой мазанкой, которую не видел уже не один год.

Как удавалось Степану это разноцветье и разнотравье при таком-то скудном выборе плитки? Пожалуй, он действительно был искусным мастером. Талантливым мастером.

А все вы, включая старшину Зарецкого, командира части Каретникова и даже подполковника Муртагина, — талантливыми зрителями.

Все вы, включая командиров, офицеров с их кочевой жизнью, находились вдали от родных мест, от дома; северная, для большинства непривычная зима входила в силу, мела и гудела за бетонированными стенами, жесткие армейские будни (хочешь не хочешь, а все-таки армейские) брали в оборот. А тут — палисадник, оранжерея под благодатной пленкой всеобщего любования и, чего греха таить, потакания. Потому Степан и работал по собственному почину едва ли не сутками, что понимал: он один может подвести, задержать всех. Всю работу. Ему об этом никто не напоминал, никто не подгонял его. Вал форсажей, тон которым задавали планерки, а тон последним, в свою очередь, задавал командир Каретников, а то и командир всего Управления инженерных работ полковник Котов, находящийся, как вы знали, на генеральской должности, — этот вал, приближаясь к «палисаднику», как-то сам собой стихал, разбивался о невидимое препятствие. Вроде не эфемерный палисадник, а черт-те какой волнорез. Мол. Молчаливая, не различающая чинов и рангов людская круговая порука — что может быть крепче?

Степана никто не подгонял, не ширял в бок, но он сам все понимал. Потому и выкладывался, потому и на обед, случалось, не ходил. А круговая порука выражалась еще и в том, что, скажем, после о с т а н о в к и Муртагина Степану привезли из областного центра несколько ящиков плитки и х у д о ж е с т в е н н о й крошки, предназначавшейся для отделки облдрамтеатра. Вероятно, в обмен. Вероятно, облдрамтеатру, кроме художественной крошки, нужен был и бетон, а у военных строителей он самой высокой марки.

Это же надо было придумать: в офицерской столовой — столь мирный, столь провинциальный, столь простонародный — палисадник!

Объект в «объекте», освещавший своим домашним, спелого лета светом эти казенные пространства. Наверное, даже традиционные офицерские суточные щи будут напоминать здесь материнские или тещины борщи!

Над палисадником, над маками, над ленком, над вьюнками, даже над подсолнухами Степан поместил двух петухов. Роскошные петухи вышли с помощью художественной крошки. Взвившиеся кверху, когти и шпоры выставлены вперед, клювы издают почти орлиный клекот, глаза горят. А крылья... Но самое замечательное — хвосты. Задраны, как два бунчука, как две хоругви, осеняющие битву. И все цвета радуги, то бишь все цвета облдрамтеатра имени Михаила Юрьевича Лермонтова представлены в хвостах — от кирпичного до лазоревого, отпускавшегося, видимо, исключительно для дамских артистических уборных.

Кто знает, может, полы в офицерской столовой Энска до сих пор не засыпают опилками?

Таков был ефрейтор Степан Полятыка, с которым вы по двадцатиградусному морозцу бежали через весь городок к штабу УИРа, к политотделу, где должны были вручать кандидатские карточки...

13

Не выдержал, встал кто-то из пассажиров? Или стюардессы заметили непорядок? Поверни только голову, и сразу станет ясно, кто подошел и положил руку на плечо. Но поворачиваться не хотелось. Боялся отвлечься, потерять след, спугнуть зарождавшуюся под его пальцами завязь. Разомкнуть цепь — между током своей жизни и чужой.

Ему не хотелось поворачиваться еще по одной причине. Ладонь, которая лежала на его плече, была теплой и участливой. Она не осаживала — поддерживала. Небольшая, но не студенистая, а вполне определенная, с основой, с нежно упрятанной и все же осязаемой арматурой — а такие ладони всегда вызывали в нем больше доверия, нежели амебообразные, обволакивающие и в конце концов обкрадывающие. Она излучала тепло и спокойствие. И это молчаливое, доверительное участие тронуло его неожиданно глубоко. Ему не хотелось поворачиваться. На мгновение захотелось просто склонить голову, коснуться щекой этой невесть откуда явившейся, опустившейся, — как, кружась, опускается на плечо голубь, — ладони. Бывает такое: человек изо всех сил держится в неравном противоборстве, а пришли ему на помощь, хотя бы просто слово доброе, жалостливое сказали — и он разнюнился. Взвинченность, тревога, паника, которую так тщательно, из последних сил, старался скрыть, — все разрешилось этим невольным мимолетным порывом. Детства, ребячливости?!

Сергея била дрожь. То ли набрался холода от коченеющих старческих рук, то ли холод зарождался в нем самом — от растерянности, от страха, что он не совладает со столь грозной ситуацией... Как он посмотрит тогда в глаза жены? И эта трусливая, даже эгоистичная мысль мелькнула у него — как он посмотрит? Каково будет ему?..

А ей — жене?

Ладонь же, покоившаяся у него на плече, источала ровное, спокойное, молчаливое тепло, которое свободно проникало, в п а д а л о в него легко, без натуги, как вино, или еще легче — как свет, искрясь на перекате, на п е р е п а д е, попадало в завязь, в зарождавшийся под его пальцами, мерцающий (врачи говорят: «мерцательный») родничок пульса.

И этого дружеского, участливого и, что особенно важно, молчаливого прикосновения оказалось достаточно, чтобы Сергей стал спокойнее. И сразу явственнее, полнокровнее обозначился пульс больной. Молящий Серегин зов нашел отклик — сквозь туман и хаос. Пульс напряженный. Словно ударяли даже не в колокол, а в подвешенный лемех, и грубый, немузыкальный, бьющий по перепонкам набат разносился по всему телу. Пульс был спазматическим, но он был и постепенно становился ровнее. Глубже. Н е к т о делал свою черную, крестьянскую работу, снабжал страждущих водой, хлебом, светом. Дыханьем — тепло, источавшееся чужой ладонью, смешивалось с кровью и обогащало ее. Так делают людям искусственное дыхание: уста в уста.

Может, это и был дополнительный источник, в сущности, совсем незначительный, но которого как раз и не хватало? Теперь цепь действительно замкнулась — боли и сострадания, смятения и веры. И там, где еще минуту назад циркулировал, клокотал разрушительный холод, теперь брала верх другая, накапливающаяся, стихия. Среда тепла и покоя. Жизни.

По мере того, как проявлялся, менял тональность пульс больной, менялся и ее крик. Он тоже как бы спускался с той разреженной высоты, в которую взметнулся вначале и на которой и сам существовал разреженным, в мельчайших каплях, брызгах, секущимся — не оттого, что больная

переставала кричать, а оттого, что ее крик был настолько высоким, сверлящим, что временами пропадал для восприятия. Теперь он конденсировался: шел на низкой, грудной ноте, стал громче, осязаемей и вместе с тем естественней. В нем, как и в пульсе, тоже появились новые, глубокие оттенки. Ж и з н ь примешивалась к нему, как к опустошительному, смертоносному свисту степного суховея примешиваются первые, крупные, живые и животворящие, косо летящие с мглистой вышины капли долгожданного, выстраданного степью и людьми дождя.

Сергей обернулся.

Собственно говоря, он уже мог бы догадаться, кто это.

Когда они входили в самолет, когда неловко и натужно, на поднятых руках, несли по проходу носилки, стюардессы были тут же, занимались своими делами: с минуты на минуту начиналась общая посадка. Стюардесс в аэробусе много, не меньше шести человек — тогда еще отметил про себя Сергей. Нельзя сказать, что они были равнодушны к чьему-то несчастью, которому надлежало лететь на их борту, рядом с ним. Нет, они не были равнодушны, они были просто ко многому привычны. Привычны к горю. Вероятно, оно нередко сопровождало их. Привычны к обыденной предполетной работе, которую делали споро, переговариваясь друг с другом, делясь домашними новостями и всякой всячиной, не имевшей никакого отношения к полету, в чем, возможно, заключался свой, несколько суеверный шарм.

И только одна из них, невольно заметил Сергей, дрогнула. Она стояла у самого входа, и Сергей, несший носилки вторым — пока поднимались по трапу, считай, вся тяжесть пришлась на него, — прошел совсем рядом с нею. Как ни занят был носилками, как ни ныло все тело от только что преодоленного подъема, от ноши, которая лишь теперь, когда он вслед за напарником ступил в салон самолета, стала для него легче, уравновесилась, Сергей все же поневоле скосил глаза и взглянул ей, стоявшей изнутри у входа, в лицо. Их лица вообще оказались на какой-то миг рядышком, в нескольких сантиметрах. Лица оказались рядом, только на разной высоте: стюардесса была ростом пониже Сергея. Невысокая, молоденькая, и темно-синяя униформа облегает ее так же плотно и естественно, как обнимает еще не зимовавшее, весенней посадки, деревцо его здоровая, нигде пока не траченная воздухопроницаемая кора. Ее и корой-то не назовешь: кожура.

Но это — и рост, и форму — Сергей рассмотрит позже, вот сейчас, когда поворачивает голову к незнакомцу (незнакомке?), чья ладонь лежит у него на плече. А тогда, при входе, увидел только лицо. Круглое, миловидное, но в ту минуту напуганное и даже потрясенное. Перед девчонкой только что проплыла неподвижная, укрытая до подбородка простыней, со сложенными на животе, горкой, выпиравшими под простыней руками, с прикрытыми глазами на мертвенно-бледном лице больная, а продолжением этого ряда явилась собственно Серегина физиономия. Кулачок еще увидел — плоский, с побелевшими косточками, прижатый в нечаянном порыве к чуть растрескавшимся, лишь по краям обведенным, обозначенным помадой губам. Словно девчонка хотела вскрикнуть, да вовремя удержалась. Глаза увидал, близко, вплотную. Крупные, темно-карие, бархатистые. Настолько бархатистые, что кажется, будто они, как крылья у бабочки, подернуты тончайшей, легко ранимой пыльцой, сквозь которую нежно сочится свет. Глаза были испуганы и печальны. Сергей прошел мимо, в нескольких сантиметрах от нее, и она проводила его взглядом.

Среди стюардесс она самая молодая и потому ко многому еще непривычная: к людскому горю, например, которое летит на одном борту с нею. Еще незащищенно чувствительна к нему. Потому и сейчас, находясь далеко от Сергея, она, именно она, почувствовала, что т а м что-то неладно, и подошла.

Обернувшись, опять увидел ее глаза. В них не было прежнего испуга — только тревога и сосредоточенность. Она и впрямь будто взяла на себя часть его работы.

— Может, объявить, чтобы подошел врач? — сказала просто и негромко, глядя ему прямо в лицо. — На борту наверняка найдется доктор.

Она еще настолько н о в е н ь к а я, что пока хоть и неосознанно, но с видимым удовольствием произносит этот арготизм — «на борту».

Сергей отрицательно качнул головой:

— Не надо, сейчас уже не надо.

Может, минуту назад он и согласился бы с ее предложением, но сейчас видит, верит: перелом наступил. Все обойдется, должно обойтись. Он переломил. Они переломили: Сергей, теща и эта девочка. Цепь.

Она почему-то не снимала ладонь с его плеча, и он так и оставался в прежнем неудобном, полусогнутом положении. Только голова вполоборота повернута к ней. Он и сам не хотел, чтоб ладонь снялась с его плеча, как птица с ветки, потому даже развернуться к ней не спешил. Чтоб не спугнуть. Что на него наехало? Благодарность к ней? Жалость к самому себе? Ощущение себя нуждающимся в защите? Маленьким? Смертным? Видимо, недавнее, еще не закончившееся противоборство стоило ему немалых сил. Расход, вынос энергии. Как вынос питательных веществ из почвы с новым урожаем.

— Тогда я принесу чаю, — сказала она, опять без нажима. Откуда только она сама, совсем недавно так напуганная соседством беды и смерти, берет в себе силы для спокойствия и уверенности?

— Не надо. У нас есть кипяченая вода — там, в сумке, в термосе, — показал он глазами на пол, где, не поместившись под сиденьем, стояла его дорожная сумка, разбухшая от простыни, пеленок и прочей поклажи. В руках Сергей по-прежнему держал согревающиеся тещины ладони.

— Нет, я все-таки принесу.

Рука снялась легко и стремительно. Только след ее, казалось, еще теплился.

Она пошла по проходу, то одной, то другой рукой придерживаясь за спинки кресел. Шла, чуть наклоняясь вперед, как при встречном ветре, — самолет все еще набирал высоту. Вернулась быстро, неся в руках два стакана чаю, балансируя с ними по гулко подрагивающему, словно по мелкой волне с бешеной скоростью пущенному проходу. Один стакан сразу передала Сергею, он стал поить тещу. Чай был остывшим. Теща сама подняла голову и пила жадно, крупными редкими глотками. Глотки чередовались со всхлипываньями, чай проливался. Зубы больной мелко вызванивали о стекло, седые волосы выбились из-под белого старушечьего платка, растрепались.

В другое время Сергею было бы стыдно, если б в такую минуту, как сейчас, рядом с ними оказался посторонний человек. Болезнь никого не красит — как больных, так и тех, кто ходит за ними. И есть в ней минуты, а иногда и часы и даже целые сутки, есть в ней ситуации не для чужого глаза. Это только на первый взгляд непосвященного человека, навестившего больного в присутственный день и в урочный час — на двадцать минут, с цветами и кульками, — болезнь выглядит чуть ли не благостной, благородной, нематериальной. Лишенной плоти и, стало быть, прозы. Белые халаты, белые простыни, слабое мановенье бледной, с голубыми прожилками, руки. А у серьезной болезни есть своя материя, своя кровь, свой чад и пот. И все это не для посетителей. Не для чужого, пусть и сочувственного, взгляда. Это даже не фундамент — подвал, погреб болезни, над которым высится более или менее — это уж кому как повезет — благопристойный храм хворобы.

Если бы другой человек в такую минуту оказался рядом, тогда бы Сергею было стыдно. Другой человек. А она опять стояла рядом, опять положив свободную ладонь ему на плечо, — надо же ей за что-то придерживаться, сообразил Сергей, — и он при ней, не стесняясь, делал обычную, черную работу сиделки.

Ее участие исходило от нее так же, как тепло от ее ладони. Проникало, впадало, легко смешиваясь с кровью и разносясь с нею до кончиков пальцев.

Он напоил больную и только отнял стакан, как она высвободила из его ладони свою правую, здоровую руку и поднесла ее к губам — вытереть. Это было первое более или менее разумное, интуитивно разумное движение. Сергей быстро наклонился, выхватил из стоявшей в ногах сумки чистую, выглаженную пеленку. Промокнул ей губы, лицо — оно у больной сразу покрылось испариной. Она перестала всхлипывать, взглянула

на него прояснившимися и, как показалось Сергею, благодарными глазами.

У него отлегло от сердца: вроде обошлось.

Самолет наконец закончил набор высоты.

— Напейтесь и сами.— Девушка приняла из его рук чуть недопитый тещей стакан, а ему подала другой, полный.

Чай был крепкий и очень сладкий. И хорошо, что холодный. Сергей осушил его залпом, как стакан вина.

Она забрала пустые стаканы, но через некоторое время вернулась вновь.

— Вы могли бы пойти покурить, а я побуду с нею,— сказала, остановившись перед ним.

Сергей не курил, но ему показалось, что если он сейчас откажется, она к нему больше не подойдет. Цепь разомкнется. Словно он ей не доверяет. Не хочет впустить в святая святых. В погреб. Куда она и без его приглашения уже вошла. Отказ значил бы попытку вернуться к исходным рубежам. Сделать вид, что ничего существенного не произошло.

А что, собственно, произошло? Случилось?

— Спасибо.

Поднялся, уступая ей уголок кресла, вышел в проход, и она мягко и ловко разместилась на пятачке, в который он едва втискивался. Сняла с головы у больной сбившийся платок, вынула из волос роговой гребешок и стала мягко, не торопясь, охорашивать седую растрепанную голову.

Больная повиновалась ласковым, расторопным ладоням, а потом и вовсе прикрыла глаза. Уснула?!

Торчать здесь Сергею не имело смысла. Разминая затекшие ноги, почти не чувствуя их, он побрел в хвост самолета.

14

Перед кабинетом Муртагина собралось тогда человек пятнадцать. Солдаты, сержанты. Шинели оставили в гардеробе: никем не обслуживаемый закуток с длинными рядами вешалок недалеко от входа в штаб— вот и весь гардероб. Все аккуратно, даже щегольски заправлены, затянуты, кирзовые сапоги лоснились от крема и распространяли приятный, крепкий запах скипидара. Военный строитель хоть и занимается строевой во «внеурочное», нерабочее время, а при случае, будьте покойны, тоже сумеет подать себя. Грудь колесом, выправка...

Пройдет— девушки от восторга стонут: ладно скроен, крепко сшит. Девушки не знают, что одежка-обувка солдата-отпускника вряд ли принадлежит ему. Не в том смысле, что она, как и сам солдат, принадлежит родному государству. Нет, просто солдата в отпуск провожает вся казарма. Все, что есть лучшего,— отпускнику. Счастливчику— для полноты счастья. У кого-то реквизируются шикарнее всех в роте ушитые брюки, у другого— китель, у третьего— сапоги или ботинки. Конечно, есть щеголи, которые умудряются безукоризненно подогнать и потом содержать в идеальном порядке весь комплект собственного обмундирования. Но это редкость, и чаще отпускник экипируется скопом, «миром».

Штаны, дважды побывавшие в отпуске... Звучит!— даже если законный, коренной, так сказать, владелец не был удостоен такой чести ни разу.

В подобном снаряжении сказываются и широта души, и какими-то неисповедимыми путями реализуемая тоска по дому. Особенно, если отпускник твой земляк. Если едет в твои родные края. В таком разе человеку нет отбоя: каждый предлагает хоть что-то взять у него. Хоть чем-то коснуться, достигнуть, дотянуться до родного дома. Не зря в армии так дорожат землячеством. «Земеля...»— есть в армии такое неармейское, неуставное, ласково-домашнее обращение. Земляки держатся друг друга, льнут друг к другу, как льнут один к другому пальцы в пригоршне. Разними их, разъедини — и что-то будет пролито, утрачено. Теплый воздух дома— вот что хранят пригоршни армейских землячеств.

Многочисленные значки и знаки военного отличия, обильно украшающие бравую грудь иного отпускника,— и те нередко с миру по нитке. Напрокат...

Зато возвращается земляк, и приходит его черед отдаривать. Возвращать. Идет дележ и домашних гостинцев, которые тотчас пускаются в распыл всей ротой, всей казармой, а главное— дележ новостей. Несколько дней будут вытряхивать и выуживать их у отпускника его земляки. Даже когда вытряхивать уже нечего. Все, выговорился человек. Вывернули его наизнанку. Разве что на-попа его, бедолагу, еще не ставили. Несколько дней будут возбужденно кучковаться около него. И у тебя, хоть ты и не состоишь с ним в землячестве, тоже появится невольное желание подойти к их кружку, послушать.

Испить из пригоршни.

И вы со Степаном, и другие солдаты, собравшиеся в узком коридоре штаба по столь торжественному поводу, тоже экипированы как отпускники. По тому же артельному принципу. Все впору, все, как на строевом смотре. И все равно чувствовали себя в коридоре скованно, не в своей тарелке. Пришли слишком рано— боялись опоздать. И сержанты комендантской роты, и без того впускавшие вас в штаб со скрипом, только из-за мороза, а так, мол, могли бы и на улице подождать, не генералы (для них, действительно строевиков, было в некотором роде забавой лишний раз «прижать» вашего брата, строителя, показать свою власть— тем более что на ком же он, штабной сержант, и мог ее испробовать здесь, в штабе, как не на вас), бдительно поглядывали и велели не распыляться, не создавать затор в коридоре. Держаться одной стенки. Правда, что касается затора, то штабные ефрейторы с тоненькими папочками легко и ловко, ухитряясь никого не коснуться, не зацепить, прошивали ваш, что ни говори, тяжеловатый, большей плотности, чем они, повышенного удельного веса конгломерат, снуя по штабу по своим неотложным интеллигентным делам.

Вот кто был подобран и вылощен куда чище вашего! Гибкие, выглаженные— как ни крути, а рядом с ними вы, конечно же, выглядели утюговатыми. Утюговатыми были в первую очередь руки, большие, натруженные, красные и не гнущиеся с мороза, которые вы к тому же не знали, куда девать.

Это сейчас ты научился их почти не замечать...

И ваш удельный вес, и ваша плотность в конечном счете определялись ими.

И даже ваша партийность.

У штабистов ладошки тоже штабные: ладные, аккуратные, с ровно подстриженными, а не обломанными ногтями. «Писарчуки!»— незлобиво перешептывались вы.

Знал бы тогда, что через полгода сам будешь бегать здесь же, в штабе. Тоже почти «писарчуком»...

Ровно в десять Муртагин пригласил вас к себе.

Кабинет у него небольшой, и вы и сюда сразу внесли ощущение громоздкости, запруженности. Чернорабочести. Рассаживались, сконфуженно громыхая смерзшимися сапогами, на стульях вдоль стен. Муртагин сидел за столом, внимательно рассматривая каждого из входящих и кивком здороваясь с ним. Дождался, пока уселись, еще раз обвел вас, теперь уже всех вместе, своими темными глазами, помолчал.

Тишина установилась поразительная— при таком-то скоплении народа, при такой-то его громоздкости, при том, что среди вас наверняка были простуженные: работа на свежем воздухе...

— Не знаю, что сказать вам в такой день,— наконец начал Муртагин, медленно поворачивая тонкое, граненое жало карандаша.— Правда, не знаю, что сказать,— повторил он так, словно разговаривал сам с собой.

Потом и карандаш отложил в сторону как нечто отвлекающее. Сцепил пальцы и держал их на столе перед собой. Руки у Муртагина маленькие, бледные, отечные. Ты тогда еще не знал, что у него нехорошо с сердцем, но что это были руки нездорового человека— факт. Наверное, эти невзрачные, нежизнестойкие руки— болезнь гнездилась где-то совсем в другом месте, но выдавали ее пока лишь они, эти две пятипалые антенны, выброшенные болезнью в окружающий мир, столь непохожие на те, капитальные, грубой выделки, полные жизненных соков и сил, что лежали сейчас на ваших коленях, а также его возраст, положение могли бы разделять вас и этого человека.

Если бы раньше ты не видел его у вас на стройплощадке.

Вдобавок вы видели, что человек не играл перед вами. Может, помолчи он еще дольше, добиваясь, как на сцене, самой эффектной паузы, заговори чуть-чуть другим, слегка любующимся своей глубиной и проникновенностью тоном, вы и заподозрили бы его в позерстве. В заигрыванье. Но он молчал ровно столько, сколько молчит человек, собираясь с мыслями. Человек, который еще несколько минут назад занимался совсем другими, будничными делами. И ему требовалось время, чтобы переключиться на дело иного порядка. Он не хотел делать его по инерции. Не хотел, чтобы тень рутинных, будничных забот легла и на это неординарное дело. А до вашего прихода он скорее всего сидел над какими-нибудь бумагами. Вполне вероятно — отчетами.

Он-то еще не раз будет вручать кандидатские карточки. Но у вас такого события больше не будет. Он понимал это и хотел, чтобы вы такое событие запомнили.

Потому и собирался с мыслями.

Тон, которым заговорил Муртагин, был глуховатым, больше в себя, нежели на аудиторию. Заговорил с остановками, чувствовалось, что мысль его петляет, ныряет, и он, стараясь передать ее наиболее точно, каким-то внутренним взором, не спеша, но цепко следит за нею. Как малограмотный, читая по слогам, для вящей верности еще и водит пальцем по строке, тоже трудно, с напряжением, как борозду ведет, и после каждого удачно прочитанного и одновременно как бы вывороченного, вызволенного пальцем на свет божий слова удовлетворенно, по-детски хлопает свободной ладонью о колено и покрывается счастливой испариной.

Разумеется, малограмотным Муртагин не был. Грамотен, искушен и еще как грамотен: по первому, гражданскому образованию, — авиационный инженер. Окончил институт в Казани плюс Военно-политическая академия, которую оканчивал заочно. Но тон, каким заговорил с вами, был таким, словно человек не только сам размышлял вслух, прилюдно, но и вас приглашал к размышлению. К совместному поиску истины. Приглашал! — вот в чем секрет. Выковыривал слова и предлагал не только оценить его старания, но и вместе попробовать на вес вывернутое им, добытое слово. Да-да, он, грамотный, искушенный (может, искушенность и в этом), как будто ждал от вас, зеленых, оценки. Ты понял, что он тогда учил вас? Но при этом и сам ведь учился — вот в чем штука! По слогам, по словам. Добывая их, эти слова, и предлагая вам тоже попробовать, понянчить их на ваших основательных ладонях.

Марина Цветаева писала, что своих детей она любила на вес.

Поучение, как кристалл марганцовки, было растворено в его собственной — глазами внутрь! — учебе. Уважение — вот что почувствовали, расслышали вы в первую очередь в его глухом, спокойном, раздумчивом голосе. Уважение, к которому вы здесь, в гулком и вышестоящем штабе, были особенно чувствительны. Может, потому что вас им здесь, прямо скажем, не баловали. Почувствовали уважение в его словах, еще не вникнув в смысл самих слов. В существо затронутого вопроса. Но его тон сам по себе вызывал внимание. И — расположение. Грань, которая могла возникнуть между вами, не возникла. Он уважал в вас мыслящих людей. Мыслящих работников. Вот оно, пожалуй, самое счастливое, самое полное, оптимальное, как нынче говорят, конструктивное сочетание, единство понятий «мысль» и «работа». Мыслящий работник!

Сидели перед ним полтора десятка мыслящих, с хорошими, умными (у тебя они тоже поумнели за полгода), подлинно строевыми, если можно говорить о них, как о солдатах, подлинно конструктивными (еще какие конструкции вязали и вершили они на стройплощадках!) руками, которым вы как-то сразу нашли подходящее место: они спокойно, веско лежали на коленях.

— Я был недавно в Москве, на совещании. Жили в гостинице. Совещались несколько дней. На совещание каждое утро добирались сначала на метро, потом пешим ходом. Интересно все-таки по Москве-матушке походить: заседали допоздна, и вечером на это, честно говоря, времени не оставалось. И вот бежим утречком с соседом по номеру к зданию, где проходило совещание, — слушать с утра пораньше лекции и доклады. Бодрые такие, с командировочными портфельчиками. А сосед мне, надо сказать, попался веселый, остроумный. Компанейский. Вечером скучать не давал: анекдотец расскажет, по рюмочке предложит пропустить. В общем, вполне современный мужчина средних лет. Как и я.

В этом месте Муртагин опять сделал паузу. Вроде засомневался, задумался на мгновение: а средних ли он лет? И так ли современен? Может, уже и не средних: сам не заметишь, когда, с каких пор не средних. Это как пейзаж за окном меняется: постепенно, вкрадчиво, накапливая перемены микроскопическими дозами. И современный ли? Может, не заметил, когда отстал от поезда?

В его молчании не было кокетливости. Он не ждал бурных возражений: «Да что вы, товарищ подполковник! Да вы ж у нас еще орел! В расцвете творческих сил и способностей...» В этой минутной остановке — запнулся человек — тоже была своя, вызывающая доверие, раздумчивость. Ну, может быть, наряду с раздумчивостью была в этой заминке и доля лукавства. Подтрунивания над самим собой, что всегда вызывает у окружающих интерес и расположение.

— И каждый раз наш путь, — продолжал Муртагин, — пролегал мимо одного транспаранта, висевшего на углу. «Слава КПСС!» — было написано на транспаранте. И вот однажды утром, когда мы, как всегда, торопились на заседание, приятель мой остановился на этом углу, задрал голову и говорит: «Опять какой-то Капэсэс, а я-то думал, что сегодня уже Слава Метревели...»

Муртагин снова помолчал. Вы невольно подобрались, напряглись: уж очень непривычный разговор получался. Не соответствующий моменту. Куда клонит?

— Я сказал ему тогда, что это очень хорошо — быть остроумным человеком, но есть вещи, над которыми не стоит потешаться. Упражняться в острословии: в данном случае остроумие какое-то жуликоватое. Особенно, если учесть, что ты сам служишь тому, над чем потешаешься. Если кормишься за этот счет. В острословах у нас никогда недостатка не было. С честными — сложнее. Правда, он мои слова всерьез не принял. Чего кипятишься, говорит. Человек живет как минимум в трех измерениях: в бытовом, обиходном, в служебном и, наконец, в духовном, возвышенном. Отсюда и честности у него как минимум три: обиходная, на каждый день, служебная, за исключением выходных, и духовная, перед самим собой. Вот сейчас мы с тобой живем обиходной, как говорили в старину, обывательской жизнью. А переступим порог, предъявим пропуска, пройдем в зал заседаний и вступим в жизнь служебную. Со своими нормами, в том числе честности. А ты, дорогой, смешиваешь их. Это даже не воинствующая ограниченность. Это еще хуже. Это, дорогой, называется эклектизм. Знаете, есть такое слово?..

Муртагин-то это слово знал. Знал его и ты, газетчик. А вот знали или нет те, кто сидел с тобою рядом, тяжело, неловко напрягшись, стараясь уследить, не потерять ход замысловатой муртагинской мысли и покрываясь испариной, — в кабинете хорошо натоплено, да и работа уж больно необычна, не та, с которой имеешь дело каждый день, — нельзя утверждать с полной определенностью. Но Муртагин, хоть и опять на время умолк, слово объяснять не стал. Вообще объяснять ничего не стал, сидел, уставившись в столешницу, набычив, пригнув крепко корневищем в самую глубь посаженную на плечах голову.

Он сам — думал. Работал.

— Тебе, говорит, и доверяться-то опасно. Шуток не понимаешь. А все потому, что эклектик: мерки служебной жизни тащишь и в жизнь обиходную. И потом, еще неизвестно, кто из нас двоих честнее: ты или я. Так и сказал: ты или я. И остановился посреди тротуара, и повернулся ко мне, и заглянул в лицо. Ты или я? И понимаете, товарищи мои дорогие, в такой постановке вопроса тоже ведь есть своя доля правды. Кто честнее?

Муртагин даже по столу ладонью пристукнул, как бы ставя после этой фразы не вопросительный знак, а восклицательный. Глухой такой, как и голос Муртагина, но очень явственный стук получился. Знак повышенного внимания. Но вас и не надо было понуждать к вниманию. И так сидели не шелохнувшись. Это скорее для себя Муртагин ставил ударение. Такт отбивал. Обозначал водораздел.

— Да, я тоже против славословий. Как по адресу отдельных личностей, так и по адресу сообщества личностей, каковым является партия. Мы партия работников, работы, и хмельное самовосхваление нам не пристало. Не к лицу. Ценнее аршинных транспарантных здравиц чье-то конкретное, скромное, негромкое «спасибо». Может быть, не произнесенное вслух, а вымолвленное про себя. Ценнее общее, не кичливое, но глубоко внутреннее, фундаментальное, становое ощущение здоровья и благополучия — в человеке, в семье, в государстве в целом. Это как стальная нитка в канате: ее не видно, но в деле она чувствуется! Обнаруживается, делая дело. Как сердце в человеке с его мерным рабочим боем. Бой у него рабочий, для дела, по делу, как говорите вы, молодые, поэтому его без надобности и не слышно. Не будильник, чтоб тарахтеть на всю Ивановскую...

Муртагин прав: здоровое сердце работает почти молча. Слышно больное, надсадное или захлебывающееся. Тогда же вы могли только догадываться, что у Муртагина не все благополучно с сердцем. И поэтому не оценили в полной мере его последнюю аналогию. Вернее, оценить-то оценили — хорошо говорит начальник политотдела. Излагает. Но чем оплачена эта красивая аналогия, еще не знали. Не расслышали здесь связи, перемычки между мыслью и болью.

— Но такое зубоскальство мне противно. Глумливый смех, как сказано в одной мудрой книге. Шутовство, для которого нет ничего святого. Не потому, что оно такое смелое, а потому, что оно такое пустозвонное. Ветреное. Пустозвонство, во что бы ни рядилось, всегда остается пустозвонством. Разница только в уровне, масштабах звона. В децибелах — на всю ивановскую или на ушко. Со здоровым, мыслящим, — Муртагин выделил это слово, — сомнением зубоскальство, дурносмешество ничего общего не имеет. Там боль, тут самолюбование. Оно в отличие от сомнения не только ничего не созидает, но ничего всерьез и не разрушает. С совещания мы в тот вечер возвращались врозь. В гостинице попросил дежурную переселить меня в другую комнату. Расхотелось жить с соседом. Причину такой просьбы не объяснял, но та оторвалась от своих бумажек, взглянула на меня и усмехнулась: «Что за комната у вас такая, что все рвутся из нее вон? Ваш товарищ тоже попросился перебраться в другую. Только что его переселили. Теперь — вы...» «Теперь уже не надо», — сказал я и взял свой ключ. Иду и чувствую, с каким осуждением смотрит она мне в спину. Наверняка решила, что скандалисты. Пьяницы. А еще военные... К чему я это вам рассказываю? — Муртагин снова перевел взгляд со своей конторской, заваленной бумагами столешницы на нас. — Да еще в такой день? Сам не знаю, — неожиданно улыбнулся он. Улыбка была чуточной, краешком губ. Вообще при всей ровности характера ты и после никогда не видел Муртагина смеющимся самозабвенно, хохочущим (так что в этом плане его соседу по гостиничному номеру определенно не повезло, слушатель ему попался неблагодарный). Только улыбка, редкая, сдержанная и почему-то всегда чуть-чуть виноватая. Он словно винился за сам факт минутного веселья. И сейчас улыбка получилась такой же. — Просто сидела эта история во мне и, наверное, надо было перед кем-то выговориться. Считайте, что я перед вами выговорился.

Опять помолчал, нагнув круглую черноволосую — ни одного седого волоса! — голову, снова взял в руки карандаш.

— А вообще даже если в каждом из нас и на самом деле сидят трое, или четверо, или сколько б там ни было человек, то я хотел бы пожелать вам, чтобы каждый из них не стыдился бы другого. Ближнего. Не гнушался бы им. Чтобы труженик не стыдился в вас коммуниста, чтобы коммунист не стыдился бы труженика и так называемого обиходного человека. Обывателя — если воспользоваться термином моего знакомого. Чтобы они жили полной и согласной жизнью. Не знаю, какая уж для этого необходима честность: первая, вторая или десятая. Знаю одно: она должна быть взаимной, обоюдной. Честность друг перед другом и перед делом, которому каждый из вас обязывается отныне служить. А главное, повторяю, помните, что партия — это в первую очередь сообщество делателей дела. Судя по всему, работники вы отменные. — Муртагин еще раз обвел вас взглядом — как тебе показалось, особого внимания удостоил ваши руки.

Кандидатские карточки вам еще только предстояло вручить. Визитные же были при вас — внушительно лежали на коленях. Впрочем, руки согрелись, оттаяли, помягчели, теперь это были уже не те, красные, негнущиеся, почти чужие «руки, как крюки», с которыми вы вошли в кабинет Муртагина. Теперь это были уже свои, обвыкнувшиеся, способные даже к такому тонкому делу, как выведение собственноручной, желательно покрасивее, позатейливее, подписи в кандидатской карточке. Да и сами вы обвыклись в кабинете Муртагина, уже не сидели так, будто по аршину проглотили, а были живыми, согревшимися людьми. Ни один еще не проронил ни слова, говорил только Муртагин, но все равно вы сидели друг против друга как собеседники. Чувствовали себя собеседниками и держались в соответствии с этим чувством, сознанием, с а м о с о з н а н и е м, освободившись от былой скованности и безгласности.

Очень трудно быть собеседником, мыслящим работником, когда руки непременно по швам.

— Вот и оставайтесь хорошими работниками в первую очередь. Нам всем надо крепко работать, если мы хотим выбраться из провала. Пахать — так, по-моему, вы говорите?..

Он опять улыбнулся, и вы улыбнулись в ответ. Точно: вы не говорили «работать», «работа». Бросали небрежно: «пахать», «пахота»... У вас почему-то было принято о работе говорить с долей усмешливости. В этом была, конечно, своя игра... Наигранность — говорить о ней свысока. Тон был наигранным, небрежным, а работа, работенка — взаправдашняя. Особенно в конце года, в горячее времечко сдачи объектов заказчику. Пахота! Может, потому как раз и говорили о ней свысока. Петушились...

— Так, — улыбнулись ему в ответ.

— А вообще-то, — продолжал с улыбкой Муртагин, — один умный человек, профессор, говорил, что хороший пахарь не тот, кто хорошо пашет, а тот, кто хорошо пашет, но при этом еще и любуется своей пахотой. В этом смысле одного хорошего пахаря среди вас знаю наверняка. Степан Полятыка — имел честь видеть его работу как таковую и то, как он ее делает. И как относятся к ней другие. Так что давайте с него и начнем вручение ваших партийных документов.

Муртагин встал, нашел в стопке кандидатских карточек, лежавших на краю стола, Степанову, направился к нему.

Степан тоже поднялся — давненько никто не видел его в строго вертикальном положении, худое, заострившееся, глазастое лицо его горело темным, кузнечным, словно мехами его кто обмахивал, румянцем. И руки, наверное, снова стали чугунными. Замечательные Степановы руки...

15

Когда Сергей вернулся, больная дремала. Тщательно причесанная голова покоилась на хорошо взбитой подушке. И вообще вся она за это короткое время преобразилась. И дело не только в том, что была спокойна, что муки и корчи оставили ее. Она была ухожена — вот что сразу заметил Сергей. Заметил даже с некоторой уязвленностью за самого себя. Что значат женские руки! — ведь он делал все то же самое, и навык у него за эти месяцы выработался недюжинный, а все равно сейчас она обихожена лучше.

Старушечьего платка нет, волосы, хоть и расчесаны, но вольно лежат на подушке, да и простыня, укрывающая тещу, была, во-первых, новой. («О, и в сумку уже заглядывала», — подумал Сергей, но новость эта его почему-то не задела, как раз к ней-то, может, более всего заслуживающей порицания и настороженности, он отнесся совершенно спокойно, как к чему-то само собой разумеющемуся), а во-вторых, не подоткнута, как у него, со всех сторон, а тоже лежала свободно, внакидку. Ворот голубенькой шерстяной кофты расстегнут: в самолете тепло, и чувствовалось, что больной так легче дышится. Изменений немного, но все вместе, даже немногочисленные, а порой и неуловимые, они как раз и создают ощущение заботы и уюта, которых раньше, при всей Серегиной старательности, не было.

Возможно, поэтому теща и спала так безмятежно? Как ребенок — с седыми волосами...

Ладони у нее лежали поверх простыни и только иногда чуть-чуть подрагивали, как подрагивают они у детей, словно волны невидимых сновидений пробегают по ним. Добровольная помощница, сидевшая все на том же подлокотнике, мягко поглаживала руки больной, заглядывала в ее дремлющее лицо.

...А может, в этом и заключается разница между заботой и любовью? Хотя о какой любви, привязанности может идти речь: они даже незнакомы — девчонка и его теща.

Или — между заботой и состраданием?

Что-то в этих размышлениях беспокоит его. Ну, ладно, любовь, привязанность, хотя все равно он по-своему привязан к больной, в этом не может быть сомнения. Но сострадание... Разве можно упрекнуть его в недостатке сострадания?

Он не знал, заметила ли его стюардесса. Знает ли, что он стоит тут, рядом с ними. Надо как-то дать знать о себе.

Поколебавшись, он все-таки тронул ее за плечо.

Она поспешно обернулась, решив, возможно, что за нею пришел кто-то из подруг, стюардесс. Темный распахнувшийся веер волос очертил перед ним стремительный полукруг. Сергей уловил запах нагретой травы. Это в окружавшей-то их сплошной химии!

Увидев его, улыбнулась. Сказала, поправляя волосы:

— А она у вас очень красивая...

Сергей подумал о том, что эту фразу слышит второй раз. Сам он никогда и не замечал, красива его теща или нет. Как-то ни к чему. Жена — еще куда ни шло, а уж теща... С лица воду не пить.

16

В ту ночь, еще не поняв, что случилось («Что-то!» — вот все, что пронеслось у него в голове), наспех натянув штаны, Сергей ринулся к дверям и здесь, в дверном проеме, едва успел поймать тяжело, кулем повалившуюся ему на руки тещу. Даже не довел, дотащил до «малышовки», уложил на кушетку, выхватил из кроватки Машу. Маша не спала, сидела, уцепившись ручонками в прутья спинки, молча, с поблескивавшими в полутьме глазенками: точь-в-точь обезьянка в загоне. Может, теща-то и уходила не к нему, а от нее. Не хотела пугать ее, проснувшуюся, еще больше. Отнес Машу в кровать к жене. Здесь, в спальне, еле оторвал ее ручонки от себя. Ее сердечко, казалось, билось прямо у него на груди, как жилка на виске.

Когда вернулся в «малышовку», теща была не на кушетке, а на полу. Упала. Сдавленно стонала, уткнувшись лицом в палас, силилась подняться на одной руке, другая, вывернутая, безжизненная, только мешала. Было в ней что-то от большого, неуклюжего, подло сраженного зверя. Какого там зверя! В детстве Сергею довелось быть свидетелем последних минут их коровы. Та схватила где-то протравленного зерна и издыхала прямо посреди двора. Лежала, вздувшаяся, на боку, пыталась подняться на колени, тянула морду, прямо в душу заглядывая своими уже заведенными, непослушными глазами, мычала, роняя клочья пены. Задние ноги ее все больше деревенели и вытягивались, они уже не служили ей, не помогали, а только мешали. Мать лежала рядом и тоже то пыталась подняться, то опять припадала прямо к земле, к траве, хватала обезумевшим ртом и траву, и землю, зажимая, задавливая рвущиеся вон рыдания. Пожалуй, смерть коровы еще и потому так врезалась ему в память, что он не мог забыть мать, ничком лежавшую, валявшуюся рядом с коровой. Корову еще можно было дорезать, чтобы воспользоваться хотя бы мясом, и мужики стояли с ножом и веревками рядом, наготове, но мать все медлила. Так и пала Ночка, так и мясом ее не попользовались.

Было в теще что-то и от Ночки, насмерть сраженной отравой и так и не понимавшей до последнего — и чем дальше, чем ближе к концу, тем более не понимавшей, что же с нею стряслось. Но было в ней что-то и от матери, оплакивающей Ночку.

Поднимал тещу на кушетку — ухватил ее под мышки, но она безвольно проваливалась, выскальзывала у него из рук, — когда в комнату вбежала босиком, в ночной рубашке жена. Жена у него всегда отличалась крепким девичьим сном. Особенно сейчас, когда на руках у нее трое детей: первую смену крутится на работе, вторую дома и ночью валится замертво. Перенеся Машу, не стал ее будить, еще надеялся, что обойдется. А Маша, видно, разбудила. Первая поняла: не обойдется. Жена не сразу кинулась к нему на помощь. Какое-то время стояла рядом, замершая, насмерть перепуганная и тоже пока ничего не разумеющая. Лишь потом, когда мать уже снова была на кушетке, бросилась, обхватила, запричитала.

И тут же он услыхал ни с чем не спутываемый топот босых Машиных ножонок.

А следом с треском распахнулась дверь в комнате, где жили сыновья...

Да, они еще не знали, что такое инсульт. Даже после ухода доктора втайне, каждый про себя надеялись, что все это не про них. Теща ведь и раньше жаловалась на руки, на ноги: мол, крутят, немеют. Как она выражалась — «терпнут». Сдержанно жаловалась, так, чтобы зять не слыхал. От других старух весь день только и слышишь об их болячках. Эта же если и обмолвится, то лишь в том случае, если ее допечет. И то именно обмолвится, а не пожалуется. Сообщит — между прочим, без выражения в голосе, без драматических эффектов. И от всего у нее одно лекарство: ну, полежать немного, ну укутать руку ли, ногу, голову теплым, козьего пуха платком. Она при нем и полежать-то стеснялась: стоило Сергею заявиться домой, как она поднималась — чаще всего собирать ему на стол. И без всяких там покряхтываний и причитаний. Она терпеливая, теща.

Надеялись, выдюжит. Сделал ей доктор два укола, таблеток дал, расписку с них взял: мол, от госпитализации отказались, — жена выводила ее мелко-мелко дрожавшей рукой. А только он за дверь, обиженно, даже не попрощавшись с ними — мальчишка и есть мальчишка, — как они с женой кинулись к телефону: звонить в платную поликлинику. Уж оттуда зеленого не пришлют... «Оттуда» прислали не зеленого. Очень деловитый, лишенный в отличие от юного доктора эмоций человек средних лет в добротной пиджачной паре, на которую с небрежным форсом, буркой, наброшен белый халат. Еще только переступив порог, мэтр сообщил, что прибыл на такси и осведомился, приготовлен ли у них пакет, ибо после осмотра ему задерживаться недосуг — практика у него обширная. Жена стала совать впопыхах двадцать пять рублей, но тот повторил раздельно: «Па-кет», — и попросил Сергея проводить его в «ванную комнату».

Жена осталась в прихожей, недоуменно комкая двадцатипятирублевку. Еще не пришла в себя, была ошеломлена свалившимся на нее горем, чтобы понять, о каком таком «пакете» идет речь. Чтобы вообще думать еще и о соблюдении приличий: деньги в конверте.

Правда, само достоинство купюры мэтра явно смягчило: Сергей и его жена были настолько неискушенными пациентами платной медицины, что еще не разбирались в иерархии ее неофициальных ставок. Потому и отвалили рядовому, в сущности, врачу профессорский куш — как отступную за страх. Словно хотели откупиться от надвигавшейся беды. Беда уже надвинулась, уже грянула, им же хотелось надеяться, что она пока в пути и ее еще можно отвести. Что ж, долгие последующие месяцы научат их разбираться и в том, кому какого объема конверт подсовывать за традиционным чаепитием на кухне, а кому и неприлично давать конверт (конверта не хватит), а грамотнее, искушеннее презентовать, скажем, двухтомник Марины Цветаевой, сборник Высоцкого, или «Фаворита» Пикуля, или альбом Тулуз-Лотрека, или пластинку с записями песен из «Юноны и Авось». Словом, все то, что сейчас, сию минуту, на слуху, на виду, в фаворе. Интеллектуальный дефицит, до которого, правда, у иного новоиспеченного обладателя не то что интеллект — руки не доходят в круговерти его будничных профессиональных забот.

Интеллигенты и аристократы девятнадцатого столетия ругались словом «снобизм». Сегодня, кажется, им клянутся.

Так хочется быть снобом! — особенно нам, интеллигентам в первом поколении.

Увы, мнение мэтра в дорогой пиджачной паре совпало с мнением неоперившегося птенца, как потом, после, совпадали с ним приговоры и еще куда более дорогостоящих и респектабельных спецов.

— Только больница, — повторил врач по итогам осмотра, обращаясь почему-то лишь к жене Сергея, вставшей у двери, загородившей ему проход, будто решившейся стоять здесь до последнего, до тех пор, пока не свершится чудо исцеления. Пока ее заложник не совершит его. Только тогда можно будет ступить в сторону, выпустить его на свободу в обмен на здоровье матери. Сергей сам испугался выражения ее лица. Решимости и отчаяния. Нижняя губа закушена, в лице ни кровинки...

— Только больница, и немедленно, причем хорошая больница, — повторил врач вполголоса, глядя ей прямо в лицо. — Иначе до утра может не дотянуть...

Коснулся рукою ее плеча, и странное дело: она послушно отступила в сторону. А ведь казалось, легче будет сдвинуть гору. Одно живое прикосновение — и гора повиновалась. Расколдовалась.

Он и вышел совсем иначе, чем его юный коллега — зеленый пролетарий бесплатной медицины. Учтиво попрощался и даже коротко кивнул им на прощание с порога. Что позволено юнцу, то не позволено мэтру — оплачено.

Остаток дня Сергей провел в попытках пристроить тещу в «приличную» больницу. День был хлопотный, связей во врачебном мире он не имел, как, впрочем, и в иных подобных мирах, и дело решилось только поздно вечером. Опять приехала «Скорая», он помог снести больную вниз, в машину, сам сел с нею рядом. Жена осталась дома, с детьми. И мальчишки, и Маша были напуганы, подавлены. Маша плакала.

В больнице Сергей тоже помог внести тещу в приемный покой. Ее переместили на больничную каталку, фельдшер «Скорой помощи» ушел. Приемный покой располагался в подвальном помещении; цементированные проходы, по которым изредка с гулом катили носилки на колесиках, метлахская плитка в комнатах, глубокая, непроницаемая тишина — как только замрет вдали грохот очередной каталки, — ощущение отрезанности, отъединенности от всех и вся. В этом плане приемный покой напоминал убежище. Наверху больничные палаты, капище ночных страданий, боли, здесь же тишина, пронизанная тем же напряжением, ожиданием, что так характерны для всякого рода убежищ. Два мира, верхний и подвальный, подпольный, и где-то за стенами еще и третий, самый большой, в чью реальность здесь почти не верится, и грохочущие каталки с закутанными по самые подбородки молчаливыми ношами — как всепроникающие вестницы этих трех миров.

Воющие патрульные джипы в глухое безвременье комендантского часа...

Единственное несоответствие с убежищами, забитыми обычно до отказа, — людей здесь почти не было. Тишина и пустота...

Больную принимала маленькая, седенькая старушонка. Видно, давно на пенсии, подрабатывает на полставки. Она была так молчалива — за все время не сказала ни слова, — так долго что-то писала у себя за столом, копошилась, не производя ровно никакого шума, что сама казалась порождением тишины. Сгустком тишины, уплотнением, осадком, очерченным, как налетом, белым халатом, белой шапочкой с выбивающимися из-под нее белыми волосами.

Присесть некуда. Сергей стоял у каталки, поглаживая закоченевшие тещины руки. Глаза у нее закрыты. Ноги у Сергея гудели, он сам уже воспринимал все как в полусне.

Наконец старушка поднялась, подошла к ним, стала осматривать больную, задавать вопросы, и Сергей понял, что она глуха. Потому и сидела молчком, потому и в вопросах старается обойтись минимумом.

Сергей помогал теще отвечать. Но не шепотом, как это делала недавно жена, а в полный голос, да еще наклонясь прямо к сморщенному, как заморенный груздь, ушку. Больная не понимала вопросы, врач не воспринимала ответы. Сергей метался между этими автономными мирами, словно каталка с ее печальной ношей.

Миры, хоть и были автономными, не сообщающимися, но все равно походили один на другой: старость.

Сергей подумал о том, какая тогда тишина должна стоять в ушах у этой полуглухой старухи. Ее глухота, ее старость — как убежище в убежище.

Могильная...

Явились два санитара, молодые, но запущенные, явно пьющие. Один из них, с изумлением заметил Сергей, немой. Во компания, прямо как нарочно их подобрали, можно подумать, кто-то, формируя ночную бригаду, задался целью не оставить входящему сюда, въезжающему на грохочущей каталке никаких надежд на выход. Служители Тартара.

Переодел больную в казенное белье, неумело, неуклюже, смущаясь находившихся в комнате чужих людей, хотя они, особенно старушка, не обращали на него никакого внимания. Больная тоже, чувствовалось, стеснялась. Ее била дрожь: в этом каземате прохладно, и процедура переодевания вышла особенно жалкой и неловкой.

Сергей спросил у старушки: не может ли он проследовать за больной в палату? Та ничего не ответила, занимаясь своими бесшумными и незаметными делами. Сергей повторил вопрос громче. Ощутил, как выжидательно напряглась тещина рука, — та поняла, о чем идет речь.

Старушенция оторвала голову от бумаг, будто очнулась от бюрократических сновидений, взглянула блеклыми — тоже два выпавших осадка тишины — глазами на него, на его замершую тещу, подумала и слабо покачала головой.

— Там женская палата, — сказала тем обезличенным, хотя и громким голосом, каким говорят обычно глухие.

Пожалуй, будь она помоложе или будь помоложе больная, старуха не была бы так безучастна, и вполне возможно, что даже разрешила бы ему подняться в палату, а там, возможно, ему и позволили бы остаться возле такой тяжелобольной на ночь. Но старуха и сама была уже у роковой черты, ей и самой уже были ведомы и тяжкие хвори, и боли, и страх перед последним часом, и даже, похоже, равнодушие к нему.

Сергей связал тещины вещи в узелок и медленно побрел вон. На его «до свидания» старуха никак не отреагировала, даже голову не подняла от бумажек. Приход-расход...

В лабиринте этих казематов — корпусов в больнице чертова дюжина, а подземные ходы, вероятно, общие — немудрено и заблудиться, хотя они и были залиты ярким, ровным, бесстрастным светом. Сергей кожей чувствовал обступивший его агрессивный холод и невольно прибавил шагу.

Дал деру.

Вот наконец и обитая жестью дверь. С облегчением увидел, что она, кажется, не заперта, лишних хлопот не потребуется, никого не надо будет звать.

Створки двери медленно болтались взад-вперед. Как ворота на сельском кладбище.

Вышел на улицу. Постоял, осмотрелся. Шел снег. Разлапые плоские хлопья вначале летели на землю, на асфальт, а затем, подхваченные каким-то восходящим потоком, кажется, снова взмывали вверх, парили, порхали, роились, двигались то по касательной, то вообще наискось, наперерез основной массе, приближая процесс снегопада к хитроумному искусству ковроткачества. Тихо. Пусто. Слепо. Второй или третий час ночи. Правда, и тишина, и пустота здесь совсем другие. Движущиеся, пульсирующие, объемные. Живые. Ток дремлющего рядом города, ток снега — тоже как ток усталой крови.

Сергей плохо ориентировался в городе, да еще в такой непривычной обстановке. Долго не мог сообразить, какого направления ему держаться, и двинулся наобум в поисках такси...

Брел, засыпаемый снегом, как старая ломовая кляча, с узелком под мышкой, и мысли его мешались. Вспоминался вчерашний, теперь уже позавчерашний день, и все, что последовало, обрушилось за ним, чувство стыда и непоправимой вины, вытесненное было необходимостью энергичных действий, вновь овладевало им. Возвращалось — как возвращаются бесшумные ночные тени. И как ни пробовал успокоить, усыпить что-то в себе, изгнать — не изгнать, а деликатно, мягко, одной ладонью взяв за плечо, а другой — в спину, в спину, но безоговорочно выставить, вытеснить этих непрошеных ночных гостей, тени не изгонялись. Не вытеснялись. Клубились, сгущались, вели свою ночную пляску.

Что произошло — роковое стечение обстоятельств или закономерный финал? Позавчера произошло или значительно раньше? И только ли перед тещей, перед этой старой, зависимой от него женщиной он виноват?..

Что произошло с тещей — он теперь, в самолете, имел представление. Что происходит или уже произошло с ним — этого он еще не знал. Знал только, чувствовал: п р о и с х о д и т.

Тогда же подумалось: а ведь напрасно оставил ее там, в больнице, одну. Надо было правдами или неправдами, а все-таки пробиться с нею в палату. Каково ей там сейчас одной? Он пытался представить путь, который проделывала она. Одна, точнее, в сопровождении двоих конвоиров, один из которых — немой. Вестник еще более дальней дороги...

Подспудно Сергей помнил, что его ждут дома, что жена не находит себе места, ждет не дождется новостей, но шагу прибавить был не в состоянии. И телефон-автомат тоже искать не хотелось. И устал: такой длинный-длинный день был у него позади. И не мог вырваться из плена своих невеселых мыслей. Прибавить шагу — значило сбросить их, стряхнуть, чтобы ринуться вскачь. Сбросить... Они въедались в него, как споры пока неведомых растений. Они еще зацветут — бог знает какими цветами. Да и не хотелось ему торопиться: когда еще он побудет один, когда у него еще будет такая передышка — путь домой?

Предчувствовал: не скоро.

Как будто уже тогда предвидел этот, сегодняшний полет...

Шел, куда ноги несли, махнув рукой и на такси. Да и как ловить его в этом кромешном снегопаде? Даже удивился, когда рядом с ним, вынырнув из этой движущейся, шевелящейся белизны, похожей на вычурный, белой парчи занавес в театре, проткнув, пропитав ее сперва двумя жирными пятнами света, а затем и капотом, притормозила машина.

— Пьяный, что ли? — просто и весело спросил, приоткрыв дверцу, шофер.

— Трезвый. — буркнул Сергей, продолжая шагать. Почему-то решил, что это милиция.

— Ну, тогда садись, подвезу, — все с тем же забавным и, главное, редкостным для московской шоферни простодушием сказал водитель.

Машина слабо ползла рядом с Сергеем — и он втиснулся в нее на ходу.

— А я думаю: еще собьют человека, надо бы подобрать, — с ходу продолжил шофер, прибавляя газу.

Он вообще оказался разговорчив, видно, боялся задремать, потому и притормозил, завидев возможного собеседника; Сергей из приличия время от времени что-то отвечал ему, и теперь его мысли, его т е н и кружились на фоне этой необязательной и так не соответствующей им болтовни: о раннем снеге, о бензине, о тружениках ГАИ...

Жена действительно ждала его так, словно он должен был привезти ей весть о материном выздоровлении.

А рано утром, часов в семь, снова был в больнице. Жена снова осталась дома: надо было проводить в школу сыновей, пристроить к кому-то Машу — та в детский сад тогда не ходила.

Нашел неврологический корпус, поднялся на третий этаж, стал искать нужную палату. В коридоре было полутемно. Горела одна настольная лампа — на столике у дежурной медсестры — да еще лампочка в другом конце коридора. Медсестра дремала, положив голову на обнаженный, мягко очерченный светом локоть. Будить ее Сергей не решился. Два или три человека ковыляли из конца в конец коридора. Туда и обратно. Именно ковыляли: кто волочил левую ногу, кто правую. У одного мелко-мелко тряслась голова, словно он что-то поклевывал на ходу, у другого она вообще выворочена набок. Еще день назад Сергей был так темен, что, встречая в жизни подобные увечья, чистосердечно считал их врожденными. Никак не думал, что волочащаяся нога может быть как-то связана с головой, с катаклизмами головного мозга. Сколько еще такого рода открытий предстояло сделать ему в ближайшие месяцы...

К людям, сосредоточенно ходившим по коридору, обращаться тоже не хотелось. Они хоть и не спали, но, чувствовалось, пребывали в том состоянии, когда человек никого, кроме себя, не видит и не слышит. Замкнут, «зациклен» на себе.

Больница в ранний час. Неверная тишина, неверный покой...

Выход один: потихоньку заглядывать в каждую палату. Что он и сделал. Тещу увидел в первой же палате, в которую отважился приоткрыть дверь. Она лежала, разметавшаяся, расхристанная, ноги съехали на пол, и какая-то старушка, тоже в больничной хламиде, согнувшись пополам, силилась поднять их на кровать. Сергей, не раздеваясь, кинулся на подмогу. Уложили, укрыли, поправили и стояли возле кровати — Сергей и чужая, еле-еле отдышавшаяся бабуля. Вот тогда, глядя на мучительно запрокинутое, с бессвязно шевелящимися губами лицо больной, старушка и сказала слова, повторенные сейчас стюардессой:

— А она у вас красивая...

Помолчав, добавила с укоризной:

— Что ж вы ее на ночь одну оставили? Нельзя было оставлять. Всю ночь металась, встать рвалась, куда-то идти, к какой-то Маше, несколько раз чуть не упала с кровати. Пришлось ее сторожить...

Тещина кровать стояла в палате пятой, дополнительной, у самой двери. Тесно. Женщины на кроватях закутаны и неподвижны. Спали они или только делали вид, что спят? Это была палата т я ж е л ы х — вот что определялось сразу, вот что чувствовалось в этой обманчивой тишине.

Соседка по палате еще минуту постояла над ней, повторила:

— Очень красивая старуха. Большая...

И направилась в свой угол.

Красивая, потому что большая... Что верно, то верно. Мать у его жены большая, рослая, сильная. Прорву работы за свою жизнь перевернула. А как сядет, бывало, в кресло, поднимет ладонь, изготовит ее, как поднимают, изготавливают правую руку, пускаясь в пляс, женщины на свадьбах: рука согнута в локте и легко приподнята, растопыренная, розой распустившаяся ладонь делает неторопливо-лукавые вращательные движения — взад-вперед, взад-вперед, и движения эти, сама изготовка сопровождаются вступительным, п р о б у ю щ и м притоптыванием да еще зазывным припевом, приговором, речитативом:

Охи-охи, девки блохи,
А ребята комары.
Девки ходят до полночи,
А ребята до зари...

...да посадит на эту ладонь, как на табуретку, голопузую Машу, и Маша тоже, в свою очередь, поднимет правую ручку, растопырит крохотные розовые пальчики и тоже крутит, тоже поводит этой своей только народившейся розой (полупрозрачной, рдеющей на свету, цедящей свет чашечкой шиповника) и тоже приговаривает, припевает что-то свое, и тоже топает ножкой, попадая в мягкую, теплую, большую бабкину грудь, — такой изначальной женственной силой веет от этой пляски!

Они действительно пляшут, оставаясь практически неподвижными. «Баба», как зовет ее Маша, сидя в кресле, и Маша, располагаясь на своем вознесенном табурете и только ногами на весу подрыгивая: распашонка пузырится, глазенки блестят. Сияньем счастья мордаха ее может сравниться разве что со сдержанно-озорной, непривычно-озорной, лукаво озорной, округлой, как у луны, физиономией «бабы».

Такой, вероятно, и должна быть прародительница рода — сильной, сдержанной, даже в старости не лишенной женского обаяния.

Странная штука: ладони у них движутся легко и в унисон. Чувство такта, ритма, бог знает какими путями сообщилось от бабки к Маше. Разница лишь в том, что у Маши-то ладошка пуста, продуваема светом и ветерком, а бабкина большая, тяжелая, с грузом. Впрочем, какой там груз — ладонь, как облатка, грубая, корявая, но надежная, защитная. Как ложе, содержащее в себе этот неведомый венчик — Машу.

Есть в ботанике такое выражение — ц в е т о л о ж е.

Наши матери, наши бабки — наше цветоложе. А мы, в свою очередь, то же самое для своих детей и внуков. Гимн бесконечной жизни.

...Рассказать девчонке, когда, при каких обстоятельствах впервые услыхал эту фразу? И о больнице рассказать, и не только о больнице. Не только о болезни. Не только о чужой болезни, которую он волею судьбы сопровождает, но и о том, что смутно мучает и его самого. О себе. Да разве расскажешь обо всем, тем более в такой ситуации. Даже смешно: посидите, пожалуйста, еще на подлокотнике, а я возле вас постою — рука на вашем плече — и все-все расскажу. Поведаю. Исповедуюсь — замечено ведь: легче всего исповедоваться перед людьми чужими, случайными, да они и слушатели самые благодарные, может, потому, что никаких реальных действий от них не требуется. Сиди и слушай, хотя бы вполуха. Коротай время. Удовлетворяй праздное любопытство.

Почему человек иногда разговаривает сам с собой? Да потому, что, не встретив такого слушателя, изобретает, открывает его в самом себе. Это он не говорит — это он слушает. Себя. Самый благодарный слушатель, хотя тоже, как правило, бездействующий.

Правда, что-то подсказывало Сергею, что э т о й рассказать можно. И что, возможно, тут не потребовалось бы долгого, полубессвязного — как сам с собой — потока слов. Где-то читал: подводная лодка поднимается к поверхности и в неуловимую долю секунды в зашифрованном, сжатом, спрессованном виде «выстреливает» по радиосвязи весь сгусток обширной информации. Представил, как, вспоров водную гладь, играющей рыбкой взлетает, выплескивается этот радиоимпульс, эта радиопружина, сжатая до звенящей убойной силы, чтобы продолжить полет в свободном эфире.

Пучок — не столько смысла, сколько ч у в с т в а: нервов, страсти.

А может, сеанс связи уже был, состоялся, и импульс достиг цели — в самом начале, когда Сергей еще и не знал, кто тронул его за плечо?

Она опять обернулась к больной, поправила простыню, погладила напоследок, прощаясь, ее парализованную руку и поднялась. Повернулась к Сергею — черный, шелковый, ночной шатер ее волос опять на мгновение раскрылся, и откуда-то из его альковной глубины опять пахнуло привядшей травой. Не хотелось думать, что это шампунь. Хотелось думать, что это запах не привнесенный, а присущий самому ухоженному, подвитому шатру.

А что? — шатер и трава. Вполне естественно. Родственно.

Сергей улыбнулся: это был если и не шатер хана, полководца, то шатер его походной избранницы...

Как ни широки проходы в аэробусе, а два человека все равно с трудом могут разминуться в них, и они опять оказались лицом к лицу. Его улыбку она заметила.

— Ну вот, вы уже и улыбаетесь, — сказала. — Повеселели. — Потом простодушно добавила: — А то на вас лица не было. Страшно смотреть. И неизвестно, кого спасать в первую очередь — вас или больную.

— Спасибо. Вам бы служить не в авиации, а в реанимации.

Она энергично замотала головой. Шатер словно ветром надуло.

— Не-ет, я трусливая.

Тут уж они улыбнулись одновременно. Сообразили, как смешно звучит ее признание — на высоте одиннадцать тысяч метров. На высоте ее будничной службы.

Все-таки здесь, в хвосте, чтобы нормально разговаривать, нужно наклоняться друг к другу. Сергей наклонился к ее уху, едва-едва, розовой мочкой, выглядывавшему из-под волос — запах скошенного разнотравья стал еще ощутимее, — и сказал серьезно, даже серьезнее, чем намеревался:

— Вы не трусливая. Вы хорошая.

Мочка из розовой стала алой.

— Перекусить хотите? — спросила, коротко взглянув на него.

Если бы не ее ухо, он и не понял бы, расслышала она его или нет. Да он и сам теперь стеснялся тона, который взял так неожиданно для себя. И поторопился переменить его:

— Нет, спасибо.

— А то бы я принесла мамины бутерброды.

— У меня тоже есть бутерброды.

— Ну тогда мы произведем обмен! — выпалила и, не дожидаясь его возражений, заторопилась по проходу.

Сергей еще постоял над больной. Она по-прежнему дремала, и он опасался ее потревожить. Странная все-таки эта девчонка: ушла, упорхнула, а цепь, на какое-то время сомкнувшая их троих, не разрывается, и самый точный индикатор этого неспешного струения жизни по замкнутому кругу — покой, да что там покой — жизнь заботливо, любовно обихоженной женщины, дремлющей сейчас перед ним. Можно ли называть чужими людей, побывавших в подобной переделке?

Улыбнулся, вспомнив ее недавние слова: «Неизвестно, кого спасать в первую очередь...» Неужели он и впрямь так струхнул? Зато как петушился, хорохорился в медсанчасти... Со-про-вож-да-ющий — с добродушной издевкой, по слогам заклеймил он мысленно самого себя. С беспечностью человека, только что перемогшего беду.

Хотя кто знает, что ждет его впереди?

Какое-то время еще исподволь ждал стюардессу: вдруг действительно прибежит? С мамиными бутербродами. Чудачка. Пожалуй, он потому и догадывается, что ей можно рассказать, что уже знает наверняка: часть, толика, единица его жизни уже струится, циркулирует в ней. С самой первой и самой трудной минуты.

И еще об одном догадывается: она не из тех, кто слушает вполуха, она человек сердечного действия, порыва. Только вот чем она поможет ему, е г о беде?

Стюардессы не было. Он понял, что там, в их служебном отсеке, куда она столь шустро устремилась, у нее нашлись, образовались какие-то свои неотложные дела. Не исключено даже, что она получила нагоняй от старшей за такую длительную самовольную отлучку.

Мысли его текли, менялись, смешивались, он погружался в них все глубже, и они — на дне — становились все тревожнее и неуютнее.

17

Что знает он о жизни человека, который лежит сейчас перед ним? И который прожил с ним бок о бок много лет? Он, журналист, который уже в силу своей профессии должен интересоваться чужой жизнью. Он и интересовался — уезжая, улетая подчас за тысячи верст от родного дома. За тысячи верст — интересовался, а дома, под одной крышей, жила чужая жизнь, которую почти не знал, которой почти не интересовался. Жила неузнанной — его устраивала их взаимная автономия.

Боялся каких-то новых обстоятельств? Амортизации души?

Хотя какая там автономия — теща-то от него зависела. Крепко зависела: не могла долго жить без Маши, без дочери. А когда была под его крышей, ела е г о хлеб. Уже поэтому первый шаг должен был бы сделать он — щадя ее достоинство. Он же едва ли не подчеркивал свою независимость, отчужденность от нее, спокойную, добропорядочную, протокольную. Все было очень пристойно, без каких-либо анекдотических ситуаций, случавшихся в других семьях, и вместе с тем — никак.

«Ты что, обещала ему с вечера капусты потушить?» — кричала в запальчивости жена своей матери.

А та не могла обещать ему хотя бы потому, что он никогда бы не попросил у нее тушеной капусты. Он и разговаривал-то с нею порой только через жену, как через переводчика.

Он грамотный, вышколенный человек, во всяком случае, грамотнее ее, и выдержать дистанцию для него не составляло труда. Для нее же, наверное, составляло. Она бы, может, и хотела пересечь ровно вспаханную, аккуратную полосу отчуждения, «заступить» по простоте душевной, да уже побаивалась его. Независимого.

А так ли уж независим он был от нее? Жена даже ласковее становилась, когда к ним приезжала мать. Наверное, потому, что сама обращалась в девочку, в дочку. Что уж говорить о Маше — вот уж кто неутомимо сметывал все расползавшиеся края. Бабка в ней души не чаяла, и Маша платила ей той же монетой. Переносчица любви, главный инструмент диффузии.

Да, диффузия между их мирами все же была, свершалась исподволь. Просто пользуясь тем, что теща не была кичливой, не лезла в глаза, как дым, он слишком старательно делал вид, что не замечает ее.

Слишком старательно и долго.

...То ли солнце переместилось, то ли самолет относительно солнца переместился так, что яркий блик упал через иллюминатор на лицо больной, у нее вздрогнули ресницы, и, боясь, как бы она не проснулась, не забеспокоилась, Сергей, поднявшись, задернул шторку, потом еще до самых губ прикрыл ее лицо платком. Взмахнув, опустил его, не расправляя особенно, ей на глаза и потом надвинул поглубже, как бы защищая от загара...

Раньше в его селе ни детских садов, ни яслей не было, с бабками ему тоже не повезло — не было, отсутствовали, и ребенком, находясь безотлучно при матери, а значит, и при ее работе, Сергей не раз наблюдал, как вот так же, насунув глубоко на лицо белые платки, отдыхали женщины, колхозницы, в тени под сараем или под деревом, особенно в пору уборки хлебов, на току, в послеобеденный час, когда степная жара становится уже совсем нестерпимой. Подстелят фуфайки или прямо так на горячую землю или на травку улягутся, подсунув под голову какой-нибудь узелок, платками закроются, шаль или пустой амбарный мешок на ноги накинут, чтоб нечаянный ветерок не задрал их подолы, и отдыхают, соснут маленько. А солнце-то движется, не стоит на месте, и тень тоже передвигается. Ложились в тени, а глядишь — тень-то уже и съехала с них. А женщинам лень подниматься, переходить на новое место, ранняя, зоревая побудка, тяжелая работа, жара сморили их, и они ограничиваются лишь тем, что в полудреме, считай, неосознанно, все глубже и глубже надвигают, насовывают на лица свои белые, выгоревшие, взбрызнутые водой косынки. Тем и спасаются.

Мать и Сергея укладывала рядом с собой, но ему становилось скучно и душно вот так, смирно и бездеятельно, лежать среди сомлевших, пышущих жаром теток. Они вбирали солнце так же, как впитывало его зерно, собиравшееся на току, замершее от зноя дерево, как впитывала его, заполняясь им до отказа, через край (и то, что было *через край*, дрожало, переливалось по горизонту горячим маревом) сама степь. И он потихоньку выбирался из-под ласкового плена дремотной материнской руки, с трудом перешагивал через материных товарок и ковылял к своим одиноким забавам...

Лицо больной было накрыто, и оттого руки ее — тоже на белом — сразу бросались в глаза. Большие, с мелко-мелко посекшейся кожей. Да, они заметно похудели, побледнели. И все-таки болезнь словно облагородила их. Кожа помягчела, истончилась, теперь она едва ли не светилась. Все, что было под нею: кости, переплетенье вен и сухожилий — проглянули сквозь нее, будто стареющие, износившиеся, потерявшие упругую силу стропила сквозь прохудившуюся кровлю. Их опустили в болезнь, и они в ней, что называется, «откисли». Отбелились — и многолетний загар, и никакими водами и щелоками не смывающиеся мозоли, и сила — все сошло, растворилось, осталось в ней.

Жалкими стали. Необязательно было заглядывать в лицо — руки сообщали все.

Неожиданно вспомнилось, как однажды в Москве его навестила крестная мать.

Крестная у него хорошая. Привечала его, еще когда мать жива была, без гостинца к ним не приходила, к себе зазывала: покормит, по голове погладит. Своих трое, а все равно и его, как своего, жалела. Пожалуй, даже иначе, чем своих — тоньше, жальче. Своих — кровнее, неизбывнее, на то они и свои. А его — тоньше, с нечаянно выскальзывающей слезой: безотцовщина. А когда мать, ее подруга, умерла, жалость стала еще острее. Виноватее, что ли. В интернат приезжала — с брезентовой сумкой, с узлами, с пирогами. В черном плюшевом жакете, в полушалке, неловкая, робеющая перед их интернатской оравой, — Сергей и сам тогда ее стеснялся. Разыщет его и прямо здесь, в коридоре ли, во дворе, начинает потчевать деревенскими гостинцами. Возле них сразу собирается разнокалиберный табор, преимущественно мелкота, и, протягивая руки, потчуется тоже. Крестная всегда образовывала веселый затор, толчею наподобие тех, которые производит крошка хлеба, брошенная в аквариум с мальками. Прожорливые рыльца поддевают ее с разных сторон, кружат, и она на глазах тает — таяли оклунки и припасы

Голодными они не были, да и не бог весть какие лакомства привозила крестная. Детвора окружала ее, как сколок домашнего тепла. Потереться об ее плюшку, понюхать, потянуть задранными носами степного воздуху, который крестная тоже привозила с собой — в узлах, в складках жакета, в волосах. Многие из интернатских, «инкубаторских» мальчишек и девчонок тоже были родом из сел, многие росли без матерей.

Сергей и стеснялся ее приездов, и ждал их; воздуху, воли, *дома* ему здесь тоже не хватало.

Ездил к ней на каникулы. И сам ехал, и двух младших братьев брал с собой. Они некрещеные, мать их окрестить не успела, крестных у них нет, и его крестная стала крестной и им, тогда совсем еще маленьким.

А с годами, когда оторвался, отпочковался и от села, и от интерната, связь с нею ослабела. Теперь уже не он ее, а она его стала стесняться. Тушевалась перед ним: грамотный, в самой Москве живет. В селе он бывает редко, раз в четыре-пять лет и то мимоходом. Сразу — на кладбище, а уж после кладбища зайдет к ней, посидит, рюмку выпьет, платок ей оставит — и опять на автобус, в райцентр, а там дальше куда-то по своим служебным неотложным делам. Потом уже не на автобусе стал приезжать, а на легковой машине, и не один, а еще и с человеком, провожавшим его «от Ставрополя, от края». Крестной бы гордиться, а она стала стесняться его еще больше. С этой машиной он еще торопливее. Крестная машину невзлюбила: стоит перед хатой, уткнувшись мордой в ворота, как недоеная корова. Она уж и приваживала ее: и шофера обедать усаживала, и *сопровождающего* ублажала, угодить старалась. А Сергей все равно спешил: машину казенную, мол, неудобно держать (что ей станется, железке-то?), к вечеру, засветло надо поспеть опять в Ставрополь или в другой район. И шофер, бесстыжий, поддакивает: да-да, чем раньше выедем, тем лучше. Ни обедом их, этих городских начальственных шоферов, не проймешь, ни парой-тройкой отборных арбузов, что уже вынесены, уложены ею в багажник за труды.

Лучше б на лошади приезжал. Лошади дай сена или торбу с овсом, подвяжи к морде, и никуда она торопиться не будет. И человека с родины, из гостей торопить не станет. Лошадь — она понимает. Не железная...

Завидев его, крестная всякий раз изумится, руками всплеснет и точно так же, искренне, по-девчоночьи изумится потом его очередному городскому платку.

Почему-то каждый раз привозит в подарок платок. Проще подарка не сыскать. Да и места в портфеле не занимает.

Поездки все реже и реже. Уже и не вспомнить сразу, когда был в последний раз. Сейчас вот тещу довезет, сдаст шурину, шоферу по специальности, а сам, наверное, съездит в свое село. На кладбище, потом к крестной. Обязательно съездит.

И к братьям надо съездить. Сколько же он не был у своих братьев, живущих здесь же, в крае, в городке под названием Изобильный? И они почему-то давненько у него не были. Ты не задумывался, почему они так давно к тебе не приезжали?

И крестная теперь к нему не ездит. Ездила, пока был мальчишкой. Пока, считала, была в ней нужда. Пока он сам знал, чувствовал нужду. Нужду в ней, нужду как таковую. Правда, тогда он не считал себя ни бедным, ни обойденным. Счастливая пора, почти лишенная осознанных материальных забот, — одни метафизические. Только когда она безвозвратно улетает, понимаешь как в утешение самому себе: то и была нужда.

Восславим нужду, которую не замечаешь, которую, грустно отводя глаза, замечают лишь окружающие.

Нужды, нехваток он теперь, по ее представлениям, не знал. Хотя в обращенном на него взгляде по-прежнему угадывал жалость. И от этой жалости у него, особенно после кладбища, после рюмки на мгновение першило в горле. Он уже был в том возрасте, когда сиротство тоже становится не материальной бедой, а тоже скорее лишь метафизической. Но такую нужду — и крестная это понимала, чувствовала — не избыть. Чем она нематериальней, тем труднее поддается выдворению. Ухватиться не за что...

Они отдалились друг от друга, исчерпали потребность друг в друге: он в ней — необходимость, она в нем — участие; стали видеться реже и реже.

Горе израсходовалось, хотя она тоже понимала, что израсходоваться вчистую, без остатка, без горечи, переродиться оно все-таки не могло, потому и смотрела на него, взрослого, полнеющего, с машиной и сопровождающим, едва ли не с тем же состраданием, что и в интернате.

Вроде он на всю жизнь там заточен — в интернате.

И вот — приехала.

Застала. Заехала случайно: по пути в город Киров, где у нее после службы в армии остался, женившись на северянке, младший сын. До Москвы добралась, а до Кирова билет взяла только на утро. Уже собралась было заночевать на вокзале, расположилась со своими узлами и оклунками, да в последний момент решилась — попросила соседку по скамейке позвонить по телефону, что записан был у нее на бумажке: Сергей однажды оставил, а она сохранила.

Та позвонила, Сергей поехал на вокзал, привез крестную домой.

Это было ранней весной, теща как раз жила у них, но уже собиралась на родину — домой, к огороду.

Теща и крестная мгновенно нашли общий язык: дом, огород, дети...

Поздно вечером, когда скромное, на скорую руку, застолье давно закончилось, когда дом уже засыпал, Сергей пошел на кухню вытащить оттуда засидевшуюся неугомонную, особенно при гостях, Машу. Застолье было на кухне, теща и крестная убирались, Маша у них застряла. Подошел к застекленной двери и остановился. На кухне уже царил полный ажур: посуда вымыта, убрана, все блестит. Старухи сидели за столом, на котором праздничная скатерть уже была заменена клеенкой. Расположились друг против друга и пили из блюдечек чай. Блюдца высоко подняты, каждая держала свое в правой руке, упиравшейся локтем в стол. Пальцы растопырены, темные, узловатые, неловкие. Нежные скорлупки дорогих блюдечек, в которых и чай-то просвечивал, как яичный желток, и которые старухи держали с пугливой осторожностью, оттеняли эту натруженность и корявость. Сергея поразило сходство этих мирно беседующих рук. Да, впечатление такое, что беседуют не люди, а их руки. Хорошо, лучше, чем лица, освещенные, они мягко двигались навстречу друг другу, поворачивались, кланялись. И все опять было как и в случае с его матерью: крестная внешне не походила на тещу, а вот руки у них одинаковые.

У всех троих одинаковые. Правда, мать тогда была лет на двадцать моложе их, сегодняшних, но руки у нее всегда были старше нее.

Эти женщины, пожалуй, нашли даже не общий язык, а другую, еще более существенную общность — рук. Потому и знакомство их состоялось так легко и естественно.

— Дояркой работала? — послышалось из-за двери как бы в продолжение его раздумий.

— А как же, — охотно отозвалась крестная.

Мать у него тоже работала дояркой. И дояркой тоже.

Маша сидела между ними, прямо напротив Сергея, подперев щечки двумя крепенькими и розовыми кулачками и поводя темными глазенками то вправо, то влево. То к одной руке, то к другой.

Может, как раз благодаря этой корявости бабкины руки и обладали для Маши дополнительным притяжением? Сергей втайне ревновал дочку, наблюдая по вечерам, с каким самозабвением ластится та к темным тещиным ладоням. Липнет — каждым волоском. Трещинки, морщинки — они как бы для того и предназначались. Тоже диффузия, взаимопроникновение.

О какой же автономности миров можно говорить, если солнышко у них одно! Маленькое, вертлявое, хворающее, но такой насыщенной, взрывной концентрации тепла, что его в доме хватает на всех.

Что он вообще знает о ней? Знает ли самое существенное — может, оно теперь, с ее катастрофически нарастающей немотой, и уйдет навсегда в забвение? В забвение для него, ограничившегося этим бытовым, куцым, оскопленным представлением о человеке: «здравствуйте», «до свидания», «тушеная капуста»...

Что было существенным? Война? Да, она ведь была на фронте, служила в санитарном эшелоне. Откуда он это знает? От жены? От тещи?

От Маши! Ну да, конечно, от Маши. Приходит однажды с работы, открывает дверь, а Маша, заслышав, как он возится с замком, уже поджидая его в прихожке, кидается ему на шею, обнимает и горячо кричит прямо в лицо:

— Наша бабушка фашистов видела! Только она не убивала их, а спасала...

— Ну, мать, это ты уже какую-то антисоветчину порешь! — засмеялся, внося ее в комнату, где сидело вокруг телевизора остальное семейство — на сей раз он приехал не так поздно, — и сажая ее на колени к бабке, чтобы самому разуться и переодеться: жена с ее неистребимо провинциальными представлениями о чистоте и порядке в доме вышколила.

Все-таки Машу он тоже иногда, под настроение, в шутку величал матерью.

— Зарапортовалась ты, мать. Видеть, может, и видела, но спасать — это что-то не то.

А теща вдруг сдвинула свои круглые роговые очки на самый кончик носа, взглянула на него из-за стекол и проговорила спокойно и отчетливо:

— Ничего не путает. И такое было: в одном вагоне свои маются, а в другом — подобранные немцы. Не дай бог только сказать своим, что в соседнем вагоне немцы.

Так она заговорила с ним впервые.

Тут бы ему, наверное, и присесть, и спросить ее самому, пусть бы рассказала подробнее. Фильм по телевизору шел военный, и она находилась в том состоянии, когда душа словно просыпается, смелее заявляет о себе. Когда она исполнена и достоинства, и непривычной, не высказываемой в обыденной жизни решимости, и желания поведать что-то важное, разбередившее другой душе.

Существенное.

Может, то и был случай, когда она — первая — делала шаг навстречу. Из круга, очерченного им и покорно принятого ею. Он же, правда, на миг замешкавшись, повернулся-таки и ушел. Раздеваться-разуваться. Куда как важное дело! Ему стало стыдно — теперь, задним числом. Стыд настиг, как запоздалое эхо.

18

Он все-таки старается быть примерным родителем и раз в месяц, скопом, листает дневники и тетради сыновей. Любопытные истины открывает иногда в этих тетрадях. И почему-то каждый раз примеряет их к себе. Тогда ему кажется, что сыновья не уроки записывают в эти замурзанные тетради, а свои тайные, беспощадные мысли о нем. Об отце — то, что еще не решаются сказать в глаза. Узаконенная форма оппозиции. В общем-то чушь собачья, его досужие домыслы, но он от этой однажды взятой в голову дури отрешиться не может. Подтекст. У младшего сына, например, в тетрадке по зоологии прочитал: «Прогрессивные черты дождевого червя». И ниже перечень этих самых прогрессивных черт. «Реснички», способствующие пищеварению, чувствительность кожного покрова. И еще ниже рисунок, портрет «прогрессиста». Дождевой червь в разрезе, с ресничками и кожным покровом. Тщательность исполнения его насторожила. Так и представил Митьку с высунутым от усердия языком.

Он, Сергей Гусев, и есть прогрессивный дождевой червь. С ресничками. С чувствительным покровом. (С чувствительным ли?) И карьеру делал так же — ни одной ступеньки не пропустил. Ползком. Переваливаясь с места на место.

«Самое постоянное свойство тел — инертность». Это он уже почерпнул из тетради старшего. И опять поразился как точности определения, так и его полной соотносимости с ним, Серегой Гусевым. Инертность, стремление к сохранению места и состояния.

Есть у него на работе женщина, умница, напористая, яркая газетчица, статьями и очерками которой он зачитывался, когда еще служил в молодежке. Она с любопытством восприняла его первые заметки, когда он появился в этой столичной Газете (во многом *ее* Газете, ибо они с Газетой делали славу друг другу и ревностно делили ее). Восприняла едва ли не единственная из «золотых перьев» редакции; другие просто не заметили

его, храня олимпийское величие. А вот она что-то почувствовала. И нашла его, тогда еще просто безвестного внештатника, претендента в собкоры, и сказала доброе слово, отчего у него благодарно загорелись уши.

Тем более что он как раз стоял среди таких же, как сам, провинциалов. Претендентов.

И после не раз хвалила его — и так, в коридоре, и прилюдно, на летучках. И он тогда, кажется, действительно пророс: в сонме «золотых», вечнозеленых, увенчанных лаврами, как своими естественными кронами, неожиданно проткнувшийся, проклюнувшийся побег. Для кого-то неожиданно, для нее — угаданно. Теперь его заметили и другие.

Есть цветок, он так и называется — «выскочка». Одно плохо — недолговечен.

Перевели в Москву, «на этаж», как говорят у них в Газете, стал перемещаться, переливаться, как прогрессист, по служебной лестнице, и теперь женщина уже сама приносила ему в рукописях свои статьи и очерки. Первому. Правда, не столько уважая в нем начальство (как у любой примы, ее отношение к начальству было лишено пиетета, тем более к начальству такого уровня), сколько подчиняясь опять-таки какой-то своей не то женской, не то журналистской интуиции. Он понимал это и старался не ударить лицом в грязь: его замечания были краткими, а похвалы не дежурными. Принятие материала у них до сих пор напоминает экзамен. Материал сдает она, а экзамен почему-то сдает он.

Замечания скупы, похвалы тонки, хотя и не велеречивы. Энергия в проталкивании материала на полосу — неизменная. Заполучив статью или очерк, а в редакции и то, и другое, и третье независимо от жанра зовется одним почти строительным словом — «материал», он тут же принимался «интриговать»: шел по начальству, заручался поддержкой девушек из секретариата, рисовальщиц макетов, уславливался с выпускающим, что шедевр, как только начальство примет решение о его публикации, будет поставлен без «хвоста».

Публикация — во власти начальства. Зато «хвост» (места на газетной странице сплошь и рядом дают в обрез, и тогда в материале образуется излишек, из него лезет «хвост», и автор с болью душевной вынужден сокращать свое произведение, то есть поступать с «хвостом» так же, как часто поступают с ним и в реальной жизни, — рубить: и такое палаческое выражение тоже гуляет в редакциях) находится почти всецело во власти выпускающего.

Выпускающий — далеко не самый большой человек в редакции — крепко держит за хвост любую приму. Даже не признающую высокое редакционное начальство. Любую ведьму. Но теперь уже его, Сергея, побаиваются — даже выпускающий.

Побаиваются...

Один из ее очерков читал совсем недавно. Она сидела напротив в кресле, курила, с притворной непринужденностью ожидая приговора. Вот ведь тоже странность: его оценки всегда похвальны, приговоры, так сказать, неизменно и даже сенсационно оправдательны, а все равно ждет она с плохо скрываемым напряжением и чем старше становится, тем напряженнее ждет. Ей уже и сейчас крепко за пятьдесят. Сергей понял: она забрала себе в голову, что именно по его реакции раньше всего поймет, что начала сдавать. Что ее материалы становятся вторичными, что она повторяет самое себя или — не приведи господь — кого-то другого. Что пошла по второму кругу...

Мужчины, замечал Сергей, такими комплексами не маются. Они и в старости проще, грубее. Прима же борется со временем. Замужняя женщина с детьми и внуками на руках, она до сих пор ухожена и отполирована. Или так: старость понимает по-своему, капризно, как еще одного начальника. Еще пытается ни в грош ее не ставить. Хотя понимает, что тут рано или поздно — лучше поздно! — гордыню придется смирить. Покориться. Понимает и с куда бо́льшим рвением — чем старше становится, тем с бо́льшим, более яростным — следит за тем, чтобы ржавчина не пошла внутрь. Внутрь — в ее материалы. Здесь-то она кладет себя всю, не щадит живота и за реакцией Сергея каждый раз следит, как за вычерчиваемой у нее на глазах кривой кардиограммы.

Не дай бог ему сфальшивить!

Экзамен сдают оба. Только он — ей, она же — кому-то менее конкретному. Времени, с которым так яростно борется? И которое, кажется ей, в качестве своей секундной стрелки выбрало, подсунуло ей этого парня. Хотя какой он парень — ему самому тридцать семь.

...Сергей еще не закончил читать, когда она как бы между прочим произнесла:

— Давно хотела тебе сказать, что ты отвадил людей: не хотят заметки тебе нести. Говорят, кому угодно, только не Гусеву.

Сергей вопросительно глянул на нее.

— Двух слов, говорят, не скажет. Берет ручку и сразу начинает править.

— А что же надо делать?

Она длинно выдохнула дым.

— Уважать человека. Сказать, в чем он ошибся. Объяснить. Выслушав его резоны, убедить в твоей правоте. Поймет, примет — сам исправит.

— И опять принесет читать? Второй раз?

— А как же ты хотел? Тебя самого-то как учили?

— Тут не учеба. Тут — работа, за которую получают деньги. — Досадливо поморщился и снова уткнулся в рукопись.

Не смотрел на нее, но почувствовал, как она съежилась. Как затянулась глубже прежнего.

«Так, может, все это находится в одном ряду?» — думал он теперь, в самолете. И то, что он, по существу, не интересовался человеком, столько лет жившим с ним бок о бок, и то, что с каждым годом утрачивалась связь с людьми, окружавшими его в детстве и поделившими с ним когда-то его горе, и то, о чем совсем недавно сказала прима?

Сам-то он считал, что так профессиональнее: взять ручку и поправить, вместо того чтобы пускаться в нравоучения. Сам, будучи молодым и начинающим, не любил, когда начальство сажало рядом с собой и, красуясь собственной демократичностью и собственным красноречием, научало его — теоретически, — как надо писать. Испещряя пометками едва ли не каждую строку его рукописи.

Он считает, что экономит время, свое и чужое, они же, выходит, считают, что он экономит собственную душу. Боится амортизации.

Стремление к сохранению места и состояния.

19

Ты войны не видел: родился уже после нее. Так получилось, что, кажется, никто из твоих близких родственников на ней не погиб. Сия горькая чаша миновала. А может, все дело в том, что близких родственников раз-два и обчелся. Или многих из них просто не знаешь: мать умерла рано, и вместе с нею рано оборвались родственные связи. Село, в котором родился, тоже особых сражений не ведало. Десятские бабки до сих пор вспоминают о немецком «ироплане» (от ирода?), пролетавшем в сорок втором над Десятым и бросившем на него две бомбы. Одна упала неподалеку от школы, не причинив ей, впрочем, материального ущерба, другая почему-то на самой окраине — сорвалась! Фронт был рядом, и все же главные события на нем происходили в стороне. Так что зрительного представления о войне у тебя не было. Только умственное. Зрительное пришло значительно позже и совершенно неожиданно.

...Весна выдалась ранняя. Заканчивался первый год армейской службы. Ты прочно вошел в ее колею, чувствовал себя уже едва ли не бывалым солдатом. Старик-солдат, как говорят в армии. Первого мая вместе с другими солдатами получил увольнительную в город. Но в город не пошел: взял какую-то книжку и ушел в противоположном направлении — за город, в поле.

Какую-то... Ты помнишь книгу, которую тогда читал? Не забыл? «Вся королевская рать» Роберта Пен Уоррена...

Этот факт нуждается в комментарии.

Армии ты побаивался. Не службы как таковой, не физической, стройбатовской работы — деревенское, а потом еще и интернатское происхождение привили в этом смысле отличный, стойкий иммунитет: если и боялся

работы, то мастеровитой, тонкой, которой нужно учиться с детства, и учиться под чьим-то, лучше всего отцовским, приглядом, грубой же, физической (сила есть, ума не надо) не боялся никогда, напротив, старался выбрать именно ее, чтобы не опозориться в другой.

Побаивался другого. Зажатый распорядком, враз оторванный от привычной обстановки, от письменного стола, от книг, волновался не за руки, а за голову. Боялся, что в новой круговерти, в оторванности от интеллигентной среды растеряет и без того неглубокий, как едва-едва завязывающийся жирок на молодом рабоче-крестьянском теле, «культурный слой», не без трудов приобретенный в последние годы. Что он не выдержит испытания армейскими буднями, и его развеет, размечет без следа: как человек, занимавшийся в молодежной газете сельской темой, знал, что такое ветровая эрозия почвы. Знал не только теоретически: в свое время пыльные бури проносились по степям, как пожар. Все иссушающий и испепеляющий. Земля после них действительно выглядит горелой. Погорелицей. И тут — эрозия. Пустить все на ветер. А этот слой был ох как нужен! Слишком многое мечтал с его помощью вырастить.

Ты не забыл свои мечты? Не предал их? Человек склонен переоценивать значение того, чего ему самому не хватает. Так и ты, пожалуй, переоценивал значение «культурного слоя» — в ущерб другому, неокультуренному, подспудному горизонту. Несущему. Почва и порода: их взаимоотношения, их участие в рождении живого наверняка сложнее, тоньше, прихотливее, чем ты тогда мог предполагать. Что поделаешь — может, и хорошо, что панически боялся «эрозии». И выработал против нее свою систему «почвозащитных» мер, если выражаться агрономическим языком.

Система предусматривала и такое.

Положил за правило просыпаться на час раньше общего подъема и, не слезая со своего второго этажа металлической солдатской кровати, читать. С вечера запасаться книгой и утром читать. Со временем втянулся в строгий армейский распорядок, он почти не тяготил, в нем, умеючи, можно было отыскать не освоенные старшиной Зарецким «белые пятна» и распорядиться ими с пользой для себя, в том числе для наращивания своего культурного слоя, «гумуса», эта привычка осталась на все время службы.

Спит, посапывает, досматривает последние, утренние, самые заветные (остатки сладки!) сны вся огромная, никакими перегородками не поделенная казарма; подремывает даже дневальный у входа, «на тумбочке», как выражаются в армии. Если это зима, то в проходе казармы горит неяркий свет. Одна из лампочек — как раз рядом с твоим изголовьем. Если весна или лето, то прямо в низкие окна брызжут лучи восходящего солнца. Солнце бродит по спящей казарме, заглядывает в молодые лица, щекочет, наклоняясь, теплыми волосами, нашептывает — наверняка девичьим голосом! — что-то каждому на ухо. Последний час покоя и молодой здоровой неги. Час массовых полетов — вы были еще в том возрасте, когда во сне летают. Растут.

Ты тоже летал. Все, что прочитывалось в тот благословенный час, буквально впечатывалось и в память, и в душу. В память — по причине ее утренней свежести, незатоптанности. В душу — потому что размягчена, разнежена, взрыхлена покоем, пронизана солнцем. Взвешенная в восходящем потоке солнечного света, она была восприимчива к малейшим дуновениям, сама была склонна к полету.

Так же, как светом, все, что читал, было пронизано спокойной, тоже утренней грустью по жене и сыну, по дому, по родным, так явственно встающим перед глазами краям, плыло по неспешной волне собственных размышлений. Само по себе это не было горючим, но это была та насыщенная кислородом среда, в которой горючее сгорало. Идеально, без остатка, без копоти. Срабатывало. То, что читал, жадно принимал в себя, входило в согласное соприкосновение с тем, что жило в тебе, — и срабатывало. Давало толчок.

Душа во сне тоже не только летала, но и росла.

Все, что было прочитано в армии, при таких обстоятельствах, — это не чтение в метро, на ходу, на бегу: помнится долго. Причудливой формы лист, оттиснувшийся где-то в каменноугольных пластах, — с годами его ли-

нии не стираются, а становятся еще резче. Письмо из века в век, из одного этапа человеческой жизни в другой.

В те дни читал «Всю королевскую рать». Джек Бёрден, Вилли Старк, Анна... Уже подсохло, земля окутывалась дымком первой зелени. Как на старинных гравюрах: грянул неслышимый выстрел, и поплыло паутинкою облачко, разрастаясь, затягивая, заживляя доселе темную, грубую, неприбранную землю тончайшим живительным маревом. Земля внутри него — как плод, развивающийся в питательной и одновременно охранной среде околоплодных вод. Бродил, с удовольствием наблюдал и вдыхал весну, столь непохожую на ту, что так решительно — вот уж где действительно выстрел! — хозяйничает в такое время в родных местах, присаживался на пень или камень, раскрывал книжку. Так совершенно случайно оказался на кладбище.

Кладбище вынесено за городок, в поле и окружено кустарником и редкими деревьями. Это даже не рощица, а так, самосев, неумолимо заволакивающий, засоряющий с послевоенных времен не паханные из-за нехватки рабочих рук углы разом обезлюдевшего Нечерноземья. Поразился размерам кладбища: из одного конца едва виден другой. Правда, кустарник вторгается и сюда. Длинные, колючие, едва зазеленевшие языки его вкрадчиво пробирались между могилами, стараясь и их покрыть вторым, уже окончательным, нерушимым слоем забвения. Городок маленький, а кладбище как с чужого плеча.

Бродил среди обычных провинциальных могил, которые здесь, на севере России, еще смертны, еще лишены той железобетонной прочности, вычурности и основательности, с какой они обустраиваются у вас, на юге, и удивлялся этому явному несоответствию городка и кладбища. Удивлялся, пока не наткнулся на необычайно длинные ряды одинаковых надгробий. Невысокое, с овальной оконечностью, из кирпича сложенное надгробие, обозначающее изголовье могилы, и перед ним сама могила. Плоская, без всякого холмика, просто аккуратный, экономный, чуть вытянутый прямоугольник, тоже выложенный, обозначенный по периметру жженым кирпичом. Как обкладывают газоны — углами кверху. Прямоугольники расположены вплотную друг к другу, так что у каждой их пары одна сторона общая. Локоть к локтю. И надгробия тоже идут часто и ровно — строем. Надгробия покрашены белой краской, но краска старая, облупилась, облезла, однако надписи видны хорошо: их сначала выцарапывали, а потом заливали темной краской. Звездочки над ними тоже предварительно нацарапаны и тоже темные. Не то краски другой не было, не то от времени. Все одинаково на этих надгробиях. Разные только фамилии. Реже — звания.

Рядовой Пономарев Иван Петрович.

Рядовой Остролуцкий Сергей Степанович.

Гв. сержант Шарипов Абдулла.

Старший лейтенант Падалко Василий Васильевич.

Казалось, фамилиям нет конца. Ты как будто действительно вступил в другой, теневой, если не потусторонний город.

Царство.

Другие, обычные могилы тоже были печальны, как печально любое наше последнее пристанище. Разнообразные, по-разному обихоженные, с крестами и звездами, с оградами и без, с березкой, кустом сирени или смородины, с деревянной лавочкой и столиком на врытом в землю столбе — для поминальных дел. Если ограда, то непременно с открытой калиточкой. «Чтоб душа выйти смогла», — объясняли когда-то. Что земли навалено два метра — это ничего, главное, чтобы калиточка была отворена. Эти же, необычные (хотя, строго говоря, они-то как раз и были самыми обыкновенными, и потому что одинаковы, и потому, что утроены скупо, строго, без фантазии и излишеств, функционально, так и хочется сказать — по уставу) могилы вызывали чувство более сложное и глубокое, чем печаль.

Скорее ужас.

Эта одинаковость и эта бесконечность наводили на мысль о чем-то механическом. В традиционном представлении смерть все-таки больше связана с областью духовной, чем физической, физиологической. Здесь же ей

грубо возвращена вся ее посконная правда. Натуральность — если не натуралистичность. Смерть низводилась до процесса сугубо механического.

Машина смерти.

Машина смерти — это и есть война.

Как оглушенный, бродил меж этих сомкнутых рядов. Каре со знаком минус. Была еще одна закономерность, которая усиливала отличие этих могил от других и от которой кровь в висках стучала еще больнее. Даты. Суть даже не в том, что подавляющее большинство мужчин (изредка-изредка встречались, правда, и женщины), лежавших под этими надгробиями, ушли из жизни, что называется, в самом расцвете сил. И порой даже до расцвета, до полнокровного расцвета — когда жизнь еще только раскрывалась. Развиднялась.

Восемнадцать... Девятнадцать... Двадцать один... Горькая арифметика. Но еще горше другие цифры и другие даты. Даты смерти.

8.VII—41 г., 8.VII—41 г., 9.VII—41 г., 10.VII—41 г., 11.VII—41 г., 12.VII—41 г., 13.VII—41 г., 13.VII—41 г., 13.VII—41 г., 14.VII—41 г.

Ни дня без смерти!

Сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый и еще несколько месяцев сорок шестого — ни дня без смерти. Каждый день могила, и даже несколько могил на день. Поэту принадлежит выражение «четки дней». Это были четки дней, развернутые, перебираемые войной.

Не сразу сообразил, в чем тут дело. Знал, что в годы войны городок был тылом, ближним, но тылом, никаких сражений тут не было. Потом понял, догадку после подтвердили старожилы: в войну здесь были развернуты крупные прифронтовые госпитали. Городок, ткавший, помимо портянок, еще и марлю для бинтов, часть продукции стал оставлять дома. И это умирали раненые. Возможно, из-за них и вынесли кладбище за город — так много требовалось простора. Первая могила, помеченная восьмым июля, с большим надгробием, на котором написано полтора десятка фамилий, — братская. Это, вероятно, день, когда в городок прибыл с фронта первый эшелон с ранеными. В первой могиле похоронены те, кого с фронта не довезли, точнее довезли мертвыми. Потом пошла рутинная госпитальная жизнь — день за днем. Могила за могилой.

Могилы размещали почти впритык одна к другой, копали их предельно узкими — так и получилось, что одна из сторон каждой могильной пары — общая. Экономили кирпич. Так и получилось, что весь их строй — не только локоть к локтю, а как бы взявшись за руки. Взявшись за руки — несуществующие. Несуществующие — среди весны, среди закипающей жизни, которая посягала даже на тлен, на смерть, на ее удельную вотчину.

В то майское утро ты и получил самое реальное представление о войне. Лист, тонко и строго оттиснувшийся в каменноугольных глубинах и так — оттиском — сохранившийся, преодолевший время.

Сохранившийся ли?

Такому восприятию тоже, наверное, были свои благоволящие причины. Весна, одиночество, настроенность к чувствованию и размышлению, то, что сам уже вкусил солдатской жизни. Пусть мирной и все же — солдатской. Это было продолжением утренних бдений.

Растем, когда летаем.

И когда ходим, летая, по своей земле.

Вернулся в часть, нашел комбата Каретникова, обратился к нему с просьбой разрешить получить на складе бидон краски, кое-какой материал и шанцевый инструмент.

Комбат был как раз при орденах, крупный, праздничный, улыбчивый, — в другое время это человек совсем из другого теста, немногословный, жестковатый, по обыкновению большинства кадровых военных всегда стоявший на крепких ногах так, словно именно эту пядь он в данную минуту и защищает.

Вообще-то у вас не батальон, а военно-строительная часть, но командира, фронтовика, вы звали комбатом. Наверное, и звали так потому, что он и в мирной воинской жизни оставался фронтовиком.

Правда, ты знал комбата и другим. Он с самого начала проявлял к тебе сдержанный интерес: видимо, кое-кто из штабных, из канцелярии,

имевших дело с документами, сразу доложил ему, что среди новобранцев есть и журналист. А журналист — пока еще фигура не массовая, вызывающая любопытство. По крайней мере не в каждом стройбате служит газетчик. Иногда по вечерам комбат призывал тебя к себе в кабинет. Читал в это время почту. В его вечерней командирской почте были и такие письма, с ответами на которые приходилось крепко ломать командирскую голову. Девушка, не получающая писем от солдата, сурово пеняет командиру: загоняли, мол, заездили, человеку некогда слово черкнуть. Солдатская мать пишет, что от сына ушла жена, ушла к другому, но сын этого еще не знает, и мать ума не приложит, как ему, солдату, об этом сообщить. Придумайте что-нибудь, найдите, как ему сказать, чтоб не от нее, матери, узнал. Чтоб его обида не перекинулась на нее, как на виновницу. Кто-то кому-то не пишет, кто-то кого-то не любит. Или солдатской семье не уделяют должного внимания. Да мало ли каких еще невоенных писем приходит военному командиру!

Каретников просил помочь с ответами, всякий раз взяв слово не болтать лишнего солдатам. Иногда засиживались допоздна, и тогда он приказывал дежурному по штабу, вечно румяному, с нежным, девичьим пушком на щеках ефрейтору Грише Гришуку принести два стакана чаю. Так, постепенно привыкнув к тебе и вашим вечерним беседам за стаканом горячего чая, и рассказал, как семнадцати лет, мальчишкой, добровольцем ушел на фронт, после попал в школу по ускоренной подготовке младших офицеров-артиллеристов (на погонах до сих пор эмблемы артиллериста, а не строителя, эмблемы ремесла, противоположного тому, которым он занимается без малого вот уже четверть века) и в восемнадцать лет принял командование батареей. Однажды ты сам спросил его о первом бое — профессиональное любопытство. Он подумал, помолчал, потом сказал, что боя как такового не помнит: ни его конкретных целей, ни как именно он проходил. Помнит, что было п о с л е первого боя.

...Скорее всего они отражали танковую атаку. Скорее всего их батарею засекли и гвоздили по ним не только из пушек и пулеметов, установленных на танках. Когда все было кончено, восемнадцатилетний человек, шатаясь, побрел от орудий прочь. Над ним еще грохотало, правда, грохот, как гром ветром, уже сносило в сторону. Еще летели сверху спекшиеся комья земли и грозно опускалась поднятая взрывами пыль. Дым, гарь, ад. Еще не подобраны убитые и не перевязаны повторно, как следует, не наспех, раненые. Не было поставлено на колеса искалеченное и перевернутое прямым попаданием орудие — первый номер. Еще требовались его, командира, решительные действия и указания, чтобы привести хотя бы в относительный порядок выстоявшую, сдюжившую, но изувеченную батарею. А он, едва понявший только одно — о т б и л и, — в последний раз дал отмашку высоко задранной рукой, помимо его воли, до окостенения пальцев сжимавшей рукоятку лейтенантского «макарова», приказал что-то сорванным, петушиным еще голосом и, не оглядываясь, не разбирая дороги, пошел прочь.

Еще не знал толком, какой ценой досталась победа.

«Оставил поле боя...» — говорят о человеке, справившем труса. Он же почти бессознательно оставил поле п о с л е боя — место, зрелище, наверное, еще более страшное, если не учитывать одно обстоятельство: на э т о м поле тебя уже не убьют.

Ему нестерпимо хотелось спуститься к протекавшей рядом реке и напиться. И плеснуть водой в горячее, потное, впитавшее, кажется, всю окружавшую его грязь и гарь лицо. Лицо, ставшее чужим — от грязи, от гари, от срывавшегося с губ чужого крика. Перевести дух. Очнуться. Прийти в себя — ибо не только лицо, но весь казался себе чужим.

Уже спустился к воде, уже зачерпнул ее, когда его вдруг начало рвать.

Как рвало лейтенанта! И пот, и грязь, и гарь, и кровь, и, казалось, самые кишки его поплывут вот-вот в этой грязной реке. И юность...

Каждый раз, когда тебе доводилось видеть комбата Каретникова суровым, гневливым, угрюмым, ты вспоминал худенького, истерзанного лейтенанта из его рассказа. Тоже открытие войны — у каждого свое.

— И что же ты, один будешь красить? — спросил подполковник.

— Нет, почему же один? Поговорю с ребятами, желающие наверняка будут, и командир роты, думаю, отпустит.

При слове «ребята» он поморщился — не любил цивильных атавизмов и не поощрял их в «военнослужащих».

— Ну, это другое дело. Только так: не больше десяти человек. И можете трудиться сегодня, завтра и захватите третье мая. Четвертого быть на рабочих местах!

— Есть! Разрешите идти?

— Разрешаю.

Козырнул ты лихо, с удовольствием, весьма недурно сделал «кругом!» и даже каблуками щелкнул, выжав все возможное из кирзовых стоптанных нестроевых сапог, — знал, что комбату это понравится.

...Красили, подправляли, вскапывали. Деревца из подлеска принесли, посадили. Разжились семенами у старушек, обихаживавших могилы по соседству, цветы посеяли: ноготки, анютины глазки... Дни стояли теплые, тихие, копившиеся весенние соки брызнули наконец так, как брызжет молоко из набухшего материнского соска, ласково вправляемого в беззубый младенческий рот.

Год спустя, когда уже служил в политотделе, подполковник Муртагин, начальник политотдела, между делом неожиданно спросил: не хотел бы, как в прошлом году, поработать с ребятами на воинском кладбище? Ведь год юбилейный, двадцатипятилетие Победы, надо, чтоб кладбище выглядело особо аккуратным и торжественным. Только лучше всего взять тех же солдат, что были в прошлый раз, я, мол, позвоню в часть, чтобы их на день-другой отпустили. А вы, Гусев, были бы у них за старшего. Если, конечно, согласны?

А вечером восьмого мая подполковник Муртагин попросил, чтобы назавтра к десяти утра ты собрал у штаба управления всех солдат, с которыми работал на кладбище.

— Увольнительные им будут, я уже договорился.

Около десяти утра, начищенные и наглаженные, вы уже топтались перед штабом, правда, совершенно не понимая, для чего вас тут собрали. Впрочем, другие-то в глубине души считали, что ты все-таки что-то знаешь, но «темнишь».

20

На какое-то время в самолете он забылся.

Ему привиделся поезд с красными крестами на крышах и на боках, с проломленными вагонами, задымленный, очумелый, пробирающийся по равнине толчками, короткими перегонами, перебежками — сам словно контуженный. Калека, выползший из-под развалин, из-под грохота, из-под гибели и еще не верящий, что он живой. И вот тянется по выжженной, изувеченной степи где-то в Донбассе, а смерть неотступно преследует его. Преследует извне, в пикирующих на него время от времени самолетах — тогда поезд, как гусеница в минуту опасности, останавливается, цепенеет: для него это тоже практически единственный способ самозащиты — или в неизвестно откуда высунувшемся на насыпь рыле заблудившегося вражеского танка. Преследует изнутри: с м е р т ь в нем самом, из всех его пассажиров она пассажир самого дальнего следования. На полустанках, на разъездах, а то и просто посреди степи он принимает раненых и оставляет умерших. Поезд курсирует от линии фронта, от ближних подступов к передовой — к ближнему тылу, к стационарным госпиталям, и всюду за ним тянется печальный след. Могилы на полустанках, на разъездах и просто в степи. Кровь и гной, бред и мат, стон и зубовный скрежет... Эти страдания, эти корчи судорогой пробегают от буксы к буксе по самому эшелону, по вагонам, по их деревянной обшивке, по громыхающим жестяным крышам. Между фронтом и тылом, между житницей и ульем — тяжелая, перегруженная пчела, натруженно собирающая горький мед войны.

Поезд входил в затемненные города, останавливался на запасных путях; ощущение физической боли следовало вместе с ним, передаваясь — судорогой — городу, тылу.

Он где-то читал: уже после первых месяцев войны кресты на вагонах стали соскабливать или закрашиаать, ибо, завидев их, немцы атаковали эшелон с особым остервенением.

Санитарный состоял из трех частей: впереди, сразу после паровоза следовали два-три более или менее комфортабельных вагона, в которых размещалась собственно медицинская часть со всеми своими причиндалами, потом шли теплушки с ранеными, а замыкала эшелон открытая платформа с установленными на ней спаренными зенитными пулеметами — вот и вся, скорее символическая, защита.

Зимой в теплушках, застланных соломой, устанавливали железные печки-буржуйки, раненые сами — из «ходячих» — топили их. Над печками, сгрудившись, выворачивали белье и гимнастерки, вылущивали вшей и блох, те дождем сыпались на раскаленное железо и трещали так, словно буржуйку посыпали порохом или солью.

Раненых грузили с эвакопунктов. Те, особенно в первое время, были забиты. Раненые подчас даже не лежали, а только сидели: положить человека было невозможно. Негде. Случалось, подходят забрать того или иного названного врачами, пытаются поднять его, сидящего, а он мертв. Сжатый живыми, сидит — мертвый.

«Заберите вот этого старичка», — командует врач.

А «старик», весь в бинтах, с сивой щетиной на щеках, выговорит еле слышно, выдохнет черными, спекшимися губами: «Я двадцать третьего года рождения...»

Возраст иногда определить было трудно, но принадлежность к тому или другому роду войск санитары определяли легко — по ранам. Пехота — пулевые или осколочные ранения, танкист — в бинтах по самую макушку. Не человек, а матерчатая кукла. И очень часто слепой: горел...

Откуда он это знает? Тоже из книг? Нет. Ведь у него отчим бронебойщик, был ранен, ждал отправки на эвакопункте, ехал потом в санитарном поезде и лежал в госпитале в самой Москве, чтобы через полгода спасенным вернуться на фронт. Он об этом рассказывал Сергею, когда тот был еще мальчишкой. И это его рассказы позже, в интернате, пересказывал Серега вечерами в спальне одноклассникам, выдавая их со временем за рассказы своего о т ц а.

А потом забыл. Когда, на каком витке растерял и эту поклажу?

А что, если его отчима везли в Москву на том самом санитарном поезде, где служила санитаркой вот эта, теперь старая и беспомощная женщина?

На мгновение представил, как молодая, измученная, невытравимо деревенская (хоть и в гимнастерке, хоть и с погонами, а все равно — деревенская, свойская, матерински свойская) женщина прямо на шинели тащит вдоль вагонов окровавленного, стонущего, бредящего солдата.

Отчим рассказывал, что их состав в пути разбомбили, теплушки загорелись, и он, н е х о д я ч и й, чудом остался жив: санитарка выволокла из огня.

Мог быть убитым дважды.

На шинели... А может, на одеяле? Ведь, честно говоря, это он не сам догадался, что больную лучше, сподручнее носить не на носилках, а на одеяле. Просто однажды, готовясь перевалить ее на подставленные носилки, заметил, что она здоровой рукой и взглядом показывает на одеяло. И понял: на одеяле они пронесут ее по любым закоулкам. И им легче, и ей не такая мука.

Ее знание — из войны. Его знание — от нее. Еще один факт диффузии. Жизнь не приемлет автономий. Даже когда нам удобнее независимость друг от друга.

В сущности, все мы, люди, пусть опосредованно, подпочвенно, пусть самим воздухом — замкнуты друг на друга.

21

Ждать пришлось недолго. Ровно в десять к штабу подъехал ГАЗ-66. Небольшой военный грузовик с откидными деревянными лавками в кузове. Из кабины вышел Муртагин — в гражданской одежде, а потом принял оттуда через распахнутую дверцу двух нарядных маленьких дев-

чушек. Хотел спустить их на землю по очереди, но девчонки, уже стоявшие в кабине на изготовку, подрагивая, как крылышками, задранными вверх огромными бантами и не желая уступить друг дружке дорогу, прыгнули к нему на руки одновременно. Чуть с ног не сбили, обхватили в четыре руки за шею, смеялись, и он под этим венком (или хомутом? венком-хомутом?) осторожно, не спеша нагнулся и ласково поставил обеих на землю.

Венок — еще и потому, что девчушки сжимали в руках по букетику простеньких синеньких цветов — дикие фиалки, которые здесь, в лесной стороне, называют пролесками.

Девчушки были погодки и очень похожи между собой. Темные тонкие волосы забраны в две тугие косички. Гладкие прически с пробором на две стороны делали их головки аккуратными, обточенными, как у ласточек. Вертлявость только усиливала такое сходство. Правда, надо лбом, как бы подчеркивая эту четкость и аккуратность, вился, путался, нежно шевелился сквозящий лом иссиня-черных паутинок. А глаза у обеих серые, с коричневыми крапинками, вкраплениями, как воробьиные яички в двух пушистых укромных гнездышках. Редкое сочетание: темные волосы и светлые глаза. А объяснение, наверное, в том, что жена у Муртагина, как ты потом узнал, русская. Девчонок можно было бы принять за близнят, если бы не разница в росте и та особая строптивость, неуступчивость сестре, которая сразу заметна в меньшей и которая как раз и выдавала ее с головой: вот эта настырная козявка и есть младшая.

Это было очень непривычно — видеть начальника политотдела в сером штатском костюме да еще весело конвоируемого малолетними дочками. В каждой руке держал по крохотной розовой ладошке, напоминающей свернувшуюся, просвечивающую на свету раковину с ее бледно-земляничной, глазированной изнанкой. Две другие ладошки с таким же бережным старанием сами держали на вид прохладные, зябкие пучочки цветов. Вообще-то других цветов не было, рано, и эти уже привядшие, томно расслабившиеся фиалки, извлеченные откуда-то из лесной глуши, как юные утопленницы из пучины, были особенно, необыкновенно хороши.

Вся троица направилась прямо к вам. Вы смущенно примолкли. Даже ты не ожидал такого поворота событий. Подполковник Муртагин поздоровался с каждым за руку. Девчушки, забавно оттопыривая подолы штапельных платьиц, сделали кокетливые приседания и одновременно выставили вперед и чуть-чуть накрест правые ножки в вишневых лакированных туфельках, может, только для того и выставляли, чтоб мы не обошли вниманием эти замечательные башмачки (по крайней мере у нас таких не было!), и хором приветствовали нас:

— Здра-авствуйте...

Словно они были солдаты, они были строем, а вы индивидуумы.

Правда, младшая, уже от себя, уже обособленно:

— ...товарищи...

Тоже индивидуум.

Все засмеялись. Контакт!

— Транспорт подан, предлагаю садиться, — пригласил Муртагин.

Вы, переглядываясь, забрались в грузовик, расселись на лавках. Муртагин посадил в кузов и дочек — солдаты осторожно, по одной, приняли их, — и сам поднялся следом, хотя шофер, ефрейтор, и приглашал его с девчонками опять в кабину.

— Мы уж со всеми, с ветерком, — отшутился он.

Девчушки сначала жались к отцу, потом первой осмелела младшая, перебралась к тебе — кроме башмаков, ей крайне требовалось обнародовать и другую обнову: ожерелье из ракушек, ловко обхватывавшее стебелек шейки. Ей казалось, что так его никто не видит, не замечает (у старшей ожерелья не было — этого ведь тоже могли не заметить!), и ты, посадив ее на колено, потрогал эти шероховатые чешуйки, пустые надкрылки. Ожерелье настоящее, не какая-нибудь пластмасса! Она же убедилась: заметили.

Все остальное у них с сестрой было совершенно одинаковым.

А потом и ее сестренка оказалась у кого-то на руках, и затеялся общий разговор, шутки, смех. Шофер не торопился, пыли на дорогах еще не было, теплый ветерок дышал в лицо. Ехали хорошо. Сперва освоились с присутствием муртагинских дочек, потом с присутствием здесь, в кузове, самого Муртагина. Машина выбралась за городок. Дорога была на удивление оживленной. Попадались и легковушки, и мотоциклы, и велосипеды, но в основном народ двигался по этой дороге пешком. Группами, большими и малыми, в одиночестве.

Путники двигались к кладбищу.

Вы, оказывается, ехали туда же.

Оставили машину у ограды и, смешавшись с толпой, вошли на кладбище. Особенно много народу было у воинских могил. Здесь стоял характерный приглушенный ропот. Ропот старого горя, ропот долгожданных и неожиданных встреч, которые, возможно, и были бы шумнее, азартнее, не будь за спиной у встречавшихся этих безмолвно сомкнувшихся рядов.

Живые встречались с живыми. Живые встречались с мертвыми...

Изредка из этого приглушенного ропота вырывался высокий, пронзительный крик или стон, но тут же гас, мягко принимаемый, успокаиваемый этой утешительно-размеренной волной. Напряжение, которое медленно, исподволь накапливалось в этом неспешном людском прибое, надолго разрешалось таким надрывным криком или стоном.

Словно чайка, только что легко качавшаяся на воде, посреди солнечных бликов, и сама, как сгусток света, вдруг взмывала в самое небо и, сложив крылья и как будто увлекая за собою длинный ослепительно-белый, пульсирующий след, падала вниз.

В подавляющем своем большинстве это были люди приезжие — приехали семьями, поодиночке с ближних и дальних концов. Кто-то не был здесь давно, кто-то не был никогда. Собирались не один год, и приезд приурочили к дате — двадцатипятилетию Победы. Это были родственники и однополчане тех, кто покоился здесь, под надгробиями со звездой. Кто умер от ран в здешнем госпитале. Их дети и внуки, братья, племянники, матери.

Матери... Они были стары, старухи. Одни собирались приехать всю жизнь, пока наконец собрались. Другие поняли: дальше откладывать некуда, и, уже поддерживаемые другими сыновьями и дочками, внуками и племянниками, поехали сюда, в дальнюю сторону, на последнее свидание с сыновьями.

Женщины стары, но стоны их не старушечьи. Молодые, высокие, пронзительные. Даже странно: старуха, сгорбленная, в темном, поддерживаемая кем-то из молодых, и такой чистый, такой девичий, чайкой взмывающий крик. Так, наверное, кричат, когда рожают.

Памятью кричали — о сносях, о родах.

Эти вскрикиванья не нарушали общей обстановки, царившей на воинском кладбище. Тут слышались печаль и негромкая радость. Радость встреч с однополчанами — они, не видевшиеся многие и многие годы, узнавали друг друга даже не по лицам (неузнаваемы!), а по могилам тех, к кому пришли. Пришли разными дорогами, из разных мест, чтобы здесь случайно встретиться и обняться.

Горькая радость встречи, свидания с дорогой могилой. Чья-то мать, сестра, жена, чьи-то дочь или сын видели эту могилу впервые. Да, для кого-то это последняя, неумолимая точка в длинной и призрачной веренице бессонных надежд. То были и слезы искупления, выполненного долга — для кого-то, для чьей-то матери, возможно, уже последнего. Рыдания не были надрывными, истошными, неуправляемыми; в плаче слышался речитатив, рассказ не словами, а чем-то другим, более концентрированным и проникающим, даже сквозь эту хладную толщу, сквозь мать сыру землю, — о том, как жилось и как ждалось.

Тоже мать — сыра земля....

Кто-то бывал у этих могил уже не раз. Нынешний приезд у них не первый. И печаль, которая его сопровождает, тоже имеет свои особенности. В ней уже нет былой горячечности и безысходности. Перегорело, притерлось, почти смирилось с реальностью вечной разлуки. Тут уже больше тихой, печальной радости, нежели надрыва. Печальной радости от встречи — пусть хотя бы такой. Если вообще соединимы эти слова: печаль и радость.

Можно ли было остаться безучастными ко всему происходящему здесь? Ни у кого из вас не лежал под здешними плитами ни отец, ни

брат, не ваши однополчане встречались у могил, но вы тоже были захвачены и этой печалью, и этой радостью. Первые, как самые легкие, невесомые, были подхвачены ими муртагинские дочки. На одной из плит они по слогам прочитали женское имя: «Ма-ри-я» (на фамилию у девчурок грамоты не хватило) и положили к ней свои букетики. У этой могилы никого не было, но одна из женщин, находившаяся рядом, у другой могилы, заметила их, заметила, как они осторожно укладывали пролески поближе к изголовью, подошла, присела возле них на корточки, прижала к большой непокрытой поседевшей своей голове их темненькие точеные, на бутоны похожие головенки.

И заплакала.

И девчонки тоже, подчиняясь какой-то особенной, тайной, еще им самим непонятной женской цепной реакции, вспыхнули, как две соседние спички, заплакали. Не капризно, не канюча, не обиженно. Плакали маленькие-маленькие женщины, маленькие-маленькие матери, маленькие-маленькие жены, может быть, маленькие-маленькие вдовы. И их негромкие голоса естественно обозначились, отразились в этой разноголосице. Разноголосице, в которой из-за ее сдержанности, настроения и какого-то общего, длящегося и незаметно-властно организующего все окружающие звуки аккорда, было что-то от хорала.

Вступление. Или, наоборот, эпилог.

На кладбище были военные и кроме вас. То там, то здесь среди штатских весенних одежд возникало темно-зеленое армейское сукно. Но то были, как правило, люди пожилые. Военные в запасе, в отставке. С наградами и воинскими знаками, с погонами и без погон. Фронтовики, как принято говорить. Ветераны. Несмотря на мундиры, они уже почти не отличались от штатских. Не казались военными.

Старость — самая штатская должность на свете.

Причина даже не в подпорченной годами выправке. Укатали, мол, сивку крутые горки. Была в этих людях особенная, может, даже более глубокая, чем в других, размягченность, податливость происходившему, его настроению, которое действовало на них так же, как действует на пожилых людей сама атмосфера. Сразу, впрямую, не беря во внимание ни окружающие их стены, ни защищающие оболочки, — на сердце, на кровь, на суть! Податливость и всеведение.

У Толстого есть такая мысль: человек всеведущий, всечувствующий не может быть военным, во всяком случае, полководцем.

Вы не были полководцами, но вы были военными. Точнее — молодыми военными. Молоденькими, почти безусыми солдатиками.

Да, вы были молодыми военными, солдатами, «солдатиками», как подчас ласково, жалеючи, сама с собой скажет на улице иная старуха, долго следя взглядом за солдатским строем, и многим здесь, наверное, напоминали тех, кого они когда-то провожали на фронт. Провожали, но не встречали. Встретили только тут, на кладбище, под могильными плитами.

«Сержант Иванов Р. А. 1922 — 1944 гг.». Все, что осталось.

А вы были живыми и напоминали ушедших — живыми, молодыми. Воскрешали. И потому тоже вскоре оказались в центре внимания. «Внимание» — довольно нейтральное слово, обозначающее чисто зрительное восприятие. Вы же оказались в центре, в солнечном сплетении самых сокровенных человеческих чувств. Настроение, концентрировавшееся здесь, требовало выхода, заземления.

И вы оказались рядом, под рукой, под горем.

В грозу случается видеть, как молнии, выбрав один, чаще всего самый высокий предмет, не жалят, а как бы стремительно садятся на него, льнут к нему и, заставляя его светиться обливным, фосфоресцирующим светом, буквально стекают, изливаются по нему вниз.

Могучее, раскидистое дерево, оставаясь невредимым, то и дело вспыхивает, проявляется в негативе кромешной тьмы, само как продолжение, превращение молнии, ее заключительная фаза.

Так и на вас излилась вся чаша собравшегося, сбродившего здесь горя, но и в еще большей степени — нерастраченной, невостребованной, искупительной любви.

Вы сами засветились от этой любви.

Вдобавок ко всему люди каким-то образом узнали, что это вы обиходили к празднику могилы их близких. Вероятно, здесь не обошлось без Муртагина. Как бы там ни было, а новость мгновенно облетела всех собравшихся на кладбище.

К вам подходили, вас поминутно подзывали, обнимали и целовали, и вы обнимали и целовали...

Ты помнишь: старая женщина плакала у тебя на плече и называла сыном, хотя ты ей скорее годился во внуки, и гладила твои волосы, и ты, держа в одной руке давно снятую фуражку, другой, влажной от волнения, тоже благодарно и утешительно гладил конец ее разметавшегося черного платка?

В ту минуту и вправду вспомнил и материнские руки, и то, как она, твоя мать, когда-то ясным и теплым еще осенним утром, уже прощаясь с тобой навеки, печально и ласково перебирала, сидя на порожках вашего дома, над которым уже заскользила тень раннего сиротства, твои запущенные мальчишеские волосы. Как давно это было! И как давно никто не гладил тебя по голове, и тем более не называл сыном.

Вас наперебой угощали самым вкусным из всего, что было принесено сюда, даже предлагали выпить рюмку-другую: мол, таким молодым и крепким не повредит, — и вы с молчаливого попустительства Муртагина выпивали, не каждую, но выпивали с руки, на ладони поднесенную чарочку, и это вам, кажется, в самом деле не вредило.

Потом на поляне рядом с кладбищем сам собой организовался широкий поминальный круг, и вы с муртагинскими дочками тоже оказались в нем. Поминки, как то иногда случается в России, закончились песнями, и вы, обнявшись, тоже пели вместе со всеми — и про то, как бьется в тесной печурке огонь, и про Киев, который бомбили. И эту горькую вдовью отраду — песню-иносказание, песню-фантазию, песню — неумирающую надежду:

> Вот кто-то с горочки спустился,
> Наверно, милый мой идет...

Мальчишкой слышал, как пели эту песню бабы, вдовы. Сколько горечи и страсти вкладывали они в эти в общем-то незатейливые, не бог весть какой поэзии и смысла исполненные слова! Своим пением, голосом, горем они совершенствовали их, доводили, наделяли волшебной силой и тем иносказательным, почти неуловимым, а только чувствуемым, угадываемым смыслом, на которые слова эти изначально и не претендовали. Эта песня реяла в пятидесятых над городами и весями державы — высоко, сильно, больно, — когда вдовы были так молоды, а раны столь кровоточащими.

Когда лежащий впереди «жизненный путь» казался еще бесконечно долгим, и это обостряло боязнь одиночества: шагать и шагать, сбивая в кровь босые ноги, по каменистой пустынной дороге.

И укор, и надежда слышались в этом горячо возносимом женском призыве: а вдруг и впрямь возьмет и спустится их вековечная бабья защита и пойдет, шелуша в прокуренных пальцах колосья, по спеющим хлебам — в гимнастерке, в погонах, с орденом, как с государственной печатью, удостоверяющей мечту.

Пароль был — отзыва не было: защитная гимнастерка уже проросла защитной же молодой травой.

Песня бодрая, бодрящаяся, если говорить применительно ко времени — лакировочная, а надо же: была употреблена по совсем противоположному назначению. Тоже в духе российского человека: когда припрет его горше некуда, он, исчерпав причитания, заводит частушку. Да еще и шапку наземь хлопнет и сапогом вывернет что-либо удалое, хотя на душе у самого чернее ночи.

Попробуй совладать с таким!

...Вечерело. Машину Муртагин отпустил, и вы возвращались вместе со всеми, кто был в этот день на воинском кладбище. Притомившихся муртагинских дочек несли по очереди на руках.

Ты помнишь этот день?

22

— В связи с сильной грозой в районе Кавказских Минеральных Вод наш самолет вынужден будет произвести посадку в аэропорту города Ростова...

Смысл этих слов дошел до Сергея не сразу. Он слишком глубоко был занят своими мыслями, чтобы отреагировать на объявление, как другие пассажиры. Все разом, как по команде, зашумели, завозились, многие повскакивали с мест, заглядывая в иллюминаторы, за которыми по-прежнему простиралась сплошная безмятежная синева.

Никому не верилось в серьезность сообщения, никому не хотелось садиться в Ростове. До Минеральных Вод оставалось ведь рукой подать.

Но, пожалуй, больше всех не хотелось и не верилось Сергею. Все вокруг суетились и возмущались, а он сидел, тупо уставясь перед собою.

Посадка, неизвестно сколько сидеть в аэропорту, потом снова взлет. Что если именно взлет так плохо действует на больную? Меняется давление, в том числе, возможно, и в сосудах головного мозга — и без того пораженных... Он перевел взгляд на тещу. Та, похоже, ничего не слышала. Или не поняла. Или просто не хотела ничего слышать и понимать. Лицо ее было все так же спокойно, глаза прикрыты, легкая тень от белой косынки, которой Сергей прикрыл ей лоб, мягко скрадывала черты. Скрадывала и вместе с тем придавала им жизни, подкрашивала — жизнью — их бледность и немочь. Впечатление такое, что она все-таки скорее думает свое, отдаленное, нежели спит.

На третий или четвертый день болезни она стала звать Нюру. Среди стонов и неразборчивых причитаний прорезалось это осмысленное слово. Имя. К стонам, крику они уже привыкли. Ну если и не привыкли, не притерпелись, то, во всяком случае, уже и не воспринимали их так панически, как вначале. Устали паниковать, учились выполнять рутинные обязанности сиделок, не отвлекаясь чрезмерно на эти приступы, надолго сотрясавшие больную. У жены только начинали мелко и растерянно дрожать руки: как будто что-то выронила. Разбила.

— Нюра! — на удивление отчетливо и жалобно позвала она. В хаосе надрывных звуков этот призыв, в общем-то негромкий, протяжный, этой своей негромкостью и печалью полоснул по самому сердцу. — Нюра!

К кому обращалась эта мольба?

Они с женой замерли в растерянности. Что делать? Радоваться этому осмысленному, разборчиво произнесенному имени? Или пугаться — оно произнесено явно не к месту. Кинуться к больной, разубеждать ее: мол, никакой Нюры в помине нет?

Нюра — тещина сестра, Сергей и видел-то ее один раз, на похоронах тестя, она приезжала с дальнего хутора. Маленькая, крепенькая старушка с загорелым круглым, луковицей, лицом и сама похожая на луковицу: круглая, приплюснутая, тугая. На похоронах как-то сразу отстранила от хлопот тещу, большую, растерянную — муж ее умер в одночасье, даже не поболев как следует, и она, видно было, чувствовала себя виноватой перед ним, — уверенно взяла в круглые, но твердые руки вожжи погребения и повела процедуру по раз и навсегда прорезанной колее. Дом безропотно и даже благодарно подчинился ей.

«Нюра с хутора Широкого», как звали ее в тещиной семье, была ей старшей сестрой. Когда у них умерла мать, будущей Сергеиной теще было четыре года, а «Нюре с хутора Широкого» — семь. На нее и пали все заботы о младшей сестре. После, когда отец их женился второй раз, эти заботы только усугубились. У мачехи были и свои дети, причем пацаны, и «Нюре с хутора Широкого» приходилось решительно стоять на страже фамильной чести, действуя в потасовках сразу за двоих: за себя и за тихоню сестру. Потом у отца и мачехи родился еще ребеночек, теперь уже совместный, девочка, самая младшенькая и самая любимая. Мачеха знала, как повернуть мужа от падчериц — тоже родить ему дочку... А потом и отец умер, и тут уж они хлебнули сполна. Все вместе: и Нюра с сестренкой, и мачеха с ее детьми. Пятеро детей при тогдашней скудной жизни! Куча мала, из которой Нюра была самой старшей. Она-то и впряглась в работу наравне с мачехой. Они-то и повезли этот неподъемный воз. Не вожжи в руки, а сами в хомут — вожжами владела нужда.

И всюду за Нюрой тенью следовала младшая сестра. Тенью, которую та ласково и надежно держала за руку. Так и провела, можно сказать, в игольное ушко.

Вот кто такая Нюра. И Серегина жена, знавшая эту историю лучше него, вздрогнула еще по одной причине: в этом жалобном возгласе ей почудилась укоризна. Упрек: вроде она ухаживает за матерью хуже, чем надо было бы. Не справляется. Держит руку не так ласково и надежно, как «Нюра с хутора Широкого».

Переглянувшись, они с Сергеем остались на месте. Не бросились к постели, не стали ничего объяснять.

Правда, на следующее утро, едва жена появилась в дверном проеме, мать обернула к ней лицо и изумленно, благодарно, протяжно произнесла:

— Нюра!

И, когда та подошла к постели, здоровой ладонью погладила ее руку.

Так ее дочь, Серегина жена, стала «Нюрой с хутора Широкого». Первое время, услышав это обращенное к ней чужое имя, кусала губы, слезы жалости и обиды наворачивались ей на глаза, а потом привыкла, откликалась, как на свое, родное. Имя на ней пообмялось и приладилось. Была дочкой, стала старшей сестрой.

Не о ней ли, не о «Нюре с хутора Широкого», думает сейчас теща? О «Нюре», что осталась в Москве?

— Просьба занять свои места и пристегнуть привязные ремни! Наш самолет пошел на снижение и через двадцать минут произведет посадку в аэропорту города Ростова.

Опасения Сергея оправдались. Стоило самолету сойти с горизонтали и, как стрела на излете, плавно скользнуть под уклон, как больная тотчас встрепенулась. Как будто достаточно было этого едва наметившегося наклона, чтобы установившееся равновесие оказалось нарушено. И боль, тревога, паника снова хлынули через край. Больная заметалась. Сергей опять взял ее похолодевшие руки и наклонился к ней.

Все начиналось сызнова.

Только на сей раз чувствовалось, как она изо всех сил старается сохранить равновесие, остаться на поверхности, не соскользнуть в пучину. Не кричала, напротив, стиснула зубы так, что губы ее еще глубже посеклись резкими побелевшими морщинами, сама удерживала, подавляла рвущийся изнутри крик. Сама крепко держала здоровой рукой теплую, влажную — он опять не на шутку испугался — Сергееву ладонь.

Помогала ему.

А за иллюминатором безмятежная лазурь сменилась сперва мутным и вязким молоком, потом клубящейся чернотой. Шабаш темных, беснующихся теней, туч, похожих на дым и гарь близких пожарищ, — самолет, сопровождаемый мощными толчками, пронизывал их, словно еще на ступеньку, еще на круг спускался в саму преисподнюю. Изредка и пока безмолвно вспыхивавшие, опоясывавшие самолет молнии отбивали такт этому тяжелому, грузному движению, вели счет ступенькам и кругам.

Теперь в самолете было неправдоподобно тихо.

К Сергею кто-то подсел, прижался к нему — иначе им было просто не поместиться здесь, — так что он почувствовал спиной через взмокшую рубаху чье-то быстро-быстро трепетавшее сердце.

Помогали ему? Искали защиты?

23

В своей амбарной книге ты пишешь о Муртагине. Дневник? Воспоминания? Года два назад почему-то решил записать все, что знаешь и помнишь о нем. И записываешь урывками, когда выпадает время. Прошло столько лет, как отслужил действительную. У тебя давно другие заботы и темы. Человек ты не военный ни по натуре, ни по службе, чтобы с полным знанием дела писать о работе начальника политического отдела крупного воинского соединения. Хоть и служил у него инструктором, а, в сущности, как был, так и остался солдатом. И этот взгляд на не-

го—скорее всего взгляд солдата. Солдата с сержантскими лычками. Если и не снизу, то, во всяком случае, и не сверху.

Хотя кто сказал, что солдаты видят командиров снизу? Солдаты видят командиров в упор—так будет вернее. Узок ли угол, горизонт их зрения, широк ли, но он в упор. Не иди речь в данном конкретном случае о тебе (с твоей близорукостью), можно сказать—насквозь.

Да, прошло столько лет, как ты попрощался с Муртагиным. Вспомни: это ведь он постарался, чтобы ты уволился в запас одним из первых. Но сначала вызвал к себе, предложил написать рапорт о зачислении в кадры Советской Армии. Двадцать четыре года — самый раз.

— Присвоят лейтенантское звание, направим в одну из частей заместителем командира по политчасти. Сразу замполитом,—говорил он, расхаживая перед тобой, заложив руки за спину и время от времени испытующе взглядывая на тебя. На тебя—сидящего. Муртагин с самого начала усадил тебя на стул. На один из тех дерматиновых стульев, на которых вы когда-то сидели, получая в этом кабинете из рук Муртагина кандидатские карточки. И все твои попытки подняться, сделать руки по швам пресекал мягким, но недвусмысленным кивком.

Ты отказался. Мол, надо еще окончить университет, в котором тогда учился заочно. Мол, люблю журналистику и другого дела для себя не представляю.

Как-то очень неубедительно отказываться сидя. Так бы и вскочил, щелкнув каблуками: «Никак нет, товарищ подполковник! Имею желание возвратиться домой, участвовать в выполнении заданий пятилетки». И все дела. А когда отвечаешь сидя, это уже предполагает р а з г о в о р, а не рапорт.

А что ты мог ему сказать? Одно намерение, да что намерение—страсть, жажда, мечта как можно скорее вернуться домой, к жене, сыну. Ты уже спал и видел, не спал и все равно видел себя дома.

Муртагин говорил с глухим. Сосредоточившимся—средь бела дня—на своих сновидениях.

— Ну, хорошо, вы свободны,—сказал он наконец, остановившись возле окна и глядя куда-то на улицу. Там на небольшом плацу капитан Откаленко, заступающий дежурным по штабу, проводил развод караула. Теплый майский вечер. Мягкий воздух. Длинные подрагивающие лучи спускающегося солнца осторожно ложатся на плац (как разнородна их фактура—луча, эфира и асфальта!), касаются, пронизывают слабые еще кроны березок, высаженных вокруг плаца, ровесниц и плаца, и штаба, и гарнизона. Пронизанный солнцем молодой лист кажется еще более живым. Приникшие основаниями, тонкими хоботками к молоденьким ветвям, листья трепещут, они упоены, опоены весенним нектаром. Капитан Откаленко вышагивал, красуясь, перед строем. Медленно и значительно перебирал красивыми длинными ногами, как перебирает ими аргамак, осторожно, словно полную чашу, несущий на спине перед парадным строем важного, еще более породистого, чем сам, седока. Иногда капитан останавливался, поворачивался лицом к строю и, покачиваясь с пяток на носки и обратно, назидательно задирал указательный палец. Голоса его слышно не было.

Муртагин поморщился. Вышло это у него непроизвольно, а заметив, обернувшись, что ты увидел, засек на его лице эту мелькнувшую досадливую мину, торопливо повторил:

— В таком случае вы свободны, и я постараюсь, чтобы вас отпустили пораньше.—И пожал руку, как бы разрешая тем самым наконец подняться.

— Спасибо, Азат Шарипович.

Шагая по штабному коридору, был доволен тем, что так легко, сравнительно легко преодолел черт знает откуда взявшуюся препону. Уже чувствовал себя дома. Правда, была где-то в глубине души и доля смущения. Нет, не своим отказом—он в любом случае предопределен,—а собственной неубедительностью. Не сумел объяснить. Не сумел объясниться. Как будто в прямом смысле тень н е д о р а з у м е н и я, недопонимания легла между вами. А тебе не хотелось, чтобы между тобою и Муртагиным легла тень, чтобы она осталась: так или иначе, а тебе вскоре предстояло проститься с этим человеком. Улучу минуту, настроение

Муртагина и обязательно заговорю, думал ты. Скажу, что я газетчик, что занимаюсь этим с младых ногтей и, в сущности, ничего другого не умею, что только это меня и влечет. Что как бы там ни было, а каждый человек должен приносить пользу именно на своем, а не чужом месте. Что можно, конечно, делать и чужое дело и, если стараться, оно, пожалуй, даже будет получаться, выходить, и все-таки той же пользы будет больше, если делаешь свое, а не чужое. Все-все ему скажу. Время-то ведь еще есть—не меньше трех недель, хоть Муртагин и пообещал похлопотать, чтоб отпустили пораньше.

Муртагин обещание сдержал. Поговорил с начальником штаба, и на тебя стали готовить приказ об увольнении в запас.

Был ли ты баловнем Муртагина? Нет. Ну, вот, например. Должность, на которой ты служил в политотделе, была старшинской. И паренек, занимавший ее до тебя, дослужился-таки до старшины. Ты знал его, он неоднократно бывал и в вашей части. Невысокий такой, ладный, интеллигентный. Саша Скориков, ленинградец с незаконченным высшим. Образование у него техническое, инженерно-строительное, потому и попал он в ваши войска, но, как и все ленинградцы, независимо от образования Саша прирожденный гуманитарий. Легкий в общении, способный к разговору, опрятный, аккуратный. Единственный из солдат срочной службы ходил в офицерской полушерстяной форме. Весь такой обдернутый, начищенный, доброжелательный—и солдаты, и командиры любили его легкой покровительственной любовью. В вашей службе, крепко связанной с физической работой, с потом, с грязью, с цементом и бетоном, Саша был кем-то вроде городского гостя в деревне в страдное время. Он не был снобом, он разделял эти заботы—на уровне разговоров. Да от него большего и не требовалось! Сашины руки, ухоженные, с подпиленными ногтями, лично тебе казались фарфоровыми. Игрушечными. В вашей части тоже служил ленинградец, Женя Соловьев, он был кочегаром. Кочегаром, похожим на трубочиста. Когда выходил на свет божий, у него невольно щурились глаза, что было особенно заметно, потому что у него в такие минуты вообще видны были только глаза и зубы. Бывая по делам в части, Саша всегда на минуту забегал к нему. Однажды ты наблюдал их встречу. Саша, подстелив газету и заложив ногу за ногу, сидел на ящике с углем. И ни одной помарки! Как ни одной помарки в речи—ни мата, ни неправильного слова. Его в преисподнюю спусти, он и там приземлится строго на газетку. И продолжит разговор о полярности настроений в стихах Цветаевой и Ахматовой.

Насильно его спускать не придется. Сашу можно встретить и в части, и на стройке, на крыше многоэтажного здания, где работали кровельщики и куда ты, например, поднимался по прилаженной к стене наружной пожарной лестнице не без легкого зуда в поджилках, и в траншее, и в шахте. И ни грязь, ни цемент, ни битум, ни пот—ничто к нему не приставало. Так и в кочегарке: Женька, ваш домовой, ваш теплоснабженец, снабженец казарм теплом, и значит, д о м о м, сидит напротив на корточках—трубочист трубочистом, а этот, на газетке, как новая копейка. Он не гнушался вашим солдатским, неинтеллигентным местопребыванием: иногда этого достаточно, чтобы человека любили. Проку от его посещений было немного, но вам интересно было на него посмотреть и его послушать. Некоторым, думается, даже потрогать — взаправдашний или нет.

Кочегар Женька тоже интеллигент, преподаватель истории с высшим образованием, служить ему год. Но с какой истовостью перекрестился он в кочегары! Даже чумазость его чрезмерная. Истовая. Такое впечатление, что он сажей пользовался, как пудрой. Как гримом. Что это? Реакция на армию, на окружение? Женька, к слову сказать, интеллигент потомственный, сын профессора. Желание опроститься, упроститься и таким образом—в состоянии п р о с т е й ш е г о—прожить, пережить, переждать этот армейский год. Так или иначе, но отношения потомственных неинтеллигентов с Женькой-кочегаром, казалось бы, рубахой-парнем, своим в доску, были куда отчужденнее, настороженнее, чем с Сашей Скориковым.

Перед увольнением в запас Саше по инициативе Муртагина было присвоено старшинское звание. Как же засияли алой продольной лентой

погоны на его плечах! Как же сиял сам Саша! Румяным колобком прокатился по всем частям, представился, с удовольствием произнося и выслушивая свой новый титул. Старшина! — куда как аристократично. Гуманитарии вообще питают повышенную слабость к военной форме, званиям и прочей воинской атрибутике. Поэты, литераторы, военные журналисты... Посмотрите на их фотокарточки времен войны. Сущие штабные генералы по выправке, по отглаженности. Или адъютанты штабных генералов. Хорошие, славные люди, незаменима их роль в те роковые годы, и все-таки труженики войны не они.

Богатыри не вы. Не мы. Как и не штабные генералы, как и не адъютанты штабных генералов. Мыслители — может быть, но не богатыри. Богатырь — понятие физическое. Помнишь фотографию — таких карточек немного, может, потому, что засвидетельствованное ими явление было частым, повседневным, рядовым (не то, что п о э т н а в о й н е), и запечатлеть его никто не торопился, — как солдаты волокут в распутицу пушку? На руках, на пупках, рассупоненные, расхристанные, в черных от крови и гари бинтах, по колено в грязи, и пушка в ней по самое горло. Волокут ее, словно русскую печку. Как будто и не война вовсе — винтовка болтается за спиной, как досадная н а г р у з к а, — а неизбывная, надрывная, богатырская работа. Работа богатырская, а телосложение не всегда ей соответствующее. Оттого и глаза повсеместно на лоб лезут.

«Взять на хопок» — есть такое выражение. Кто знает: что такое «хопок»? А смысл выражения чувствуется, чуется хорошо: взять, переломить, заломать что-то или кого-то крайним, предельным нутряным напряжением сил. Напряжением всего нутра, таким, от которого не то что глаза — кишки лезут.

Труженики, чернорабочие. Богатыри.

Так вот, Саня дослужился в политотделе до старшины. А ты как пришел сюда сержантом, так сержантом и оставался до конца службы. Никаких званий, никаких благодарностей, почестей, писем на родину... Семена Чепигина, политотдельского художника, а после, когда Семен уволился в запас, — его сменщика, живого, смешливого, всеобщего любимца Витальку Гордеева Муртагин всегда отмечал. Отличал. Зайдет, спросит, как творческие успехи, улыбнется. Семен — человек молчаливый, медлительный, среднего роста, но исполненный какой-то земляной, а скорее мучной, крупитчатой, как куль с мукой, тяжести. Тяжесть добродушная, добрая, молчаливая. Действительно хороший, «добрый», как говорят о вместительном — килограммов на девяносто — конопляном мешке с мукой. Мука аж светится в нем, придавая грубейшей конопляной ткани ценность, глубинную теплоту и таинственность севрского фарфора... Стол Семена стоял в углу вашей общей политотдельской комнаты, он молча и безотказно возился там. Ватман, краски, кисти, перья, планшеты — заказов у Семена по горло. Что касается наглядной агитации, то ваш политотдел вообще ставили в пример другим. Зиждилась же примерность на Семеновых плечах. Благо что плечи основательны. Художники всегда народ мастеровитый. Рукастый. Семен не только рисовал, но и сам сколачивал щиты, рамы, разъезжал по частям, по глубинке, помогая замполитам наживать их несложное хозяйство. Не столько служитель муз, сколько их работник. Военнослужащий муз. Семен засиживался за своим столом допоздна, когда все уже расходились. У него вообще был свободный режим (опять же не без муртагинского вмешательства) в том смысле, что он мог приходить в штаб, когда ему заблагорассудится: и рано утром, и ночью. Возился в углу, не вступал в общие разговоры, время от времени вспыхивающие в комнате, и тем не менее от него, как от мешка в телеге, как от добротного — черпать и черпать — чувала в заветном простенке, шло, достигало всех спокойное дыхание тепла, доброты и силы.

...Муртагин подойдет к Семену, спросит, как творческие успехи, улыбнется. Семен, оторвавшись от дела, поднимется, потопчется в ответ, что, видимо, означает полный ажур по части творческих успехов.

Столь же внимателен, снисходителен был Муртагин и к художнику, сменившему Семена.

Вот их Муртагин любил. Баловал — и Семена, и Виталия. Молча, ласково. Хотя трудно, конечно, определить ласку, когда она молчалива: просто к их столу Муртагин, пожалуй, подходил еще неслышнее, чем

к другим, и тут была не только природная вкрадчивость, тут была, если хотите, уважительная робость. Как жеребенка гладят.

У тебя же насчет творческих успехов никогда не интересовался. Они для него были людьми другого теста, умеющими делать нечто, чего не умеет он, и подлежащими в силу своей исключительности его, муртагинской, защите. Ты же ничего исключительного не представлял. В тебе он видел р а б о т н и к а. Своего. Такого же, как он сам. Точнее, видел вероятность того, что со временем (верил — скоро) станешь таким же, как он. В сущности, его представление было похвалою. Похвалою в стиле Муртагина — без лишних слов. Похвалою работника — работнику: «Мне кажется, этот воз — по тебе». Вот и вся похвала.

Как будто может быть похвала красноречивее!

Если Семен и Виталий были для него стригунками, требовавшими бережного и ласкового, шутливо-ласкового, покровительственно-ласкового обхождения, то ты для него был гужевым транспортом. Рабочей лошадкой. Муртагин угадывал в тебе стати владимирского тяжеловоза. И торопился впрячь в воз, который и сам волок.

А ты уверен, что Муртагин не ошибся? Что темный глаз его оказался столь не по-азиатски даже, а скорее по-цыгански зорок, цепок, провидящ, что верно угадал какие-то твои будущие владимирские стати?

А ты отказался.

И он сразу же, впервые за все время, дал поблажку: похлопотал о твоем увольнении в запас в первую очередь.

Возможно, после отказа ты для него сравнялся с Виталием и Семеном. С художниками. Он держал тебя за работника, а ты оказался художником. И он потерял к тебе интерес. Нет, эти ребята, художники, тоже были для него интересны. Но то было скорее любопытство. Интерес к тебе проще, прямее, корыстнее. Интерес цыгана, приценивающегося к лошади. Довезет до Бессарабии или нет? Федот оказался не тот, и интерес утратился.

Уж не увольнял ли он тебя из армии, не убирал ли с глаз долой — не оправдавшего надежд? Так часто бывает: сначала человек вызывает у нас интерес, потом, когда мы в нем обманемся, досаду. Один вид его, встречи с ним вызывают досаду. Изжогу. Чтоб ты не досаждал — первоочередное у в о л ь н е н и е в запас можно было расценить и так.

А ты никогда не задумывался об этом после?

24

А ведь с Муртагиным ты простился в больнице. В госпитале. Да, приказ о твоем увольнении был подписан, но на тот момент Муртагина на месте не было — накануне у него случился инфаркт, и ты, уже перед самым отъездом, зашел в госпиталь. С большим трудом добился, чтобы тебя — хотя бы на минуту — пропустили к нему в палату...

Только ли желание попрощаться с человеком, сделавшим доброе дело, с человеком, вообще сыгравшим немалую роль в твоей армейской жизни и оказавшимся сейчас в критическом положении, двигало тобою? Вряд ли. Была тут, зашевелилась вновь и неудовлетворенность предыдущим разговором. Собственной неубедительностью. Захотелось досказать, объясниться. Оправдаться. Пусть хотя бы с опозданием. Другой возможности уже не будет. А кто из нас не силен задним умом?..

Реванш... Какие доводы ты выстраивал на сей раз в уме, какие слова придумывал!

Но доводы не потребовались.

Палата была маленькой, как каюта. Белые крашеные стены, белая конторская занавеска задернута на узком окне, белая простыня, белая металлическая кровать. Белизна разной интенсивности. От безупречной рафинированности простыней до холодного, сизого колера стен, наводившего на мысль даже не о каюте, а о карцере. Как бы там ни было, а черная голова Муртагина настолько контрастировала с этим общим фоном, что уже одно это вызывало тревожное, ноющее ощущение диссонанса, беды. Муртагин лежал лицом к стенке, на правом боку, может, поэтому его чуть откинутая голова, его иссиня-черный, гладко зачесанный затылок сразу бросились в глаза. В этой позе — лицом к стенке — было

что-то мальчишеское. Обиженно-мальчишеское. Или не столько обиженно, сколько упрямо-мальчишеское. Неудивительно, если он лежал, сцепив зубы. И от боли, и от упрямого противостояния ей. По той позе, в которой лежал Муртагин, чудилось, что он здесь борется не только против болезни, но и против больницы. И что он, похоже, в проигрыше.

Муртагин повернулся на спину, увидел тебя.

— Здравствуй, здравствуй. Говоришь, завтра домой?

— Да, товарищ подполковник.

Едва переступив порог палаты, ты уже понял, что все твои «доводы» просто придется оставить при себе. До лучших времен.

— А я вот загораю.

Он улыбнулся своей виноватой, извиняющейся улыбкой. На сей раз она была виноватее обычной. Лицо у Муртагина желтое, бескровное, над переносицей набухла, как перегороженная, двуглавая жила.

— Присядь,— показал глазами на стул, стоявший у изголовья кровати.

— Да я вообще-то на минутку...

— Садись, садись. Не волнуйся, теперь тебя никто уже не задержит. Ты у нас теперь вольная птица.

Он опять улыбался, теперь — одними только обращенными к тебе глазами. По его глазам трудно что-либо понять, но улыбку выдали лукавые морщинки, на мгновение собравшиеся вокруг глаз. Ты, наверное, покраснел, пробормотав что-то в том смысле, что, мол, вовсе не волнуешься. Чего волноваться, хотя, конечно, большое спасибо за хлопоты: увольняют действительно первым.

Он высвободил руку из-под простыни, дотронулся до твоей ладони.

— Да ты не обижайся. Считай, что я неудачно пошутил. Мне ведь простительно.— Опять заглянул в глаза, помолчал.— А вообще-то я все-таки хотел бы еще раз серьезно поговорить с тобой. Напоследок.

Рука у него была холодной, пальцы вздрагивали. Руками Муртагин владел хуже, чем своим лицом. Они выдавали его. Выдавали болезнь так же, как лучики вокруг глаз выдавали его улыбку. Руки влажные: чуть сжал твою ладонь и отпустил, убрав свою руку опять под простыню, видимо, почувствовал ее предательство.

Осторожно развернулся, оказавшись лицом к тебе.

— Бог с ней, с армией. Как говорится, насильно мил не будешь. Не захотел — твое дело. Но я бы все-таки советовал тебе и в гражданской жизни выбрать практическую работу. Я видел бы тебя на практической работе.

Эти слова он произнес вразрядку: «в и д е л» и «п р а к т и ч е с к о й». Что, впрочем, можно было отнести и на счет того, что ему просто нелегко говорить. Голос еще глуше, чем раньше, слова — медленнее. Рельефнее, что ли.

— Понимаешь,— продолжал он после паузы,— описывателей дела найти все-таки легче, чем делателей дела. Делателей практического дела.

И опять, как и полтора года назад в политотделе, при вручении кандидатских карточек, в его интонациях слышалось размышление. Не наставление, а все-таки размышление. Он был сейчас немногословен. Многое оставалось за скобками. Продумывалось, но не произносилось. На произнесение (мысль куда стремительнее слова!) не осталось времени. Не исключено: и не хватало сил — на лбу у Муртагина выступила испарина. Ты уже начинал чувствовать себя преступником и чуть ли не ерзал на стуле.

Дверь в палату открылась. Вошла старшая медсестра.

— Азат Шарипович, вам нельзя лежать на левом боку! — С порога кинулась к кровати.

Хотела, видно, помочь ему повернуться (вот почему он лежал лицом к стенке! — только сейчас дошло до тебя), но Муртагин неторопливым движением руки усмирил ее рвение. «И слабым манием руки на русских двинул он полки...» А тут не двинул — остановил, что еще замечательнее. Остановил полки, полчища, превосходящие силы добросовестности, заключенные в этом обычном с виду вулкане: старшей медицинской сестре военно-строительного госпиталя.

— А как же мне разговаривать с человеком? И так — как об стенку горохом,— опять улыбнулся он.— Никакого эффекта.

— А вам и разговаривать нельзя,— тотчас зачастила старшая, высокая, худощавая, примерно одних лет с Муртагиным и с той суровой аскетичностью в чертах, которая чаще всего и обличает женщин, командующих женщинами.

Ты и рта раскрыть не успел.

— А человек,— взгляда, который был брошен на тебя, вполне хватило бы если не на всю Помпею, то как минимум на средней руки древнеримский райцентр,— должен понимать, куда он пришел. И не злоупотреблять...

Муртагин перебил ее:

— Ну уж дудки, Антонина Павловна! Я еще не настолько провинился перед Советской властью, чтоб лишать меня права голоса. А потом — это не он злоупотребляет, а наоборот, я злоупотребляю временем этого молодого человека. И даже — был грех — посягал на его личную свободу.

Оказывается, надо было случиться инфаркту, чтобы Муртагин стал чаще улыбаться. Виданное ли дело: за какие-то десять минут он улыбался третий или четвертый раз! Переменил взгляд на жизнь?

Правда, осторожно, хотя и не допуская вмешательства Антонины Павловны, с остановками, повернулся на правый бок. Понял, что иначе с нею не сладить. Не отделаться. Лежал в предписанной позе, но сохранив строптивую независимость. От Антонины Павловны. От больницы. От болезни. Болезнь никуда не делась, она была тут как тут. Но внутри нее он отвоевал для себя автономное пространство. Она не смогла объять его всего, так, чтобы волны ее, тяжелые, свинцовые, сомкнулись у него над головой. Нашел в ней изъян, в о з д у ш н у ю я м у, в которой и расположился, в которой и дышал. Не отсюда ли и поза — мальчишки, отвернувшегося к стенке? Можно сказать, что она предписана, можно — выбрана. Выбрана в ходе поисков воздушной ямы, воздушного пузыря.

Улыбался.

25

Сели они благополучно, и в самолете тотчас все снова зашумело и засуетилось.

Все надеялись, что в Ростове их задержат ненадолго. Самые горячие головы, похоже, даже не собирались поначалу расставаться с привязными ремнями. Мол, посидят десять — пятнадцать минут, и недоразумение развеется. «Посидеть» им, конечно, никто не позволил. Пассажирам предложили покинуть аэроплан, пройти в зал ожидания, не рассредоточиваться и ждать сообщения о вылете. Вылет предполагается через час.

Сергей тоже втайне надеялся отсидеться. Люди нехотя поднимались, поминая вполголоса и погоду, и заодно Аэрофлот, а Сергей так и оставался на своем облучке. Да и куда ему дергаться? Одному не справиться, а просить кого-то помочь...

Правда, два-три человека, уже поднявшись со своих мест, уже направляясь к выходу, все же вопрошающе-участливо обернулись к ним. Надо же! Значит, знали, значит, слышали. И не суетились, не поворачивались в их сторону, не глазели.

Сейчас, на земле, на тверди, они поворачивались, но, встретив совершенно спокойный, даже отрешенный Серегин взгляд, молча отводили глаза и с чувством исполненного долга ступали в проход. А чего Сергею волноваться? Самолет менять не будут, это самое главное. Никуда он не денется, полетит рано или поздно как миленький в Минводы. А непогоду они готовы переждать и здесь. Здесь даже предпочтительнее: меньше посторонних глаз.

Да и не понесешь же ее на руках — нужны носилки. Где их взять, к кому обращаться? Нет уж, лучше они посидят на месте, пока их не выдворят. Для выдворения нужны подручные средства — тут уж Аэрофлот позаботится. Вот если бы больной стало плохо, если бы она опять сорвалась в панику, вот тогда стоило волноваться. Он уже многому на-

учился на этом пути — в том числе распознавать, отделять действительные причины для тревоги, беспокойства от мнимых. Зерна от плевел.

Правда, больная тоже заподозрила неладное. Поднимала голову и, заметив людское движение, вопросительно смотрела на Сергея. Хотела что-то спросить, но не решалась или боялась, что не справится с вопросом, не сумеет выговорить его. Но это было обычное, осмысленное, закономерное беспокойство. Оно его не пугало. Даже радовало, как радует первый осмысленный вопрос больного, находившегося в долгом забытье. Сергей поправил подушку у нее под головой и вполголоса, наклонясь к самому уху, сказал:

— Ты не волнуйся. В Минводах гроза, и самолет пока сел в Ростове. Это ненадолго.

Сергей знал, что она глуховата, но его услыхала. И через глухоту, и через другую, более дурманную, тяжелую пелену. Услыхала и поняла. И кивнула головой в знак того, что поняла. А поняв, что не она явилась причиной всеобщего беспокойства и непорядка, успокоилась. И вновь смежила глаза — доверилась ему.

Глаза у нее с годами становятся светлей. Как у матерой волчицы. Когда-то был блеск и, надо полагать, когда-то, не на Серегиной памяти, горячий, текучий, а с годами словно вступал в реакцию со всем увиденным. Вследствие этой медленной, рутинной, но необратимой реакции блеск преобразовывался в свет. Ясный, полдневный (глаза так и обдают им и лицо самой женщины, и лица тех, на кого они обращены в данную минуту) свет. Другая интенсивность, другая фактура, если можно говорить о фактуре применительно к свету. Легче, рассеянней, разреженней и вместе с тем более проникающая, способная к преодолению пространства и преграды. Скорость света. Пожалуй, не полдневный, а послеполуденный. Когда не ломит глаза, когда видно глубоко-глубоко и ясно. Ясновидение. В последнее время Сергей иногда побаивался ее взгляда. Пелена, заволакивавшая, леденившая ее сознание, ее небо, имела два незамерзающих и немутнеющих прорана. Два — с тех пор, как стал потихоньку отходить закрывшийся было правый глаз. Во искупление немоты и тьмы, сковывавших ее. Чем толще покров облаков, тем глубже просвет между ними. И — уже по одним лишь законам физики — тем значительнее радиус его действия. Свет дальнего действия. Дальнего следования. Невесомый, рассеянный. Путешествующий — куда, до каких далей и глубин может долететь, доплыть он в этом своем свободном, рассеянном падении?

Не шальной, сокрушительный, залпом, ливень, а легкий, сеющийся, обложной дождик лучше, глубже пропитывает землю, просачиваясь до самого ее животворящего лона.

С глазами происходит то же самое, что с опавшей листвой. Первоначально почти карие, они бледнеют, исходя, источаясь светом, столь странным, даже противоестественным в ее теперешнем положении. Хотя так ли уж медленно протекает эта реакция? Болезнь — ее катализатор. Последний раз он видел ее глаза абсолютно темными, черными в ночь, вернее, на рассвете, когда с нею случился инсульт...

Да Сергею иногда и самому кажется, что и его глаза тоже п о с т а р е л и на эту болезнь.

Так что же тогда говорить о ее глазах?

Зоркость она с годами не теряла. Вплоть до самой пенсии работала на лентоткацкой фабрике, есть в ее городке такая. Сергей определенно и не знает — и это, оказывается, не знает, — кем она там работала. Знает, что у станка. Там помаленьку и глохнуть стала. Сергей эту фабрику помнит: девчонки из интерната проходили на ней производственное обучение. Связь с жизнью. Фабричка маленькая, игрушечная, а шуму-то — по тротуару мимо идешь, и то через стены слышно. Да и стенки дрожат, как в ознобе. Слух стал садиться, и теща еще и поэтому была неразговорчива, особенно с Сергеем. Стеснялась: вдруг чего недослышит, переспрашивать придется. Лучше помолчать. Он же с разговорами тоже не набивался. О чем ему с нею беседовать? О погоде?

— Ты не волнуйся.

Как только теща заболела, Сергей сразу стал говорить ей «ты». Раньше обращался только на «вы», а тут как-то само собой получилось.

Он просто интуитивно понял, что в новой ситуации вежливо, безлично «выкать» нельзя. Это значило бы только подчеркивать незыблемость — несмотря ни на какие передряги — полосы отчуждения. Усложнять контакт, и без того затрудненный болезнью. А контакт ему нужен был уже хотя бы для того, чтобы легче, сподручнее было ходить за нею. Надо было, чтобы она шла навстречу, а не забивалась в раковину. Грубоватое «ты» было его неосознанным инструментом. Выздоровей теща, он бы наверняка вернулся к прежней форме обращения. Снисходительность? Да. Желание показать, что он не настроен чиниться, чураться? Да. Новая степень тепла и близости? Вряд ли.

Пока — вряд ли. Говоря ей «ты» здесь, в самолете, впервые ощутил эту новую степень тепла. Он был благодарен ей. За то, как держалась во время посадки, за то, что она все правильно поняла, что успокоилась, без понужденья доверилась ему. Почему это случилось только сейчас? Просто подошел срок? Сказалось пережитое ими вдвоем за эти полтора часа? Сказались подспудные неторопливые раздумья, ни с того ни с сего овладевшие им в полете? И столько было в этом полете горячки, нерва, лихоманки, а нить его незваных размышлений все не прерывалась, прялась: их веретено, помимо его воли, делало свое — спускалось, кружась, ниже и ниже, глубже и глубже.

Душа созрела, подошла к такому восприятию. Созревание — даже в ботанике тончайший, слабопредсказуемый процесс, в котором случайность может все поставить на кон. Жгут, вихрь входящих — разной мощи и даже разной природы: от сил неземных до сил подземных.

Теплое касание чужой руки. Чужое неожиданное участие. Сострадание, обращенное и к нему самому. Из вихря причин и следствий нельзя устранять и эту привходящую случайность. Душа раскрылась, когда он, наклонившись к самому уху больной, сказал ей: «Ты не волнуйся...»

Он думал, что цепь, круговая порука добра замкнулись на ней, на больной, а она, выходит, замкнулась на нем. На здоровом.

На здоровом ли?

...Отсидеться не удалось, Аэрофлот их не забыл. К самолету подрулила машина «скорой помощи» с санитарами, и в сопровождении все той же стюардессы они были доставлены в зал ожидания, расположились на лавке, стали ждать. Но вылет, как водится, откладывался и откладывался. Ох уж это коварное «не рассредоточиваться»! Лиха беда начало. Теперь уже и над Ростовом вовсю разгулялась непогода. За широкими, из стекла и железа, окнами потемнело, не по-летнему захолодало, порывы ветра, то пустые, порожние, сквозные, то усиленные, нагруженные, как свинчаткой, дождем, внахлест обрушились на аэропорт. Порой на стеклах даже дробь вызванивалась — ветер, топя, сшибая друг с дружкой, опрокидывая где-то в вышине ливневые океанские тучи, и сюда доносил ледяное крошево. Родичи писали, что уже несколько недель здесь, на Северном Кавказе, стоит сушь. И вот она сломалась: грозно, болезненно.

Теща лежала спокойно. Лишь когда окно, у которого они устроились — в уголке, чтобы их меньше видели, — в очередной раз обдавало недоброй кристаллической пылью, вздрагивала, открывала глаза, смотрела в стекло, потом на Сергея и удрученно покачивала головой. Для нее, уроженки юга, град вовсе не романтический вестник небесных крушений, а сама беда: здесь, на земле, под ногами.

Пассажиры роптали, натягивали сброшенные было пиджаки и кофты. «Не рассредоточиваться...» Одна только вынужденная посадка их аэробуса заставила трещать по швам зал ожидания. Триста непредусмотренных душ, точнее, седалищ, ищущих, в свою очередь, куда бы «приземлиться».

А народу в зале ожидания прибывало и прибывало: рейсы отменяли или переносили. У Сергея был дополнительный источник информации: опекавшая их стюардесса. Она то убегала куда-то по своим делам («Я тогда в самолете не смогла сразу вернуться, потому что на меня навесили кучу хлопот: непредвиденная посадка». «Например?» — с шутливой строгостью спросил Сергей. «Например, посуду мыть», — прыснула она), то возвращалась снова. Ее дорожная сумка-«батон» так и оставалась на лавке возле Сергея: место занято! Подруги ее давно были в служебной гостинице, отдыхали, а она все колготилась с Сергеем и его тещей. Таска-

ла им бутерброды («мамины» тоже пошли в ход), кефир, даже бутылку пива принесла, расстаралась — видно, все из той же служебной гостиницы.

Есть люди, чья помощь навязчива. Есть люди, чья помощь как милость. Такой помощью даже не милуют, а карают. Есть и такие, от которых ее лучше не ждать: помогут на копейку, а благодарности требуют на рубль. Помощь девчонки была не только легкой, естественной, она так же естественно и принималась. Усваивалась.

Дождь перестал, но ветер не утихал. Вместе с грозовыми тучами он, напружинясь, крепко упираясь в землю, по-бурлацки наклонясь вперед и зажав на плече пеньковый конец, доволок, приземлил, гася, топча ногами, как гасят парашют, и самую черную тучу — ночь. Просвет так и не прорезался, не мелькнул. Столь тесно, плотно шли они друг за дружкой, гроза и ночь. В зале ожидания включили свет. Прибежав после очередной отлучки, девчонка виновато остановилась перед Сергеем.

— Все, до шести утра застряли. Надо располагаться на ночлег.

Нельзя сказать, что это известие Сергея обрадовало. Но глаза девчонки, стоявшей в позе провинившейся школьницы — перепачканные чернилами пальцы теребят сатиновый фартук,— так удручены, так неподдельно горюют и каются (как будто она в одном симпатичном лице представляет все инстанции и Аэрофлота, и «этажа выше»), что впору успокаивать ее саму. Негоже ему ни разнюниться, ни наброситься, как то через минуту-другую после объявления в динамике дружно сделали остальные пассажиры, с негодованием на всех и вся. На что и перед кем ему негодовать? Благодарить надо...

— Что ж, будем готовиться на ночь,— только и сказал он и посмотрел на больную.

Труднее всех достанется ей: ночь на этом диване среди чужих людей, без смены, без движения... Наверное, Сергею не удалось все же в полной мере сохранить бравый вид — девушка быстро присела перед ним на корточки. Безупречно чистые, хорошей выделки (теннис? волейбол?) пальцы с отвердевшими, полированными лепестками ногтей обхватывали высунувшиеся из-под форменной юбки, тесно сведенные колени.

— Вы не падайте духом, что-нибудь сейчас придумаем,— горячо заговорила она, заглядывая ему в лицо.

26

Обтянутый дешевой искусственной кожей диван низок. Их глаза опять оказались на одном уровне и в необычной близости. На пути, на перехвате, эти встревоженные, по тревоге поднятые (опущенные) глаза. Сергей бы и отвел свои, да некуда: ее глаза смотрели в упор. Куда бы ни ткнулся, они были везде. Форменный перехват. Она вглядывалась в него так, словно боялась, что он смалодушничает. Что он, равнодушно скользнув по ней взглядом, опустит глаза, поднимется, остервенело чертыхнется и махнет рукой. На нее, на больную, на все, вместе взятое.

Смешная девчонка, знала б ты, в каких пертурбациях он побывал уже за этот год! Одной ночью больше, одной меньше...

Ну и глазищи! Действительно, не просто карие, бархатистые, а еще как будто бы и парчовой пыльцой припудрены. Отягощены, как отягощены — шапки долу — и без того тучные летние цветы. Коснись их (губами?) — и рыльце в пушку. Как у шмеля, окунувшегося в чашечку,— одни лапки наружу сучат. Крылья редкостной бабочки, после которых на пальцах остается этот нежный живой пепел — сгоревшей красоты. Пальцы мажутся, как у злодея. Губами... Шутник вы, Сергей Никитич. Сатир. Бархатцы. Tagetes patula. Или другая разновидность — анютины глазки. Анютины. Интересно, как хоть ее зовут?

— Это ваша мама?

Не мать, мама. Самой от силы двадцать — двадцать два, вот и считает, что у всех, для всех «мама». А он уже давно вышел из возраста, когда мать, даже если таковая имеется, называют «мамой».

— Это мать моей жены.

— А-а,— протянула она, и в этом протяжном «а» не было ни снисходительно-проницательной усмешки, ни разочарования, ни преувеличенного сочувствия. Соболезнования.

Чем меньше натурального горя, тем преувеличеннее соболезнование. Соболезнованием, управляемой формой сочувствия, восполняют недобор того, что управлению пока, слава богу, не поддается. «Древесные крысы не такого рыжеватого цвета, как белки, но не менее грациозны. За ними можно подолгу наблюдать с близкого расстояния, настолько они доверчивы. Но от белок древесные крысы отличаются прежде всего тем, что уничтожают белок...» Это классик сказал.

Имитация же сострадания отличается от последнего прежде всего тем, что уничтожает сострадание. Даже жалкие его крохи.

«А-а» было простодушным, девчачьим. Сколько бы слов можно было тут нагородить! А она выбрала одно, как и «мама», и даже еще короче: «а-а».

— У меня нет матери,— сам не зная зачем, проговорил, помолчав, Сергей: наверное, потому, что девушка все не отводила взгляда.

— Давно?

— С тринадцати лет.

— А отец?

— Тоже нету.

Сейчас она спросит: «С какого времени?» — и он ответит: «С четвертого мая одна тысяча девятьсот сорок седьмого года». Сто против десяти, что анютины глазки округлятся в два черных подсолнуха. «Не ожидали, что я такой старый?» «То есть?» «А то, что я назвал вам дату своего рождения». «Ваш отец умер в день вашего рождения?» — изумится она. «Нет,— помотаешь ты своей лысеющей головой.— Он, увы, умереть не может». Она прикусит губу, хотя это таит угрозу ее белоснежной, с рюшами (наверняка «неуставными») блузке под форменным голубым жакетом: сок от надкуса брызнет прямо на грудь — гладиолусно-алое на белом. Наконец-то опустит глаза, подумает мгновение, снова поднимет их и скажет с шутливой обидой: «Вы не просто старый. Вы хуже. Вы старый шутник».

Именно! Старый шутник вы, Сергей Никитич. И еще хуже, она и не подозревает, насколько хуже. Сын своего отца — вот кто ты.

И ты расскажешь ей о жанре публицистики, который дается тебе труднее всех. О составлении автобиографии.

27

«Заполните листок автобиографии». Знали бы кадровики, между делом бросающие эту дежурную фразу, на что они его обрекают, чем искушают. В своей жизни он уже написал немало автобиографий. И чем старше становится, тем короче делаются автобиографии. Словно это уже и не биография прошлого, а биография будущего. Поступление в среднюю школу (с непременным указанием ее номера), прием в ряды, именно в р я д ы, юных пионеров, а потом еще и комсомола и другие столь же замечательные факты и даты украшают эти повествования. А что осталось? В 1973 году пришел в Газету, где и работаю по н/в. Н/в — вот она, хромосома будущего! И какими понятными, нашенскими буквами, не какой-нибудь дохлой латынью, выражена! Чудо простоты. «Н/в». Настоящее время. Никакое оно не настоящее — самое неприкрытое, беззастенчивое будущее. Не заметишь, как переходит в будущее. И в две тысячи таком-то году, ежели будем живы, на месте этой завязи из двух букв и одной, и то косой, палочки появится, разовьется, вызреет: «откуда и вышел на пенсию».

Мальчишкой, когда писал автобиографии, отца вообще не упоминал. Родился тогда-то, мать такая-то, колхозница, умерла тогда-то. А об отце ни слова. Ему поначалу, по малости лет, и в голову не приходило, что надо писать и об отце. Тем паче об отце, которого в глаза не видел. Привык обходиться без него и в жизни, не то что в бумажках. Потом сказали, что так не годится, что автобиография должна содержать и сведения об отце. «А у меня нет сведений»,— вспыхнул. «А ты так и пиши,— подсказали ему,— отца не знаю». И взятки, мол, гладки. Не знаю, не видел.

Первое время так и писал: отца не знаю. Что-то постыдное было в этой фразе. Старательно выводя ее — автобиографии в юности пишутся

в основном по торжественным поводам,— всякий раз словно совершал по отношению к матери мелкое предательство. Из ее сына сразу превращался в постороннего, осуждающего мать обывателя. Бросал ее, как бросил когда-то и его отец. Перебегал на другую сторону. И судил ее вместе с другими, чужими, как маленький резонер,— как будто мало суда изведала, испила она при жизни. Теперь же его палец — мальчик с пальчик тоже ведь произошел неизвестно как, сомнительным путем,— был нацелен с другой стороны ей вслед. Сергей понял это довольно скоро. По ухмылкам тех, кто читал его автобиографии, на этой строке задерживаясь долее всего и бросая в этом месте на него любопытно-насмешливый взгляд.

Тогда и появилась в его бумагах фраза теперь уже собственного сочинения. «Отца не помню». Она казалась ему более щадящей мать: часть вины (хоть в чем вина, в том, что он появился на белый свет?) брал на себя. Не помню. Запамятовал. Мал был, не запомнил: то ли был, то ли не был. Так началась долгая эволюция этой злополучной строки. Будучи взрослым, достиг в ней творческой вершины. «Отец оставил семью до моего рождения». Семью! Как будто там была семья.

Так он, Сергей Гусев, создал ячейку общества. Задним числом помог матери обзавестись семьей, законным супругом, оставившим, правда, семью (неважно, что в составе пока одной только матери) до Серегиного рождения. И слово-то какое благозвучное — «оставил». Не удрал, не смылся — оставил. Сразу видно: творческий человек, выпускник факультета журналистики писал. И вина еще раз, и теперь целиком и полностью, переместилась на некоего ветреника, процелыгу по фамилии Имярек. А когда Сергей стал почти пожилым человеком, каковым его совершенно справедливо сочли в данный момент «анютины глазки», сделал вдруг еще один крутой поворот. Стал писать: «Отец — Колодяжный Василий Степанович, с которым мать жила в незарегистрированном браке, умер в 1962 году».

Все умерли: и мать, и отчим, и, наверное, настоящий отец, о котором Сергей и впрямь ничего определенного не знает. И кому это надо, кто станет докапываться, чей сын Сергей Никитич Гусев? Невелика шишка, не все ли равно, чей?

Сын человеческий. «Дитте — дитя человеческое»...

Сначала, в детстве, в интернате, он называл отцовскими ордена и медали отчима, теперь и самого отчима объявил своим кровным, законным отцом. Присвоил. Круг замкнулся. И он еще раз распорядился материной судьбой, материной жизнью.

Так он распоряжался и судьбой своих младших братьев. Так было, например, когда самого младшего, уже почти усыновленного дядькой, вдруг взял и забрал к себе в интернат.

О Анюта, об этой истории стоит сказать подробнее...

28

Село, в котором жил их дядька, находилось в другом районе, за семьдесят пять километров от городка, где располагался интернат и куда был отправлен Сергей со средним братом. И вот однажды их младший, первоклассник, объявился в интернате, предстал в довольно-таки истерзанном виде перед изумленным Серегиным взором. И хотя явиться сюда самостоятельно он никак не мог, однако явился, в чем Сергей мог самолично убедиться. Глазенки угрюмо потуплены, новая, хорошая, добротная одежка — когда с матерью жили, такой у них не было, кольнуло почему-то Сергея — вывожена в грязи. Сомнений не было: сбежал.

— У них деньги в подвале лежали под банкой с молоком.

— Ну и что?

— Ну и пропали...

— Ну?..

— Ну, и тетка сказала, что я взял, больше некому, потому что, кроме меня и Жулика, сказала тетка, в доме никого не было.

— Какого еще жулика?

— Ну, собака, Жулик называется...

— И что дальше?

— А я не брал.

Глазенки, наконец, оставили в покое пол, носки кожаных — судя по всему, кожа под комьями засохшей осенней грязи была желтой — ботиночек и сухо, скупо, без слез взглянули на Сергея. Боялись, что и он, брат, не поверит. Сергей молчал.

— И сколько ж денег там было?

— Рубль.

Волна горячей жалости и нежности к этому маленькому, белобрысому, настырному, совсем непохожему на него пострелу поднялась, как зарево, в Серегиной душе и застыла в своей верхней точке, не опадая. Долго-долго стояла, не откатываясь, подступив к самому горлу, застряв в нем, слова вымолвить не давала. Гребнем волны была жалость к брату, подом ее, основой, менее подвижной, но тяжелой, заключающей в себе еще бóльшую кинетическую силу, несущей гребень, как пенную корону, была печаль по матери. И жалость к самому себе. Сироты... Сергей присел перед ним на корточки, точно так, как сидит сейчас перед ним эта девчонка.

— И как же ты добрался?

— На попутных,— по-прежнему букой смотрел на него братишка.

— Прямо до города и довезли?

— Не-а,— появился, наконец, в глазенках влажный доверчивый блеск.— Я от села к селу, так бы не повезли.

— А что говорил?

— Говорил, что мамку в село учительницей прислали, и я к ней еду.

— Да ну! — У Сереги у самого уже глаза на мокром месте.— Сколько ж у тебя мамок тогда должно быть?

Малыш принялся деловито загибать пальцы:

— Бурлацкое — раз, Сотниковское — два, Большевистская «Искра» — три, поселок Чкалова — четыре. Четыре,— повторил он и сунулся мордахой в Серегино плечо.— В Сотниковском пришлось заночевать: ночь застала, могли в милицию отвезти.

— Где ж ты ночевал? — спросил Сергей шепотом, обхватывая его руками, отчего спинка у него подалась, как у едва принявшегося саженца.

— В каком-то огоро-о-де,— заревел тот уже во весь голос, так, что вокруг них на интернатском дворе сразу стала сторожко кучковаться детвора. В интернате было немало сирот — услышали, поняли бог знает каким чутьем.

Четыре мамки... Эх ты, Филиппок, Филиппок. Вообще-то младшего брата звали Антоном, но дома его иначе как Филиппком не величали. По герою толстовской сказки, что был меньше всех, но до срока напросился в школу. Антон тоже каждое утро увязывался за старшими братьями, требуя, чтобы и его взяли в школу.

Больше к дядьке Сергей его не отправил. Упросил директора, и братишку оставили в интернате. А дядька с теткой звонили — и Сергея вызывали для телефонного разговора в директорский кабинет. И тетка, плача, говорила, что этот чертов рубль, для Антона же и предназначенный — чтобы он после школы сходил себе за конфетами,— сразу же нашелся: приклеился, проклятый, ко дну банки с молоком. Что пусть Сергей ничего дурного не думает, он же знает, что она совсем не жадная, она же хотела как лучше, ибо честность в человеке важнее всего и ее надо воспитывать с малых лет. Что пусть Сергей либо сам привезет Антона, либо они с дядькой готовы сейчас же выехать за ним. Испереживались тут, обыскались, до последнего не хотели сообщать. И много еще чего говорила тетка, и Сергей хорошо знал, что она совсем не жадная, что она хорошая, грамотная женщина, самая грамотная в их родне, агроном, просто она принципиальная.

В родне так и говорили: «Галька у нас принципиальная». Своих детей у них с дядькой не было, и в приведенном суждении каким-то образом — интонацией — находило отражение и это обстоятельство. Объектом приложения теткиных принципов был дядька, рядовой, малограмотный, пьющий комбайнер, из которого она в конце концов сумела вытесать, выстрогать (отходов, наверное, было много — в дядьке килограммов сто двадцать весу) если и не интеллигентно-командирскую — в ее руке — указку, то вполне подходящее дышло. И то верно: дядька работящий, тягловый,

но в манерах уже покультурнее своих ровесников-механизаторов. Во всяком случае, при жене уже не матерился. На работе, где она пропадала с темна до темна, твердость теткиных принципов испытывали бригадиры и звеньевые, сама земля, что благодаря стараниям агронома помаленьку — как дядька в грамоте — прибавляла в урожайности.

Да вот теперь еще Филиппок, которого тетка упрямо звала Антоном. По одежке видно, что Филиппку у нее жилось получше, побогаче, чем в родном доме и чем живется в интернате. Но Сергей был несговорчив.

— Спасибо за все, но Филиппок останется в интернате,— повторял в трубку, краешком глаза замечая, как пристально наблюдает за ним из своего кресла присутствующий при разговоре директор.

Сергей только тогда, с телефонной трубкой в руке, понял: отдавать для усыновления младшего, материного любимца, нельзя. Пусть он так и останется ее сыном. Неразменным. Что-то подобное написал потом и в письме к родственникам, стараясь полнее и необиднее обосновать отказ. На это письмо ему почему-то ответил сам дядька, хотя раньше всегда писала тетка Галина. «Яйца курицу не учат»,— коряво писал тот в письме. «Яйца курицу не учат»,— помнит и поминает дядька до сих пор, каждый раз при встрече с Сергеем, под хмельком повторяя эту фразу из своего письма. Фразу, представляющую, по его мнению, верх житейской мудрости, как и верх его собственной трудной грамоты.

Сергей молчит.

Правильно ли он распорядился тогда судьбой брата? Правильно ли распоряжается сейчас судьбой матери?..

...Девчонка оказалась не то сообразительней, чем думал о ней Сергей, не то просто не терпящей столь долгого бездействия.

— Я сейчас! Я что-то придумала! — воскликнула она, стремительно, как с низкого старта, вскакивая, и побежала в глубину зала: последние ее слова уже прозвучали на ходу.

Так она все это время думала! А ему-то показалось...

29

...Муртагину нездоровилось с вечера. Но он крепился, говорил, что обойдется, достаточно принять валокордин и отлежаться. А под утро стало совсем худо, и жена позвонила в госпиталь. Приехал доктор, приехали несколько солдат. Доктор подтвердил худшие опасения: инфаркт. Велел Муртагину одеваться, солдат послал вниз, к машине, за носилками. Муртагин не сразу понял, для чего носилки. А когда понял, сказал доктору, лейтенанту, что налагает на него сорокаминутный домашний арест. Лейтенант растерялся: вроде шутит, а по глазам не заметно. По глазам вообще ничего не заметно: ни зги в глазах у Муртагина. Только побледнел еще резче, глубже, до синевы, да на лбу выступила испарина.

Жена, наверное, лучше знала, когда Муртагин шутит, а когда нет. И как ни боялась за его сердце, а все-таки втихомолку выпроводила вниз и лейтенанта, и солдат.

Муртагин недооценил себя. Ошибся на десять минут. Полчаса спускался с пятого этажа, сопровождаемый на расстоянии в одну ступеньку женой. Со ступеньки на ступеньку, придерживаясь вспотевшей, неверной рукой за перила. Можно представить, как напряженно, страхующе смотрела она ему вслед!

На носилках Муртагину было бы хуже. Хуже от одного сознания, что он на носилках, что солдаты несут его из квартиры, с пятого этажа по узким лестничным маршам к машине «скорой помощи».

Он нервный, Муртагин. Жена это знала лучше всех. Лучше всех вас, которые нервным Муртагина не видели.

Ей надо было вызвать обычную, гражданскую «скорую» с доходными тетками вместо ваших владимирских тяжеловозов. У Муртагина перед солдатом пиетет. Солдата, по Муртагину, необходимо употреблять только в дело. Помните, у Толстого в «Казаках»: дело? В дело, а не на строительство офицерских гаражей и не на перевозку командирского скарба...

А вот когда в ваше соединение приезжал уже упоминавшийся московский генерал, лично ты был брошен на затыканье щелей в генеральской

гостинице. И еще один доблестный воин — Витя Корнев, в недавнем прошлом преподаватель музыкальной школы в Липецке. Вот уж кто был композитор композитором! Чистый, без всяких там примесей. Пожалуй, под неизгладимым впечатлением от новобранца Корнева старшина Зарецкий и пустил в оборот это свое словечко: придумал новый род Вооруженных Сил — «композиторы». Правда, на месте старшины Зарецкого Корнева назвать бы надо не композитором, а... кем там был у нас Пьер Безухов? По роду занятий? Преимущественно барином? Добрым, до простофильства, просвещенным барином? Так и Витя Корнев оставался барином даже с ломом в увенчанных багровыми мозолями руках (чем барственней, тем их, мозолей, больше и тем интенсивнее их цвет). Невысокого роста, круглый, полный хорошей, вельможной полнотой, поколебать которую не смог даже лом, в круглых, запотевающих с мороза очках, с округлыми, достоинства исполненными манерами. Уменьшенная копия Безухова. Миньон.

Выбор на вас пал неспроста. Затыканье щелей должно было проходить в присутствии самого генерала, и здесь на первый план выступали не профессиональные качества — специалист по затыканью дыр! — а интеллигентность, обходительность и т. д. и т. п. В кои веки возник спрос на композиторство! И старшина Зарецкий, стратег, которому было доверено совершить этот выбор, четко реализовал его, выдернув из строя после некоторого стратегического хождения вдоль его фронта вас с Миньоном, а затем вооружив вас поролоном, клеем, гвоздями и некоторыми навыками заделки щелей в обществе генералов.

Ничего зазорного в затыканье щелей как таковом нет. Вы, военные строители, сами эту гостиницу строили, отделывали, сами напортачили — самим и исправлять. День был ветреный, на улице мело, и в гостинице тоже посвистывало. В затыканье щелей ты оказался способнее Пьера. Вата у него лезла клочьями, стамеска не слушалась. Руки, видать, огрубели на землеройных работах. Поблескивая очками, молча и растерянно оглядывался на тебя, виновато улыбался. Ну никакой жизненной практики! Ты вынужден был сказать, чтобы он бросил все к чертовой матери и просто таскал за тобою стремянку и подавал вату.

Генерал ходил по комнатам, тонкие сапоги даже не поскрипывали, а прямо искательно попискивали вместе с половицами под хорошим еще, ядреным грузом, иногда напевал что-то торжественно-бравурное, присаживался к вощеному журнальному столику, черкал что-то в заранее заготовленных (кем-то) листках, прихлебывал горячий с коньяком чай.

Во всем этом тоже не было ничего предосудительного. Зазорное для вас с Миньоном заключалось в том лишь, что генерал вас не замечал.

Правда, иногда, несмотря на всю его бравурную шумливость, энергию, тебе казалось, что генерал-то ваш... того, тоже композитор. Как и вы с Миньоном. В отличие от Муртагина — человека практического действия.

Дела.

30

Так они оказались в комнате матери и ребечка.

Стюардесса договорилась с начальством комнаты, и их разместили здесь. Опять нашлись и носилки, и помощники. В комнате матери и ребенка народу тоже набралось немало, но это была совсем не та теснота, что в зале ожидания. Тут у каждого имелось место, а на каждую пару — мать и дитя — приходилась еще и опрятно заправленная кровать. Комната не одна, их две, но Сергея с тещей расположили не в самих комнатах, а в «предбаннике», так сказать в приемном покое. Все-таки комнаты на мужчин не рассчитаны: «материнская половина» была сплошь женской и, находясь в подавляющем большинстве, особо не стеснялась, не церемонилась: сидя на кроватях, раскрывала грудь перед заждавшейся, очумевшей от перелетной колготни мелкотой, невзирая на Сергея.

Или насмешливо взирая на потупившего взор Сергея.

А он стеснялся не столько их, молодых симпатичных матерей, сколько своей еще более юной спутницы.

А той хоть бы хны! Домовито и ловко застилала диван, который им выделили. Сменила пеленки у больной, уложила, заботливо укрыла. Сер-

гей оказался не у дел: его полностью отстранили от забот. А он и рад: привалился головой к спинке дивана, сел посвободнее, прикрыл глаза. Хлопоты девчонки мягко долетали до него, касались его краем, гребнем, и ему было покойнее оттого, что рядом плещет эта негромкая, прогретая волна и несет на себе его ношу.

Ношу. Любовь и тяжесть...

За легкой штапельной занавеской, отделяющей приемный покой от комнат, невнятный говор, агуканье, занавеска, кажется, и колеблется от этих затухающих звуков.

Встретился глазами со своей добровольной помощницей — она как раз бережно устраивала получше, помягче изголовье, — и улыбнулись друг другу. Живы будем — не помрем!

Маленькие, аккуратные ладони, пока не побывавшие в горячем переделе бесконечных работ, и крупная, утопленно-тяжелая, каких только мук не изведавшая, осиянная белым голова: девчонка в самом деле словно не давала ей утонуть, погрузиться в пучины болезни и беспамятства. Глаза у Сергея сами собой смежились, и получилось так, будто и эту картину, и этот покойный, ободряющий взгляд он взял с собою в сон, в забытье. С ними ему и засыпать было спокойнее. Словно в прозрачной глубине правишь на мягкий, лунный свет раскрывшейся раковины.

Сколько спал? Час? Два? Больше? И просыпался мягко, легко. Проснулся и не сразу сообразил, где он и что с ним. Соображение приходило медленно, одновременно с этим медленным пробуждением. Он полулежал, ноги оставались на полу, голова же покоилась на чем-то мягком и теплом. Глаза еще не открыл, как-то не хотелось их открывать. К тому же вокруг, чувствовалось, было темно, темнота проступала, просачивалась и в сон. Так что не зрением, осязанием понял, что прикорнул на чем-то мягком и теплом. Щекой, уже подернувшейся жесткой ночной щетиной, носом, которым уткнулся в это что-то. Губами. Не что-то — кто-то. Вот что понял он. И осязанием тоже. Тоже, потому что в первую очередь сработало все-таки не оно. Видéние, с которым он засыпал: тяжелая седая голова на девичьих руках. Оно, выходит, и впрямь не покидало его и во сне. Светилось. Проснулся и, помня о нем, понял: его голова на чужих руках. Пусть не седая, пусть только конторски, предательски плешивая, но тоже тяжелая, уже немало чего видавшая.

А руки пахли розовой водой. Есть такая, продается в больших флаконах. Капля спирта, полкапли розового масла, остальное — вода. Маша, если только ей удается добраться до заветной материной полки (подставив большой стул, а потом водрузив на него еще и свой, маленький, Машин стульчик), после два дня с макушки до пят пахнет розами. Сергей любит целовать и нюхать ее макушку. Ему нравится, когда Маша пахнет розами. Правда, кажется, что она пахнет ими всегда. Всегда и вся.

Что оставалось делать? Немедленно вскочить, лихорадочно пройтись пальцами по всем пуговицам — застегнуты ли, поправить воротник, обдернуться, извиниться, щелкнув каблуками, пятки вместе, носки врозь, откланяться?

Куда откланяться? Да и не хотелось откланиваться.

Затылком чувствовал, как тепло и спокойно дышит ее живот. Вполне вероятно, что она и сама дремлет. Чутко дремлет, сторожа и больную, и его.

Сергей вновь закрыл глаза, но сон уже не шел.

В общем-то не требовалось много ума для того, чтобы понять, вычислить, как его голова очутилась на коленях девушки. Этим он и занялся: вычислением.

Вероятнее всего, задремав, стал без конца валиться на больную, как то и бывает обычно ночью в забитых до отказа залах ожидания. Девчонке, видимо, надоело (намеренно выбрал именно этот глагол) возвращать его в надлежащее, вертикальное, положение, и она села между ним и больной. Он этого не заметил и продолжал заваливаться набок. Только теперь на нее. Так и свалился ей на колени. Ну а дальше? Не могла же она позволить, чтобы чужой старый (опять намеренно выбранное слово) лежал у нее прямо на коленях? Вот и подсунула ладошки.

А может, подставила заранее? И ждала с подставленными ладонями?

Еще не спекшиеся, не отвердевшие в горниле жизни, еще пахнущие Машей.

Он еще лежал на чужих коленях, но, в сущности, уже делал стойку. Вставал на задние лапы («Ходить на цырлах», — говорили они в юности), выжидающе скрестив на груди передние, безвольные, поводил мордою, втягивал раздувающимися — пока напряжены только они — ноздрями пустой, тревожный весенний воздух. Весенний — в июне. Состояние вечной лягавой... Был моложе, чутье было острее, болезненней. Обилие красивых женщин буквально подавляло его (вместо того, чтобы воодушевлять, бодрить), как подавляет, нервирует молодого пса обилие резко выраженных, влекущих и вместе с тем ускользающих, не реализующихся плотью запахов. Юбочником, слава богу, не стал. Потому и не стал, что чутье смолоду было слишком болезненным, а не энергичным. Но юбки ни одной не пропускал мысленно. И теперь еще, завидев красивую женщину, каковых он, даже не видя еще полностью, угадывает, реконструирует по одной лишь походке, повороту головы, по тому, как, исчезая, мелькнет вдали яркий зонтик, по духам, хотя они-то как раз наиболее обманчивы в своей тотальности, ибо женщины чуть ли не поголовно поняли их как пусть дорогостоящий, но самый прямой резерв совершенства, пользуясь им, словно нехитрым фокусом, после которого, увы, у мужчин нередко остается чувство полной одураченности — по черт-те каким приметам он враз подберется, заслышит ток струящейся крови.

Вот когда усталые силы бодрит!

И еще одно ощутит он, мимолетно, мгновенно, но так же глубоко и всеобъемлюще — чувство сожаления. На одну смотришь, а всех жалко — есть такая лукавая пословица.

Да, ничто, наверное, не передает бег времени так полно, как «мимолетное виденье». Мимолетное виденье женщины, которая никогда уже не будет твоей. Мимо. В данном пункте, Сергей Никитович, ваше будущее исчерпано. Ноль будущего. Так и идет откат от будущего. Тебя от него отрезают по пунктам.

Со временем и нахальство появилось, и напористость. Чем меньше оставалось будущего, тем энергичнее (пошлее?) становилось чутье. Загорался сам и, надо же, подчас умудрялся воспламенить еще кого-то. Другую сторону. Не исключено, правда, что другая сторона просто-напросто искусно притворялась воспламененной. Иногда казалось, что он всего себя прожил: насквозь, начисто. Что в нем ни пороховинки, ткни в грудь, а там труха.

Возгорание трухи?

«Люблю», — говорил он, подстегивая самого себя не раз, и другая сторона даже с некоторым ошеломлением выслушивала эти совсем необязательные и даже обременительные признания.

А любил ли он кого-нибудь, кроме своей жены? На которой женился в девятнадцать лет. Из интерната, из бездомности прямо в женитьбу бух! Ему девятнадцать, и ей девятнадцать. И любил ли он, наконец, и свою жену?

И способен ли он-то сам, здоровый, любить кого бы то ни было? (Кроме Маши.) Скобки образовались в уме мгновенно, и тут-то никакой игривости не было. Маша — это и есть в его жизни самое натуральное. «Верняк», если вспомнить армейский жаргон. И есть его сердце, только не заключенное в грудной клетке, а выпущенное почему-то на волю. Гуляет себе, а ты с такой нежностью и болью — до рези в заслезившихся глазах — следишь за каждым шажком.

Любовь или привычная повинность? Постылая повинность... Господи, сокрушался порою Сергей, скорее бы состариться! Чтоб никаких отвлекающих моментов. Ничего привходящего. Состариться, чтоб сердце уже не попадало в резонанс с обольстительно мелькнувшей красотой, отзываясь вослед ей ноющей, щемящей нотой (мужское восприятие красоты если и не похотливо, не хватательно, то деятельно; это восхищение земледельца, не склонного к остолбенению с открытым ртом). Чтоб не вздрагивать, не подаваться враз напружинившимся нутром на нечаянный рожок женского смеха...

Выйти из игры! Из роли. Избавиться, наконец, от этого унизительного, животного, охотничьего инстинкта.

Это кто же тут охотник? Вы, что ли, Сергей Никитович, охотник?! Да разве лягавая охотник? Она всего лишь орудие, гонец охотника. Вот и вы, и ваш брат вообще — подневольный, вечный (в том смысле, что один, старясь, выбывает из игры, а на место его заступает другой, молодой) гонец неведомого, жестокого охотника.

Гонят нас, гонят... Ату!

С чем же мы имеем дело, Сергей Никитович, в данном случае? Рискованная интрижка прямо у изголовья смертельно больной тещи? Святотатственная распущенность? Симптомы только странные: ни характерной дрожи под ложечкой, ни хватательного инстинкта. Уткнуться, зарыться в ладони, как тот же шмель зарывается с головой в цветочную — розы? — чашечку.

Уткнуться. Вдохнуть. Утешиться. А через несколько часов они опять станут навсегда чужими. Да ведь ему-то потому так необременительно и дышится в этих ладонях, что как раз никакого будущего в этом пункте у него нет. Ноль будущего. И этот факт, черт подери, его впервые не удручает. Время потекло вспять?

Он просыпался и засыпал вновь, пытаясь и сквозь сон, причудливо деформировавший их, додумать эти свои разрозненные, неясные мысли. Последний раз проснулся уже под утро. «Пора и честь знать», — подумал, как очнулся. Совесть надо иметь: руки у человека небось затекли. И потихоньку, осторожно поднялся. Заглянул девушке в лицо. Глаза у нее были закрыты — спала. Спала уже давно или только-только заснула, сморенная предутренней дремой. Стерегла-стерегла и незаметно уснула.

Ладони ее не шелохнулись. Так и лежали, раскрытые, на коленях, матово обозначаясь в резко поредевшей, уже взявшейся, как весенний снег водою, светом комнате. Если и не распустившаяся чашечка, то чаша, в естественной завершенности которой и в самом деле есть что-то растительное.

Спала, а он-то фантази-и-ровал — не то наяву, не то во сне. Возгорелся.

А что если не спала? А закрыла глаза только тогда, когда поняла, что он проснулся? Проснулся и поднимает голову с ее колен. В тот момент и прикрыла глаза, сделала вид, что спит. Чтоб не смущать, чтоб не тревожить.

Мало ли еще по каким причинам люди закрывают глаза в такой предрассветный час.

31

Капитан Откаленко любит общественные нагрузки, чтобы иметь возможность их проклинать. Сетовать на непомерную занятость. Среди его нагрузок есть одна, которую, похоже, никто на него и не возлагал. Он возложил ее на себя сам и исполнял с видимым усердием.

В политотделе капитан Откаленко был еще кем-то вроде месткома в единственном числе. У военных профсоюза нет, не было его и в вашем политотделе. Профсоюза не было, но профсоюзная работа налицо. Ее и осуществлял — в нагрузку — капитан Откаленко.

Когда военторг, скажем, выделял политотделу (как с барского плеча) ковер или шубу, Откаленко тут же принимался набрасывать «список». Список претендентов — капитан вообще тяготел ко всякого рода спискам и протоколам. К документу. Тут же садился за стол и, насвистывая, давал документу соответствующее оформление, титул. Например: «Список желающих приобрести шубу женскую натуральную лисью за три тысячи рублей 58-го размера». И первое, что говорил, переходя от титула непосредственно к фамилии, было, как правило, следующее: «Ну, Чингисхана и вписывать нечего: у него все равно денег нету».

Не сказать, что военторг баловал ваших офицеров, но эту фразу ты слышал от капитана неоднократно. Он произносил ее даже с некоторым насмешливым торжеством.

С легкой руки капитана в политотделе довольно прочно бытовало мнение, что у вашего начальника с деньгами того — не густо.

В самом деле. Кроме девчушек-погодков, у Муртагина еще двое детей. Сын, учившийся в восьмом или девятом классе, и дочка, которая только что поступила в Москве в авиационный институт. Муртагин, по гражданскому образованию авиационный инженер, видимо, еще тосковал по первой своей профессии, и эта тоска сказалась таким вот «наследственным» образом. Жена тогда не работала, да и куда там работать с такой семейкой. Ничего удивительного, если с деньгами у Муртагина и впрямь было «того».

Ничего-то ничего, но, пожалуй, имела тут место и военная хитрость. Уловка.

«Евдокия Степановна, здесь у нас в магазине появилось масло в пачках. Может, взять?» — услышал ты однажды, как заговорщицки, краснея и оглядываясь на муртагинскую дверь, шепчет в телефонную трубку секретарша Маша Киселева.

Муртагин запретил жене ходить в военторговский магазин, расположенный с внешней стороны штабного здания и обслуживающий только работников штаба УИРа и их семьи.

Видимо, раз сунулись к Муртагину со «списком», поставив его фамилию во главу этого замечательного документа, другой, пока ему не надоело и он не заявил радетелям его благосостояния, что для таких покупок у него нет денег.

Отсутствие Муртагина в подобных списках делало «конкурентоспособным» даже новичка политотдела. Резко демократизировало список. Он становился не просто короче на одного человека, а короче на начальника. Уверен: Муртагин отказывался от «пульки» именно из этих соображений. Не хотел сковывать дух справедливости, столь замечательно владевший капитаном Откаленко, дух свободной конкуренции.

Хотя правомерно предположить и нечто совсем другое. Самое простое, проще пареной репы: Муртагину претило участие в подобных затеях. Запретить их не мог, то был бы левацкий загиб, но сам участвовать в ажиотаже гнушался. Презрение — слишком сильное слово. Но внутреннее, сдержанное высокомерие к барахольству, а в какой-то степени и к быту (собственному — о вашем, солдатском, радел всерьез) в нем чувствовалось.

Аскетизм или все-таки аристократизм? Человек восточной крови, Муртагин, сдается, не признавал барахольные хлопоты мужскими. Достойными внимания мужчины. Тем паче — военного. Увы, как часто, как густо сегодня мужчина — не добытчик, а доставала. И что самое грустное — доставала-энтузиаст...

«Чингисхан» — это прозвище, которым Муртагина звали за глаза, улавливало не только неслышность, восточность походки, но и некоторые нюансы его характера, в том числе отношение к «спискам».

Чингисхан без копейки в кармане — вот это аристократизм!

Есть род людей, предпочитающих общественные нагрузки прямым, служебным, потому, наверное, что спрос за общественные нагрузки все-таки общественный. Без оргвыводов. Относился ли к таким людям Откаленко? Относился или нет, но когда Муртагин предложил ему новый, самостоятельный участок — замполитом в одной из частей УИРа, тот отказался.

Попросил ночь на размышления, на совет с женой, а утром пришел и отказался.

В своей должности капитан достиг потолка. Должность у помощника начальника политотдела капитанская, а Откаленко пора было присваивать очередное, майорское, звание. Замполит части — должность майорская. Правда, большинство ваших частей располагалось не в райцентре, не в деревнях, а в самой глубинке, в глуши, в лесах и болотах. На «точках». Точнее, они-то, эти части, и строили «точки». И работа там была непосредственная. В массах. Откаленко же любил работу инструктивную. С каким удовольствием и напором проводил всевозможные инструктивные мероприятия! Увлекшись, инструктировал даже замполитов частей, бывалых майоров — лично или по телефону.

Не пройдя этой стадии — замполит части, трудно рассчитывать на серьезную карьеру на поприще армейской политработы. Это как арка: ни объехать, ни обойти. Правда, далеко не для всех триумфальная. Ибо здесь не только ты пробуешь непосредственную, в массах, работу. Но и работа пробует тебя непосредственно на зуб. На зуб массы.

Как ни честолюбив капитан Откаленко, а, подумав ночь, от предложения отказался. По своей ли инициативе, по совету ли жены, работавшей в райцентре на хорошем месте, но отказался.

В тот же день замполитом части был назначен капитан Купрейчик. Тот самый застенчивый капитан, инструктор по культмассовой работе, который смешно побаивался тяжеловесных рукопожатий майора Ковача. А тут надо же — оказался на высоте. Не в пример записному спортсмену. И ночь на размышления, на совет с женой не брал.

А капитан Откаленко в тот же день был назначен инструктором по культмассовой работе. Не знаю, спрашивал ли на сей раз Муртагин его согласия. Но в новое кресло капитан, кажется, пересел с облегчением. И тут же энергично занялся подготовкой торжественных проводов капитана Купрейчика на ответственную самостоятельную работу. Должность инструктора политотдела по культмассовой работе тоже майорская, так что на первый взгляд Откаленко ничего не проиграл: здесь у него тоже был достаточный потолок для роста. Он и вел себя в полном соответствии с этим итогом: не проиграл. Был весел, даже несколько взвинчен, бурно деятелен. Но во взглядах, которые иногда бросал на коллег офицеров, сквозило нетерпеливое, смятенное ожидание. Ждал подтверждения итогов. Вроде наспех листал странички учебника, торопясь заглянуть в ответ: сходится или не сходится?

А они с ответом не торопились. Любезно поддерживали его бурление, поздравляли с назначением и занимались своими делами.

Впрочем, наиболее прямой ответ выдал майор Ковач. Поздравляя капитана Откаленко, впервые не стушевался, прицелился так, что в секторе обстрела оказалась вся ладонь капитана, а не кончики холеных пальцев, и хватил-таки по ней, как по наковальне. Капитан смолк, поднял правую ладонь и с удивлением посмотрел на нее. Ладонь была алой. Аж светилась изнутри. Не наковальня, а то, что кладут на наковальню,— покова.

— Годен к нестроевой! — по инерции с удовольствием выдохнул майор Ковач.

Майор Ковач побывал и замполитом роты, и замполитом части, и секретарем парткома УНР. А вот перед капитаном, старожилом политотдела, робел. До этого момента. Теперь же пиетет был утрачен.

32

«Описывателей дела найти легче, чем делателей дела».

Значит, он причислял тебя тогда к делателям дела. Тогда.

А сейчас? Причислил бы сейчас?

Вот ты пытаешься разобраться, почему вдруг стал писать о Муртагине. Почему? Хочешь подсказку?..

Попрощавшись с Муртагиным в больничной палате, ты после, уже в гражданской жизни, так и не удосужился узнать: а обошлось ли? Закрутился, забегался. Да и у кого было узнавать? Писать семье Муртагина? — и адреса-то их не запомнил. Или самому Муртагину: живы вы, товарищ подполковник, или нет?

Но это так, отступление. Итак, подсказка. Напоминание.

Сюжет первый. Много лет назад, находясь в командировке в Казахстане, на уборочной — это твоя первая, пробная, испытательная, ставшая заодно и испытанием на выносливость, большая командировка от большой столичной газеты уже упоминалась здесь,— наблюдал на элеваторе одного из областных центров следующую картину. Элеватор жил круглосуточной напряженной жизнью. Урожай рекордный. Не хватало вагонов. Под воротами элеватора день и ночь вереницей выстраивались машины с хлебом. Дело осложнялось тем, что уборка затянулась из-за дождей, перемежавшихся снегом. Зерно шло повышенной влажности. Элеваторные сушилки не справлялись с ним, задыхались. То здесь, то там зерно начинало «гореть». Правда, о нем говорят: не «горит», а «сгорается». Большие, тяжелые массы зерна начинают преть, нездорово разогреваясь изнутри. Сунешь руку в такой ворох — и по самый локоть ощутишь нехороший, нутряной, влажный жар. От таких ворохов полз пряный, липкий, тлетворный запах. Болезнь. Такое зерно нужно или прогонять через зерносушилку, или как можно чаще шуровать деревянными лопатами, рассыпать тонким слоем на сухой земле или на брезенте.

Как и среди людей — болезнь, происходящая от сырости и скученности.

Спиртовой, тяжелый запах «сгорающегося» зерна — зловещий, генами, кровью помнящийся запах беды.

Запах беды при таком, казалось бы, изобилии — элеватор вспучивало от непомерного количества хлеба, которое ему приходилось принимать и перерабатывать. На директора элеватора, молодого, недавно назначенного казаха, жалко было смотреть: извелся весь, избегался, дневал и ночевал на работе.

В той запарке, в которой жил элеватор, ты сразу обратил внимание на одного странного человека. Он не выпадал из всеобщей суматохи — он тоже кружился в ней и даже, как ты потом, присмотревшись, понял, во многом сам был ее движителем. И все-таки... Лошадь и всадник состоят в совершенно различных отношениях с движением, в котором оба, казалось бы, находятся. Это и было движением всадника. Наездника. Впечатление усиливалось еще и тем, что этот человек, грузный, рыхлый, тучный, даже по двору элеватора разъезжал на машине. На «козле» подъедет, высунется в дверку, красный, распаренный, отдаст решительные указания — и к следующему объекту. Подрулит к лаборатории, где девчата-лаборантки «скубутся» с совхозными шоферами, отказываясь принимать зерно слишком высокой влажности и засоренности, снижая его сортность, а значит, и оплату за такой хлеб. Высунувшись в дверку, человек цыкнет на лаборанток, махнет сельским шоферам: трогай, вали в общую кучу!

Поздней ночью на главном пульте элеватора стал свидетелем такой сцены. Директор, вооружившись отверткой, спустился по винтовой лестнице вниз, в подвальный отсек, где располагался главный весовой механизм, поколдовал там, поднялся назад, по громкой селекторной связи пригласил разъезжавшего на автомобиле человека навестить главный пульт. Имеется, дескать, важное сообщение. Люди, дежурившие у пульта, удивленно переглянулись: какое еще сообщение? Через несколько минут за стеной взвизгнули тормоза — стало быть, директора услышали. Высоко, дискантом запели крутые деревянные ступеньки, и в проеме двери появился, отдуваясь, наездник. Непривычно было видеть его вне автомобиля. Ты бы не удивился, если б в двери появился вначале «козлик», а потом уже — из дверцы «козлика», не спешиваясь,— высунулся для решительного указания его хозяин.

— Слушаю вас,— обратился вошедший к директору, промокая влажным носовым платком взопревшую шею.

Удивительно, но кнута при нем видно не было — ни из-за голенища не торчал, ни руки им не поигрывали.

— Взгляните на показатель общего веса зерна, принятого элеватором,— учтиво пригласил его директор к пульту.

Тот подошел, уставился в точку, обозначенную директором. Ничего не понимая, выжидающе обернулся.

— Ну и что?

— Миллион пудов. Есть миллион пудов! — В голосе директора слышался усталый пафос.

Человек встрепенулся, всю его вальяжность, распаренность как рукой сняло. Пухлыми, взмокшими ладонями уперся в пульт, как будто перед ним штанга рекордного веса, которую необходимо взять. Рвануть.

— Где?

Директор невозмутимо указал пальцами, где.

Дежурные весовщики опять недоуменно переглянулись.

— Что же вы сразу не сказали? Вчера ведь только говорили, что не раньше чем через три дня.

— А вот и говорю. А вчера, стало быть, ошибался, недооценил.— Директор замолчал, не стал уточнять, что именно он недооценил.

— Есть тут телефон?

Ему пододвинули телефон. Человек окинул всех торопливым взглядом, в первое мгновение, вероятно, хотел выставить вон, но потом передумал, ограничился лишь повелительной просьбой сохранять тишину.

Накрутил диск, пригладил на макушке редкие волосы.

— Сарсенбай Акмалевич? Лично я миллион раз извиняюсь, что звоню вам так поздно, прерываю ваш короткий сон... но я все-таки решился сообщить вам радостную весть. Я лично счастлив, что вы услышите ее из моих уст, из уст своего помощника.

Трубка, вероятно, нетерпеливо гмыкала. Товарищ отодвинул ее от лица и произнес в нее, как в микрофон:

— Есть миллион пудов! От всей души, от всего горячего сердца я поздравляю вас, Сарсенбай Акмалевич, с рекордом. Коллектив элеватора рапортует вам и передает наилучшие пожелания успехов в труде и замечательного здоровья.

Коллектив элеватора, включая тебя, замер.

Трубка была плавно, с чрезвычайным почтением к ней, посажена на место. Так, мизинчиком, нажимают клавишу заключительного, нежного (пианиссимо) аккорда.

Энергично подняв руку, которая только что так ласково, осторожно укладывала на место телефонную трубку, в прощальном общем жесте, человек опрометью ринулся в дверь.

— Сердечно поздравляю, товарищи, с трудовой победой,— послышалось откуда-то с порожков под аккомпанемент — откуда только прыть взялась — громыхающих шагов.

Еще через минуту затарахтел, ринулся прочь жалобно прогнувшийся на рессорах «козлик».

И — мимо машин с хлебом, выстроившихся в живую, светящуюся ночную очередь. И, поднимая пыль,— в город.

Только его на элеваторе и видели.

Директор облегченно вздохнул и все с той же отверткой направился в преисподнюю — как ты понял, возвращать весовой механизм в законное состояние.

Уехавший хоть и тоже был в мыле, и даже больше, чем кто-либо другой здесь, но это было мыло погонщика. Не движителя — погонщика.

«Что плохо,— жаловался потом директор,— так это то, что мы всех интересуем, пока идет хлебосдача. Как только она закончилась, о нас забывают, в том числе и ваш брат журналист. Как у нас с вагонами, с сушкой, подработкой зерна, с людьми, техникой — это уже сразу становится нашим внутренним делом. До следующей уборочной, до следующего рапорта».

Написал ты тогда об этом? Нет.

И второй сюжет — тоже из журналистской практики.

Вот уже восемь лет, правда, не каждый год, получаешь извещение на посылку из Белоруссии. Идешь на Главпочтамт, заполняешь бланк. Стоишь и спокойно ждешь, когда среди аккуратных фанерных ящичков, бумажных и матерчатых свертков появится н е ч т о. Да, посылочное отправление, которое ждешь, можно назвать только так. И вот оно, наконец, появляется на транспортере, торжественно, как на колеснице, въезжает в зал. Можешь и не смотреть в ту сторону.

Как только в толпе ждущих вместе с тобой возникает легкое замешательство, как только заслышишь хоть чей-то удивленный возглас, можешь, не раздумывая, поворачиваться к транспортеру и даже протягивать к нему руку. Твоя поклажа!

Чаще всего это бывает корзина. Плетенная из ивняка корзина причудливой формы. То в виде бочки, с откидным «днищем», то в форме лодки (Ноев ковчег — и по форме, и по содержанию). Потом ты волочишь корзину домой, и в доме вслед за тобой по всем лестничным маршам поднимается — как дым из трубы в ясную погоду — невидимый, но теплый, слюнки вызывающий аромат поздних яблок.

В махине, пронизанной железом, бетоном, стеклом, вдруг начинает пахнуть домом. Соломой и яблоками. Детством. Вот ведь фокус: на первом этаже в доме расположен овощной магазин, но от него почему-то пахнет совсем иначе — овощебазой.

Дома хором распаковываете корзину. Так и есть: полным-полно яблок. Все чистенькие, крепенькие, умытые. И так сильно, свежо, нежно пахучие.

Первый признак немассового, непромышленного производства — запах.

Но и это еще не все. Яблоки в корзине разных сортов. Сгруппированы по сортам, переложены папиросной бумагой. Внутри каждой такой кучки, каждого семейства, что ли, вложена бумажка с названием сорта.

«Добрый крестьянин».

А это — «Белорусский Антон»...

Внизу, в овощном,— «старкинг», «гольден», «джонатан», а тут — «добрый крестьянин». Сорт — уже по названию даже не отечественный, а доморощенный. Может, потому и аромат такой — не космополитический, а дома, детства? Малой родины.

В большой корзине, на дне, еще и маленькая корзиночка. Аккуратная, неглубокая, судя по розоватым тонким, гибким прутьям,— девичья горсть. В горсти несколько лесных орехов, два-три сушеных белых гриба, веточка рябины. «Это вам кланяется наш лес».

Тут же, среди яблок, коротенькое письмо или чаще открытка. Текст на открытке отпечатан на машинке. Машинка старая, разве что не с ятями, буквы у нее прыгают. Машинописный текст вроде бы должен придать торжественности и официальности, но эти танцующие буквы независимо от письма, ими обозначаемого, выплясывают совсем другое — озорное, мальчишеское.

«Поздравляем вас с праздниками, желаем, чтобы ваши творческие дела и впредь шли в гору»...

А они пляшут: «Будь здоров и не чирикай».

В письме ли, в открытке обязательно стишок собственного сочинения. Тоже, так сказать, доморощенный.

Вспоминайте нашу Липень,
И садов весенних кипень,
И речушку у ворот,
И меня — под Новый год.

«P. S. Больше двух недель ходил по приглашениям наших липнян, прививал в садах черенки лучших сортов яблонь и груш, привил более 200, все прижилось, говорят, рука легкая. Приезжайте к нам!..»

Много лет назад, несомненно, под влиянием повести Василя Быкова «Обелиск», у тебя возникла мысль написать очерк о селе и обелиске. Они существуют вместе, неразделимо: село и обелиск в селе, уже неотъемлемая деталь и сельского пейзажа, и самой деревенской жизни. Задался целью проследить, как существование обелиска, а в конечном счете общего, давнего горя влияет на жизнь конкретного села, на его нравственную атмосферу, на людей разных поколений, особенно на тех, кто родился после войны, недавно, кто это страшное горе не застал. Цель несколько умозрительная, но тогда она тебя забрала всерьез. Созвонился с собственным корреспондентом газеты по Белоруссии, женщиной, которую хорошо знал еще по своим собкоровским временам. Найти подходящую деревню не составляло труда. Ее нетрудно найти в любом уголке страны, а уж в Белоруссии тем паче.

Возможно, ты первоначально слишком жестко, если не схематично, сформулировал тему очерка, возможно, просто не вытянул ее в том виде, в каком она представлялась в замысле, а может, просто сама живая жизнь, вмешавшись, раздвинула столь строгие рамки, видоизменила замысел, но очерк получился несколько другим, чем задумывался.

«...Мы стояли у братской могилы, над которой тихо распускались тополя, когда к нам подошла седая простоволосая женщина. Молча поклонилась учителю и притулилась к ограде, у самого уголка.

Здесь, у самого уголка, лежат у нее четверо.

Сеня — 12 лет.

Таня — 9 лет.

Маня — 7 лет.

Шура.

Шуре было восемь месяцев. Шура была у нее на руках. И еще двое чужих детей держались за ее юбку в тот вечерний час 13 января 1943 года, когда фашисты расстреливали и сжигали партизанскую деревню Брицаловичи. «Когда начали полосовать из пулеметов, то на меня упала Степиха. Большая женщина, всю меня кровью залила. А когда я очнулась — кругом мертвецы. И дети мои — мертвецы...» Когда они с мужем возвра-

тились из партизанского отряда, она билась и плакала и просила похоронить ее здесь, у этого уголка. «Треба жить»,— сказал муж, Михаил Фомич, для которого «жить» даже сейчас, на 72-м году жизни, значит работать. «А как не работать? Дети только на ноги становятся». Особенность деревни: родители старые, а дети «на ноги становятся». Новые, послевоенные.

«Треба жить»... Разговаривали с Анной Ивановной Потайпенко, а к нам подходили новые люди, у каждого из которых кто-то лежит — в братской могиле 676 человек. В шесть раз больше, чем тех, кто живет на братском пепелище. Кланялись, даже целовались с учителем, прикасаясь сединой к его седине. Говорили с ним, просили на День Победы, как всегда, прийти сюда, на митинг, и сказать слово — какая же память без учительского слова? Обещал, что обязательно придет, дружески обнимал их за плечи и говорил хорошие, спокойные слова, в сущности, ничем не выделяясь среди них — разве что крупным ростом да металлическими очками.

Почти тридцать лет назад в облоно его спросили, в каких условиях хотел бы работать, и учитель попросил, чтобы были река и лес.

И были река и лес. Домов только не было, потому что они либо сожжены бензином, либо взорваны бомбами. Брицаловичи, Липень, Устюжье... Учитель, отец четверых детей, и сам-то отстроился не так давно. Чудной такой дом построил — с лестницей, с чердачной комнатой, с верандой и разными закоулками. Нет в нем твердокаменности, легкий такой дом, в котором хорошо книгам и детям. В доме часто гостят друзья юности и фронтовые друзья; друзья и близкие тех фронтовиков, что погибли на этой земле, чьи имена учитель установил со своими учениками и чьи останки перезахоронил со своими односельчанами. Когда в прошлом году в Липень приехали брат и сестра солдата Рощина, что погиб партизаном под окнами здешней школы, но тридцать с лишним лет был без вести пропавшим, они первым делом зашли в дом учителя. Так и зашли — с траурным венком в руках, который везли с другого конца страны. И учитель повел их на могилу солдата Рощина, и там, на могиле, они сказали учителю, что у них теперь спокойнее на сердце.

Домов не было, и учитель со своими учениками стал сажать сады. Он сажал сады, потому что на сад не надо таких больших денег, как на дом,— были бы только руки, и потому что учитель знал: к садам придут люди.

Сколько садов в Липени! И в Брицаловичах, и в Устюжье. И вокруг братского кладбища, и вокруг школы, и вокруг каждого дома, и просто так, между улицами, сады.

Он и сам похож на садовника. Крупные руки, металлические очки, синие глаза и легкие, рано зацветшие белым-белым волосы. Раньше сажал сады, потому что знал: к садам вернутся люди, а теперь сажает потому, что уже не может не сажать. Ходит по селу и сажает деревья. Последние деревца посадил вдоль дороги над рекой. Делает прививки в садах.

Появлялись дома, поднимались деревни. И учитель мотался после занятий с трудной подпиской на очередной заем, с антирелигиозными лекциями или со стихами Маяковского — смотря по тому, какая подходила дата. А то и просто выходил в поле, как, например, в прошлом году, когда десять дней работал на сенокосе. Здоровье у него крестьянское, к тому же людей в колхозе не хватает, а если выйдет на сенокос учитель, то наверняка выйдут и другие, кому тоже быть в поле, может, и не обязательно.

Он честно делит с ними хлеб, поэтому и с ним делятся и хлебом, и горем.

Когда-то партизанам пришлось выбивать из липенской школы немецкий гарнизон, и она была здорово порушена. Отстроили. А несколько лет спустя установили на ней мемориальную доску с именами партизан, погибших в бою перед школой. В прошлом году вписали сюда и фамилию Рощина. Не пропал солдат Рощин.

Такая внутренняя последовательность есть во всех делах учителя. Деревья ведь тоже появлялись в строгой последовательности: сначала у братского кладбища... Собственно говоря, и садоводство для него — продолжение учительства, ибо учитель знает еще одну истину: патриотизм — это очень овеществленная любовь. Любовь к дереву, которое ты посадил в детстве или которое выросло еще до твоего детства, к матери, речке.

Овеществленная любовь... Мы листали номера альманаха «Родник», организованного в школе А. В. Керножицким. «У моей мамы ни орденов, ни медалей, но я считаю, что если награждать всех хороших людей, то просто не хватит никаких орденов и никаких медалей...» «Мой отец умер от старых ран за полгода до моего рождения, и я расскажу о том, что узнал о нем за последнее время...» В конце альманаха — длинный перечень ребячьей редколлегии, а еще ниже, на отшибе, смешная приписка: «Печатание текстов — А. В. Керножицкий». «Печатание» происходит в одном из закоулков легкого дома на машинке «Украина» и затягивается до рассвета, потому что учителю хорошо думается над строчками, которые он перепечатывает.

Учил суффиксам и префиксам, декламировал Маяковского и одновременно старших учил воле жить вопреки горю, а «собственно детей» учил памяти о горе.

Сам родом не из этих мест, он разделил их горе так же, как разделил с ними хлеб. И если память бывает персонифицированной, то наиболее осознанным воплощением ее является учитель.

Осознанно — значит с целью, а цель у него — сделать горе Брицаловичей их нравственной силой. Сейчас его следопыты ищут близких молодого солдата, расстрелянного немцами в 41-м неподалеку от школы. Солдат был нездешний, из-под Вологды, но сделать память «невыборочной» — тоже цель учителя.

И была река, и был лес. Мы шли с учителем через этот лес и вдоль этой реки, и он показывал их так же, как показывал свой сад. Место, где ему однажды встретилась лань, вековые дубы, редкое, занесенное в Красную книгу растение — горный чеснок. Шли в Брицаловичи, к обелиску. А на следующий день разговаривали об этом же на дороге со здешними мальчишками и поражались, как их рассказы совпадали — даже в интонации! — с рассказом учителя. Только «редкое растение» мальчишки посвойски именовали цибулей. Сегодня они знают и любят эту лесную дорогу, знают точное число, когда по весне вернулись в свое гнездо аисты, что все эти годы живут на засохшем — обгоревшем? — дереве у памятника погибшим. Им пока непосилен полный груз памяти, и пусть они знают хотя бы это — дату прилета аистов. А пройдет время, подрастет, окрепнет их душа, и постепенно — аист — дерево — мама — родная деревня, в которой живых пока меньше, чем сожженных,— примет ту полную ношу, что делает человека человеком.

Впрочем, второй год учитель на пенсии. «Где ты встречал его с тех пор, как он перестал преподавать в школе?» «В поле, убирал с нами брюкву...» «Проводил у нас урок мужества...» А четвероклассник Леня Курганович сказал, что ему нравится смотреть, как учитель мастерит возле дома лодку.

Есть еще одно обстоятельство, которое тоже определяет его отношение к памяти. Всю войну учитель пробыл на фронте, имеет медаль «За победу над Германией», но в боях не участвовал. С детства очень плохо со зрением, и он прослужил в запасных частях».

Так ты писал о нем в семьдесят шестом году. С тех пор его ни разу не видел. Он, конечно же, постарел. Хотя руки его трудно представить старческими, немощными. Широкие в запястье, узловатые, корявые — в них самих есть что-то от двух старых, разлапых, обомшелых, с буреломом в кроне, которая является одновременно и кладбищем отжившего, и зыбкой для нарождающихся ветвей, и тем не менее все еще могучих яблонь. Праяблонь. Что если и подвои удаются ему по этой причине?

...Да, тогда помаленьку у братской могилы собралась вся деревня. Постояли, помолчали, поговорили вполголоса о разном. О самом будничном: о припозднившейся весне, о том, что в прошлом году в это время уже вовсю сеяли рожь. Здесь уже не стеснялись таких неторжественных разговоров у могилы — так прочно, глубоко вошла она в самый быт села. А она и располагается, надо сказать, в самой его середине. В сердцевине. Совсем не похожа на деревенское кладбище, которое, как правило, выносят за околицу. Может, потому, что это больше чем кладбище. Не зря

сюда приходят, заходят каждый вечер. Раньше село было просторнее, после войны резко уменьшилось, ссохлось, сжалось, стеснившись вокруг могил,— так в стужу теснятся вокруг костра. И сейчас село помалу редеет. Новые, послевоенные дети, вырастая, потихоньку разлетаются по белу свету. На стройки, в города, в армию. Родители же гнезда не покидают. Теснятся к могиле, к тем, довоенным, к первенцам, что лежат горстью праха в этой земле. И при этом так деятельно схвачены сегодняшними заботами своих сегодняшних, годящихся им во внуки детей. «Треба жить!» — сколько посылок с первосортной деревенской снедью летят отсюда во все концы Союза. (Свои корзины и яблоки, кстати говоря, Керножицкий рассылает «списком» — всем своим друзьям.) Тяжкая доля: стоять на вечном полустанке между теми, уснувшими вечным сном, и этими, живыми. Учитель тоже помогает им держаться. Связывает их если не с теми, кто в могиле,— эту связь извне привнести невозможно, она и так кровнее кровной,— то с их же зелеными, озорными, подчас им самим непонятными и еще чаще — не понимающими их побегами. Кровная связь тут тоже налицо, учитель же учит их связи, ну если не духовной, то душевной. Взаимопониманию, взаимобережению этих двух так далеко и трагично — через утраченное звено, через войну, через братскую могилу — разнесенных поколений. Вот и ходит он — от поколения к поколению.

Не редеет село, а зеленым сохранным колечком свивается вокруг того давнего, незатухающего, воистину вечного огня. Жгутом — вокруг раны.

Смеркалось. Вас приглашали в гости. Многие зазывали, но Керножицкий выбрал дом Анны Ивановны Потапейко. «Сеня. Таня. Маня. Шура». Так и повела Анна Ивановна прямо с могилы по темнеющей улице тропинкой, которую она одна чувствовала на ощупь, к себе в дом, с мужем познакомила, на стол накрыла. Чего только не было на том столе! Весь погреб в горницу вынесли. Да еще соседи время от времени стучали в окошко: кто предлагал блюдо совершенно замечательной моченой клюквы, кто — жбан напитка, после которого «в голове как будто развидняется». Расположились на закрытой веранде. Сидели, разговаривали, выпивали, а спинами чувствовали знобящую пустынность дома. Холодок касался ваших спин. И отстроен дом, и ухожен, правда, без молодого неуемного рвения, но — пустой. Да старики и сами все больше в летней кухоньке обретаются. Теплее им там. Теснее. Есть у них еще двое детей, послевоенных,— учатся в городе. Разница в возрасте между старшим сыном Анны Ивановны — Сеней — и младшим сыном Анны Ивановны — Сеней — была бы двадцать девять лет...

Вы поднимались, но вас ласково усаживали вновь и вновь, и была уже полночь, когда поднялись, наконец, окончательно. Анна Ивановна же решила сделать на прощание подарок. Вручить по чайной паре. Пара как пара — чашка и блюдечко. Только из стекла. Стекло тоже никакое не художественное, толстое, даже мутноватое. Но в общем-то обычная стеклянная чайная пара.

— Да не то новость, что стеклянная,— поправила Анна Ивановна.— А то, что небьющаяся. У нас в районе завод такой открыли. Так мы все и накупили этих чашек. И не нарадуемся. Пускай и ваши дома порадуются. Из стекла, а не бьется.

Это тебе было понятно. В твоем селе тоже любят все исключительно небьющееся.

В доказательство своих слов Анна Ивановна размахнулась и бросила чашку на пол:

— Посмотрите.

А та возьми и разлетись. Вдребезги.

— Разбилась...— изумленно прошептала Анна Ивановна.

И упала на стул, и уронила голову на руки, и так тяжко, в голос, вздрагивая всем своим выработавшимся, выболевшим существом, зарыдала. Весь вечер крепилась, привечала, хлебосольничала и под конец не выдержала.

— Разби-лась...

Изумление было искупительным. Как и слезы — искупительные. Рыдания тяжкие, сотрясающие душу и все-таки, и потому — облегчающие.

Андрей Фомич, муж Анны Ивановны, хроменький колхозный сторож, засуетился, зашмыгал носом. И Эмма, корреспондент газеты по Белоруссии, дочка пограничника, погибшего в Бресте в первый день войны («От отца в памяти осталась только зеленая фуражка. Мне три годика было, так я, встречая его, бежала просто на зеленую фуражку. И сейчас, как увижу на улице зеленую фуражку,— готова бежать к ней со всех ног...»), кинулась к Анне Ивановне, уткнулась ей в плечо.

Под очерком, который ты тогда написал, стоят две подписи — ее, Эммы, и твоя. Ты писал, и среди всех картин у тебя перед глазами стояла и эта — как она кинулась. Написать об этом, помянуть об этом в очерке не додумался. Все-таки публицист из тебя был еще зеленый, слишком свято придерживающийся канонов,— как же: упоминать о корреспондентке своей же газеты? И ты просто поверх своей поставил и ее фамилию. Можно было проявить участие лучше, глубже, сделать его фактом публицистики, а значит, общественного звучания; тебя же, слава богу, хватило хоть на это.

Скол. Волосяная трещинка была, вероятно, в чашке.

Анатолий Владимирович, вынув из кармана выглаженный, белоснежный, неожиданно белоснежный платок, прикладывал к глазам и смотрел на тебя влажно и настороженно: поймешь ли?

Готов был встать на защиту, оградить их — от твоего снобизма или твоей глухоты.

Жаль все-таки, что «весеннюю кипень» здешних садов увидеть не довелось. Весна в тот год, повторяю, припозднилась, и тут учитель, увлекшись рифмой, погрешил супротив истины.

Скол.

Кстати, ты не задумывался, почему тебя последний год не приглашают на почту?

Делатели дела... К кому бы он, Муртагин, сейчас тебя причислил: к тем, кто рапортует, сидя на чьей-то взмыленной шее, или к тем, кто делает?

33

А разносы Муртагина?

Голос во время разносов тихий, спокойный, но не занудный. Не бесстрастный. В нем ощущалось, осязалось напряжение. Чувствовалось, что там, внутри у него, ну если не горит, не клокочет, то болит. Расхаживал перед тобой (ты сперва стоял, опустив руки по швам, но он жестом усадил тебя за стол; он ходил, а ты сидел, поворачивая голову ему вслед). Размышлял, опять как будто сам с собой, горько удивлялся. Тоже деталь: не столько возмущался, сколько горько удивлялся. Горевал.

И тебя невольно вовлекал в это гореванье. И в какой-то момент ты уже не водил головой — болванчик болванчиком — вслед за ним. Сидел, уставившись в одну точку, уткнувшись подбородком в сведенные кулаки. Самому было и горько, и стыдно.

Первый раз дело происходило, когда ты только начинал службу в политотделе. Муртагин был не то в отпуске, не то в командировке, когда в политотдел приехал корреспондент окружной газеты. Сам по себе приезд человека из округа да еще военного корреспондента — событие. А тут журналист прибыл по критическому письму. Письмо необычное. Кто-то из новобранцев одной из частей жаловался на «нетоварищеское» отношение со стороны старослужащих, так называемых «старичков». «Старички» заставляли «молодого» заправлять за ними кровати, посылали вместо себя в наряд на хозяйственные работы. За непослушание били — увы, в армии такое еще встречается. Заместитель начальника политотдела подполковник Добровский, остававшийся, как говорят в таких случаях, «на хозяйстве», всполошился. Он вообще человек несколько заполошный. Маленький, чистенький, рано поседевший благообразной сединой. Говоривший всегда почему-то обиженным голосом. Жесты его маленьких, тоже мальчуковых, вечно покрасневших, как будто вечно мерзнущих рук таковы, словно он постоянно от чего-то открещивался. Отпихивался. Спихо-техника. Мелкими, раздраженными жестами отталкивал нечто не очень существенное или не очень стерильное. В армии есть такое выражение: непол-

ное служебное соответствие. Не знаю, как насчет служебного, но неполное соответствие месту службы, по-моему, было налицо. Если и служить Добровскому в армии, то не в такой. Не в строительных — с неистребимой темной каймой под ногтями — частях. Человек он сугубо штабной (есть сугубо штатские, а есть сугубо штабные), но и штаб ему бы другой. Повыше. Почище, пофундаментальнее, не сборно-щитовой. Подальше от черных, непосредственных работ. Возможно, что и его неуверенная раздражительность происходила от этой неуютности местоположения: слишком близко. Можно обжечься, посадить пятно.

Корреспондент еще находился в кабинете Добровского, когда тот пригласил и тебя. Видимо, в разговоре, то ли пытаясь установить неформальный контакт, то ли просто подрастерявшись в первый момент и стараясь «выиграть время», собраться с мыслями, продумать последующие действия — не каждый день ведь приезжают корреспонденты из округа, да еще по критическим письмам, — помянул, что в штабе тоже есть «свой журналист», и предложил познакомиться с тобой. Причем сам зашел в вашу общую комнату, обнял тебя за плечи и стал на ухо советоваться: как обычно ведут себя с журналистами в подобных ситуациях и что надо сделать, чтобы статья «не пошла в газету».

— Как ведут? — переспросил ты довольно громко — а в комнате как раз находился весь ее личный состав, не очень, признаться, жаловавший Добровского. — Так же, как вы сейчас со мной.

Голос Добровского преобразовался в рассерженное шипение.

— Я вас серьезно спрашиваю.

— А я вам серьезно отвечаю, — тоже прошипел ты ему на ухо.

Добровский убрал ладони с твоих плеч, и ты понял, что дальше шутить не стоит.

— Надо, чтобы корреспондент уехал в редакцию с нашим официальным ответом. Мол, так и так, факты, изложенные в письме, подтвердились — если они, конечно, подтвердятся, — по письму приняты такие-то конкретные меры. Тогда необходимость в статье отпадает сама собой. Да если она и появится, то наверняка будет уже совсем иной...

Переместив ладонь с плеча на локоть, Добровский провел тебя в свой кабинет:

— Позвольте представить: инструктор политотдела по комсомольской работе сержант Гусев. В прошлом тоже журналист.

Каково же было твое изумление, когда в молодом лейтенанте, поднявшемся тебе навстречу, ты узнал своего бывшего сокурсника по факультету журналистики Володьку Бескаравайного.

Лейтенант! Погоны — и те еще хрустят.

Володька же, в свою очередь, узнал тебя скорее по фамилии, нежели по физиономии. Лет пять не виделись. К тому же солдатская форма и стрижка так меняют человека, что узнать его непросто.

Володька кинулся обниматься — тебе торопиться с объятиями было как-то не по чину. Он, чувствовалось, тоже был и удивлен, и обрадован.

Но больше всех обрадовался Виктор Петрович Добровский.

— Вот так встреча! — потирал маленькие зябнущие ладошки. — Как приятно, когда встречаются старые друзья!

Никакими старыми друзьями вы не были. Просто вместе поступали когда-то в университет и после какое-то время жили в одной комнате общежития. Потом ты перевелся на заочное, иногда встречал Володьку на лекциях, занятого, щегольского, «всего из себя» московского, а через несколько лет тебя призвали в армию. Так твоя учеба растянулась на несколько лет. А Володька, вероятно, все закончил вовремя — вон и университетский значок на кителе — и перешел в кадры армии, устроился в окружную газету.

Ты тут же, прямо в кабинете, был приставлен в помощь к «товарищу корреспонденту». Подполковник Добровский величал лейтенанта Бескаравайного не иначе как «товарищем корреспондентом» — для того, наверное, чтобы сгладить разницу в их воинских званиях. В другое время «товарищ корреспондент» в силе мог отказаться от такой помощи, но в данном случае Володьке не оставалось ничего другого, как принять ее. Принять поводыря, соглядатая — что там еще?

В часть вы с Бескаравайным поехали вместе. Встречались с солдатами, беседовали с командирами. Письмо подтвердилось в первый же день.

А на второй день корреспонденту был вручен официальный ответ за подписью подполковника Добровского. «Факты имели место... Проведена разъяснительная работа... Объявлены взыскания... Впредь подобное не повторится...»

На третий день Добровский выделил политотдельский «газик», и ты провожал «товарища корреспондента» до станции Петушки. В общем-то Бескаравайный вполне мог прямо в Энске сесть на поезд и катить в первопрестольную. Так было бы даже удобнее: никаких пересадок, никаких хлопот. Но Добровский предложил ему до Петушков добраться автомобилем. С повышенным комфортом, а главное — не столько с комфортом (какой там особый комфорт в облезлом и жестком «козле»), сколько с повышенным почетом. С начальственным шиком.

Как генерала, доставить, домчать вчерашнего студента Володьку Бескаравайного к поезду на промежуточной станции. На промежуточной — в этом, пожалуй, состоял особый шик. Кого в Москве удивишь «козлом»! А тут — вроде как за поездом, вдогонку. Вроде срочные, неотложные дела задержали — и вот генерал догоняет поезд.

Нашлись и «срочные» дела. Они тоже были подсказаны Добровским.

— Посмотрите Суздаль, Владимир. Когда еще оказия выпадет? Торопиться не надо: от Петушков до Москвы уже идет электричка. В любое время поспеете.

Бескаравайный вопрошающе посмотрел на тебя.

Согласно кивая головой, ты меньше всего думал о том, чтобы заарканить Володьку подобными, не по чину, удовольствиями и тем самым еще больше повлиять на исход дела. На его будущую статью.

Подумал скорее о собственных удовольствиях, нежели о Володькиных. Целый день вольной, беспривязной жизни. Суздаль, Владимир, которых ты еще не видел. Весна, робким маревом восходившая над этой непривычной лесной стороной...

«Проездные документы» на вас с политотдельским водителем оформили в считанные минуты.

Все так и было. Прекрасный весенний денек. Суздаль, похожий на пасхальный кулич, если бы не эта избыточная, осязаемая, крепостная толстостенность. Дмитриевский собор во Владимире, откос и дали, открывающиеся за ним, такие ясные, такие русские, такие дальние. Смотришь — и душу почему-то щемит. В хрестоматиях любят изображать «Плач Ярославны в Путивле». Рисунок тоже обычно хрестоматийный: стоит на крепостной стене девица-краса в белых одеждах с широкими — так еще в сказках рисуют Весну, выпускающую птах с гибкой и тонкой руки, — рукавами. И ломает руки, и стонет, и кличет, вглядываясь в бескрайние дали. А те внимают ей — и немотствуют. Тебе не кажется, что стоит русскому человеку взглянуть с любого возвышения на раскрывшиеся перед ним пологие, вроде бы исполненные покоя просторы, как душа его хоть на миг обращается в бесплотную, нежно мреющую на возвышении — словно из печальной свирели выдутую — Ярославну? И щемит, и стенает, и кличет. Бог весть откуда, чем знает, чувствует — из свирели, что ли, вынесла? — что не одна родная душа сгинула в этих далях.

Орды шли по низине нарастающими волнами. Пока не захлестнули, не затопили всклень и равнину, и город, и белотелый храм — самую высокую точку города. Его «свечку». Тоже выметнувшуюся, выдувшуюся в тщетной попытке спасения.

Не удалось. И колокольню облепили — черно, мохнато, кишмя.

«По Дунаю ласточкой помчусь я...»

...И обед на зеленом лугу был. И распрощался ты с Володькой в Петушках возле электрички, обнялись напоследок и двинулись в разные стороны: он в Москву, ты в Энск. Возвращались с политотдельским шофером Петром Хлопоней уже поздно ночью, усталые, разомлевшие, отягощенные впечатлениями. Прямо отпуск, да и только.

Прекрасная вышла поездка! И прав оказался Добровский: ты по крайней мере больше так и не побывал ни на Нерли, ни в Суздале, ни во Владимире...

А через месяц после поездки сидел (сначала стоял, а потом сидел) в кабинете перед Муртагиным. Накануне вышел номер окружной газеты, в которой была помещена корреспонденция твоего давнего сокурсника. «Хотя письмо и не опубликовано» — такова была рубрика, под которой она печаталась. А заголовок звучал еще красноречивее: «Навели порядок». И рубрика, и заголовок говорили сами за себя. Корреспонденцию можно было и не читать: ясно, что нас не столько ругают, сколько, можно сказать, ставят в пример. Навели порядок. Поправились. Преодолели.

Стало быть, задача выполнена?

— Как же так? Всучили человеку отписку и после даже не удосужились побывать в этом подразделении! Как же там на самом деле? Изменилось что-либо или нет? Вы знаете, — остановился Муртагин перед тобой, — я еще могу понять моего заместителя. Визит офицера, старшего офицера, в этой щекотливой ситуации может ничего не дать: не разговорятся люди, замкнутся. Но вы-то солдат. С вами они были бы откровеннее, смелее. Могли бы пожить в казарме несколько дней, увидели бы жизнь роты изнутри. Могли просто по-дружески сойтись с солдатами, попытаться поговорить по душам. Могли бы, да поленились. Не хватило интереса к людям. Штабной снобизм — в вас-то откуда?

Замолчал, мягко расхаживая по комнате.

Вместо того чтобы по-прежнему прилежно есть глазами начальство, ты сидел, понуро уставясь в носки собственных сапог.

Оправдываться? Мол, забыл, запамятовал, недосуг, текучка.

Взъерепениться? Что, разве я должен был это сделать — проверить, побывать и так далее? Что я? Самый маленький человек в политотделе, если не считать Сеньки Чепигина да еще политотдельского шофера.

Когда человек вот так ходит перед тобой, так говорит, так смотрит в окно, как-то неловко ни оправдываться, ни ерепениться.

Только какой ты сноб? Ты человек, который чересчур привыкает к очертаниям своей норки.

— Последнее дело открещиваться от тех, кто нуждается в твоей помощи...

Тон, которым это произнесено, жест, которым произнесенное сопровождалось, — Муртагин опять подошел к окну, подняв руку, оперся ею о верхний край рамы и, совсем отвернувшись от меня, смотрел на пустынный плац, — предполагал не только распеканье. И раскаянье — тоже.

Муртагину-то в чем каяться? Бывшему авиационному инженеру Муртагину, перешедшему когда-то, еще в юности, в кадры Советской Армии. Как пишут в анкетах: состав — политический.

У него самого состав — насквозь политический.

— И вообще, что за примитив? — обернулся Муртагин ко мне. — Ублажать корреспондента, возить его по городам и весям, мешаться у него под ногами. Человек приехал делать дело, пусть и делает его. У нас свое дело, которое мы, к сожалению, — не выдержал-таки, прошелся Муртагин, — делаем скверно. У него свое. И не надо ему мешать. Пусть он свое-то хотя бы дело сделает как положено. Мне сказали, что это вы предложили увеселительную поездку...

Ты возмущенно вскинул голову.

— Ладно-ладно, — примирительно улыбнулся Муртагин. — Не будем уточнять. Я и так вижу, что вы еще не настолько сообразительны, чтобы такие мысли прежде всего приходили вам. Простим некоторые человеческие слабости — там разговор будет особый. Хотя и вас в бытность журналистом, видимо, наш брат администратор разбаловал. Прогулки, развлечения, да и выпивки, небось, — опять усмехнулся он. — И тут двинулись прямо по наезженной колее. Став администратором, решили показать навык. Эх вы, нашли чему учиться! А парень-то ваш, однокашник, которого вы с подполковником Добровским так ловко, прямо как опытные минеры, обезвредили, думает, что сделал дело. Честно сделал свое дело, — добавил он, помолчав.

Ты тоже молчал.

— Идите займитесь делом. В двадцать ноль-ноль мы с вами едем в эту часть. Захватите личные вещи. Приготовьтесь к тому, что вам придется дней десять пожить в подразделении. На казарменном положении.

34

Ты пробыл на казарменном положении не неделю, а месяц, и вот что выяснилось за этот месяц.

Впрочем, не знай в роте, куда тебя водворил Муртагин, и где, судя по ответу в газете, отдельные недостатки были успешно изжиты, можно даже сказать — искоренены, не знай эта самая, дружно исправившаяся рота, что ты, сержант Гусев, политотдельский, тебе для этого открытия хватило бы даже не недели, а дня.

Но рота знала, кто ты, и первое время, хоть ты и ходил с нею исправно на стройку (слава богу, не успел разнежиться, не потерял «композиторские» навыки) и в столовую, и спал в казарме, как раз рядом — на втором этаже, специально со старшиной договорился — с тем, давешним солдатиком, Хамидом, что писал когда-то в окружную газету, а теперь по нескольку раз в день белозубо благодарил тебя: «Как же у нас теперь, после корреспондента, все замечательно стало! Такой бакшиш!», ты с нею действительно жил на разных этажах. С этой стодвадцатидушной, как стодвадцатипушечной, крепко работавшей днем, а ночью так же мерно, трудно, как будто это тоже была работа, отходившей от дневных трудов и впечатлений ротой.

Она на первом. Ты на втором. Парил. И все попытки заглубиться, внедриться в течение ее мерной жизни не то что встречали сопротивление, рикошетили, нет, воспринимались весьма приветливо. (Ночью поднимали отделение солдат, к которому был приписан и ты, чтобы вырыть траншею с кабелем правительственной связи: из-за промоин случилось повреждение, и надо было срочно ликвидировать его. Ты среди сна услышал, как кто-то вполголоса спросил: «А этого будить?» «Конечно, — ответили. — Хорошо копает». И Хамид — то был он — робко тронул тебя за плечо.) Но на каком-то неуловимом уровне, градусе — микшировались. Есть такое выражение: душить в объятиях. Так вот и тебя, ну если не душили, то гасили в объятиях.

«Хорошо копает».

Увы, только в прямом смысле. Ибо, время от времени встречаясь с Муртагиным, на его немой вопрос ты только разводил руками:

— Да нет, Азат Шарипович. По-моему, там все в порядке. Передовая рота, передовая воинская часть. По производственным показателям прут так, что их не догнать.

— Ладно. Поживи еще дней пять и возвращайся: тут тоже не курорт, дел накопилось. Или выдохся? Привык к бумажному труду?

— Не выдохся, — обиженно отвечал ты и возвращался в часть: тебя и самого что-то в ней тревожило, а что — не понять.

Ты и здесь постарался быть верным себе: просыпаться за час до общего подъема и читать. И вот на что обратил внимание: каждое утро в казарму крадучись возвращались пять-шесть солдат. Разбирали в полутьме постели — один из них оказался соседом, и ты обратил внимание, что постель-то у него разобрана, но на ней всю ночь «спала» кукла: аккуратно свернутый и уложенный на подушку, под одеяло ватник, — раздевались и падали как подкошенные.

Самовольщики? Тогда почему дежурный по роте так спокойно их пропускает?

Да и не похожи на самовольщиков. Днем приглядывался к «лунатикам»: это были разные люди, сегодня один, завтра другой, вот только парнишка, чем-то (ростом, застенчивостью?) напоминавший твоего сослуживца Абдивали Рузимурадова, чаще всего оказывался в этой ночной компании. Но в них не было ухарства, присущего самовольщикам, они как на подбор были робки, служили — все! — первый год. И самое главное: после «самоволки» ходили такими сонными, вымученными — еще бы, если спать час в сутки! — что невольно закрадывалось сомнение: тут не само. Тут скорее из-под палки.

Наряд на хозяйственные работы? Но в числе нарядчиков их не было. Отбывали наряд вместо кого-то из старослужащих? (Вот когда вспомнился Хамид с его письмом и белозубой улыбкой!) Но отлучки бывали и тогда, когда никого из роты в наряд не посылали.

А поднимал их среди ночи, заметил ты, не кто иной, как дежурный по роте. Можно сказать, официально. И те безропотно вставали, одевались и куда-то уходили — в ночь.

Дождался, когда дежурным по роте заступил Хамид. Поднялся следом за полуночниками и направился за ними. На выходе из казармы Хамид остановил тебя:

— А вы куда, товарищ сержант?

Тебя тут многие величали на «вы» — начальство.

— Туда же, куда и эти...

— На стройку? Хозяин послал вас на стройку?

— Какой хозяин?

Остальное было делом техники. Завел Хамида в дежурку, вы просидели там почти до утра, и наутро ты совсем другими глазами смотрел и на роту, и на казарму, да и на всю эту часть, где еще недавно случай, описанный Хамидом в письме в окружную газету, казался действительно случаем, досадной случайностью на фоне замечательных успехов.

А выяснилось следующее.

Почти все подразделения в роте — и отделения, и взводы — оказались сформированы по национальному признаку. Отделение казахов, отделение узбеков, украинцев из западных областей, дагестанцев... Никто их специально не формировал, так получилось как бы само собой. Просто офицеры заметили, что «однонациональные» отделения, бригады легче управляются, почти не доставляют хлопот, а уж работают, по здешнему выражению, «как волки». А все потому, что в каждой такой национальной бригаде, в каждом отделении быстро определяются свой лидер, свой «хозяин» или группа «хозяев». Они и держат остальных в ежовых рукавицах — даже содержимое посылок делят и работать заставляют до седьмого пота. И за себя, и за «хозяина». «Хозяин» сидит на стройке где-нибудь в тепле, а то и вообще уходит с объекта, курит, в картишки дуется. Отсиживается в сторонке, а все знает, ибо «отстающих» его ближайшая камарилья, его опричнина регулярно доставляет пред его очи: для ведения воспитательной работы.

Воспитание физическое.

А не выполнил норму, тебя определяют в ночные работы. На следующий не выполнил — опять направили в ночь. Падай с недосыпу, а сто десять процентов выдай.

Ротные офицеры в таких помощниках души не чаяли: это ж организующая сила, двигатели прогресса и производительности труда! Никто так часто не бывал в отпуске, как «хозяева».

— Хозяин — это не обязательно старослужащий. Вся беда в том, что он «свой», земляк, соплеменник, нередко родич, одного с тобою рода,— втолковывал тебе Хамид, интеллигентный парень, без пяти минут выпускник Ташкентского университета.— Будь ты просто «старик», чужак, никто б этого долго не потерпел, все вылезло бы наружу, покончить с этим было бы куда легче. А тут другое дело. Жаловаться тут не просто опасно, но еще и стыдно.

Зато уж если кто обидит тебя со стороны, из «чужих», отделение стоит за тебя горой. «Чужой» своего не трожь! И кулачные бои идут подчас не между «стариками» и «салагами» как таковыми, а либо между отделениями, а то и взводами разной национальности, либо внутри этих взводов или отделений — между теми, кто верховодит, байствует, и смутьянами. Протестантами.

— Последние, дураки, еще встречаются,— грустно улыбнулся солдатик.— В основном из неоконченных высших.

— А чего же ты не рассказал об этом прошлый раз, когда мы были здесь с корреспондентом?

— Да разве ж вы тогда приезжали, как сейчас? Заскочили на бегу. Слушали вполуха и сразу всех. Честно говоря, я жалел, что вообще сказал вам что-то, да и что письмо писал. Письмо написал, подписался, думал, остальное так скажу. А когда увидел вас с лейтенантом, понял — не поймут. Не поверят. И огра ичился мелочами — чтоб только от письма, от подписи своей не отказываться. Ну, вы и поверили. Мелочами тоже ограничились... А ты и вправду хорошо копаешь. Видно, что и сам прошел стройбат,— добавил парень после долгой паузы. Добавил и больше уже тебе не «выкал».

С той самой ночи вы с ним сдружились, не раз встречались после — и в части, куда ты потом приезжал, причем иной раз только к нему, только в гости, как Серега Гусев, а не как инструктор политотдела, «мытарь», и в политотделе, где он навещал тебя. Это ты пристрастил Хамида к русской баньке. В этой части была своя баня, новая, деревянная, с полками, с вениками, с ефрейтором Фиялкой, приставленным к ней в качестве истопника; солдаты входили туда строем, а оттуда вываливались поодиночке, как стреляные гильзы: распаренные, очумелые и выдохшиеся — ефрейтор Фиялка дело свое знал крепко, да и солдаты не жалели друг на друга ни веников, ни пара.

Ты злоупотреблял служебным положением, и вы с Хамидом и Фиялкой славно парились в баньке в неурочное время...

В выходные брал Хамида с собою в город. Сходить в кино, просто побродить по улицам, поглазеть на женское население Энска — для солдата и это развлечение. Правда, ты, когда перепадала увольнительная, каждый раз старался завернуть еще и в районную библиотеку. Деревянный старый дом. На второй этаж ведет крутая рассохшаяся лестница. Вдобавок ко всему еще и плохо освещена. Идешь, осторожно нащупывая сапогом каждую играющую под тобой ступеньку, а поднявшись, открываешь дверь и из полумрака, жмурясь, ступаешь прямо в царство света. Дом, в котором располагается библиотека, поставлен до революции купцом: купец, видно, был просвещенный и к тому же многодетный, имевший сразу несколько дочек на выданье: на втором этаже устроил танцевальную залу. Зала имела не менее дюжины окон. Окна небольшие и такие частые, что напоминают ячейки в сотах. И так же, как соты медом, они всклень залиты ярким зимним солнцем. Да где там всклень — с верхом, с перебором. Преодолев силу поверхностного натяжения, солнечный свет тоже точно так, как мед, медленно, тягуче изливался через край. На деревянный крашеный пол, на столы, на книги, на людей, сидящих в читальном зале. Да, танцевальная зала стала читальной; просвещение шагнуло еще дальше. Правда, что касается людей, то их в читальном зале всегда мало, раз-два и обчелся. Райцентр — кому тут ходить в читалку. Тихо, тепло даже в лютую стужу, пахнет домом. Воздух в зале хорошо прогрет, в нем чувствуется присутствие дымка, чуточной капли угара, которая только усиливает ощущение уюта и которую ты сразу же вспомнил, как только впервые переступил порог залы. Так в детстве зимой пахло в хате от печки, которую топили сперва кураем и соломой, а после переложили под уголь. Ты, может, и ходил сюда — глотнуть того далекого воздуха. Листал свежие номера газет, журналов, обкладывался стопками книг... «Композиторы», даже занятые на землеройных работах, из всех занятий, как известно, больше всего предпочитают книгочейство.

Копанье в книгах и журналах в залитой солнцем зале старинного деревянного дома с печкой, тепло и уютно дышавшей через стенку тебе прямо в спину и распространявшей в воздухе горьковатый привкус дыма, дома... Читальный зал обслуживали две молоденькие библиотекарши, студентки-заочницы Института культуры в Ленинграде. Они бесшумно передвигались по комнате, переставляли книги на стеллажах, выдавали литературу, негромко переговаривались. И если печка привносила в здешнюю атмосферу горчащий привкус дыма, угара, то они, напротив, ионизировали ее, добавляли озона: слабые, осторожные разряды мерцали, как пылинки в потоке света, то здесь, то там.

Хамид вместе с тобой побывал несколько раз в районной библиотеке — через полгода ты плясал на его свадьбе в доме у одной из юных библиотекарш.

Правда, своим родителям о свадьбе Хамид не сообщал: боялся. «Лучше сразу приеду с женой — не выгонят же»,— говорил.

А по глазам видно: неровен час — могут и выгнать...

Где они сейчас, Хамид и его юная библиотекарша?

...Вот когда вы с Муртагиным проговорили в политотделе едва ли не ночь напролет!

Ты сидел, Муртагин опять косо ходил по кабинету. Разговаривал негромко — то сам с собою, то с тобой. Больно мял свои онемевшие, будто с мороза, нездоровые пальцы. Корил себя: когда же он упустил эту тенденцию — у нас ведь так появятся не только отделения, взводы из солдат практически одной национальности, но и целые роты. Когда же мы проспали?..

И роты — могут. Ты сразу вспомнил свою собственную строительную часть. Там не говорили «пятая рота». Там говорили: «Кавказ». И не говорили «вторая» — «Карпаты». И на твоих глазах, вспомнил ты, назревала стычка между ними. Из-за пустяка. Что-то когда-то не поделили на танцах — в этом-то девичьем царстве! Драка началась на танцплощадке и перекинулась в часть. «Наших бьют!» Тебе, тогдашнему секретарю комитета комсомола части, в ту ночь тоже не пришлось уснуть: вместе с комбатом Каретниковым разводили две петушиные стаи по исходным позициям. По казармам. Комбат не стал вызывать комендатуру и наутро вершил суд самолично: немало народу тогда прямо с утреннего развода направились на гауптвахту. На месяц для всей части отменил увольнительные. Тем, считалось, конфликт и был исчерпан.

Так ли?

О многом говорили с Муртагиным. Говорили. Молчали. Думали.

Только работая вместе, бок о бок, молодые люди разных национальностей могут проникнуться друг к другу действительным человеческим теплом. Во всяком случае, в большей степени, чем сидя рядом на политзанятиях.

Братство не может быть заорганизованным.

Раз и навсегда данным. Тут единица измерения — единица. И как любое человеческое чувство, оно каждый раз зарождается (или не зарождается) в каждой конкретной душе. И каждый раз проходит (или не проходит) все фазы развития любого человеческого чувства, тем более такого тонкого, как любовь,— а что есть братство как не разновидность любви?

Совпадение, но примерно такие же разговоры вы вели после и с Хамидом — в энской районной библиотеке. И тоже вполголоса, хотя чаще всего бывали тут одни — чтоб не спугнуть эту солнечную тишину.

Вот вы с ним, с Хамидом, действительно были на пути к братству. Потому что вместе читали или потому что вместе копали?

А наутро после твоего сообщения у Муртагина был тяжелый разговор с командиром соединения. Муртагин настаивал на переформировании подразделения, тот не соглашался. Потом Муртагин сам две недели не заходил в политотдел — дневал и ночевал в частях. Потом собрали партийный актив, на котором он же, Муртагин, делал доклад «О культуре межнациональных отношений в частях и подразделениях УИР». После его доклада — а на активе опять присутствовал московский генерал — ваше соединение покатилось со всех ранее завоеванных первых мест.

«У них, оказывается, такие дела, такие ЧП...» — загуляло по политуправлению военно-строительных войск.

У них.

В ротах началось переформирование. Производительность труда упала. В УИР посыпались комиссии.

Так-то, Хамид. Вон что ты натворил.

Народ в штабе ходил мрачнее тучи. И только Муртагин как будто повеселел. Зажегся. Зазвенел. Так звенит, вгрызаясь во что-то натуральное, в д е л о, лучковая пила.

По итогам той командировки Муртагин вначале — как раз под утро, сгоряча — хотел предоставить тебе краткосрочный отпуск на родину. Но какой там отпуск: политотдел закрутило в штопоре. Народ, включая тебя и даже включая капитана Откаленко, разметало в командировки. Народу — Муртагиным — велено было, находясь в командировках, жить не в гостиницах, а в казармах, с солдатами.

Муртагин же, можно сказать, по итогам твоей командировки, получил строгий выговор с занесением в учетную карточку члена КПСС. «За слабую работу по интернациональному воспитанию воинов-строителей».

Так Москва отреагировала на ваш памятный актив.

Странно, но вывезенный из столицы выговор Муртагина почему-то не давил. Он нахлобучил его легко, как свою армейскую фуражку. А вот командир, наш полковник Котов, рвал и метал. Можно было подумать, что з а н е с л и ему, а не Муртагину.

— За такую промашку, какую мы допустили,— сказал Муртагин тебе в вашем ночном разговоре,— из партии взашей надо гнать.

Может, потому и воспринял выговор без истерики? Фуражку надвинул: плотно, по самые уши, а потом пальцем чуть-чуть поднял, задрал козырек. Как столяр — чтоб в работе не мешал.

...Чудак Муртагин — анекдотов не знает. Да-да, возвращаясь тогда в часть — бегом по морозцу — с кандидатскими карточками в карманах, вы со Степаном Полятыкой говорили о том, что Муртагин — чудак. Анекдотов не знает. Его сосед по гостиничному номеру рассказал ему анекдот, а тот принял его за чистую монету. Подумал, что тот сам, прямо на глазах у него, родил остроту. А тот и не думал рожать, он и здесь, на улице, выступил в своем амплуа. Понял, сколь не искушен Муртагин в анекдотах, и, обрадовавшись, сплавлял ему все многолетние залежи. И тут — сплавил.

Интересно, как бы реагировал на остроту Муртагин, зная, что и это — анекдот? Что его «купили»? Что он переоценивает возможности своего оппонента?

Чудак! — профессора какого-то помнит, а анекдотов не знает... Об этом вы говорили на бегу со Степаном Полятыкой. У вас была потребность говорить. Даже у молчуна Степана, но вы почему-то зацепились именно за это: чудак Муртагин...

Много лет спустя ты узнал, какого профессора имел в виду Муртагин. Вел в газете сельскую тему, увлекался аграрной публицистикой: Глеб Успенский, Овечкин... Однажды взял в руки Энгельгардта. «Из деревни. Двенадцать писем 1872—1887 гг.». Капитальное, в матерчатом переплете издание 1937 года. Читал их запоем, в этих письмах и наткнулся на приведенные Муртагиным слова о том, кого считать хорошим пахарем. Удивился: Муртагин, оказывается, читал профессора, который не имел никакого отношения к военному делу. Впрочем, как не имел? «А. Н. Энгельгардт (1832—1893) по своему образованию и по первоначальной профессии — артиллерийский офицер...» Артиллерийский офицер, ставший профессором химии в Петербургском земледельческом институте, а потом и ссыльным земледельцем.

В России всегда были и пока есть две сферы, которых не может быть чужд ни один порядочный человек: сфера земледелия и сфера военная...

35

А ведь и второй раз Муртагин ругал тебя за нечто сходное! Или ты был такой неспособный ученик, или он был такой настырный, «зацикленный» учитель. Сходство неполное, но одна деталь все-таки общая, повторяющаяся: Муртагин корил тебя за отрыв от масс.

Корил. Крыл! Распекал — натуральным образом!

Так же пригласил в кабинет и, едва ты переступил порог, огорошил вопросом в лоб:

— Ты знаешь, на чем спит наш политотдельский водитель?

Ты уже не был в политотделе новичком. Прошел без малого год, как ты здесь появился, и Муртагин все чаще обращался к тебе на «ты».

Ты недоуменно пожал плечами.

— Не знаю. Ну, наверное, на постели...

— Наверное... В том-то и дело, что не на постели, а на голом матраце. Даже без подушки.

Немая сцена. Вообще-то тебя так и подмывает сообщить товарищу Муртагину, что ты все-таки не старшина роты и даже не каптенармус. Нет, начать так: не нянька, не старшина, не каптенармус. В такой последовательности. Но ты, зная Муртагина, помалкивал. Он тоже молчит, в упор, без какой-либо наигранности смотрит на тебя, и ты не выдержал этого длительного взгляда.

— Ну и дурак,— сказал.

— Дурак-то дурак,— согласился Муртагин,— но как же так: живешь в одной казарме с человеком и не знаешь, что тот спит, можно сказать, на голой сетке? Тебе, выходит, наплевать, как живется и служится товарищу. Ближнему. Что же говорить тогда о дальних? А на машине-то ездишь...

Что верно, то верно. На персональной муртагинской машине ездил весь политотдел. Потому ее и звали «политической», а не муртагинской.

— ...и даже, помнится, в дальние развлекательные прогулки. Как-то: в Суздаль, Владимир...

— Азат Шарипович! — взмолился ты.— Я-то ездил с Хлопоней. Хло-по-ней, понимаете? А у Хлопони таких проблем просто не могло быть. Попробовали б ему постель не выдать! Он, между прочим, вообще один на двухэтажной кровати спал. Знаете, как его звали в казарме? Хлопуша, а не Хлопоня — как пугачевского кореша. А теперь, когда Хлопуша уволился в запас, вы почему-то взяли шофера не из «старичков», а из «молодых». Тюфячка взяли — вот он и спит без матраца.

— Ну, ты мне эту терминологию — «старички», «молодые» — забудь. А то что ж мы с тобой: боремся-боремся с этим злом да сами же и заразились? А я-то думаю, почему оно такое живучее? А бациллоноситель-то, выходит, под носом. Придется снова вызывать твоего однокашника, пускай он теперь персонально тебя разделает, как бог черепаху. Думаю, на сей раз ему принципиальности хватит. И потом, да будет тебе известно, что никого я не выбирал. Кого дали, того и взял. Это ты у нас привереда: с этим новичком, небось, в Петушки бы не поехал.

Можно биться об заклад: это он сам попросил, чтоб шофера ему дали из карантина. Вносит посильный вклад в воспитание новобранцев.

— Надо признаться, правда, я сам случайно узнал, что парень не устроен. Спросил сегодня, как служба идет, а он и бухнул: все бы, говорит, ничего, да спать не на чем, никак постель не выдадут. Мог бы, конечно, и раньше спросить, все-таки больше твоего на машине езжу. Я вовремя не спросил, ты не поинтересовался. Другие наши товарищи не обратили внимания, благо паренек тихий. Выходит, мы все вместе, всем отделом получили «неуд». Профессионально несостоятельны. Что там у вас за порядки, кстати говоря, в комендантской роте? Чем так загружен старшина, что месяц не может выдать солдату постельное белье?

«Что там у вас за порядки?»

Знал бы Муртагин, что порядки нашей комендантской роты тебя давно уже практически не касаются, хотя ты, как и положено, приписан к ней, живешь в одной с нею казарме, как и другие солдаты, несущие службу при штабе УИРа. Но являешься сюда поздно, зачастую уже после вечерней поверки и отбоя, на зарядку не бегаешь, строем в столовую не ходишь. Дело не только в том, что у тебя другой, нежели у караульных, график дня. Нередко и его насыщенность, диктуемая подчас самим же Муртагиным. Твое положение на службе тоже другое. У тебя у самого должность старшинская, и старшина роты л и ч н о приглашает тебя в каптерку для примерки новой пары сапог, самолично кладет на постель свежий комплект белья. Дело еще и в том, что служишь-то ты последние месяцы. У тебя в казарме уже свой автономный угол, свой налаженный быт. Своя уютная норка. К тому же эту конкретную казарму всегда считал только местом своего ночлега. Местом работы было все остальное, в том числе и другие казармы, но здесь — ночлег. Кому-кому, а комендантской роте воспитателей хватает и без тебя. Переступил порог — и «вольно!». Можете расслабиться, сержант Гусев. Вы — не при исполнении. Вы — в норке.

А этот лопух, лопушок зелененький, Рахметов несчастный, чего ж он к тебе-то раньше не подошел? (Старшина наверняка просто забыл про него, другим новобранцам выдал все, а этот, вероятно, был на тот момент в отъезде, а потом про него просто забыли за неприметностью существования, тем более что и появляется каждый раз чуть ли не за полночь: то Муртагин в частях задерживается, то еще кто из политотдела ездит.) К тебе не подошел, а вот Муртагину — пожаловался. Неужто тебя побаивается больше, чем его? Эти подробности ты Муртагину, естественно, не излагаешь, да он, похоже, и забыл, что ты сидишь у него в кабинете: барабанит пальцами по столу, обдумывая что-то свое.

Выходишь, разыскиваешь новоявленного аскета. Редкий случай: он оказался не в отъезде — безропотно получал как раз очередное или внеочередное задание у майора Ковача. Реквизируешь его у майора и ведешь, застенчивого, нескладного, наверняка вчерашнего пэтэушника, в казарму, а еще точнее — в каптерку старшины комендантской роты.

Да, Васек, да, ухарь-старшина, гроза обширного ткаческого региона, получишь ты сейчас на орехи!

Глаза, темные, темно-смородиновые, лишенные блеска, вспомнились. «Последнее дело открещиваться от тех, кто нуждается в твоей помощи...»

36

Улетали рано утром. Правда, пассажиры, невыспавшиеся, зябнущие, к самолету двигались с недоверием: вдруг опять обманут, но, когда взлетели, недоверие рассеялось — здесь лету ведь с полчаса. Раз уж самолет взлетел, значит, просто не может не довезти их до места. Настроение поднималось вместе с набором высоты. Сергей опять держал тещу за руку, которой она сразу, сама, как только ее внесли в самолет и уложили на старом месте, нашла его ладонь — еще холодную, еще зябкую после марш-броска в санитарной машине (девушка-стюардесса ехала вместе с ними) по раннему, продуваемому ветром летному полю.

Она... Сколько раз на людях называл эту женщину матерью, практически никак не именуя ее про себя — о н а. Назвал бы матерью сейчас? Пожалуй, нет. И это, как ни странно, свидетельствует об их большей близости, чем раньше. Сейчас даже такая, святая, ложь показалась бы ему оскорбительной. Что-то в их отношениях стронулось. Стронулось в отношении Сергея к ней...

Сергей вспомнил, что позавчера, накануне отлета, получил письмо от Семена Чепигина. Семен уволился в запас раньше, первое время писал ему в армию. Потом, когда и он закончил службу, они еще какое-то время переписывались, пока Сергей не стал менять города и адреса.

Семен адресов не менял. Как уехал в родной Рубцовск, как поселился там в отцовском доме, как закончил заочно Институт искусств в Ташкенте, как женился, как родил сына — так никуда и не двинулся. Оставался художником районной киносети. И без того похожий сложением на добротный куль хорошей, размольной мучицы, все больше оседал, погружался в районный быт, и недолговечные афиши с головокружительными киношными страстями, с заморскими пальмами, стремительно линявшими под дождем и ветром, с чужими зазывными огнями трепетали над ним, как вымпелы над тонущим дредноутом.

И в детстве, и в юности у Сергея было много друзей. К нему тянулись и в интернате, и в армии. Но вот о чем подумал он сейчас, в самолете. Ему почти не удалось сохранить своих друзей. Он сам себе напомнил ветвь, которую с годами пропускали, п р о т а с к и в а л и, протискивали в жесткое, все более сужающееся кольцо. И все ее боковинки, все ее отростки постепенно срезало. Была ветвь, стала — трут. Берешь зеленую веточку вербы, зажимаешь ее в кулаке и с силой протаскиваешь. И вместо того чтобы любоваться ею, веточку теперь можно употреблять по совершенно противоположному назначению.

«Вербохлест! Бей до слез! Не умирай! Красное яичко ожидай!» — с такими приговорами мать шутливо охаживала его какой-нибудь хворостиной в вербное воскресенье. Какое там до слез — и мать смеялась, и он. Смеялся, радовался солнцу, зеленой траве, скакал, как ягненок, вокруг матери. Как же давно это было! Мир тогда замер в счастливом равновесии, в высшей, полуденной точке своего вращения, которая называется «мертвой точкой». «Мертвой» — когда все казалось вечным, неподвижным: и весна, и мать, и сам он. Вечно живым. Живущим. И как же резко и скоро все повернулось! Завертелось, набирая обороты.

Менялись должности, менялись адреса, и старые, закадычные друзья на тех или иных стадиях уходили, отходили от него. Он отходил от них, с б р а с ы в а л их, как ветвь сбрасывает листву. Уходил, влекомый жесткой рукой карьеры. Нет, он не оказывался в одиночестве. Возникали новые друзья и новые дружбы. Но это чаще всего были летучие, взаимо-

полезные соединения, которые рождались, распадались, утрачивали связи, как только исчерпывалась связующая их польза, если не сказать грубее — выгода. Распадались безболезненно.

Но Семен, может быть, единственный, находил его вновь и вновь. Сергей терялся, ускользал, вышагивал, как из старых куцых одежонок, а Семен все равно находил его.

Отношение Сергея к друзьям детства, юности вовсе не было практическим, иждивенческим — чаще все-таки он помогал им, а не они ему. Не так чаще, как масштабнее. Чем они могли помочь ему? Разве что, приезжая в гости, возились вместе с ним в его квартирах — сначала в Ставрополе, потом в Волгограде, сейчас вот в Москве. Сверлят, долбят, шпаклюют. Особо ценный человек тут Степан Полятыка. Ас! Шабашник! Сергей, хоть и служил в стройбате, а все строительные навыки уже забыл, подрастерял (тоже аналогия с друзьями). Степан, приезжая, сразу отстраняет его от домашних работ, берет их на себя, допуская к делу только старшего Серегиного сына: парень растет на удивление рукастым. Сергей же дает друзьям ночлег в Москве, и не только им, но и друзьям своих друзей, приезжающим в столицу в командировку или так, «скупиться»,— устраивая тех в гостиницу. Случалось, определяет на лечение жен своих друзей: незаметно, крадучись, подошло и время хвороб.

Недавно Степан приезжал по обмену опытом на ВДНХ. Он так и трудится плиточником где-то в Черновцах, многодетный семьянин и дважды орденоносец (ордена Трудовой Славы третьей и второй степени — это вам не фунт изюму; ордена Степан получает тоже исключительно солдатские!). С пустыми руками не приезжает. Пока твоя детвора потрошит кошелку с его гостинцами, вы с ним всласть посидите над «з пэрцем», поговорите. То есть говоришь преимущественно ты, Степан же преимущественно молчит — таких молчунов, как он, вообще поискать. С каждой новой рюмкой только все чаще поправляет худой, чуткой ладонью свои цыганские, иссиня-черные и, не в пример твоим, еще густые волосы да чуть почаще, прикрывая рот смуглой длиннопалой ладонью, деликатно покашливает. Как будто все готовится взять слово и даже горло прочищает, чтобы сказать что-то весьма существенное, да так и не решается.

Сергей любит своих друзей, но его любви, как бы это сказать, пороху не хватает, что ли. Или — только порох и есть. Сергей быстро загорается, быстро бросается на помощь, а самое главное — скор на обещания помощи. Помощь обещает всем. Обещая, свято верит, что сдержит слово. Горит стремлением помочь. Но, столкнувшись с первым же препятствием, прогорает. Остывает. И впредь уже о своем обещании не вспоминает. А если и вспоминает, то без угрызений совести. Он ведь пытался, рыпался. Но — не вышло, не выгорело, кишка оказалась тонка. Что ж теперь — казниться? И не казнится.

Видимо, кроме пороха, должно быть что-то еще. Не такое громогласное, не такое феерическое, более рутинное. Не моментального эффекта, а длительного действия. Заряда недоставало его любви. Дроби, жакана, пули, которые придавали бы любви, ну, если не убойную силу, то хотя бы физический вес. А так она была несколько бесплотной, если не сказать — холостой.

Семен же любил его бесшумно, но так верно, что Сергей порой чувствовал себя двойником: он явно не стоил такой преданности.

Возможно, где-то был или где-то остался, отстал в пути следования второй (первый?) Сергей Гусев.

Семен всякий раз отыскивает его, шлет посылки, обстоятельные письма (Сергей отделывается записками или звонками), причем всякий раз делает вид, что не замечает долгого Серегиного молчания.

Сергея греет это постоянство. Хорошо, спокойно, когда есть хотя бы один такой постоянный источник тепла, который не надо зарабатывать, заслуживать. Одно из действующих лиц знаменитого романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» зовут странным именем «Рашель, ты мне дана». Наверное, в жизни каждого человека, так же как и в жизни самой природы, должен быть такой неизменный, «богоданный» источник тепла — иначе как бы затеплилась сама жизнь?

Сам писем почти не пишет, но получает их с удовольствием: мало ли нас таких? Вот и на сей раз получил письмо, тут же, у почтового ящика,

прочитал и, сложив в четвертушку, сунул в карман, чтобы на досуге прочитать еще раз. Все письма читает несколько раз, под настроение...

Теща дремала. Сергею же спать не хотелось. Нервы напряжены. Вынул письмо, стал читать. Почерк у Семена такой, что если читать письмо несколько раз, то каждый раз можно обнаружить в нем нечто новое.

«Ты спрашиваешь у меня о Муртагине. Знаешь, я ведь видел его однажды после армии. Было это лет пять тому назад. Я тогда был на защите диплома в Ташкенте. Бегу в подземном переходе и вдруг вижу: Муртагин навстречу. Полковник. Идет, глаза в землю, под мышками по свертку. Из универмага, догадался я. Этот переход — от универмага. Думаю: узнает или не узнает? На всякий случай окликнул его. Узнал! Смотрит на меня — поверишь, слезы на глазах блестят. «Семен! Ты что ж это проститься ко мне не зашел?» Мне так стыдно стало. Ты ж помнишь, как я в запас увольнялся: все бегом, бегом, на поезд торопился. Да както и постеснялся зайти к нему в кабинет попрощаться. А он — не забыл! Заметил, что я замялся, что неудобно мне, говорит: «Видишь, Семен, внуки у меня. Двойня!» Понял? Постарел он, конечно, но так — ничего. Не переменился. Я его сразу узнал. Представляешь, слезы в глазах заблестели! Я сам, честно говоря, готов был слезу пустить...»

Сергей читал и перечитывал эти незамысловатые строки, как будто открывал в них доселе ускользавший вещий смысл.

Муртагин. Большая черноволосая голова на белой подушке. Надо же! — как похоже он с ними прощается: с Муртагиным и с этой женщиной, что покоится сейчас перед ним. Только у Муртагина голова темная, он словно вынес ее из пожарища, у тещи такая же крупная, монументальная, но — одного цвета с наволочкой. Два полюса. А положение, в котором он их оставлял,— практически одинаковое.

Он прощается с ними или они — прощаются с ним?

Она, вот эта большая, неподвижная, обезножевшая и почти обезжизненная женщина, прощается. Вечная санитарка вечного санитарного поезда. В сущности, вся ее жизнь — санитарный поезд. От перегона к перегону. Рано осталась сиротой. Рано осталась вдовой — с четырьмя детьми. На ее попечении всегда была чья-то чужая жизнь, чье-то здоровье...

Узнал бы Муртагин его сейчас? Захотел бы узнать? Не отвернулся бы?

Семена узнал. Молодец Муртагин! Не просто узнать, признать солдата, одного из сотен, прошедших перед твоими глазами, а еще и обрадоваться ему до слез. Помнить, что этот солдат, поросенок, не зашел на прощанье к тебе. Другому бы от этого ни жарко, ни холодно: что ему солдат, один из тысяч! А этот обиделся. Хотя Сергей-то знает наверняка: Семен просто не отважился зайти к начальнику политотдела. И на поезд напрасно теперь, задним числом, сваливает. Сдрейфил — вот и все. Тащил-тащил его Сергей к Муртагину, а тот уперся, как бычок, и ни с места. Семен если упрется,— трактором не сдвинешь. Как черт ладана боится театральных жестов: легко представить, с каким остервенением изображает сейчас жесты киношные. Что ни афиша, то, наверное, шарж.

Муртагин. Только этого ингредиента, похоже, не хватало... Душа словно попала в створ между берегами его жизни, такими, казалось, дальними, почти не зависящими друг от друга и так решительно сходящимися в эти полчаса последнего перегона. Соединение берегов заставляло ее точить, торить, больно и кропотливо, новое русло. Больно — от непривычности такой первотропной работы. Отвыкла от нулевого цикла, изливаясь продолжительное время по замкнутому кругу минимальных затрат.

Сергей сложил письмо четвертушкой и снова спрятал во внутренний карман. Сидел, невидящими глазами глядя перед собой на мирное, рунное, молитвенное шествие людских затылков. Восхождение, ритм, размер которому задавала вибрация чудовищно мощных турбин. Что есть самолет, несущийся с ревом в ослепительно пустом небе, как не обрывок страстной людской молитвы...

«Последнее дело открещиваться от тех, кто нуждается в твоей помощи...»

— Граждане пассажиры! Просьба пристегнуть привязные ремни! Наш самолет пошел на снижение и через несколько минут произведет посадку в аэропорту города Минеральные Воды.

Это же надо: Муртагин с двумя свертками под мышками! В самом фантастическом сне такое не привиделось бы! Легче увидеть плачущего большевика. Что делают с большевиками внуки!

(Или считал, что тут, в Ташкенте, его никто из своих не увидит? Не увидит и не заподозрит в злоупотреблении служебным положением: как-никак ташкентский универмаг — это тебе не военторговская лавочка — как у мамаши Кураж — в Энске. Тут муртагинские полковничьи погоны никому не указ. Бери выше! Кидай дальше! А «свой» поди ж ты — тут как тут: бдительность!)

37

Самолет стоял посреди бетонки, как верблюд посреди пустыни. Верблюд дальнего следования. Даже сквозь иллюминатор чувствовалось, как прохладна «пустыня» — на ней еще не просохли вчерашние лужи. Как и следовало ожидать, на сей раз пассажиры покидали «борт» так, словно он тонул. Обычная послеполетная давка, обычные увещевания по радио «не покидать кресел», «ждать приглашения к выходу» и обычные же их нарушения. Только Сергей и его больная ничего не нарушали. Глаза у женщины открыты, рука тихонько блуждает по Серегиной ладони: пальцы его ощупывала, бороздки, пясть. Запоминала.

Она только глубоко-глубоко вздохнула после приземления — вот и все беспокойство. Словно почувствовала сквозь иллюминатор воздух родины, в который, как в глубокий колодец, недавняя гроза бросила пригоршню старинного серебряного лома. Воздух даже засветился от этой своей обновленной, целебной, ионизированной чистоты, излучавшейся с самого невидимого дна,— где-то там поднималось летнее солнце. Оно сейчас, утром, и было слитком, комом непереплавленного серебра, чтобы к обеду стать самородком червонного золота. Вздох больной был очистительно-полный, как после сна. После забытья. Отсюда до ее родных мест рукой подать. Сколько раз говорила, что в Москве «не вздышется»,— Сергей не придавал этому значения. Блажь, думал. Все дышат — и ничего. Московские долгожительницы — вон и в их доме живет бабуля, разменявшая десятый десяток,— самое официальное, самое достоверное свидетельство того, что Москва и впрямь самая чистая столица в мире.

Самолет опустел. По проходу к ним медленно, потеряв былую решительность, шла девчонка, чье имя он так и не успел узнать. Отсутствие имени дарило столько вариантов его. «Ладони, пахнущие Машей»,— чем не имя? Есть же, было «Рашель, ты мне дана». Дана...

Он не видел, что весь этот короткий путь, весь последний перегон она издали украдкой наблюдала за ним. Здесь, в самолете, она и есть — с е с т р а. Так с е с т р а или «Рашель, ты мне дана»? Или «Ладони, пахнущие Машей»?

Она все-таки положила руку ему на плечо. А другой рукой показала в окошко:

— Смотрите, это за вами, за вашей мамой...

По аэродрому, пытаясь наверстать запоздание, разбрызгивая лужи, летела «скорая». Сергей уже различал в ее глубине напряженные лица родственников. Женщина, которая плачет,— сестра жены...

«Мамой»... Сергей не стал ее поправлять.

Мягкие, потерявшие силу, сноровку пальцы все еще бродили впотьмах по его ладони. Может, запоминали. А может, узнавали.

«Скорая» уже с форсом развернулась у самолета, разом распахнулись ее легкие, бликующие на солнце дверки, а у Сергея было ощущение полной растерянности.

Взять билеты и, не выходя из самолета,— назад? Домой? С этой вот старой, больной женщиной, которую он сейчас не передает, а предает... Так ясно, так больно понял: предает.

Жизнью — вот чем она похожа на его мать.

Господи, кто бы знал, что творится в душе!..

●

Инна КАШЕЖЕВА

Страдательный залог

* * *

Безумные уроки
преподают года:
в страдательном залоге
душа моя всегда.
Она болит за близких,
за всех людей Земли.
В предъявленных ей исках
стоит одно: «Боли!»
Она болит за строки
ненайденных стихов.
В страдательном залоге —
удел ее таков.
Живет она, страдая,
как суждено душе.
Пусть рана молодая
состарилась уже,
но ей готова смена:
кромсает, мучит, жжет
предательство, измена,
тоска пустых забот.
Внезапная отвага,
когда в беде другой,
и белая бумага
под жадною рукой.
И риск на поворотах,
и горький стон любви...
В предъявленных мне счетах
стоит одно: «Живи
в страдательном залоге,
неистово дыша,
чтобы понять в итоге,
так что же есть — душа».

* * *

Когда до предела сужена
щель бытия твоего,
ищешь на полке Пушкина,
Пушкина! Только его.
Он раздвигает муку
до горизонта мечты,
он пожимает руку,
он говорит на «ты».
Сам истекает кровью,
а шутит — вот он умел! —
каждый его любовью,
как корью, переболел.
По Невскому и по Мойке
ведет греховодный бог.
Ах, эти наши помолвки
на тысячу с лишним строк!
Черты становятся резче...
По льду бессмертья скользя,
около Черной речки
скажет: сюда нельзя.
Так больно, как не бывает
ни от одной из ран.

Его опять убивает
тупой, завитой баран.
А он говорит: «Ну, что ты?
Все еще впереди.
Эти кровавые соты
ты пополнять погоди!»
Как сигарета, затушена
боль о темную тьму.

...У Пушкина не было Пушкина.
Как тяжко было ему!

* * *

Испытывал самолеты
на прочность.
— А если каприз погоды,
а если оплошность?
А если...
Но ты с улыбкой:
— Если бы да кабы!..
Солнечный, звездный, зыбкий,
мир вставал на дыбы.
Как во время обвала
в неблизких наших горах,
то падало, то взлетало
небо в твоих глазах.
С восторгом, с тревогой, с болью
один ты справлялся как?
Небо — наш друг с тобою,
мамы заклятый враг.
Опять заломлены руки,
халатик сползает с плеч...
Небо — предвестник разлуки,
небо — глашатай встреч.
Расшатывай тайну бездны,
будь ко всему готов.
Давно уже стали тесны
тебе одежды богов.
Суровые веки сжаты,
холоден добрый рот...
Все длится тот миг, когда ты
в последний ушел полет.
Но в небо взмывают песни
твоей и моей судьбы.
Вновь слышу, хоть небо тресни,
на каждое свое «...если...»
«Если бы да кабы!»

* * *

Умер вдруг человек необычный,
на последнюю гору взошел...
И тотчас же терновый, трагичный
возвели вкруг него ореол.
Отпевали его повсеместно
громогласно и ночью, и днем.
От друзей новоявленных тесно
в нашей памяти общей о нем.
Он об этом узнает едва ли,
став пригоршней московской земли,
что его после смерти распяли
и над праздной толпой вознесли.
За столом обывательским, в прессе
льется лжи упоительный яд.
Но живут его честные песни
и совсем о другом говорят.
Не скиталец он и не страдалец,
не гуляка, упившийся в дым.
Его нервы, как струны, порвались,
и ушел он от нас молодым.
Шепоток о растоптанном чуде...
Только чудо нельзя растоптать.
Ну, когда мы научимся, люди,
жизнь чужую — и смерть! — уважать?

* * *

Руки снега холоднее,
гаснет радость, словно свет...
Мне казалось: нас главнее
никого на свете нет.
С близоруким восхищеньем
в наше прошлое гляжу.
Я с любым стихотвореньем
безвозвратно ухожу.
Жизнью, сердцем бываю
в том, о чем пишу-кричу.

Я не к жалости взываю,
понимания хочу.
Разве ты не видишь это;
ночь за ночью, день за днем
светит только сигарета
в одиночестве моем?
Разве для тебя не важно,
что в работе и в дыму
мне до слез бывает страшно,
как ребенку одному?
Этих строчек шепот грустный
мой озвучивает мрак.
Ну, пожалуйста,
почувствуй,
как мне плохо, как мне...
как!

* * *

Выключи это небо,
красное, словно кровь, —
будем в потемках слепо
верить в свою любовь.
Как перед расставаньем,
начнем свою жизнь кромсать,
каждым воспоминаньем
казнить себя и спасать.
Словно зарубка, мета,
с нами всегда оно,
ярче любого света
в памяти зажжено.
Пожмет плечами прохожий:
ну, чем помешал закат?
От прошлого жизнь просторней,
как комната от зеркал.
Ночь безысходней крепа.
Но... Только не прекословь!
Выключи это небо,
будем в потемках слепо
верить в свою любовь.

* * *

В начале стартовых годов
все молодые рубят:
«Пусть будет меньше стариков,
которые нас губят».

Пройдут года, осмыслив их,
кинжальный взор притупят:
«Пусть будет больше молодых,
которые нас любят».

Давид САМОЙЛОВ

Новые стихи

* * *

А. Н.

Начать с себя. Не ждать, покуда
В слезах покается злодей.
Мы не парадная посуда,
Что выставляют для гостей.

Не надо выходить на паперть,
Рвать с воем вороты рубах.
А надо разом сдернуть скатерть,
Не пожалев о черепках.

Все это выкинуть на свалку —
Страх, недоверье и корысть,
Не ввязываясь в перепалку
С тем, для кого копейка — жисть.

А, обобрав репей приставший,
Очистить волю и судьбу,
Чтоб отвечал за нас не старший,
Не в пядях о семи во лбу.

Без фанфаронства самохвала,
Без злобы и впаденья в раж,—
А надо начинать с начала:
Хоть с азбуки и с «Отче наш»

У печки

В печи березу жрет огонь,
И пес глядит, не отрываясь,
Как пламя злится, извиваясь,
А я к теплу тяну ладонь.

Увы! Романтика печей
Не привлекает москвичей!

А здесь — поленья прогорят,
Польется жаркий теплопад
Наружу из багровой топки.
Тогда заслонку затвори,
Закрой трубу. И воспари,
Разгорячившись, как от стопки.

В саду мороз острей стекла.
Но автономия тепла
Понятней прочих автономий.
При ней и проще, и знакомей
Понятия добра и зла.

Хлебников

Не думал про стихосложенье,
Как это было в том веку,
Когда боролись за княженье
И пелось «Слово о полку».

Он что-то вспомнил так правдиво
Из темного праязыка,
Что месяц в небе всем на диво
Преобразился в рог быка.

Сородич мифов быкорогих,
Он солнце брал за удила
И шел от шалашей убогих
Бить Прометеева орла.

Он с соколом Бояна бился,
Чтоб лебедей его сберечь...
И так он жил. А к нам явился
Произнести и умереть.

СТАРЫЙ ЦИРК

После представления

Фонари погасли под шатром.
Разошлись зеваки. А потом

В клетках звери тощие грустят.
Вечный рупь канючит акробат.

В номерах циркачка с циркачом
Хлещут чай, болтая ни о чем.

Фокусник Петров (Али-Баба)
В пух продулся — значит, не судьба.

С кавалером, помня про канат,
Пьет канатоходка лимонад.

Думает в постели казначей,
Как бы облапошить циркачей.

А под мокрым тентом шапито
Слышен чей-то слабый шепот. То

Ангел цирка с детской головой
Бредит над ареной цирковой.

Бим и Бом

Бом увел жену у Бима.
Ненавидит Бома Бим.
Как она была любима!
Он недавно был любим.

На манеже град пощечин
Отпускает Биму Бом.

Их союз казался прочен,
А теперь столкнулись лбом.

На манеже град пощечин
Отпускает Бому Бим...
Почему-то мы хохочем
И над тем, и над другим.

Лев в неволе

Они не знают, что царя зверей
Дрессировать не удается.
Я просто знаю, что они сильней
И что в них мало благородства.

Ее мне жалко. Так она слаба,
Так неумна, так лицемерна,
Что может только
быть рабынею раба.
И пахнет от нее прескверно.

А я молчу. А надо, так рычу
И публику пугаю басом.
Но огорчать бедняжку не хочу.
Она меня к тому же кормит мясом.

Его я презираю. Пистолет
Он прячет от меня под мышкой.
Он трус и неврастеник,
в тридцать лет
Страдающий одышкой.

Ему башку я мог бы размозжить
Своей тяжелой лапой.
Но не хочу. И оставляю жить
На радость этой, слабой.

А публика! Я знаю, что играть
Льва перед ней почти что подло.
Но как еще жалеть и презирать
На нас глазеющее кодло?

* * *

Владеть всем тем, что нам дано,
Чем человек богат и чуток!
Не опускаться до того,
Чтобы руководил рассудок!

А отдаваться тем, земным,
Слепым, глухим и безрассудным
Желаньям — тем, что мы храним
Наперекор понятьям скудным, —

Любви, сочувствию, слезам,
Прощенью, отвращенью к крови.
Все это, относясь к азам,
Естественно в своей основе.

* * *

Напиши мне, богомаз,
«Утоли моя печали».
Не на день и не на час
Утоли мои печали.
Словом уст и светом глаз
Утоли мои печали,
Утоли мои печали.

* * *

Когда бы спел я, наконец,
Нежнейшее четверостишье,
Как иногда поет скворец
Весною в утреннем затишье!

Про что? Да как вам объясню?
Все так нелепо в разговоре.
Ну, предположим, про весну,
Про вас, про облако, про море.

* * *

Э. С.

Несовпадение в пространстве
Мы не заметим. Просто мимо
Пройдем рассеянны, бесстрастны,
Рассеемся, как струйки дыма.

Несовпадение во времени —
Тоска о том, чему не сбыться.
Бессмысленное озарение
Томящегося ясновидца.

●

Николай ШМЕЛЕВ

Два рассказа

Дело о шубе

На другой стороне улицы в высоком девятиэтажном доме погасло последнее окно — завтра был обычный рабочий день. Часы в большой комнате пробили двенадцать.

Виктор Иванович давно уже пришел к выводу, что лучшими минутами в его жизни были эти ежевечерние полчаса у окна на кухне, когда он в одиночестве выкуривал одну или две сигареты перед тем, как идти спать. Домашние его обычно укладывались раньше, и, как только затихали их шаги по коридорчику из ванной, в квартире устанавливалась тишина. Свет на кухне он не зажигал, предпочитая сидеть в темноте: так лучше было видно пустую улицу и деревья в скверике напротив... Так было и тогда, когда Наташа, их дочь, была маленькой, и когда она росла, ходила в школу, потом в институт, и когда она вышла замуж и переехала жить к мужу и они с женой остались вдвоем... Так было и вчера, так будет, вероятно, и завтра, и послезавтра, пока он жив.

Летом в открытое окно шелестела листва, доносился чей-то торопливый стук каблуков по асфальту, слышалось глухое ворчание поливальных машин или далекий свист троллейбуса, набиравшего скорость по проспекту. Осенью сквозь мокрое стекло он видел, как метались и бились на ветру ветки скрюченных яблонь, состарившихся у него на глазах. Зимой же, как сейчас, улица и сквер покрывались снегом, чисто и колко искрившимся в косом свете уличных фонарей.

Но сегодня дело было уже не просто в привычке. Весь вечер он не находил себе места, еле выдержал до конца очередную серию какого-то длинного телевизионного фильма и даже сделал пару неуклюжих попыток раньше времени отправить жену спать, так ему не терпелось поскорее остаться одному и, наконец, спокойно, без помех обдумать то, что ему сообщили на работе еще утром и что весь день не выходило у него из головы.

Виктор Иванович Гребенщиков служил в крупном управлении по монтажу специального оборудования, считался хорошим инженером и пользовался симпатиями как начальства, так и сослуживцев — подчиненных у него фактически не было. В институт он поступил еще до войны, потом с четвертого курса был призван в армию, воевал в корпусной артиллерии, дослужился до капитана, в одну из бомбежек был тяжело (полгода в госпитале) ранен, демобилизован и в сорок шестом окончил тот же институт, в котором начинал. Сразу после окончания он пришел в свое управление, тогда еще только создававшееся, и с тех пор — вот уже почти тридцать лет — работал в нем за одним и тем же столом и, по существу, в той же самой должности. Его часто хвалили, премировали, не раз вывешивали на Д[illegible]у почета, но вверх не выдвигали и никуда всерьез, надолго не посылали. [illegible]следнее тоже было важно, потому что в их системе человек мог вырасти, как правило, только одним путем — если ему доверяли руководство монтажом какого-нибудь крупиого объекта на периферии или за границей.

Последнее время Виктор Иванович стал как-то особенно ясно ощущать возраст, часто видел во сне детство, иногда жаловался жене на здоровье: что-то побаливало у него внутри — обычно после тяжелой еды, что-то неясное, но, видимо, прочно обосновавшееся там, в глубине, по соседству со старой раной в полости живота. По вечерам, сидя у окна, он нередко думал теперь о пен-

сии, о том, как он будет тогда жить, чем займется, куда они с женой поедут отдыхать, и эти мысли вовсе не пугали его, а, наоборот, вносили в душу успокоение, избавляя от тех утомительных, раздражающих мелочей, которые сами собой накапливались к концу каждого прожитого дня.

Важным вопросом был размер ожидавшей его пенсии. По нынешнему его заработку рядовая максимальная пенсия никак не получалась, а хотелось, естественно, чтобы была именно она, и даже не просто она, а персональная, которая все-таки была немного выше обычной и, кроме того, была каким-то отличием,— жизнь ведь никогда не баловала его отличиями. Конечно, честолюбие в нем давно угасло, но все же не до такой степени, чтобы сделать его полностью равнодушным ко всему, что отличает одних людей от других.

Гребенщиков понимал, что надо будет уже сейчас предпринимать какие-то шаги, чтобы получить самостоятельную работу где-нибудь подальше отсюда, с отъездом из Москвы года на три, не меньше. Сколько бы он ни думал об этом, никакого другого реального способа обеспечить хорошую пенсию не видел. Теперь, под старость, такой отъезд можно было позволить себе совершенно безболезненно: Наташа удачно вышла замуж и, кажется, неплохо ладила с мужем, жене — когда-то очень и очень деятельной женщине — работа, судя по всему, давно осточертела, а сам он даже рад был бы сменить обстановку и пожить немного на новом месте. Ведь, по существу, кроме обычных поездок в отпуск и в командировки, он так всерьез нигде и не был после войны. «Пора. Нужно шевелиться. Под лежачий камень и вода не течет»,— все чаще и чаще говорил он себе, перебирая в уме имеющиеся возможности.

Как раз недавно на одном из крупных объектов открылась очень заманчивая вакансия: Гребенщиков прослышал о ней стороной и сейчас же решил, что это именно то, что ему нужно было. У него, конечно, имелись кое-какие связи — некоторые из его однокурсников работали вместе с ним и были теперь в довольно заметных чинах, но раньше он практически не пользовался этими знакомствами, и сам в общем-то не зная почему. Может быть, это было и к лучшему: по крайней мере сейчас он мог с чистой совестью обратиться к любому из них и знал, что ему не откажут.

Ближе всех к нему был Гриша Шокин — стариннейший его приятель, с которым они в свое время немало просидели в пивных и в иных местах, где так весело тратились тогда убогие студенческие рубли. И сейчас они нет-нет, да вспоминали старину, заскочив после получки или премии в какое-нибудь тихое и достаточно удаленное заведение, до которого их сослуживцы по нетерпению своему обычно не доходили. Как он и ожидал, Шокин не только не отказал, но, наоборот, проявил самое искреннее участие и обещал сделать все, что в его силах.

Однако сегодня утром Шокин остановил его в коридоре и, глядя куда-то в сторону, спросил:

— Послушай, можешь ты мне объяснить, что за случай у тебя был с шубой?

— Какой шубой? — не понял ничего Гребенщиков.

— Не знаю, какой. Поэтому и спрашиваю. Ну-ка, поройся в памяти. И ради бога не темни, сейчас не до этого. Должен сказать, что шансы у нас с тобой неплохие, но все упирается в эту шубу.

— Да какая шуба? Ты мне хоть скажи: о чем речь?

— Говорю тебе: не знаю. Знаю только, что на твоей личной папке, поперек обложки красным карандашом написано: «Дело о шубе?!» Подчеркнуто, и два знака в конце — вопросительный и восклицательный. И ничего больше, никаких уточнений — ни на обложке, ни в самой папке. Только дата стоит — декабрь 1947 г. Я пытался узнать — никто толком ничего не знает. Пошел даже к... ну, неважно, к кому... Есть тут у нас один Пимен-летописец, хранитель преданий. Все помнит... Но и он не знает. Вспомнил только, что тогда, в те годы, тебя не раз выдвигали на разные должности, и каждый раз одно и то же: «А что за история у него была с шубой?» Начальство спрашивает — ему никто ничего не говорит, все молчат. Может, и вправду никто не знал, а может, впутываться не хотели... Ну, а дальше сам знаешь, как: «Нет? Никто доложить не может? Ладно, отложим до следующего раза. Нам не к спеху». А потом уж и спрашивать перестали... Кто написал, почему написал, ничего не известно. Может, этого человека и в живых давно нет, кто написал. Но надпись-то осталась, она действует! Пока мы с тобой этот карандашик не сотрем, ничего не выйдет.

«Боже мой, да неужели это?» — думал Гребенщиков, оставшись, наконец, один. Усаживаясь, он привычным движением пододвинул табуретку к окну, но сейчас же вспомнил про открытую дверь на кухню и, встав, притворил ее, чтобы табачный дым не расползался по квартире. Жена иногда ворчала на него по утрам, утверждая, что даже занавески в большой комнате — и те пропахли его табачищем.

Дом их был старый, тихий, с толстыми стенами: ближе к полуночи, когда жизнь замирала, можно было, напрягая слух, ухватить лишь слабые звуки радио, доносившиеся откуда-то сверху или сбоку. Дом был до того тихий, что лет десять назад у них на кухне, на антресолях, даже поселился сверчок. Виктор Иванович довольно скоро привык к нему и полюбил, тем более, что он, умница, редко обнаруживал себя при других, предпочитая час, когда они с хозяином оставались вдвоем. Но потом в какое-то лето их слишком долго не было в городе, сверчок исчез и больше уже не возвращался.

«Неужели это? Неужели эта история, случившаяся двадцать пять... нет, двадцать семь лет назад? — думал Гребенщиков.— Не может быть. Это же как в дурном сне... Но что же другое могло быть? Ничего другого и не было...»

Жена его с того самого дня слышать не могла ни о какой шубе и всякий раз, износив одно, шила себе другое пальто с меховым воротником у знакомого портного на Петровке... Тогда, в какой-то хмурый ноябрьский день, они с Линой (полное имя жены было Алина) пошли по магазинам, имея при себе довольно крупную по тем временам сумму денег. Тесть хотел подарить дочери на свадьбу что-нибудь существенное, нужное в хозяйстве, но второпях не сумел ничего найти, расстроился и в конце концов сунул ей в руку конверт с деньгами: распорядитесь-ка лучше сами, как сочтете нужным, вам виднее, жить-то вам, не мне... В ту осень все говорили о денежной реформе, народ словно осатанел, хватали все, что появлялось на прилавках. Войдя в меховой магазин на Сретенке, они с Линой сначала даже не поверили своим глазам: за прилавком, длинно в ряд, висели черные подкотиковые шубы, и никакой толпы вокруг не было. Кажется, это было сразу после обеденного перерыва: Сретенка, наверное, просто не успела еще ничего разнюхать. Лина померила — шубка ей подошла, Гребенщиков заплатил деньги в кассу, взял сверток с шубой, а вот дальше произошло нечто необъяснимое: как, зачем он положил сверток на прилавок, что его отвлекло, почему он отвернулся, какие секунды это продолжалось — ни тогда, ни потом он ничего толком вспомнить не мог, и Лина тоже ничего не заметила. Сверток исчез.

Когда он рассказал о случившемся на работе, все, конечно, сочувствовали ему, особенно женщины. Но для большинства из них шуба была тогда чем-то до того недосягаемым, что весь рассказ его воспринимался скорее как какое-то происшествие из жизни Мэри Пикфорд или Греты Гарбо, и он чувствовал, что некоторые не то чтобы не верили, а просто испытывали какую-то неловкость, неудобство за него и даже стали посматривать на него вроде как на чудака — не лгуна, нет,— а как на человека, неожиданно обнаружившего вдруг склонность к мечтаниям и фантазерству. Со временем он и сам начал сомневаться: полно, да было ли это вообще, не приснилась ли ему эта проклятая шуба? Нет, как видно, не приснилась, если след от нее обнаружился даже вон где — в его бумагах...

«Сказать Лине, нет? — думал он.— Если сказать, расстроится, замолчит... Странная она какая-то стала. Томится, плачет ни с того ни с сего, придет с работы — ляжет и лежит, и ничем ее не растормошишь. Отчего плачет? И сама, наверное, не знает, отчего. Так, старость подходит, не нужна больше никому... Разве что мне... Наташка тоже хороша — лишний раз не позвонит, не спросит: как вы там, живы еще, старики? Вырастили, называется... А сказать, пожалуй, надо. Многое бы, Алина Георгиевна, это прояснило в нашей с тобой жизни. Долгой жизни, непростой...»

Начинали они легко, весело, а вот дальше... Впрочем, что ж дальше... Дальше все пошло, наверное, как у всех... Да нет, это только говорится так — как у всех, на самом-то деле жизнь у каждого своя, и боль своя,

и никакое это не утешение, что у других тоже нелегко, тоже не очень складно, а у иных и совсем не складно...

Когда они поженились, Алина ходила королевой, и подруги откровенно завидовали ей. Война только что кончилась, ребят вокруг было мало, то есть были, конечно, но все какая-то семнадцатилетняя мелюзга или инвалиды: демобилизация по-настоящему еще не развернулась. Гребенщиков и вообще-то был недурен собой, а на этом фоне — черноволосый стройный парень в офицерском кителе с орденскими планками на груди, спокойный, уравновешенный, говоривший на равных и с деканом, и с профессорами, он, естественно, привлекал всеобщее внимание. Даже очень красивые девушки, знавшие, что они красивы, и никогда ни перед кем не опускавшие головы, и те нередко смущенно отворачивались, столкнувшись с ним взглядом где-нибудь в аудитории или на лестнице. Что уж тогда говорить о тех сереньких мышках,— а их было большинство, которые жались по углам, не зная, куда девать свои потрескавшиеся, не по годам натруженные руки... Брак их с Алиной был потом предметом долгих пересудов в институте. Многие считали, что с его стороны это был мезальянс, по их мнению, он мог бы найти себе что-нибудь и повиднее...

Когда, как родилось у нее это легкое пренебрежение к нему, когда оно превратилось сначала в скрытое, а потом и в откровенное презрение, когда презрение уступило место равнодушию, покорности судьбе, сейчас, спустя много лет, установить это было невозможно. Оглядываясь назад, он видел только длинную череду годов, стертых, потускневших и похожих друг на друга до неотличимости.

Может быть, все началось после того, как родилась дочь? Лина тогда впала в состояние тупого, непреходящего ожесточения: теснота, ночной плач, бутылочки, спиртовки, бесконечные тазы со стиркой, веревки с пеленками по всей квартире, выдуманные и невыдуманные болезни этого крохотного, беспрестанно орущего о чем-то существа — казалось, выхода из этого нет и никогда не будет. Сам он в те дни ничего не вызывал у нее, кроме постоянного раздражения на его неловкость и неумелость. Если бы он провалился вдруг сквозь землю, она, наверное, только вздохнула бы с облегчением: по крайней мере не надо было думать, чем накормить этого чужого, ненужного человека, занимавшего столько места везде — на кухне, в комнате, даже на лестничной клетке, куда она выгоняла его курить и где он каждый раз с грохотом стукался о коляску, выставленную за порог. Когда он приходил с работы, в дверях его встречал бессмысленный, невидящий взгляд, застиранный халат ее был неизменно застегнут не на ту пуговицу, и любые попытки его что-то рассказать, чем-то поделиться кончались всегда одним и тем же: не дослушав, она срывалась с места и бежала то в ванную, то в их комнату, где опять что-то было не так и где опять стоял крик. Продолжалось это год или два, пока не пристроили Наташку в ясли.

И все-таки началось все не тогда. Нет, не тогда... Виктор Иванович вспомнил то тихое лето, когда они с Алиной остались, наконец, вдвоем. Старики переехали на дачу, взяв с собой на этот раз и Наташку, уже научившуюся ходить.

Что-то тогда нашло на них обоих, какая-то отчаянная, ненасытная жадность вдруг охватила их. Стоило им только прикоснуться друг к другу, как сейчас же обоих начинало бить с ног до головы, одежда летела во все стороны, и в ту же минуту с безумными глазами и задыхающимся ртом они разом проваливались в яму, и греми тогда все пушки мира у них над ухом, загорись дом, войди кто угодно и встань у них над головой — ничто не могло бы их в те секунды оторвать друг от друга, остановить эту муку, ради которой человек забывает все... Потом они вместе уехали в отпуск в какую-то деревушку на правом берегу Волги. И здесь было то же самое, что и там в Москве: «угрюмый, тусклый огнь желанья» настигал их всюду — на пляже, в лесу, на ступеньках крыльца той развалюхи, где они поселились вдвоем. Сколько же это продолжалось? Долго, наверное, по крайней мере он и сейчас еще помнил, с каким нетерпением они тогда, уже осенью, дожидались, пока Наташка, а потом и старики за стеной заснут.

Но как пришло это, так и ушло — само собой, без даты и без причин...

После той встряски не только месяцы — годы целые не запомнились, по существу, ничем. Работал, водил Наташку в сад, потом в школу, купал ее, рассказывал ей на ночь сказки, выпивал с друзьями, смотрел телевизор, возил на дачу продукты (тесть каждое лето снимал дачу в Кратове), осенью выбирался иногда в лес по грибы... Что же еще было тогда? Умер Сталин, через три года отпустили всех, кому в свое время так не повезло, потом была какая-то нелепая история с кукурузой... Конечно, он тоже переживал тогда, спорил с тестем и друзьями, пытался заглянуть в будущее, представить себе, куда, к чему это все приведет, чем кончится, что мимолетно, а что всерьез и будет до конца его жизни и даже дольше. Но особым воображением он, признаться, не обладал, масштабы событий, их огромный, таинственный смысл были не по силам ему, и все всякий раз кончалось тем, что мысли его потихоньку, привычным образом сворачивали на другое, на то, что составляло заботу сегодняшнего или ближайшего дня. Наверное, так получалось потому, что не это было самым важным для него в то время. Но вот что тогда было для него самым интересным, что было важнее всего — и сейчас, спустя два десятка лет, он не знал. Да только ли он один? Люди и тогда рождались, женились, умирали, бегали, высунув язык, по делам, ходили на футбол, валялись на траве, смотрели в небо...

Жили они в то время трудно — от зарплаты до зарплаты. Его родителей уже не было в живых, а ее старикам и так нужно было сказать спасибо хотя бы уже за то, что они, собрав последнее, построили себе другую квартиру, а эту оставили им. Да и не мог же он, фронтовой офицер, человек с высшим образованием, в тридцать с лишним лет позволить себе сидеть на чужой шее! Алина, правда, нет-нет, да и перехватывала у матери сотню-другую, но он каждый раз сердился на нее, и надо отдать ей должное — случалось это нечасто.

А, к черту... И вспоминать не хочется про ту зеленую нищету... Вечное отсутствие денег, какие-то комбинации с перешитым тряпьем, унизительные угрызения совести за каждую лишнюю пачку сигарет, за каждую бутылку, выпитую тайком от жены... Помнится, как-то раз они чуть ли не все лето проговорили о том, купить ли вместо сломавшейся настольной лампы новую сейчас, с этой получки, или подождать до осени, когда без нее уже не обойтись, потому что станет темно...

Пока всем вокруг было тяжело, Алина в общем-то принимала это как должное, и в то время он не мог бы поставить ей в вину ни одной ссоры или даже размолвки о деньгах. Но жизнь менялась, и постепенно в глазах ее появлялось недоумение, появился вопрос, обращенный не в пространство, а впрямую к нему: «Ну, так что же ты? Так и будем жить дальше? Неужели ты ничего не можешь предпринять? Ты, такой всемогущий, такой выдающийся, когда я выходила за тебя?»

Однажды их занесло в гости к его однокурснику, с которым они не виделись несколько лет. Алина вернулась в тот вечер больная. Фантастическое, немыслимое великолепие квартиры, где они только что были, раздавило ее. Ковры, люстры, тускло-коричневая мебель, хрусталь на столе, серебряное ведерко под шампанским... Она долго потом лежала на кушетке и плакала, уткнувшись головой в подушку. Тогда ей еще было совестно этих слез, она ничего не отвечала на его утешения, только отворачивалась к стене. Впрочем, одну фразу в ее бессвязных всхлипываниях и бормотанье он все же разобрал: «Он же был самый последний на курсе... Самый никудышний. Барахло...»

Нельзя сказать, чтобы Гребенщиков так сразу и смирился с тем скромным положением, которое ему определила жизнь. Поняв через какое-то время, что ему по его службе, как тогда выражались, ничего не светит, он не раз пытался подыскать себе что-нибудь другое, наводил справки и даже, случалось, вел вполне конкретные переговоры с вполне конкретными людьми. Но... Надо было все менять, уходить с насиженного, а гарантий, что на новом месте будет лучше, естественно, никто ему дать не мог, и, значит, надо было рисковать, бросать удобное и привычное ради каких-то смутных, неопределенных надежд, и, подумав, он каждый раз отступался, а потом, поближе к сорока, и вовсе прекратил всякие поиски и разговоры на этот предмет... Видно, так уж было написано ему на роду. И, кроме того, ему действительно нравилось подходить каждое утро к одним и тем же дверям, здороваться со знакомым вахтером, подниматься вместе с толпой сослуживцев по лестнице на свой этаж, потом, услышав звонок, без суеты и спешки раскладывать на столе бумаги и медленно, пользуясь первой утренней тишиной, погружаться в мир, где все было четко и ясно, где были формулы

и машины и где любую неудачу или ошибку можно было не только установить, не только понять, но и устранить.

Был и такой период в его жизни, когда он всерьез решился поправить свои дела, защитив диссертацию: выбрал себе тему, притащил из библиотеки кипу журналов, накупил разных нужных и ненужных книг... Потом, через несколько лет, Алина безжалостно выбросила все это на свалку: он только усмехнулся тогда и даже не протестовал... Почему так получилось? А черт его знает, почему. Война ли отняла у него силы, или их и не было никогда...

На работе Гребенщиков, как и все, должен был, естественно, сидеть от звонка до звонка, и на всякие приватные увлечения ему оставались только вечера и воскресные дни. Месяц-другой он еще попытался потянуть этот двойной воз, но вскоре скис. Опытные люди советовали ему: придешь домой, перекуси и обязательно поспи часок, а потом уж ни за что не отрывайся от стола, что бы ни случилось в доме,— ничего страшного, подождут, дело важное, ради них же, должны понять. Легко сказать — должны понять. А Наташка встречала его в дверях такими глазами, так простодушно радовалась ему... Кстати, когда же исчезло это выражение глаз? Еще до школы? Нет, в первые школьные годы еще что-то такое было... И как раз в то же время в нем вдруг обнаружилась одна способность: он удивительно удачно стал мастерить из дерева забавные фигурки. Наташка была в восторге от них, укладывала их с собой спать и с тех пор не признавала больше никаких магазинных кукол. И еще каждый вечер нужно было выдумывать ей какую-нибудь новую сказку; рассказывал он обычно невероятную чепуху, даже совестно сейчас вспоминать, но она ждала этих сказок и ни за что не засыпала без них. Попрощавшись с ней, он, наконец, садился за стол, но сейчас же, как нарочно, начинал звонить телефон, потом жена звала пить чай, и, не успеешь оглянуться—уже двенадцать, надо ложиться спать, не идти же завтра на работу с чугунной головой... «Как там в Евангелии? Домашние человека — враги его? Да, значительная мысль... А только так ли оно на самом деле? Да перед тем же богом, если он есть, что важнее? Никому не нужная диссертация или размышления о спасении души, или моя возня с Наташкой на полу, у тахты в спальне?»

А, вот оно где... Вот откуда все началось... Да нет... Почему именно отсюда? Это ведь тоже родилось неспроста, не на голом месте...

Однажды Алина пришла с работы поздно, угрюмая больше, чем обычно. Что там стряслось у нее в тот вечер, он до сих пор не знал. Они с Наташкой сидели за столом в большой комнате и мастерили из дерева турка. Помнится, он как раз пытался насадить свежеоструганную голову в тюрбане на штырек, загнанный в его пузатое туловище. На столе стояли и другие его поделки, которые Наташка притащила из спальни: дед с кошелкой и палкой, торговка бубликами, шарманщик с попугаем... Алина долго стояла рядом, смотрела на них и вдруг, не говоря ни слова, одним внезапным, каким-то диким жестом смахнула все это со стола и выбежала вон. Голова турка покатилась под диван, бублики рассыпались, а дед вообще раскололся пополам. Они с Наташкой оторопели... Потом Алина долго плакала, просила прощения у них обоих, говорила что-то про усталость, про измотанные нервы...

Вскоре у нее появился любовник. Виктор Иванович быстро заподозрил неладное: вроде бы ничего и не изменилось и никаких фактов не было, но откуда-то взялась вдруг непонятная, сосущая тоска, беспокойство, желание схватить шапку, выскочить вон на улицу и куда-нибудь уйти... Куда? Да никуда. Куда глаза глядят... Может быть, взгляд стал у нее иной — вовнутрь: сытый, спокойный, наполненный до краев, или голову стала держать по-иному, как чужая, или в руках, иногда еще обнимавших его, появилось что-то скованное, тяжесть какая-то, будто поднять их было усилие и свести на шее у него тоже усилие, требовавшее вначале включения каких-то трансмиссий и рычагов.

Ну, а потом пошло-поехало... Первое время еще была какая-то неумелая ложь, а дальше уж и лжи-то не было никакой... С каждым днем Алина все больше наглела, приходила домой почти ночью, иногда пьяная, вся какая-то растрепанная, растерзанная, то в спущенных чулках, то в незастегнутом лифчике, а однажды явилась и вовсе без него, и всегда от нее пахло чужим потом и еще чем-то, отчего у него сразу темнело в глазах... Ванны, что ли, не было там, у него?.. Иногда она, вернувшись, тут же, молча, не говоря ни слова, забиралась к нему в постель (он перебрался спать в большую комнату), и он... он не прогонял ее.

Может быть, отсюда и родилось это презрение? Нет, бабы все-таки жестокий народ, ну, разлюбила, ну, спуталась с другим — ну, так хоть смягчи, сгладь, пощади, ведь человек же рядом с тобой, дочери твоей отец... Нет, надо было еще и раздавить его окончательно, уничтожить, в грязь втоптать: я вот пришла, а ты лежишь и ждешь, и сейчас я к тебе лягу, а ты не выгонишь меня, потому что ты ничтожество и теперь моя над тобой полная власть... Однажды он не выдержал — избил ее самым зверским образом, потеряв в этот вечер и память, и всякое человеческое обличье. Бил вглухую, плотно затворив в комнату дверь, бил молча, об углы, об стены, не щадя ничего. Утром на нее страшно было смотреть. Две недели она не показывалась нигде, отлеживалась на диване: всем сказал — автокатастрофа. После этого стало еще хуже. Алина окончательно распоясалась: теперь она могла позвонить по телефону, дать указания, чем накормить утром Наташку, и не прийти ночевать совсем.

Выяснить, кто у нее был, не составило особого труда: мир-то тесен. Оказалось, какой-то орел с ее работы, разумеется, моложе его да и ее. Надо думать, жениться он на ней не собирался, иначе она, несомненно, ушла бы тогда к нему. Да и то сказать: ей было в ту пору уже за тридцать, а парень он, по слухам, был шустрый,такого голыми руками не возьмешь. И жалко ее было, и стыдно за нее, а сделать ничего он не мог, мог только ждать, пока все это кончится, пока этот парень не выгонит ее совсем. Ведь и морщины уже поползли у бабы под глазами и тело стало обвисать... Вот он и ждал. Сколько сигарет он тогда выкурил по ночам у окна на кухне, сколько мыслей разных передумал обо всем... Чего только не лезло в голову: самому уйти, начать все заново, его ли где-нибудь прихватить, душу вытрясти из него... Даже убить ее хотел: пропади все пропадом, не задалось, так не задалось, вырастят старики Наташку и без них, с голоду не умрет... Но в редкие минуты просветления он и тогда понимал, что никуда он не уйдет и ничего с ней не сделает и в конце концов простит ей все... Что ж там говорить. Любил он ее... Э, да что может объяснить это слово — любил?! Слова эти все менять пора — вот что. Не говорят они ничего. Дом было больше всего жалко, какой-никакой — его дом, а она и была для него и тогда, и всегда — дом.

Раз как-то они напились с Шокиным в ресторане, основательно напились, даже портфель и папку там забыли, пришлось возвращаться потом. Гребенщиков рассказал ему тогда все, сил больше не было терпеть, хотелось услышать хоть одно человеческое слово, да и стесняться некого было, сидели они вдвоем.

— Ну, так уйди,— сказал тогда Шокин, выслушав его.
— Не могу.
— Ну, так прости.
— Не могу.
— Врешь, простишь.
— Правда, вру. Прощу... И сам знаю, что прощу.
— А я бы не смог.
— Нет... Я смогу.

Шокин долго молчал. Потом, как-то вдруг печально и совсем не по-пьяному посмотрев на него, сказал:

— Витя, а знаешь ты кто? Ты великий человек... Ты подлинно великий человек. И единственный, кого я знаю... Нет, был еще один великий. Но то в литературе...
— Кто?
— Алексей Александрович Каренин.
— Это почему?
— Потому что он был великодушен, вот почему. А вокруг него была всякая мразь, мелочь пузатая... Вроде меня... Я, Витя, не великий человек. Я дерьмо. Но я тебя люблю...

Продолжалось так года два или даже три. Потом незаметно все как-то наладилось вновь, все более или менее успокоилось, утряслось. Она почти перестала пропадать вечерами, и от нее теперь очень редко пахло вином, когда она возвращалась домой. Она опять стала таскать его по родствен-

никам и на всякие развлекательные мероприятия у себя на работе, сердилась, когда он от этого отбрыкивался, заставляла его менять рубашки и галстуки, выходила из себя, если не могла сразу найти что-то нужное в их всегдашнем беспорядке, кричала, что она им с Наташкой не прислуга, чтобы убирать за ними повсюду, что их даже на день нельзя оставить вдвоем. Ее вскоре выбрали на работе в какой-то комитет, и теперь по вечерам она часами висела на телефоне, обсуждая всякие служебные интриги и неурядицы. Но они с Наташкой скоро привыкли и не обращали на это особого внимания, разве что иногда понимающе улыбались друг другу: обычно он в таких случаях лишь посильнее поворачивал в телевизоре звук, потому что голос у Алины был все-таки не очень приятный, резковатый, а когда она возбуждалась, то и просто пронзительный, так что хотелось или уши заткнуть, или оборвать ее совсем.

Нельзя сказать, чтобы она стала добрее к нему, нет: так, дескать, живет кто-то рядом, ну и живи, бог с тобой, куда ж тебя деть, на улицу-то ведь не выгонишь... Иногда она сама, выйдя в халате из ванной, молча брала его за руку и уводила за собой в спальню. Там теперь вместо прежней продавленной тахты стояли две кровати полированного дерева. «Все, как у людей»,— не удержавшись съязвил он, когда их привезли... Про то же, что было, они никогда не говорили: таков был молчаливый уговор, и они соблюдали его, хотя, конечно, оба думали об этом много и ночами тоже думали, особенно в первое время, и он долго еще потом замечал у нее слезы на глазах, хотя явных поводов для них вроде бы и не возникало, по крайней мере с его стороны.

Кажется, и потом у нее еще что-то было — уже с другим или с другими, если конечно, чутье не обманывало его. Но новые эти увлечения выглядели какими-то очень уж безобидными, несерьезными в сравнении с тем, что было прежде: они ничего не меняли в их жизни, так только, немного оживляли Алину, и он не удивился бы, если бы вдруг как-нибудь обнаружилось, что в них, кроме вздохов и прощаний в подворотнях, и не было-то ничего, ну, разве что самая малость, чепуха какая-нибудь, накоротке, наспех, звеня чужими ключами и оглядываясь на часы...

А сдала она почти сразу, в один год, ей тогда уже было за сорок, и он вдруг — бог его знает, почему, но очень уж явственно, вроде как при внезапной вспышке света в темноте — увидел, что рядом с ним живет пожилая расплывшаяся женщина, с тяжелым задом и толстыми ногами, переваливающейся походкой, плохо покрашенными волосами, вечно в какой-то нелепой шляпе, на которую неловко, совестно было даже и смотреть. Он всегда мучился из-за этих шляп, когда им надо было идти куда-нибудь в гости, но сказать ей так никогда и не решился: все-таки жалко было бабу, да в этом возрасте и не переделаешь никого.

По-видимому, она и сама, наконец, взглянула на себя трезвыми глазами, и вот тогда-то, наверное, она и смирилась окончательно, тогда-то и началось это равнодушие ко всему и вся, которое хоть и вгоняло его порой в тоску, но в общем-то, надо признаться, устраивало его. Спокойней так было, вот в чем все дело, ведь и он тоже устал, тоже ничего не хотел теперь, кроме тишины: одна война чего стоила, да и потом никаких особенных балов и маскарадов что-то не вспоминалось, нелегко прошла жизнь, что там говорить...

Но и он был не святой, были и у него, конечно, разные минутные истории... Да у кого их и не было? Жизнь есть жизнь, всякое в ней бывает, и он такой же человек, как все, не лучше и не хуже других. Но в одном он по крайней мере чист: никогда ни одна из этих историй не отразилась на его домашних — ни в грубом слове, ни в деньгах, ни в чем-нибудь еще, так что ни Алине, ни Наташке не за что на него жаловаться, совесть его спокойна перед ними. Правда, был у него момент, когда он еле удержался, чтобы не пустить все к такой-то матери. Но ведь пересилил же себя, отступился... Эх, да надо ли было отступаться? Вот вопрос... Впрочем, праздный вопрос. Что было, то было, и нечего сейчас попусту душу травить, ничего назад-то не вернешь...

С Верочкой он познакомился в стоматологическом кресле, когда ему чинили одни и выдирали другие зубы, чтобы сделать первый в его жизни мост. Наверное, он тогда представлял не очень-то приятное зрелище: сорокалетний, начинающий лысеть мужик с выпученными от страха глазами и дырявым ртом, по краям которого торчали остатки мелких, до черноты прокуренных зубов. Месяца два, пока длилось протезирование, ему было отчего-то невыносимо стыдно за себя, как будто он сам был виноват в том, что и голова у него плешивая, и зубов многих уже нет, и мешки под глазами теперь уже почти не проходят никогда, даже если накануне и не пил.

Верочка работала сестрой в этом кабинете. Вскоре она начала улыбаться ему как знакомому, и однажды, когда врача вызвали куда-то надолго, они очень тепло поговорили с ней о разных пустяках, так что под конец он даже решился пригласить ее встретиться вечером и куда-нибудь пойти. Помнится, она охотно, без тени жеманства приняла его приглашение, а вечером пришла в срок, без опоздания, и — черт знает что, но действительно так и было! — увидев его, вытащила из-за спины букетик гиацинтов и вручила ему: дело было в марте. Потом, в ресторане, букетик этот стоял перед ними весь вечер, и, уходя, он, чтобы не заморозить, завернул его в бумагу и взял с собой.

Ей было тогда лет двадцать шесть — двадцать семь, она была стройна, миловидна, по-своему даже красива, но не дразнящей красотой, а тихой, мягкой, той, которая не пугает, не отталкивает, но, надо признаться, особенно и не привлекает никого... Почему он тогда пригласил ее? Да потому, наверное, что хотелось убедиться, что он еще на что-то годен, кому-то нужен, что не все позади, а есть еще что-нибудь и впереди и в тираж выходить еще рано. Все-таки человек по природе своей глуп: это в сорок-то лет думать о выходе в тираж, печалиться, расстраиваться, тогда сейчас-то что прикажете говорить? Показал бы кто тогда ему, сорокалетнему, его сейчас: вот он где — тираж, тут уж ничего не скажешь, и проверять ни на ком не надо, достаточно просто в зеркало взглянуть...

Милый она была человек, ласковый, и в комнате у нее всегда было тихо, хорошо: правда, квартира была коммунальная и, по существу, в полуподвале, но как-то так сумела она устроить, что у нее было уютно, светло, ничто не беспокоило, не раздражало глаз — вся комната ее была такой же приветливой, как она сама. Белые кисейные занавески на окнах, гравюрки по стенам, полка с книгами, большое покойное кресло в углу, в котором, если потеснее прижаться друг к другу, они могли поместиться и вдвоем... Верочка жила одна: она и выросла-то сиротой, без родителей, под присмотром какой-то чудаковатой тетки, старой девы, из тех, которых до сих пор еще можно встретить иногда в диетическом на Арбате. К тому времени тетка уже полуослепла, и Верочка ходила навещать ее. Виктор Иванович обычно провожал ее до самого теткиного дома, а предварительно они всегда заходили в «Прагу», покупали там что-нибудь из еды и обязательно коробку пирожных, кажется, эклер, тетка их любила.

Как он ждал тогда этих встреч, как нетерпеливо глядел на часы, дожидаясь проклятого звонка, чтобы чуть не бегом скатиться с лестницы и через десять, нет, через семь минут, быть уже у нее! Как раз в то время ему, наконец, повысили зарплату, повысили значительно, но Алине он сказал, что появилась солидная, постоянная халтура, которую грех терять, так что ему придется теперь частенько задерживаться вечерами на работе; поверила ли она, нет, кто ее знает, во всяком случае, возразить она ничего не возразила, а он в лишние объяснения не вдавался, да у них это и не было заведено... Верочка никогда ничего не требовала от него, и этих дополнительных денег хватало ему тогда на все — и на какие-то пустяки для нее, и на вечер-другой в ресторане, и дома тоже довольно быстро почувствовали, что с деньгами стало теперь все-таки полегче... Счастливое было время! Может быть, только оно и было счастливым у него.

Верочке достаточно было любой, пусть самой крохотной, удачи, чтобы обеспечить ей веселое настроение на весь вечер, а то и на целые дни вперед. Сначала он даже и не верил, что так бывает, и, к стыду своему, иногда думал, что она зачем-то притворяется перед ним.

— Знаешь,— бывало, улыбаясь, говорила она ему еще в дверях,— знаешь, кого я сегодня видела? Не поверишь.

— Кого?

— Лемешева! Прямо на улице. Шел в шубе, и с ним дама была, такая элегантная...

— Ну, и что?

— Как что? Я ведь его в первый раз вот так, живого, видела. Постарел, конечно, но все равно... Правда, здорово, да? Ну, что же ты молчишь?

«Почему Лемешев? Какой Лемешев? И зачем она это мне?» — недоумевал Виктор Иванович, ожидая дальнейших объяснений. Но она и не пыталась ничего объяснять, видимо, даже не понимая, как же можно такие вещи объяснять, тем более ему... Конечно, можно было бы и тогда, и сейчас пожать плечами, сказать, что ерунда, пустяки, действительно, какой там еще Лемешев? Верно, пустяки. Ну, а жизнь-то из чего состоит? Не из пустяков? Эх, горевать-то мы все умеем, и еще как, а вот радоваться — многие ли умеют? Многим ли это дано — радоваться, тем более пустякам? Нет, разве что задним числом, оглядываясь назад, когда все прошло... Но какая же это радость, когда все прошло? Это опять страдание, а не радость... Интересно, сохранился ли у нее этот божий дар до сих пор или жизнь и ее тоже задавила, как других?

Им настолько было хорошо вдвоем, что они редко когда выходили из ее полуподвала. Да наплевать, что там делается наверху! Что они там не видели? Ну, снег, ну, слякоть, ну, люди мечутся туда-сюда... А здесь тепло, и никто им больше не нужен, и так хорошо, славно сознавать, что никто в целом мире не знает, что они здесь, а чтобы уж совсем спрятаться от всех, можно задернуть штору и погасить свет, оставить только маленький ночник в углу...

Вот где нужны были его годы: можно было прижать ее к себе и защитить — от кого, от чего, неважно, ведь ясно же, что от кого-то или от чего-то нужно было защитить. Ну, а он мог защитить... Как-то раз она призналась ему, что с тех пор, как начались их встречи, она двух слов не могла сказать ни с кем из своих сверстников: «Витя, если бы ты только знал, какие они все дураки... Боже мой, какие дураки...» — повторяла она, и почему-то казалось, что она сейчас заплачет.

А время шло, и надо было уже на что-то решаться, решаться всерьез. Гребенщиков понимал, что заедает ее век, что ей уже тоже не семнадцать, и мучился этим, казнил себя, проклинал, но решиться ни на что не мог... Ну, почему, почему хорошим людям всегда не везет? Ведь иной раз посмотришь: сама-то мордоворот и жадная, злющая, как хорек, а такого молодца отхватила себе, что только диву даешься — куда он, болван, смотрел, что нашел в этой ведьме? Ничего не поделаешь, так устроен мир... Мысль-то, конечно, верная. Да только от нее, признаться, не легче никому...

Так, святая душа, она и ие дождалась от него того, чего хотела. Наконец пришел день, которого он так боялся, он и не мог не прийти. В тот вечер, он, кажется, был уже в пальто, когда она сказала:

— Витя, мне сегодня сделали предложение...

Все поплыло перед глазами, сердце куда-то скакнуло и разом провалилось, и он долго хватал воздух ртом прежде, чем догадался достать из бокового кармана валидол.

— Кто?

— Один наш доктор. Он давно неравнодушен ко мне...

— А ты что?

— Витя, не знаю... Я не люблю его... Но ведь мне тридцать...

В ту ночь он первый и единственный раз за всю свою семейную жизнь не пришел ночевать домой. Утром они сидели за столом, курили, пили кофе... «Все. Все кончилось...» — только одно и было в голове. Потом почему-то мелькнула мысль: «А если бы Наташка вдруг умерла — так же бы было?» Но он отогнал ее... И еще подумалось тогда, что пощады от жизни больше уж не будет, впереди только одна дорога, прямая, короткая дорога... Куда? Ясно, куда. Туда, не сворачивая ни на какие обочины и не обманывая уже больше ни себя, ни других...

Теперь у него было два любимых занятия — ходить по грибы и ловить зимой рыбу. Собственно, этим он и жил последние годы: пять дней работал, а два пропадал в лесу, а если зимой, то на озере, километрах в ста от Москвы. Особенно хорошо было осенью, в сентябре. Алину он обычно отправлял в это время к морю, а сам брал отпуск и ехал в леса, за Кострому. Получилось так, что двое стариков, живших на краю заброшенной, опустевшей деревни,— болтливый полупьяный дед и его угрюмая богомольная старуха — каким-то образом теперь, под конец жизни, стали для него самыми родными на земле людьми.

Почему люди так боятся одиночества? Трудно понять... И в лесу лучше всего быть одному. Не то чтобы в лесу мысли были какие-то особенные, нет. В общем, то же самое: птаха вон защебетала, роса с куста посыпалась, заблестела на солнце, гриб вон прячется, сейчас я его возьму... А только в лесу и мыслей не надо. Удобно человеку в лесу: и он сам, и дерево, и птаха ведь одно и то же, и совсем небольно чувствовать себя не врозь, а в одно с ними, не унижает это, не требует никаких поисков своего особого места в миру. Да и вся эта загадка жизни, которая так неотступно мучает человека в городском чаду, в лесу вдруг делается неинтересной, выдуманной: нет этой загадки, есть ты, а откуда ты пришел и куда уйдешь, не все ли равно? Погоди, узнаешь. Не может же быть, чтобы в таком согласии, в таком стройном, как все вокруг, целом не было что-то предусмотрено на веки веков и для тебя, что-то милосердное, что пока только лишь слышится, чувствуется в уползающем тумане, в этом белом предрассветном дыму...

Брал он только благородный гриб, не жадничал и больше одного лукошка никогда не набирал. Потом потихоньку возвращался перелесками, опушками домой, иногда приваливался в стожок по дороге, лежал, жевал соломинку, смотрел на черных грачей в поле, жмурился на небесную синь, на осеннее солнце, бывало, даже и засыпал... Дома он вываливал лукошко на покрытый клеенкой стол и под бессвязную болтовню деда, к полудню обычно уже где-то взявшего свое, они вдвоем со старухой медленно, не спеша, перебирали принесенные грибы: что в сушку, что в солку, что на сковороду...

Однажды бабка своими черными пальцами вынула из кучи крепкий гриб, по виду совершенный белый, и показала ему:

— Такие больше не бери, милок. Они ядовитые. Вишь, дно у него будто розовое...

«Глазастая бабка, сразу углядела, даром, что старая. А я-то лопух... Так ведь и помереть недолго,— подумалось тогда ему.— И такой безобидный с виду... Сколько же народу отправил на тот свет этот гриб? Но кто же сейчас думает о них и о том, сколько их было? Ушли и ушли, и царство им небесное, гриб этот больше рвать не будем, только и всего. А есть ведь еще и другие задачи, и многие из них несравненно даже мельче, чем этот гриб, но и на них нужна чья-то смерть, а может быть, и многие смерти, чтобы оставшимся потом было поудобнее жить... Интересно, а на что пошла моя жизнь? Что нужного я-то доказал ею?»

Как-никак отвоевался он тридцать лет назад, и все эти годы были чем-то заполнены, что-то он делал, зачем-то жил...

На войне он привык к смертям, привык к тому, что счет шел не на людей, а на величины. Да и счета, по существу, не было: чтобы считать, нужно было знать каждого, а кто же их тогда знал? Так, прикидывали: уничтожен батальон противника или, наоборот, наши войска понесли существенные потери, а сколько их там, в потерях, кто он такой — потеря,— пойди, разберись, не до того всем было. Иначе и невозможно, война есть война... Бывало, тянет тягач орудие по раскисшей дороге, смотришь из кабины: труп вон валяется в кювете, рядом еще один, и в поле тоже трупы — где свои, где чужие,— хорошо, если подберут потом, а то и сгниют там под дождями, не всегда же руки доходили... Вот если из своих, из дивизиона, кого достанет, вот тогда действительно тоска накрывала: как же так? Был человек — и нет его, а, кажется, только что вместе сидели, вместе были. Но ведь забывалось назавтра: одни уходили, другие приходили...

Странно, как все же меняется с годами человек: а ведь отвык он за эти годы от счета на величины, не получалось теперь так считать, все вместо величины какой-нибудь Иван Иванович всплывал перед глазами, которого вчера похоронили... Вчера, что ли, это было? Вчера. Лежал в гробу смирный такой, успокоенный, а был когда-то боевой, шумел, все чего-то добивался, планы разные строил...

«Ладно, что толку мудрствовать, жизнь прошла, прошла так, а не иначе, и задним числом ничего в ней не изменить,— думал он.— Скажи спасибо, что хоть жив остался: сколько народу переколотили и сколько из них зазря, кто и когда считал и теперь кто пересчитает? Все равно до последнего не сочтешь, а раз так, то и считать нечего: какая разница, одним меньше, одним больше? Похоронили и забыли. Тебе еще повезло: хорошо тебя тогда доктора зашили, тридцать лет вон протянул и, даст бог, еще протянешь... А только жаль все-таки. Ведь не все же у меня война отняла, кое-какие силы еще были... Э, да что теперь говорить! Сам виноват, другие ли, теперь не установишь, а если и установишь, что это даст в конце концов? Может быть, Алина и права: надо было

стучаться головой об стенку, может, и продолбил бы ее когда-нибудь. Но ведь не стучался!.. И стучаться не буду! Пусть: считайте, что еще один в мусор ушел... Только вот кому от этого лучше стало? Вот вопрос...»

Ночь кончалась, часы в большой комнате пробили шесть. Перед ним на столе стояла полная пепельница окурков, голова побаливала, во рту ощущался кислый, противный вкус... Где-то наверху загудела вода, под окном заскребли скребком: дворничиха поднялась и соскребала в темноте наледь, небось, чертыхаясь на погоду и на жизнь. В коридоре послышались шаркающие шаги — Алина прошла в ванную.

«Так сказать ей, нет? — думал он.— Нет, не скажу. Зачем? Ну, добавлю лишней горечи бабе. Ни к чему это ей. Да и мне тоже ни к чему...»

Щелкнул выключатель: резкий, бесцеремонный свет на секунду ослепил его. Алина вошла в кухню.

— Ты чего это ни свет ни заря? Господи, уже успел надымить — не продыхнешь... Чайник поставить? — запахивая халат, спросила она и зевнула, прислонившись к двери.

Визит

— Идиот! Нет, боже мой, какой идиот! Голова почти седая, вставных зубов полон рот — и так дать себя провести! Как мальчишку, как сопливого мальчишку... Ребеночек тоже нашелся, деточка! Сто тысяч! Господи, сто тысяч! За пять минут! Стыд, срам... Обманули дурака, обвели вокруг пальца, то-то теперь смеху — внукам рассказывать будут!.. И поделом тебе, раззява, поделом... Ах, подлецы, какие подлецы...

Прошло уже пять дней, как это случилось, а Глеб Борисович Суханов, когда-то рядовой администратор ленинградской филармонии, а ныне заместитель директора одного из известных московских театров, мужчина видный, плотный и по-своему даже красивый, в самом, что называется, цвете лет, все не мог никак прийти в себя.

В деловом, полуподпольном мире Москвы Суханов был фигура — не из самых крупных, конечно, нет, но все-таки фигура, с ним считались, имя его обычно произносилось с уважением, слово ценилось, и знакомством с ним гордились многие, причем не только деловые люди, но и те, кто к делам не имел никакого отношения, а лишь соприкасался с ним в силу тех или иных житейских обстоятельств. Однако и для него такая сумма была, безусловно, значительной, так просто ее из кармана не вынешь, в конце концов он же не печатал деньги, бог свидетель, ему они тоже доставались нелегко. Но обидно было даже не это, обидно было другое: провели... И как! Как последнего дурака, как пьяного купца на нижегородской ярмарке... Да купцам-то в конце концов было все равно, где, куда швырять деньги: скандал ли учинить, трехметровое зеркало разбить в ресторане, в Париж ли махнуть или так, за здорово живешь, за кураж, кинуть сотню тысяч в морду какому-нибудь проходимцу — на, знай наших, у нас от этого не убудет, только крепче станем, имя — тот же кредит!.. Теперь-то и жизнь другая, и масштабы, крутись не крутись, не те: если бы была у него возможность развернуться по силам, если бы не путала его эта власть по рукам и ногам — тогда другое дело. Тогда бы и сто тысяч — что такое сто тысяч? Плевать! В неделю наживем... Надо сказать, что Суханов был глубоко убежден, и не без оснований, что дай ему эту возможность — никакой Сол Юрок или Карло Понти ему бы и в подметки не годились. Эх, только некуда девать силы человеческие, никому они не нужны... Хорошо э т и м там, у себя, а попробовали бы они здесь повертеться: какая же нужна осторожность, сколько нужно изворотливости, ума, такта, личного обаяния наконец, чтобы наладить более или менее серьезное дело, и мало наладить — вести его дальше так, чтобы не сорваться, не подставить ни себя, ни других, чтобы в случае чего и концов-то никаких никто не мог найти. Эта чертова власть все время висит, как волкодав, на загривке, того и гляди, враз перекусит тебе шейные позвонки, да ладно — сам загремишь, семья по миру пойдет, вот что страшно, не приведи господи никогда и никому. Это только так, легенда, что компаньоны потом выручат, поддержат: черта с два они потом поддержат, разве что по пустякам, первый год, ну, два от силы, больше не надейся, дураков нет, каждый за себя, один бог за всех... Но ничего, мы тоже не лыком шиты... Обидно только, что стараешься, надрываешься — и все это ради чего? Ради того, чтобы потом тебя в пять минут раздели, ограбили посреди бела дня — и кто? Шушера, рвань, шпана несчастная, которой иной раз и руки-то не подашь, а вот на тебе: взяли за горло мертвой хваткой, куда ты теперь от них денешься, хочешь не хочешь — плати...

Долго же потом будет он помнить этот маленький обед в ресторане «Варшава», начинавшийся так тихо и скромно, в одиночестве, в почти полупустом зале; ресторан этот — ближайший к парку культуры, кормят в нем неплохо, и после игры на бильярде в зале того же парка он обычно обедал здесь, один, а после обеда ехал к себе в театр...

Глеб Борисович был игрок, игрок солидный, что называется, без глупостей: несмотря на весь свой демократизм, он обычно очень четко знал, с кем играть, а с кем не играть,— конечно, если речь шла о серьезной игре; с кем вести компанию, а с кем, наоборот, сохранять дистанцию, не роняя свой, прямо скажем, нелегко и непросто завоеванный авторитет и ту респектабельность, которая так выгодно отличала его в глазах определенных московских кругов. Уже давно, и хотелось бы думать, что прочно, за Сухановым утвердилась репутация барина — он очень дорожил этой репутацией, умело, с прирожденным чувством меры и такта поддерживал ее и если и выходил иногда из образа, то потаенно, скрываясь от всех своих близких знакомых, так, чтобы никто и ничего не знал... Ну, что ж, это тоже понятно: нервы-то не стальные, человеку нужна время от времени встряска, разрядка — пошуметь, вываляться в грязи, без этого нельзя, не выдержишь, да и какой же русский в конце концов не любит быстрой езды?! Дым, гульба, шампанское, молоденькие продавщицы или парикмахерши, загородный ресторан, потом чья-то дача, кутеж на двое-трое суток, похмелье, серое утро, пустые бутылки, сигарета, как пароходная труба, воткнутая в кружок колбасы, женские юбки, разбросанные по стульям... Но игра в его жизни значила совершенно иное: это было любимое времяпрепровождение, отдых, хорошо отутюженный костюм, чистота, общение с приятными тебе людьми. Ну, а азарт... Азарт, конечно, был — и еще какой! Но в том положении, которое он занимал, азарт приходилось всеми силами давить: разве что позволишь себе иной раз смехом взять карту, когда рабочие сцены в ожидании спектакля сидят, перекидываются в «двадцать одно», или на бегах вдруг ни с того ни с сего поставишь черт-те какую сумму... Но и в этих случаях он никогда не терял головы и вовремя прекращал, когда начинало слишком уж везти или, наоборот, слишком не везти.

Суханов играл на бильярде, играл, конечно,— и очень регулярно — на бегах, но больше всего любил и ценил он тихие вечера у камина в своей давно сложившейся компании, в квартире у известного профессора-уролога, где они собирались раза два в неделю и играли — иногда в бридж, реже в покер, бывало, что и для баловства в канасту, но в основном в преферанс, старый, милый, добрый преферанс, где важен сам процесс, уют, размышления, меняющийся каждый раз рисунок партии, а вовсе не тот чепуховый выигрыш или проигрыш, который ждет тебя в конце игры — конечно, если партнеры равны по силам и давно знают друг друга. А они знали друг друга давно, компания подобралась очень солидная: профессор, отставной генерал, директор крупного писчебумажного магазина, Глеб Борисович и иногда еще один довольно известный драматург, бесподобно владевший производственной тематикой, но в картах, надо признаться, немного жадноватый, следовательно, не слишком надежный как партнер, а потому и бывший у них не столько основным, сколько запасным... По правде говоря, натуре Суханова больше бы соответствовал покер — игра азартная, с крупными ставками, но он, во-первых, и здесь, в этой компании, не терял бдительности, предпочитая не дразнить чужие глаза своими деньгами, а во-вторых, приходилось, что называется, приспосабливаться к обстоятельствам: генерал по своим доходам явно не тянул на покер, у профессора тоже вроде бы имелись свои пределы, а драматург так тяжело переживал каждый свой проигрыш, что было ясно, что для серьезной большой игры он просто не годится — еще, чего доброго, донесет, лишь бы только не платить никому...

Нет, что ни говори, жизнь его пока складывалась неплохо, очень неплохо, особенно если оглянуться на то, с чего он начинал... Неполучившийся ак-

тер, мелкий администратор на побегушках, вечная суета, погоня за копеечным заработком — не дела, нет, делишки, боже мой, какая мелочь, одно слово, шахер-махер, вспоминать сейчас, и то совестно; стерва жена, ни в грош не ставившая его и изменявшая ему направо и налево с кем попало: однажды было дело, он даже застукал ее с каким-то мальчишкой-фарцовщиком, из тех, что вечно околачиваются у подъездов «Астории» или в аэропорту... Балерина... Шлюха, а не балерина... Теперь-то, небось, локти кусает с досады: кому ты, старая дура, нужна в свои сорок-то лет, скажи спасибо, что хоть в деньгах не знаешь недостатка, да и то не ради тебя, ради дочери, тебе бы и рубля не послал — иди на панель, зарабатывай, а не можешь, так хоть с голоду подохни, мне-то что за дело, я-то свое с тобой, слава богу, отмучился, отслужил...

Все изменилось — и изменилось в принципе,— когда он решился, наконец, бросить эту ведьму, женился на Регине и перебрался из Ленинграда в Москву. Конечно, это было трудно, что называется, с кровью отрывал... Дочь... Дочь он любил без памяти — пушистое, ласковое существо, с аршинными ресницами, с глазами, в которые бы только смотреть и смотреть и забыть, не помнить, что здесь же, за другой дверью, начинаются грязь, ужас, визг, черт знает что... Но он и сейчас перед ней чист, считай, что она уже обеспечена до конца жизни, еще и внукам останется, а отношения у них сохранились прекрасные, даже лучше, чем с Максимом, сыном от Регины: правду говорят, что для отца дочь всегда дороже, чем сын... Как она виснет у него на шее, когда он приезжает! И не в деньгах дело, не в подарках и не в том, что он одевает ее с ног до головы, что он устроил ее в театральный институт, познакомил с тем, с кем надо, дорога ее уже и сейчас ясна, не будь только дура, а она не дура, нет,— а в том, что они друзья, что они понимают друг друга с полуслова и никто им не нужен, когда они вдвоем: могут целый день прогулять вместе по Павловску или Петергофу и говорить, говорить... О чем говорить? Да неважно о чем, важно, что им хорошо вдвоем, без всякой натуги хорошо, а слова что, слова — это все так, дым...

В Москве, конечно, тоже поначалу пришлось побегать, не без этого, но здесь все-таки было легче, видимо, он сразу ухватил именно тот стиль поведения, который только и был единственно верным: скромно, с достоинством, не слишком выделяясь, но и не давая в то же время наступать себе на пятки, выполнял свои обязанности, присматривался, осторожно, исподволь налаживал связи, если надо — не скупился, но и не был дураком, не пускал пыль в глаза, учился, читал, охотно ходил в гости и так же охотно звал к себе, нередко вкладывая и деньги, и время в людей, польза которых в данную минуту была не совсем ясна даже для Регины, не говоря уже о других, а ему — ему видна, только не сейчас, а потом, в перспективе... Что ж, все, как должно: сначала администратор плохонького театра, потом — хорошего, теперь заместитель директора того же театра, не сегодня-завтра его же и директор, ведь эта развалина, этот красноносый пьяница, ясно же, долго не протянет, еще год, два — и на пенсию, никто ж тогда не будет искать топор под лавкой, вот он — готовая замена, молодой, сорок пять лет, профессиональная подготовка вполне на уровне, отношения с коллективом прекрасные, с райкомом тоже, в министерстве его знают, к его мнению прислушиваются... Все налажено, все идет само собой, теперь только терпение, только бы не оступиться, не сделать ни одного неверного шага, построить трудно, а вот развалить — развалить большого ума не надо, сам не сумеешь — другие помогут, за этим дело не станет, охотников на это, как говорится, хоть пруд пруди...

Неоценимое преимущество нынешнего положения Суханова заключалось в том, что он везде был свой: входил ли он один или со своей женой — женщиной холеной, статной, одетой всегда просто и дорого, с тщательно уложенной головой, пара камушков в ушах да перстень на пальце, больше ничего — в какой-нибудь клубный ресторан, в ВТО, Дом кино или Дом литераторов, он был здесь по праву, и никому даже в голову не приходило задаться вопросом, зачем, почему он здесь, а не где-нибудь в другом месте; видели ли его на концерте, на прогоне или премьере нового фильма — удивительно было не то, что он сидит, как обычно, во втором ряду или в ложе, а почему его нет или по крайней мере нет его жены; сидел ли он в президиуме важного собрания — это тоже было всем понятно, в конце концов уважаемый, заслуженный человек, ценный работник с большой перспективой на будущее; наконец, если он попадал в круг деловых людей или серьезных игроков, его и

там всегда встречали с почтением, а некоторые и с явной завистью — сумел же вот устроиться человек, и денег, говорят, немало, и положение блестящее, что называется, комар носа не подточит, и связи — дай бог каждому, и держаться умеет так, что невольно делается неловко за свое безысходное плебейство, или дурно сшитый, слишком броский костюм, или за свою клушу-жену, которую показать-то на людях — и то стыдно.

Этих-то он особенно понимал, прекрасно понимал и даже по-своему сочувствовал им. Было время — да и сейчас приходилось нередко наблюдать нечто подобное, но уже как бы со стороны,— когда и он, уже не бедный, очень не бедный человек, попадая по случаю в дом к какому-нибудь тихому, невзрачному доктору, даже и не выговоришь, каких наук, или к какому-нибудь взлохмаченному очкастому литератору, из тех, кого не печатают и печатать-то, наверное, не будут никогда и ни за что, тоже испытывал это обидное и ничем, казалось бы, не оправданное чувство приниженности. Почему? А черт его знает, почему. И одежонка вроде бы никудышная, и мебелишечка дрянная, и на столе сплошное убожество, и цена-то хозяину вместе с хозяйкой грош в базарный день, а вот поди ж ты, не ровня ты ему — и все, и даже если крикнуть, что ты покупаешь сейчас их всех, на корню, с потрохами, со всеми их книгами, со всей их умственностью — на дверь и то не укажут, пожмут только плечами, и больше ничего... Но и с этими теперь, считай, что наладилось, если и сам он все-таки еще чуть-чуть, но чужой, то Регина-то везде своя, даже и среди этих людей: красивая женщина — она везде красивая женщина, будь ты хоть десять раз академик, к тому же и актриса она неплохая, какое-никакое, а имя уже есть...

Ну, а что касается деловых людей — здесь-то он может потягаться с любым, без всякого хвастовства. А что? Все есть, никаких проблем что-либо достать уже давно не существует, дом — полная чаша, не дом даже, а музей, номер машины — 00-04, свой парикмахер, свой стоматолог, своя сауна, в любом ресторане — свой метрдотель, портной — лучший в городе, все действует с точностью часового механизма, телефонный звонок — и беспокоиться не надо, еще и на дом принесут, и никаких особенных усилий, две-три контрамарки на хороший спектакль — и нужный человек на крючке... Дача? А на кой черт ему дача? Без нее спокойнее. В любую минуту в любом отеле страны — номер его, два-три звонка — и в каком хочешь доме творчества, хоть в Подмосковье, хоть в Прибалтике, хоть на юге его ждут не дождутся, и, естественно, не одного, с семьей, а если очень надо, то и не с семьей... Валюта? Вот это уж нет, ни в коем случае — что он, враг самому себе? Ему еще жить хочется, а с этим делом чуть какая оплошка — и конец, скажи спасибо еще, если жив останешься, государственная безопасность, с ней шутки плохи... Свои-то, отечественные, деньги пока еще никто не отменял и отменять не собирается, на его век хватит. Камни, фарфор, книги наконец — это другой разговор. Это надежно, у Регины хороший вкус, она знает, что покупать, кроме того, есть специалисты, на которых можно положиться, да и от инфляции хорошая страховка, они ведь не дешевеют — дорожают с каждым днем... Но: осторожность, осторожность и еще раз осторожность! Как однажды сказал его друг по картам, директор писчебумажного магазина: «Глеб, я могу делать в месяц и пять, и десять тысяч. Но я делаю две — и сплю спокойно...» Конечно, до этого блаженного состояния ему еще не близко... Впрочем, и не так уж далеко... Пару-тройку лет хватит, назначат его директором, тогда и можно будет со спокойной душой отойти от дел. Куплю тогда дачу в Переделкине, буду тюльпаны разводить, в гости ходить к хорошим людям, играть по маленькой, книжки читать... Дочь, Алену, в Москву перетащу, в кино пристрою, с ее-то данными ей сам бог велел, не в дыре же этой прозябать ей всю жизнь... Максима еще надо в люди вывести: мальчишка смышленый, лучше бы его пустить по ученой линии, а не получится — тоже не беда, найдем что-нибудь другое, можно и во Внешторг или в дипломаты попробовать, пусть поездит, посмотрит мир, была бы основа, чтобы не суетился на первых порах, ну, а это-то — что-что, а это-то мы ему создадим... Ведь это возможно, это же действительно возможно... Есть же такие люди, и он знает их сам, лично знает, не по легендам, не по рассказам других — ничего им теперь не страшно, а ухватить их никак не ухватишь, и в то же время все, что нажито, при них... Вон Арменак, старая лиса... Большое дело имел в Баку, миллионное дело, а теперь тихий, скромный завхоз поликлиники в Кузьминках, пенсионер, откуда что — поди теперь докопайся, докажи, дело-

то ликвидировано, следов никаких, десяток лет уже живет себе на даче припеваючи, меценатствует, лошадками интересуется, внуков растит... Ну, а он, Суханов, что — хуже других? Все рассчитано, все выверено десятки раз, там, где надо,— уже давно соломки постелил, придется падать, не дай бог,— так не до смерти же. Небось не расшибется, в крайнем случае — злоупотребил влиянием, а денег — денег никаких, это уж вы бросьте: на выговор — согласен, наказывайте, прошляпил, век живи — век учись, прошу дать возможность загладить свою вину, оправдать оказанное мне доверие, столько лет без единой ошибки, а как так случилось — и сам не пойму, ей-богу, не пойму... Подвели, сукины дети, доверился, бдительность потерял...

Собственно, опасность может исходить только от трех человек, больше никто к нему теперь прямого отношения не имеет. Да нет, даже не от трех — от двух... Какая опасность — администратор его же театра? На трезвую, холодную-то голову? В сущности, никакой. Ни в каких левых делах сам Глеб Борисович теперь уже не участвует, хватит — набегался в свое время, пусть теперь этот побегает, повертится, человек он молодой, ему еще расти, всякие там левые концерты — его забота, ну, а что ему, Суханову, тоже ежемесячно полагается конверт — так это что ж, от этого в любую минуту можно отпереться: мол, знать ничего не знаю, это он мне давний долг вернул — и больше никаких, не впутывайте меня в свои делишки, как хотите, так и разбирайтесь, я — вот он я, весь на виду... Знал, говорите? Ничего я не знал — все поклеп, клевета, подсиживанье, враги свалить хотят, место для кого-то расчищают... Разве можно верить таким людям? Мошенники, христопродавцы, сами же видите, какой народ.

Но это все так, мелочь, на текущую жизнь: серьезные дела делались, конечно, не там, не в театре — в другом месте, а вот там-то и был действительный риск. Весь свой основной капитал Суханов — на паях — вложил в обширное мануфактурное дело. Компаньон Захар Григорьевич, давний его знакомый, был человек проверенный, надежный, вел все дела сам и ответственность в случае чего по договоренности брал тоже на себя, один. Но кто и за что может ручаться в таких делах? Конечно, Суханов лишь финансировал предприятие — а кто это знает, кто видел, где доказательства, где хоть одна расписка? — а в остальном был у того лишь вроде консультанта по связям, знакомил его с кем надо в министерствах и других учреждениях, ну, участвовал еще в выработке общей политики предприятия, указывал иногда на некоторые новые возможности, советовал ему по части маркетинга, но, помимо компаньона, нарочно не знал никого из дела, упаси бог — специально не знал, ни одной души. И передача полагающихся ему, Суханову, доходов тоже вроде бы была организована очень продуманно, с постоянной оглядкой, нет ли где какого хвоста: происходило это обычно в его машине, где-нибудь на пустом отрезке шоссе за городом или здесь, в тихом арбатском переулке, кроме того, в машине была оборудована маленькая хитрость — секрет фирмы — так, что в любой момент пакет с деньгами можно было сбросить, а там — пойди докажи, и тот, и другой знали свое дело, все-таки тоже ведь не дураки... Если Захар Григорьевич горел — какие могли быть претензии к нему, к Суханову? Старый знакомый по бильярду, исключительно симпатичный человек, умница, к тому же большой поклонник моей жены, домами даже встречались раз-другой — не часто, нет, этого не скажу,— беседовали иногда, бывало, спрашивал мое мнение о некоторых людях, иногда просил познакомить кое с кем... Зачем? А почему не познакомить? Мне-то какое дело? Мало ли зачем они ему нужны? В миру ведь живем... Такой порядочный, респектабельный человек, кто бы мог подумать... Деньги? Мне? Какие деньги? Вы что, шутите? Он говорит? Да мало ли что он говорит... Вот негодяй, не ожидал... У вас что, есть доказательства? Ах, нет? Ну, тогда до свидания, мы свои права тоже знаем, не худо бы, между прочим, и извиниться на прощание, не очень-то это все красиво с вашей-то стороны... Все это так, конечно... Все так... И все-таки — холод, омерзительный, сосущий холод внизу живота который уже год подряд, стоит лишь подумать об этой другой его жизни, о которой никто, даже Регина — и та толком почти не знала ничего...

И это еще не все: похоже, он все-таки перемудрил в своей осторожности. И зачем ему понадобилось впутывать в эти дела еще и театральную кассиршу? Впрочем, зачем — понятно: вполне естественное опасение, что деньги, которые ему передавал Захар, рано или поздно могут быть помечены, гораздо спокойнее обменять их на кассовую выручку — и дело с концом. Но за это, во-первых, надо спать с этой женщиной, а спать, разумеется, не хочется, а она дуется, обижается, если интервалы слишком велики, во-вторых, все время ломать себе голову, что ей подарить, ну, а в-третьих — в-третьих, в случае чего это-то как объяснишь? Нет, с этим надо кончать, пока не поздно: в конце концов меньше риска — пачка денег, пусть и помеченных, но запрятанных в одному ему известном тайнике, а не эта баба. Кто ее знает, что ей вдруг в голову взбредет? Говорит, что любит, а хуже этого, как известно, нет ничего: попробуй в их душе разберись, что хочет, то и выкинет, с тобой вместе сядет и всем же потом будет говорить — по любви...

Он успел уже покончить с закуской, когда эти двое подошли к его столу. Одного — по прозвищу Фрегат — он знал, это был такой же постоянный, как и он, посетитель бильярдного зала, несколько раз они даже играли друг против друга, игрок был хороший, нечего сказать, сильный игрок, только весь какой-то оборванный, длинный, худющий, лопатки торчком, на плечах перхоть, вроде как бездомный, присмотреть, небось, и то некому, ясно, живет один; впрочем, даже и это по-своему говорило в его пользу — профессионал, не ошибешься, одной игрой, значит, жив человек, на остальное на все наплевать. Другого — довольно представительного мужчину лет тридцати пяти, в кожаном пиджаке, с атташе-кейсом в руках — он тоже где-то видел, только не мог вспомнить, где: наверное, на бегах, где же еще, не так уж много в Москве мест, где может примелькаться даже и незнакомый человек. Фрегат, поздоровавшись, попросил позволения присесть — зал успел уже наполниться, было обеденное время, московский служилый люд пошел косяком, официанты вихрем носились от стола к столу. Делать было нечего, Суханов любезно кивнул головой, хотя в принципе этого не одобрял и не любил: что за привычка дурацкая — обязательно подсаживаться, а может, человек хочет быть один, люди надоели, имеет он на это право или нет?

Подошел официант. Фрегат и его спутник заказали — заказали солидно, по полному развороту, не по дежурному меню. Такой заказ нужно было ждать, но, судя по их виду, они никуда не торопились и согласны были ждать: здесь хорошо — чистота, тепло, уют... Стол их стоял в углу, у окна, и если Суханову отсюда был виден почти весь зал, то подсевшие к нему, наоборот, уселись к залу один спиной, другой боком, да еще и стулья сдвинули поближе, и сами придвинулись плечо к плечу. Суханов вскоре понял, в чем дело: они играли, вернее, продолжали уже начатую где-то перед тем игру. Играли в штосс. Ну, что ж, играли так играли, значит, так надо, прихватило, не нашли вот другого места — и все, эка важность — обед: игра есть игра, и не ему их осуждать.

Суханов сидел, рассеянно ел свой суп, изредка перехватывал обрывки фраз, которыми обменивались игравшие, но в суть их не вникал, мысли его были далеко... Как раз на днях ему пришлось принять одно серьезное, очень серьезное решение: Захар предложил расширить дело, открыть филиал в Калуге, Суханов, хотя и не без колебаний, согласился, но, естественно, для этого нужны были деньги, некоторый начальный капитал, условия те же — на паях, пятьдесят на пятьдесят. Пришлось-таки основательно потрясти все свои наличные ресурсы, какое-то время теперь придется быть поскромнее, жди, когда еще этот филиал начнет приносить доход... Кроме того, Захар что-то много стал нервничать в последние дни, чует ли что, боится или просто так, усталость сказывается: предложил подумать над каким-нибудь другим, более надежным способом передачи его, Суханова, доли в дивидендах, без личных встреч, в машине ли, не в машине — все равно. А что придумаешь? Не под камень же класть. Сиди теперь, голову ломай... Но и сердиться на компаньона тоже нечего — сердце, значит, подсказывает, за дело болеет человек, за них же за обоих тревожится... А в голове ничего, пустота — в пору хоть детективные романы начать читать... Барин, устроился в эмпиреях! Смотри, Суханов, совсем мышей ловить перестанешь, эдак можно и вконец от жизни отучиться... Ладно, что-нибудь придумаем... Школа за плечами неплохая, солидная школа, главное только — не спешить, не хвататься за первую попавшуюся мысль...

— Глеб Борисович,— неожиданно прервал его размышления Фрегат.— Может, войдешь в одну десятую, а? На счастье? Что-то уж больно везет... Боюсь, не по заслугам — по грехам... А у тебя — тьфу-тьфу, не сглазить бы — рука легкая, давно замечено. Не только в игре — во всем...

Принесли графинчик с водкой, закуску, пару бутылок минеральной воды. Фрегат, не спрашивая его согласия, разлил по рюмкам всем троим — пришлось выпить, отказываться было не в его правилах: как говорится, не плюй в колодец, еще пригодится человек, мало ли что...

— Ну, господи благослови... Так как, Глеб Борисович? В одну десятую? Идет? А?

— Настаиваешь?.. Ладно, идет... Только не зарывайся. Я не очень при деньгах.

— Так и мы по маленькой... Сам знаешь, какие наши доходы. Не в Монте-Карло живем...

Почему он согласился? А черт его знает, почему... По дурости. Подумалось: откажешься — скажут, брезгует, стесняется, возомнил о себе неизвестно что... Нет уж, попал — значит, попал, держись, сохраняй лицо, дешевле проиграть десятку-другую, за репутацию ведь тоже иногда надо платить... Вот, с народом посидел, человеку уважение оказал — это тоже капитал, тоже зачтется, обязательно зачтется, неважно, где и на каких счетах, жизнь этот баланс строго соблюдает, не раз уже он убеждался в этом и на себе, и на других... Какое-то время Суханов следил за игрой, потом, убедившись, что игра честная и ставки не выходят за пределы обычных — сотня туда, сотня сюда,— опять задумался, отвлекся, перестал следить...

Дела, конечно, делами... Но главная забота его была сейчас другая, огромная забота, больше, чем любое дело, и эта забота теперь ни на минуту, ни днем, ни ночью не выходила у него из головы. Никогда он не думал, никогда и в мыслях даже не мог предположить, что ему когда-нибудь придется решать такой вопрос. Конечно, он знал, слышал, что в последние годы кое-кто именно так пытался устроить или уже устроил свою жизнь, некоторых он даже лично знал, но все это касалось не его, все это было как-то вне его, вне его привычек, убеждений, привязанностей, планов на будущее, да в конце концов всего, что составляло его жизнь,— ни много ни мало сорок пять лет...

Свалилось это как-то сразу, без всякой подготовки, как снег на голову и, честно говоря, чуть не впервые в жизни он растерялся... И чем дальше, тем больше чувствовал, что этот узел ему теперь так просто, без какого-то чудовищного ущерба ни развязать, ни разрубить...

Месяц назад, вечером, когда они оба вернулись из театра и сидели на кухне, тихо-мирно пили чай, Регина вдруг ни с того ни с сего, на полуслове, оборвала привычную болтовню о каких-то светских пустяках и резко, локтем отодвинула чашку, так что она даже тренькнула, сказала, глядя ему прямо в глаза:

— Глеб, все, хватит. Я хочу, чтобы мы уехали.

— Куда?

— Куда? В Швейцарию, в Голландию, в Америку наконец — куда хочешь, мне все равно.

— Куда?!

— Не валяй дурака. Ты прекрасно понимаешь, куда. Мы должны уехать, Глеб. Я больше не могу. Не могу и не хочу.

— Ты что, с ума сошла?!

— Ничего я не сошла. Я уже давно об этом думаю. И удивляюсь, почему не думаешь ты. У нас же есть эта возможность, ты же знаешь, я могу устроить вызов... Глеб, надо уезжать. Уезжать, пока не поздно...

— Что ты имеешь в виду?

— Все.

— Что — все? Мои дела?

— И твои дела, и свои дела — все. Я больше не хочу, Глеб. Мне невыносимо, мне тошно здесь! Хоть криком кричи... Каждый раз, как я надеваю свою шубу, мне все кажется, что я делаю что-то до такой степени неприличное, что меня сейчас схватят, арестуют... Камнями закидают, Глеб! Неужели ты не понимаешь, что больше так нельзя?.. Еще пять, десять лет — и я старуха, Глеб!

У него тогда хватило твердости довольно резко оборвать этот разговор. Но оказалось, это было только начало: Регина, видимо, твердо решила поставить на своем и теперь каждый вечер обрабатывала его со свойственной женщинам методичностью, пуская в ход поочередно, а то и разом слезы, уговоры, логику, нежность, угрозы — все. Бороться с ней было трудно, ох, как трудно, и эта борьба в последнее время порядком измотала его. Брала она, что называется, измором, на каждое его возражение у нее заранее был припасен продуманный, четкий, ясный ответ, иногда мягкий, а иногда, наоборот, пропитанный таким ядом, такой злобой, что он только диву давался — откуда все взялось.

Медленно, но верно его припирали к стене.

— Березки? Ах, березки...— говорила она.— Друзья? Это какие друзья? Твои, что ли? С каких это пор у тебя появились друзья?.. Твои интересы? Твоя творческая жизнь? Глеб, не смеши... Дела? А что дела? Ждешь, пока тебя посадят? Дождешься. Обязательно дождешься. А с нами-то что тогда будет, ты хоть думаешь иногда?.. Там? Что ты там будешь делать? Это с твоим-то умом ты себе дела не найдешь? Для начала у нас с тобой хватит, да и помогут нам, не может быть, чтобы не помогли, а там — ты-то да не пробьешься? А я? Меня-то что, совсем уж ни за что считаешь?.. Язык? За год выучишь... Связи? А на кой черт тебе там эти связи? Все, ради чего ты их здесь наладил, там-то идет само собой... Состояние? Придется все бросить? Это почему? Неужели ты, с твоим-то опытом, спокойно, не торопясь, не дергаясь, не переправишь его туда? Сумели же другие, сумеешь и ты, пошевели мозгами, не мне тебя учить... Сын? А что, Гарвард — это хуже пищевого института? Ты лучше его самого спроси... Дочь? Алена? Опять Алена? Все на свете — Алена! Так всю жизнь и будешь цепляться за нее? Это сейчас ты пока еще ей нужен, выскочит замуж — атанде, папаша, за подарочки спасибо, а так — у вас своя компания, у нас своя, перестаньте, пожалуйста, путаться под ногами, некогда мне, извините — не до вас...

Собственно говоря, в результате всех этих дискуссий у него остались только два аргумента, но оба достаточно весомых: во-первых, не хочу, во-вторых... во-вторых, действительно Алена... Не хочу я, понимаешь ты, черта кукла?! Не хочу! Я вырос здесь, у меня здесь все свое и все свои, я никого не знаю там и знать не хочу, я уже не мальчик, мне любой фонарь теперь на улице дорог, старики мои уже который год на Немецком рядом лежат... Куда мне рваться? Мне и здесь хорошо. Опасно? Да, опасно. Ну так что ж? Я знал, на что шел, я осторожен, еще пару лет — и я лягу на дно, утихну, будет только театр — и больше ничего... Заново начинать? Чтобы там до моего положения пробиться — да кто меня пустит? Кто меня там ждет? Опять спину гнуть, опять извиваться? Хорошо, пусть за другие деньги, за другую жизнь — но кто я там? Никто! Ничтожество... И Алену не трожь. Я тебя люблю, уважаю, я буду благодарен тебе всю жизнь, но ее — не трожь... Все пройдет, а Алена останется... Ладошки ее, ресницы, нос, к которому так хорошо, так мучительно — до дрожи — хорошо прикасаться губами... Пальцы ее, быстро-быстро, сетью, окидывающие тебя: трог-трог-трог, легкими, еле уловимыми касаниями по вискам, по глазам, по скулам, окаменевшим от напряжения,— только бы не спугнуть, не выдать себя, не дыхнуть вчерашним перегаром или чем-нибудь еще... И этот хрустящий хрящик уха: отодвинешь прядь, чуть прикусишь зубами — смеется: «Ой, больно, папа, не кусайся, ты же не собака...» Куда я поеду?! Никуда я не поеду! Езжай сама... А ведь уедет... Как пить дать, уедет... Плюнет на меня и на все — умная баба, жесткая, за это и люблю... Развод? Опять развод? Сколько ж можно... И сына увезет — не оглянется...

— Глеб Борисович,— прервал его все тот же тусклый, вялый голос,— плохо дело... Не повезло нам с тобой... Сорвал банк, стервец... С тебя сто тысяч...

— Ск... сколько? — поперхнулся Суханов.

— Сто тысяч... Ну, а с меня, как сам понимаешь, девятьсот...

— Т-т-ты... ты... что?! Спятил?!

— Да нет. Слава богу, пока в здравом уме... В банке же был миллион, Глеб Борисович... Десятая доля с тебя. Уговор...

— К-к-как?! Когда?!

— Да ты же рядом сидел! Ты что, не слышал, что ли? Был миллион, он пошел ва-банк... Не повезло, конечно... Что поделаешь — игра... Я бы сейчас, например, не отказался поменяться местами с этим молодым человеком... Да ты не волнуйся, Глеб Борисыч. При себе нет — после отдашь, он нам с тобой на слово поверит. Человек ты известный, на виду...

— Что ж вы делаете?.. Христопродавцы... Уж лучше бы с кистенем...

— Глеб Борисыч, ай-ай-ай... Тебе-то уж вроде бы не к лицу. Зачем та-

кие слова? А мне, по-твоему, что ж тогда делать? Вешаться?.. Володенька, запиши-ка на бумажке Глеб Борисычу свой телефон. Ты уж нас, голубчик, извини, с недельку придется подождать... Такие деньги нам с Глеб Борисычем за вечер не собрать... Подождешь? Согласен? Ну, вот и умница...

— Бандиты... Шулера...— задыхался Суханов.— Это я-то — лох? Это я, по-вашему, фраер? Ты понимаешь, Фрегат, что ты делаешь? С кем ты связываешься? Понимаешь?

— Понимаю, Глеб Борисыч, все понимаю... Что ж тут не понять?.. Ты человек великий, а я маленький... Только на меня-то ты за что сердишься? Если кого сейчас и жалеть — так меня, не тебя... Для тебя пустяки, а мне теперь конец... Я теперь, считай, на всю остатнюю жизнь у Володеньки в кабале...

— Ну, Фрегат... Ну, Фрегат...— хрипел Суханов.— Ты меня еще не знаешь... Ты меня не знаешь... Шею сворочу, гад ползучий! Попомнишь ты меня... Я тебе обещаю... Ничего не заплачу, мерзавцы! Ничего!

— Нехорошо, Глеб Борисыч... Нехорошо... Ай-ай-ай, как нехорошо... Не ожидал... Ничего, это ты пока в волнении, придешь в себя, подумаешь... Будь здоров. Через недельку-то уж, пожалуйста, сделай милость, объявись...

Этот подонок даже не счел нужным довести до конца свою роль: он скорчил победную, гадостную рожу, нагло рассмеялся, обнажив гнилые зубы, и, вставая, даже подмигнул своему партнеру: мол, так-то, брат, учись. Они расплатились по счету и ушли, оставив Суханова подыхать от ярости, от жгучего презрения к самому себе — к себе, такому удачливому, такому умному, такому выдающемуся всего пять минут назад, а на самом деле, как оказалось... Стыд, какой стыд, унижение, позор... Дерьмо! Полное дерьмо. Боже мой, какое же дерьмо... Мордой об стол, в тарелку, за загривок, да еще потерли, повозили туда-сюда, чтобы знал, чтобы чувствовал — не заносись, не распускай перья, может быть, ты и умный, но и поумнее тебя люди есть, не тебе чета... Пижон! Шляпа!.. Стыд, господи, какой стыд... Хоть провались на этом месте... К чертовой матери, в тартарары...

Ночью он вдруг поразительно четко, как при вспышке света в темноте, вспомнил, где он видел этого парня с атташе-кейс: ну, конечно же, в свите, в хвосте у Семена, известнейшего московского профессионального игрока, игравшего во все, во что только можно было играть,— на бегах, в бильярд, в железку, в карты, в нарды, в домино, чья возьмет — Спасский или Фишер, в кости, в спринглото... Этот парень вечно маячил на ипподроме у Семена за спиной, ясно — был на подхвате у него, а теперь вот, как видно, созрел, вышел в самостоятельную жизнь... Вышел... Это называется — вышел... В муромских лесах ему место, подлецу, с ножом за голенищем, на большой дороге, а не здесь... Собрать бы эту сволочь разом и выселить за сто первый километр, пусть там режут, раздевают друг друга... Как же, выселишь... Эх, куда только власть смотрит, занимается черт-те чем, а что под носом у нее делается — никому и дела нет, наплевать...

В восемь утра Суханов уже сидел в одной шашлычной на Арбате, где по утрам подавали хаш и где, как он знал, обычно завтракали тотошники перед тем, как ехать на бега. Он не ошибся — Семен тоже был здесь: плюгавый, золотушный человечек неопределенного возраста, с ушами, как два локатора, торчащими в разные стороны, остреньким носом и маленькими красными глазками без ресниц...

— Семен...— начал он, подсаживаясь к нему.

— Знаю, Глеб Борисович, все знаю. Примите мои искренние соболезнования. Что и говорить — не повезло...

— Это ваш человек, Семен.

— Мой?! Да что вы, Глеб Борисович! Я, конечно, знаю его, но сказать, чтобы это был мой человек,— нет, Глеб Борисович, это вы слишком. Он играет от себя, я тут ни при чем.

— Семен, предупреждаю — я не буду платить. Более того, если ваши люди станут мне угрожать, я буду вынужден сообщить куда следует... Я всегда уважал вас, Семен, считал за игрока, крупного игрока... А выходит... Выходит, вы просто уголовник? Кандидат за решетку? Так я вам помогу туда попасть, Семен, будьте уверены, помогу... За мной дело не станет...

— Бросьте, Глеб Борисович... Не надо, не швыряйтесь зря словами — здесь народ не из пугливых... Вы умный человек и прекрасно понимаете, что не вам сейчас диктовать условия... А если соответствующие органы узнают,

что скромный театральный деятель в пять минут просаживает сто тысяч? Откуда у него деньги на такую игру? Ведь вам конец тогда, Глеб Борисович, не мне вам объяснять. И, как вы понимаете, узнать им об этом ничего не стоит... А ваша репутация в деловом мире? Вы об этом подумали? Суханов не платит карточные долги — да кто вам хоть на грош поверит после этого? Нет, Глеб Борисович, давайте лучше прекратим этот бесполезный разговор... Игра есть игра, придется платить. Насколько я знаю, у вас есть еще неделя — так не тратьте ее зря на пустые препирательства, если не деньги, то хоть нервы сэкономите. В наше время это тоже кое-что...

Ужасно, но мерзавец был прав, абсолютно прав. Выхода не было — надо платить. Но где взять денег? И столько денег? Наличными, если не продавать ничего из дома, у него сейчас было немного, всего тысяч десять, не больше — калужский филиал, по крайней мере на время, основательно сократил его возможности. Продать что-нибудь из картин или антиквариата? Не хотелось бы, да и нельзя. Во-первых, сразу поползет слушок: Суханов начал продавать свой музей, что бы это значило, как вы думаете, дорогие товарищи, а? Во-вторых, Регине незачем знать обо всей этой истории, попреков потом не оберешься, всю жизнь будет вспоминать, а продать серьезную вещь так, чтобы она не заметила, невозможно, заметит, все заметит, глазастая баба, черта с два от нее что-нибудь утаишь. Значит, оставалось одно — занимать. Но и занимать надо с умом, не у каждого встречного и, разумеется, не по мелочам: чем меньше людей будет втянуто в это дело, тем лучше. Семен прав: что-что, а огласка ему в данном случае совершенно ни к чему, не хватало еще поскользнуться вот так, на ровном месте, без всяких на то причин. Жил-жил, и вдруг — на тебе: банановая корка под каблуком — и поминай как звали, так грохнешься — костей потом не соберешь, ни своих, ни чужих... Но этим мерзавцам я отомщу, я не я буду, если когда-нибудь не отомщу... Ничего, терпение, главное — терпение, придет когда-нибудь и мой черед...

Все получилось так, как он рассчитал. Тридцать тысяч дал Захар, обругав его при этом дураком и пригрозив отделиться от него, если подобное беспутство будет продолжаться и впредь. Двадцать тысяч удалось перехватить у старика Арменака, пришлось сказать ему, что, дескать, присмотрел хороший дом, хороший участок, дело, безусловно, стоящее, но только очень дорого, надо залезать в долги, а к кому же еще обращаться, как не к нему? Старик, по крестьянской своей натуре, больше всего на свете ценил недвижимость и очень радовался, когда молодые и, как он считал, способные люди в конце концов приходили к тому же, к чему и он: все-таки есть вечные истины на земле, как вы ни колготитесь, как ни бейтесь, никому и никогда их не отменить, жизнь все равно возьмет свое. Писчебумажный магазин дал двадцать тысяч, даже не спрашивая на что: он искренне симпатизировал Суханову, можно сказать, любил его — надо, значит, надо, ради бога, Глеб, возьми, тем более что для него самого это было такой безделицей, что об этом даже совестно было и говорить между серьезными людьми... Оставалось достать еще двадцать, и вот за этим-то он и приехал сегодня в Ленинград: здесь жил, действовал один старый его друг еще по тем прежним, полуголодным временам, теперь он был большим человеком, делал большие дела, и Суханов очень надеялся, что по старой дружбе он-то уж, конечно, не откажется помочь...

И где его черти носят? Целый день он обзванивает все телефоны и никак не может его найти: и жене, и всем приятелям, и на работе сказал, что он здесь, ждет его в таком-то номере гостиницы «Европейская», что тот позарез нужен ему. Уже начало темнеть, уже зажглись огни и на улице, и у подъездов филармонии, уже на тротуарах, на Невском закипела вечерняя жизнь — хоть бы звонок от него, хоть бы голос его услышать, с ума можно сойти от ожидания, целый день — из угла в угол, из угла в угол, как в клетке, он ведь тоже не железный... Алене, что ли, позвонить? Конечно, лучше бы не сейчас, лучше с легким сердцем, когда все печали будут позади, но можно и сейчас, хоть пощебечет что-нибудь в трубку, а может, и поужинают вместе, глупо — сидеть так, как прикованному, у телефона весь вечер, а что, если Савелий в дыму, в загуле, тогда раньше, чем завтра утром, и надеяться нечего, ни с какими собаками его теперь не найдешь...

— Алена? Это я.

— Папа? Приехал? Ой, какой ты молодец!

— Приехал. И должен тебе признаться — соскучился до смерти... Ты что делаешь сегодня вечером?

— Папа, миленький, не обижайся, сегодня не могу.

— Жаль. А завтра?

— Завтра? Хоть с самого утра... Слушай, осень началась, давай махнем в Царское, а? Поедем в Царское Село! Свободны, ветрены и пьяны...

— Там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло...

— Казармы, парки и дворцы...

— А на деревьях — клочья ваты...

— И грянут «здравия» раскаты на крик «здорово, молодцы!» Папа, какой ты умничка! Значит, решено, поехали, да? Когда ты завтра за мной заедешь?

— Подожди, дай подумать... Наверное, часов в девять... Это ты хорошо придумала, возьмем такси — и на целый день. По крайней мере уж до обеда-то точно...

Савелий все не звонил, и тоска от неприкаянного вечера, от всей этой нескладности последних дней становилась почти невыносимой... Уйти, сбежать? Некуда... Напиться? Тоже не с кем. Савелия нет, а больше в таком состоянии видеть никого не хотелось: сиди, вымучивай там что-то из себя, улыбайся, а на душе кошки скребут, и единственное, чего хочется,— послать бы всех, весь мир, к такой-то матери, глаза бы не глядели ни на что... Есть еще, конечно, лекарство, да, но где кого сейчас найдешь? Оторвался он от здешней жизни, все мелкие связи оборваны за ненадобностью, не снимешь, как в былые времена, трубку, не скажешь: «Приходи»...

Было уже восемь, когда телефон, наконец, зазвонил.

— Савелий? Ты? Где ж ты пропадаешь, старый хрен? Ты не представляешь, как ты мне сейчас нужен!

— Прости, Глеб, дела. Закрутился — дыхнуть некогда... Жду тебя завтра в три. У тебя же там, в «Садко»...

— Завтра?! Да ты мне сейчас, сегодня нужен! Какой завтра?!

— Глеб, не могу. Действительно, не могу, поверь мне. Завтра все объясню... Ведь ты не умираешь, надеюсь, нет? И никто не умирает?

— Нет, никто. До этого пока не дошло. Но мне нужна твоя помощь...

— Завтра, Глеб, завтра. Все, что смогу, сделаю, ты же знаешь, будь спокоен... Только сегодня не могу. Пожалуйста, извини меня, ну, никак не могу, хоть зарежь... И завтра до обеда два длиннющих заседания, я веду, попробуй отмени, уже всех оповестили давным-давно, еще неделю назад.

— Ладно. Черт с тобой! Бросаешь меня тут одного, в полном, так сказать, смятении чувств... Ты бы хоть какую кандидатуру подослал вместо себя, чтобы мне тут не подыхать одному...

— Вот это дело! Так бы сразу и говорил... А то — пожар, пожар, я уж было в подлецах себя почувствовал: старый друг пропадает, а я... Возраст?

— Лучше начинающий.

— Масть?

— Безразлично. Впрочем... Нет, лучше что-нибудь потемнее... Все-таки уже начинаю стареть...

— Понятно. Время?

— Да хоть сейчас... Кстати, тариф-то у вас теперь какой? Обычный? Или особенное что?

— Да нет, обычный, как везде. Ну, и остальное все — по настроению... Значит, так, договорились: сиди в номере, отдыхай, думаю, за час организуем. У меня тут есть один специалист: толковый человек, у него все отлажено — лучше не надо, гарантии полные, не беспокойся ни о чем. И ни за что... Все, пока, старина, до завтра. Не забудь — в три. Жду...

Суханов спустился в буфет, взял бутылку коньяку, пару бутылок шампанского, шоколад, яблоки, расставил все это на маленьком столе у окна, пододвинул кресла, задернул поплотнее тяжелые гостиничные шторы, достал из чемодана пачку хороших сигарет, включил приемник, но негромко, так только, чтобы что-нибудь мурлыкало в углу... Что ж, хорошо, уютно, вот только верхний свет мешает, пожалуй, надо приглушить его, хватит и торшера, настроение сегодня, прямо скажем, не для люстр... Черт, как медленно тянется время. Пора бы уже, кажется, человечку и подойти... В сущности, зря он затеял все это дело: ну, какой из него сейчас любовник? В голове не мозги, а какие-то каменья, даже не каменья — булыжники, вывороченные прямо из мостовой, на душе одна гадость, ноги ватные, руки дрожат... Эх, Глеб Борисович, Глеб Борисович... Да ладно, будет тебе... Что, собственно, произошло? Ну, ободрали на сотню тысяч, ну, жалко, конечно, но ведь не убили же? Нет? Мало ли что бывает в жизни... Сейчас засадишь свой стакан коньяку, человечек подойдет — глядишь, и полегчает, по крайней мере хоть до утра-то да забудется, а там — а там посмотрим, там виднее будет, что к чему. Савелий не подведет, не может подвести...

Суханов сидел в кресле, курил, листал какой-то проспект, забытый здесь, в номере, одним из предыдущих постояльцев, когда в дверь наконец постучали — мягко, осторожно, скорее, даже не постучали — поскребли.

— Да-да, войдите,— встрепенулся Глеб Борисович.— Я жду.

Сквозь полуприкрытую стеклянную дверь из комнаты было видно, как какая-то фигурка в белом плаще проскользнула в маленькую темную переднюю, послышался хруст складываемого зонта, звяканье крючков на вешалке — в темноте плащ, видимо, не сразу попадал на нужное место, срывался вниз, потом щелкнул выключатель в ванной: в полосе света, ударившего оттуда, Суханов увидел лишь прядь густых волос, спущенных ниже плеча, и красное пятно блузки, обтягивавшей грудь и верх спины. Прошла томительная минута, прожурчала вода из-под крана, затем послышался характерный стук — наверное, положила на полочку под зеркалом щетку для волос; из ванной опять ударил свет, и девушка вошла — спокойно, по-хозяйски, как к себе домой. Шаг, другой, третий по направлению к креслу... И вдруг она остановилась, замерла...

— Папа?

— Алена?.. Ты?!

Начинало светать. На столе стояла уже пустая бутылка коньяку, лежало надкусанное яблоко, пепельница была доверху забита окурками, и шампанское тоже было все выпито, выпито, конечно, им одним: Алена тогда, вечером, как узнала его, так сразу же опрометью выскочила вон из номера, даже зонт и плащ забыла — он не стал ее останавливать и, наверное, правильно сделал, что не остановил... Что он мог сказать ей? И что она могла сказать ему?.. Хмель не брал: этот чертов коньяк всегда так, от него только сердце колотится и дрожь во всем теле, да еще, конечно, табачище, вторая пачка вон кончается, попробуй теперь усни. Водки бы сейчас выпить, колуном по голове, рухнуть разом — и нет тебя, гори все синим пламенем, но где ее сейчас найти? Не достанешь ни за какие деньги... Да нет, достать, конечно, можно, не может быть, чтобы у кого-нибудь из таксистов не нашлась бутылка, но надо ж выходить, метаться по улицам, останавливать машины, упрашивать, говорить... И дождь за окном разошелся вовсю, вечером только так, брызгало, а сейчас как из ведра, до нитки вымокнешь, зонта у него нет, не Аленин же брать, в самом-то деле, руки не поднимутся после всего, что произошло... Что теперь делать? Что?! Господи, если ты есть, научи, помоги, нет у меня сил больше никаких, я изнемог, я не знаю, что мне делать, куда идти, что говорить, я не знаю, зачем я всю жизнь бьюсь как рыба об лед, я ведь никому не делаю зла, господи, так за что же тогда? За что?! Не хочешь помочь — так хоть объясни... Молчишь? Ты всегда молчишь, когда ты нужен, наверное, потому-то люди и не верят тебе... Нет, Регина права: уезжать, уезжать немедленно отсюда, к черту, к дьяволу, в Новую Зеландию, к папуасам, к бушменам, куда угодно, только не здесь, ни в коем случае не здесь... Не могу. Больше не могу... А если бы можно было, голову под трамвай — и конец! Но на это тоже нужны силы, я и на это не гожусь... Свет... Свет... Свет так и горит в ванной, надо бы потушить... Вот дрянь: мало того что плащ и зонт забыла, щетку для волос тоже оставила — ничего не скажешь, обстоятельно девушка устраивалась, по-серьезному, надо думать — на всю ночь. Фу, гадость какая: вся щетка в волосах, вычистить, что ли, было лень? Или некогда? Мол, поторапливайся, дело есть дело, неудобно — клиент ждет... Боже мой, но ведь это же ее волосы! Ее! Те самые, которые сначала были светлые, как лен, а потом постепенно потемнели, стали каштановыми, она еще их обрезала однажды под мальчишку, очень ей шло, а в институте опять отпустила, чуть не до пяток, теперь же только так и носят, распустехи, мода, черт бы ее побрал... Интересно, а на это тоже у них мода? Или на чулки не хватает? Но у нее-то нет этой проблемы — на чулки? Нет? Или есть? Тогда, выходит, я мало посылал? Я виноват? Все-таки надо будет поговорить с ней, может, действительно не хватает... Так сказала бы, черт! Разве я от-

казывал когда, хоть раз? А если я уеду, что тогда? Совсем на панель пойдет?.. Живут же люди, маются всю жизнь с больными, с уродами... Нет, Глеб Борисович, сиди, не рыпайся, никуда ты не уедешь и не мечтай: взвалил на себя крест — будь любезен, тащи. Нет для тебя никакой Новой Зеландии и не будет; так и будешь всю жизнь теперь дрожать, вглядываться в каждую встречную на тротуаре — а вдруг она?.. Но Регине... Но Регине ни так, ни эдак об этом ни слова, ни в коем случае ни слова — то-то уж душу отведет, не пощадит, отыграется за все... А впрочем, что Регина... Регина не через месяц, так через год уедет, это уже ясно, ее теперь не остановить... Опять развод, опять суд... И сына увезет... И опять он один... А там... Что там? Господи ты боже мой, что?!

От окна к двери, от двери к окну... Вперед — назад, вперед — назад, по длинному, вытянутому до окна ковру... Дождь перестал, серенький, пасмурный день вполз в комнату, торшер уже был явно ни к чему... Суханов остановился у большого зеркала, взглянул и сейчас же, вздрогнув, отшатнулся: оттуда навстречу ему вдруг выглянул какой-то совсем незнакомый человек — с жидкими волосенками, прилипшими ко лбу, мясистым, набухшим лицом густо-фиолетового цвета, затравленными глазами и безвольно отвалившимся, когда-то тяжелым, мощным подбородком... С лицом Марка Антония, подумалось ему. Марка Антония, проигравшего наконец все — и Клеопатру, и войну.

●

М. П. КАПУСТИН,
доктор философских наук, профессор

От какого наследства мы отказываемся?

Производить как можно больше — потреблять как можно меньше

Миллионы советских людей знают цену подобной словесной трескотне, но философия эти инфлированные бумажки почитала за золотой запас. Она исходила из того, как если бы Программа партии была уже в основном осуществлена, то есть забегала вперед реального развития жизни. Эти моменты получили резкую критическую оценку на январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС.

Итак, лозунги остались лозунгами (кстати, большинство из них по праву оказалось за бортом новой редакции Программы). «Присвоение сущности человека» в действительности не состоялось, поэтому не состоялась и философия. Надобно все начинать с самого начала.

Таким образом, подводя итог, до «действительной жизни», отвечающей уровню развитого социализма, до «положительной действительности человека» наше общество еще не дошло. Мы все еще пребываем на второй фазе «грубого коммунизма» — по Марксу, коммунизма «политического», имевшего в 30—50-х годах «деспотический» характер — бюрократический авторитаризм,— а в последующем — в 60-х — начале 80-х — царила авторитарная бюрократия.

Скептики от нашего ортодоксального марксизма могут заметить, что вся приведенная парадигма по поводу «грубого коммунизма» изложена во фразеологии раннего марксизма (40-е годы XIX века). Что же, это верно, но ничего не меняет: как известно, даже в «Капитале» Маркс, по его собственному признанию, еще «кокетничал» гегелевской терминологией, что не повредило созданию гранитного фундамента классического марксизма. Так же и здесь — фейербахианская (местами) терминология не меняет самой сути воззрения. Это во-первых, а во-вторых, к вопросу о «грубом коммунизме» зрелый Маркс вернулся спустя более четверти века, когда неожиданно обнаружился уже не только теоретический, но и чисто практический аспект проблемы — в связи с «нечаевщиной» в России и альянсом между Нечаевым[1] и всемирно известным революционером-анархистом Бакуниным.

Маркс и Энгельс посвятили сему специальную работу «Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих», где они подробно разбирают теоретическую платформу этого движения, выступавшего под флагом коммунизма, записавшего себя тоже в последователи «Манифеста Коммунистической партии», хотя ни «Катехизис революционера» Бакунина, ни тем более платформа Нечаева не имели с «Манифестом» ничего общего — прежде всего во взглядах на природу коммунизма.

Окончание. Начало см. № 4 с. г.

[1] Нечаев С. Г. (1847—1882) — русский революционер, заговорщик анархистского толка. В эмиграции сблизился с М. А. Бакуниным. Вместе издали серию манифестов от имени фиктивного «Всемирного революционного комитета». Образцом революционизма», доведенного до логического конца, является печально известный «Катехизис революционера». Некоторые современные буржуазные историки увидели в нем один из «корней большевизма». Что касается сталинского «казарменного коммунизма», то основания для подобных ассоциаций налицо.

Например, в «Катехизисе», этом наборе категорических догм «революционизма», устанавливается следующее: «истинным» революционерам подавлять в себе все человеческие чувства, разорвав с законами, приличиями и нравственностью, смело прибегать к компрометации и политическим убийствам во имя высшей цели, оправдывающей такие средства. В основу организации положен диктаторский централизм, предполагавший полную откровенность «от членов к организатору» и исключавший «всякие вопросы от членов к организатору». Рядовые революционеры должны были знать «только те части дела, которые выполнить пало на их долю». (Маркс опубликовал полный текст «Катехизиса» в работе «Альянс и международное товарищество рабочих».)

Отвергнутый всей русской революционной эмиграцией (в том числе и несравненно более благородно мыслящим Бакуниным), Нечаев скитался по Европе, пока в 1872 году швейцарская полиция не сдала его русским властям как уголовного преступника. Приговоренный к 20 годам каторги, он через 10 лет скончался в Алексеевском равелине.

Разбирая работу С. Нечаева «Главные основы будущего общественного строя», Карл Маркс приводит из нее ряд выдержек, и в частности ту, где описываются основные черты этого строя как образчика грядущего коммунизма: «...тогда стремлением каждого будет производить для общества как можно более и потреблять как можно меньше, в этом сознании своей пользы для общества будет заключаться вся гордость, все честолюбие тогдашних деятелей. Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма! Все тут есть: общие столовые и общие спальни, оценщики и конторы, регламентирующие воспитание, производство, потребление — словом, всю общественную деятельность, и во главе всего, в качестве высшего руководителя, безымянный и никому неизвестный «наш комитет». Несомненно, это чистейший антиавторитаризм (Марксова ирония подчеркивает авторитарную суть данной концепции, противоречащей истинной природе коммунизма — всеобщего равенства.— М. К.)... Тт. Бакунин и Нечаев, орудующие под маской «нашего комитета», не смогут стать владельцами общественного богатства и не смогут пожинать плоды того возвышенного честолюбивого стремления, которое они так жаждут внушить другим: много работать, с тем чтобы мало потреблять».

Нечто подобное сделал и Сталин: чтобы придать своему бесчеловечному плану «грубого», «казарменного коммунизма» видимость теоретической основы, он неустанно заверял всех, что-де выполняет ленинские заветы. На самом же деле он пожинал плоды того тайного честолюбивого стремления, которое он так жаждал внушить другим: много работать, с тем чтобы мало потреблять. Такова была работа на износ для всех, начиная с руководителей всех рангов. Об отдыхе и досуге думать было не принято,— неудивительно, что многие из них, как В. В. Куйбышев, снашивались и умирали преждевременно, во цвете лет. Известно, что Сталин страдал бессонницей и потому собирал ближайшее окружение на ночные заседания,— подобный метод изнуряющей работы руководителей распространялся на всю страну.

Но вернемся к марксовой характеристике и наложим ее на сталинское общество. Да, все здесь было: общие столовые и общие спальни (общежития, казармы бесконечных новостроек и даже обобществленные дома), социальные институты, регламентирующие воспитание: трудовой героизм до полной самоотдачи, нравственный ригоризм и ханжеский сексуальный пуризм.

Проиллюстрируем это наглядно на одном чрезвычайно ярком примере.

В замечательно точном художественном документе этой эпохи — «Ювенильном море» — А. Платонов так описывает тайную любовь секретаря райкома: «Она ему нравилась как соучастница в мучительной классовой борьбе, как товарищ по беспрерывной работе и как женщина, не имеющая никакого тайного личного наслаждения, так же, как и сам секретарь... Ему стало жалко, что она уезжает; все люди, которых он наиболее любил, постоянно были невидимы: находились вдалеке, поглощались трудом, исчезали из дружбы — и нужно ждать еще пять или десять лет, чтобы наступил коммунизм, когда механизмы вступят в труд и освободят людей для взаимного увлечения».

И еще из Платонова: вокруг инженера «спали люди на полу, от них пахло отработанной жизнью». Да, отрабатывались все традиционные ценности, даже ценность самого бытия, что там жизнь и смерть!

«Уж дюже массы жадны стали на новую светлую жизнь, никакого укороту им нету!

— Ведь миллиарды разных людей умерли бесполезно... Что же вы одну-то стоите жалеете! Мало ли на свете жителей осталось!.. Жалейте хоть меня, если в вас гнилой либерализм бушует!

— Всех жалеть не нужно,— заявила старушка, бывшая тут,— многих нужно убить...»

Любопытно, что ныне наши философствующие писатели, воскрешая утопию далекого прошлого, Кампанеллы, например, развивают ее до логического конца, и она превращается в исполненную трагизма антиутопию.

В. Тендряков в философском романе «Покушение на миражи» воображает, что произошло бы, если б был осуществлен проект социальной утопии Томмазо Кампанеллы. Современный реальный опыт накладывается на прошлый, воображаемый. Возникает двойная и даже тройная экспозиция будущего — прошлого — настоящего и реального с воображаемым...

Люди в «Городе солнца» осуществили то всеобщее равенство, которое истый утопист Кампанелла полагал главнейшим условием всеобщего счастья. И что же получилось: социальная справедливость казалась возможной только в случае, если все ограничатся самым необходимым, но именно это непредсказуемо обернулось «ужасной несправедливостью». С нее-то и началась та чума, которая погубила город.

Итак, способный труженик не жалеет себя на работе, а рядом с ним другой по неумелости или по лени еле-еле шевелится, от него мало пользы обществу. Получают же они одинаково необходимое — пищу, одежду, крышу над головой. Поставьте себя на место добросовестного гражданина, надрывавшегося на работе. Как ему не задуматься: я добываю, а за мой счет живет хитрый бездельник или полный бездарь. Справедливо ли это?

И вот лучшие труженики перестали надрываться, начали подравниваться под тех, кто работал спустя рукава. Незаметно падало уважение к труду. В город пришла нищета. Люди уже не могли ни прокормить себя, ни толком одеться, ни обустроить свои жилища. Город постепенно превратился в скопище бездельников и прощелыг.

Сразу напрашивается выход: нерадивых наказать, усердных поощрить. Но кто должен это сделать? Ввести аппарат надсмотрщиков? Но тогда он сядет на шею трудящимся. Нашли еще один выход: пусть каждый следит за своим товарищем по работе и доносит на него добровольно. И вот тут-то и началось! Теперь для каждого соратник по труду стал врагом, которого надо уличить раньше, чем тот уличит тебя. Спеши оболгать, иначе оболжет он, постарайся запугать, не то сам станешь жить в страхе перед ним. Из того, что доносили «аппаратчикам»-управленцам, нельзя было понять, где наглая и бесстыдная ложь, а где правда; где злостные наветы, а где жалоба честного труженика. Клеветали чаще на тех, кто работал старательнее, перевыполняя среднюю норму; своим старанием он подводил массу бездельников, и потому чаще всего наказывали достойнейших. В конечном счете их совсем не стало. Воцарились нищета, ненависть, ложь и лицемерие. «Чума набирала силу... И виной тому был слишком простой взгляд на жизнь». И нет надежды, что все это когда-нибудь кончится. Кого не охватит ужас перед таким будущим, кому захочется так жить?! Они не в силах были изменить жизнь, научились лишь принуждать. А насилие до добра не доводит.

Таков логический конец «жажды нивелирования» и всего «казарменного социализма».

Итак, в нашей стране после смерти Ленина утвердился «грубый», «казарменный коммунизм». Этой исторической форме свойственно неосознанное упразднение частной собственности. Подчеркиваю: неосознанное, поэтому оно стремится уничтожить и личный достаток, и личные способности, и личную еще манеру одеваться, вести себя, и личное достоинство. Происходит перманентное отрицание личности, место которой занимает безличностный коллективизм — обезличка. Этот процесс осуществляется насильственно. Скрытая зависть к возможному достатку, жажда нивелирования приводят к представлению о некоем минимуме, ограниченной мере всего.

В результате образуется отрицание в принципе культуры и цивилизации, происходит как бы исторический возврат к неестественной простоте бедного, грубого, без особых потребностей человека. Все это прямо противоположно ленинскому представлению о законе возвышающихся потребностей.

О каких возвышенных стремлениях личности можно говорить, когда каждому индивиду в детском саду, школе, в пионерских и комсомольских организациях внушается стремление производить для общества как можно более и потреблять как можно меньше? На культуру и цивилизацию не остается ни времени, ни желания.

Все, что может обогатить личность — сокровища культуры, высшие духовные ценности,— должно быть изъято или в крайнем случае сведено до минимума. Историю же переписывают «под себя», памятники уничтожают. По ленинскому выражению: «Настоящая аракчеевщина: все обращали в сараи и казармы: им совершенно была безразлична история нашей страны».

Нивелирование труда и заработной платы приводит к отрицанию закона стоимости при социализме и рыночного хозяйства.

Подобный «грубый социализм» носит насквозь политический характер, который в эпоху сталинизма принял деспотическую форму: авторитарная власть действует через сложный и разветвленный, проникающий во все области социальной жизнедеятельности бюрократический аппарат. Эта форма проявления при «казарменном социализме» и есть бюрократический авторитаризм.

Возможна и относительно демократическая форма. При этом, даже в случае свержения единовластия, культа личности, авторитарность как тенденция сохраняется,— власть переходит к бюрократическому аппарату, подобно гигантскому спруту, опутывающему весь социум своими щупальцами. Властвует авторитарная бюрократия.

И суд, и правда, все молчи!

> Если не найдем этой линии и темпа—оппозиция наша будет расти, и страна тогда найдет своего диктатора — похоронщика революции — какие бы красные перья не были на его костюме...
>
> Ф. Э. Дзержинский — В. В. Куйбышеву, 3 июля 1926 года.

Благодаря Сталину, его политике и личным качествам народ за исторически сжатые сроки (сжатые в жизнь одного поколения, то есть еще при нем) сумел осуществить невозможное — превратить страну из аграрной в индустриальную, из крестьянской в пролетарскую.

При хозрасчетном социализме, развивая нэп дальше, мощная материально-техническая база (речь идет не о сытости людей, а именно об индустриализации — люди были сыты, как во всякой аграрной стране, но не было бы технической защиты от возможного нападения), конечно, была бы создана, но по крайней мере при вдвое меньшем напряжении сил, а значит, вдвое медленнее. Дело экономистов — рассчитать, сколько потребовалось бы затрат энергетических и временных.

Благодаря созданной к 40-м годам мощной индустриальной базе оказалось возможным перевести ее на военные рельсы и отстоять страну в схватке с

технически подготовленным противником. Не будь стальной политики «сверхиндустриализации», мы бы продолжали и далее вести войну на том же техническом уровне, с какого вынуждены были ее начать, и потерпели, естественно, разгром — разгром был бы неминуем и в финале, как неминуема была сама война. Вот почему Сталин оттягивал ее как мог.

Но осуществлялась эта цель за счет человеческого фактора, в ущерб людским ресурсам — и физическим, и духовным.

Осуществлялась средствами досоциалистическими и даже добуржуазными, требующими определенного уровня демократии, следовательно, полуфеодальными. Недаром Бухарин обвинял Сталина в «военно-феодальной эксплуатации крестьянства». Эти средства, кстати, как нельзя более соответствовали уровню нашей страны, ее национальным традициям — общинным у русских, чисто феодальным у большинства других народов, особенно Средней Азии и Кавказа.

Поэтому на исторической арене в первой половине XX столетия произошло то, чего не могли предвидеть ни утописты, ни основоположники марксизма, ни даже ленинизм, поневоле начавший строить «военный коммунизм», а потом — «хозрасчетный» и демократический.

Грубый социализм сталинского образца оказался еще и полуфеодальным, что, повторяю, никак не укладывалось в логику марксизма-ленинизма, а порой и просто феодальным, в частности в Средней Азии, Казахстане и на Кавказе (хотя эта «частность», между прочим, равняется не «четырем Франциям», по А. Мишарину, а, наверное, десяти).

Но что означает «полуфеодальными» или «феодальными» средствами? Это те средства, что были характерны для средневековья — для его социальной, экономической и государственной структуры, которой отвечала адекватная ей духовная жизнь с засильем религиозного фанатизма, догматизма и схоластики в мышлении. Да, по Марксу, общество должно было бы плавно переходить от одной формации к другой, но в XX веке народы, пребывающие в средневековом застое, начали переходить из феодализма к социализму, минуя капитализм.

Была ли исторически оправдана тактика сверхиндустриализации любой ценой? И не было ли другой, не сталинской, альтернативы ее осуществлению?

Альтернативы б ы л и, существовали!

Достаточно указать на Первый пятилетний план, принятый XVI партконференцией и утвержденный тогда же, весной 29-го года, V съездом Советов. Кстати, это последнее в эпоху сталинизма коллегиальное принятие государственного документа. В том плане все отрасли хозяйства были взаимно увязаны, и хозрасчет, наследие нэпа, еще сохранялся настолько, насколько это вообще было тогда возможно.

Однако осенью того же года неожиданно произошел «Великий перелом», за фасадом которого скрывался резкий поворот Сталина и собранной им вокруг себя клики от принятых коллективных, разумных решений и планов. Это был полный отказ от ленинской, развиваемой потом Бухариным политики нэпа и форсированный переход к б ы с т р о й индустриализации и с п л о ш н о й коллективизации.

Спрашивается: как это все могло произойти в условиях, когда еще живы были многие из старой ленинской гвардии, как они могли позволить отказаться от продуманных коллегиальных решений в пользу авторитарности, диктаторства?

Конечно, полный ответ на такой вопрос дадут скрупулезные исторические исследования, но в ожидании таковых позволю себе некоторые предположения.

О возможности некоего раскола и переворота не могли не думать В. И. Ленин и лучшие представители его гвардии. Помимо общеизвестного ныне «Завещания», Ленин в марте 22-го года в записке Молотову, тогдашнему Генсеку, обращал внимание на то, что «достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое (старой гвардии.— М. К.), и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него».

Существует реальная угроза, что место необходимой и всегда плодотворной борьбы мнений по принципиальным вопросам заступит беспринципная борьба за власть. Собственно говоря, борьба за власть всегда беспринципна, ибо она — за себя, а не за принципы, за истину.

После ухода из жизни Ленина дело приняло именно такой опасный поворот. Конфронтация групп Троцкого — Сталина — это и была уже форма борьбы за власть.

Спустя два года Дзержинский за две недели до смерти, в июле 1926 года, писал своему близкому другу Куйбышеву: «Я сознаю, что мои выступления с критикой ряда недостатков в практической работе могут укрепить тех, кто наверняка (!) поведут партию и страну к гибели, т. е. Троцкого, Зиновьева, Пятакова и Шляпникова. Как же мне однако быть? У меня есть полная уверенность, что мы со всеми врагами справимся, если найдем и возьмем правильную линию в управлении на практике страной и хозяйством... Если не найдем этой линии и темпа — оппозиция наша будет расти, и страна тогда найдет своего диктатора (!) — похоронщика революции — какие бы красные перья ни были на его костюме. От этих противоречий устал и я».

После смерти Дзержинского Бухарин еще пытался восстановить в партии ленинскую атмосферу борьбы мнений. Он выступает теперь уже не против платформы Троцкого, сошедшей на нет, но против Сталина, против сталинского лозунга дани, т. е. военно-феодальной эксплуатации крестьянства, против насаждения бюрократизации в партии, которую Сталин оправдывал даже теоретически как необходимую, против тезиса об обострении классовой борьбы, против замены убеждения окриком. Видя невозможность удовлетворения этих разумных требований, Бухарин и близкие ему люди из руководства — Рыков и Томский — подают ноябрьскому Пленуму 1928 года заявление об отставке, а чуть позже повторное заявление от 30 января 1929 года (что было категорически осуждено на апрельском Пленуме того же года).

В это же самое время, очевидно, не случайно, подает прошение об отставке А. В. Луначарский, пробывший в должности наркома просвещения двенадцать труднейших лет. Вместе с наркомом аналогичное прошение подает вся коллегия (!) Наркомпроса.

Это было окончательное крушение ленинского стиля руководства с его принципом коллегиальности мнений, сознательно соединившего в составе высшего политического руководства людей, мысливших по-разному и не допускавших сюда тех, кто предпочитает борьбе мнений борьбу за власть.

Вот почему, повторим, социализм сталинского периода носил еще полуфеодальный и местами даже феодальный (средневековый) характер. Отсюда его нивелировка масс, антидемократизм и отсутствие Личности как таковой, ибо для этого необходимо пройти исторический этап обретения демократических свобод — «свободы, равенства, братства». Отсюда преданность «сеньору», «владыке» и страх перед «инквизицией» за возможные отклонения от указанной жизненной парадигмы. Отсюда и фанатизм. Отсюда догматизм и схоластика в мышлении, законсервировавшемся на талдычении азбучных истин «откровения» (в данном случае примитивно усвоенного наследия «первоначального» марксизма и ленинизма).

Итак, благодаря Сталину, во главе с ним более ста народностей СССР, объединенных общей исторической судьбой с ее героикой и трагизмом, что и слило их в новую общность — советский народ, построили материально-техническую базу, соответствующую современному уровню индустриализации. Тем самым гарантировалась экономическая самостоятельность страны перед лицом мировых держав. И все это сделано на протяжении взрослой жизни одного поколения, его руками, на его глазах — вот почему все граждански мыслящие люди не могли тогда не быть сталинистами — от рабочего до наркома, от поэта до ученого.

Разоблачители культа личности 50-х годов не пытались свалить главное — Административную Систему, авторитаризм и бюрократию, они, как, впрочем, и во веки веков, втайне надеялись лишь сменить «злого царя» на «хорошего».

Тогда оказалось, что на почве сохранившейся системы, как на срезанной грибнице, вырастает новый культ, пусть и не столь грозный, во всяком случае, некровавый, но от этого суть дела не меняется. Правда, на сей раз естественного конца нового, хрущевского, культа ожидать не стали, и второй гриб на той же грибнице не опал, как первый, а был срезан менее чем через десять лет. Но постепенно стал расти еще один, новый. Понадобилось два десятилетия, чтобы понять в масштабе передовой общественной идеологии (это и сделал XXVII съезд партии) — дело не в личностях и не в культе, а в том, что надо менять сложившуюся и закостеневшую систему авторитаризма и бюрократии. Но чтобы возник радикальный, коренной, революционный выход, который сегодня сравнивают по значимости с Октябрьской революцией, система должна была себя дискредитировать.

Но если бы авторитаризм был явлением только политическим, тогда и наша сегодняшняя перестройка пошла бы семимильными шагами. В том-то и трудность процесса, что он охватывает и базис, и надстройку, все сферы и стороны жизни, что мы высвобождаем р е а л ь н ы й с о ц и а л и з м, который начинался при ленинизме, из-под и р р е а л ь н о г о, выдуманного, созданного бумажными декларациями 60—70-х годов, снимаем слой за слоем «превращенное сознание» — то, что он думал о самом себе.

Знаток экономической политики 20-х годов В. П. Дмитренко заметил недавно, что колхозы, задуманные поначалу (при ленинизме) как коллективные, кооперативные хозяйства, «остались кооперативами лишь в трудах теоретиков. Каждый колхоз сам выходит на государство по линии планирования, финансирования, сбыта, снабжения, кредитования и т. д. Он не может опереться на соседа, на колхозное сообщество... Конечно, в 20-е годы были навыки хозяйствования, заимствованного у капитализма. После нескольких лет «военного коммунизма» система учреждений, которая должна была все это (рыночные отношения.— М. К.) контролировать и регулировать, тут же возникла вновь. Но за 30—70-е гг. она разрушилась».

В связи с этим возникает и философский аспект вопроса. Я имею в виду проблему отчуждения труда при социализме. Общая, государственная собственность на средства производства, как выяснилось, еще не решает эту проблему ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве.

Однако подробно рассмотреть здесь этот важный вопрос мы не можем — подождем исследований специалистов.

Сегодня расчистка общественного самосознания в сфере политики идет относительно быстро: за долгие десятилетия господства авторитаризма оно приучено безропотно реагировать на любые указания, его слои мягки, податливы, нередко аморфны.

А вот наша философско-психологическая археология («археология гуманитарных знаний», как назвал ее Мишель Фуко) натыкается на чрезвычайно трудный грунт, затвердевший, точно лава, которая некогда погребла под собой культурную почву ленинизма и все, что тогда бурлило и клокотало в раскаленном жерле революционного вулкана (поиски, дискуссии, борьба полярных мнений и разнообразных точек зрения).

В том-то и трудность процесса, что авторитаризм, просуществовавший в чистом виде почти половину жизненного срока молодой страны, был жизнью социализма на этой окаменевшей, суровой почве. На ней подымались бедные, скупые ростки общественного сознания, экономики и науки, морали и педагогики, культуры и искусства. Чтобы понять и социально самокритично оценить это сложное явление во всей его глубине, нужно еще раз вернуться к истокам и посмотреть, как политический авторитаризм 30-х годов пророс в общественном сознании 40-х — рассмотреть эволюцию сталинизма.

Хотя Сталин не был философом ни по образованию (вспомните, духовное училище плюс пять лет духовной семинарии, откуда исключен в 1899 году), ни по умозрению — тут он прежде всего политик. Но всякое движение должно иметь свое теоретическое оправдание, философию, этого Сталин не мог не понимать. Не обладая данными философа-теоретика, выдвигающего самостоятельные идеи, он тем не менее с самого начала и на протяжении долгих лет выступал как популяризатор именно философии марксизма. Начал с серии статей для четырех грузинских газет, выходящих в Тифлисе на грузинском языке в начале века под общим названием «Анархизм или социализм?». Название, очевидно, «навеяно» одноименной классической работой Г. В. Плеханова.

Финал заниженно популярного, порой примитивного изложения марксистской диалектики чрезвычайно значителен для понимания сути сталинизма: «Пролетарский социализм является прямым (!) выводом из диалектического материализма».

Вся последующая деятельность главы партии и государства была реализацией этих прямых выводов из диалектического материализма, сделанных 34-летним неофитом от марксизма. Ни на что другое, кроме прямого, однозначного действия, этот человек был не способен, на все должна быть одна точка зрения, она-то и является единственно правильной, остальное — от лукавого и подлежит расправе. Да, только расправа с философией, наукой, литературой, искусством, хоть на йоту отклонившимися от прямых выводов!

Разгромив общественно-философскую мысль, Сталин и его «наймиты» («наймиты» — характерное словечко, означавшее западных мыслителей. Считалось, они наняты буржуазией. Ныне ярлык бумерангом возвращается к их авторам), люди, нанятые на роль придворных философов, зорко охраняемых инквизицией, как уже отмечалось, соорудили из останков первоначального марксизма и ленинизма прокрустово ложе, которое стало с тех пор называться «диалектическим и историческим материализмом». В искаженных одеждах, отнюдь не белых, вышел отсюда «бродить по Европе» новый призрак «казарменного коммунизма», устрашавший не только врагов, но и бывших друзей истинного коммунизма. Даже в апологетической книге немецкого писателя Л. Фейхтвангера, воспевшего панегирик Сталину, говорилось, что процессы против Зиновьева, Каменева и других «жестокостью и произволом возбудили против Советского Союза мир... Многих, видевших (ранее) в общественном строе Союза идеал социалистической гуманности, этот процесс просто поставил в тупик, им казалось, что пули, поразившие Зиновьева и Каменева, убили вместе с ними и новый мир». После этого у деятелей западной культуры пропало желание диалога с Востоком вплоть до 1987 года, до международного форума «За безъядерный мир».

Суть сталинского варианта социализма можно представить так: внизу находится Масса, обработанная в единый монолит,— все на одно лицо, без дифференциации, своего рода гигантский кулак, которым можно сокрушить все: «Нет таких крепостей...» Наверху Власть — вождь и аппарат власти. Взаимоотношения между ними выстраиваются однозначно через Директиву, приказ (что бы там ни говорилось в «Кратком курсе» насчет «учебы у масс», ведь и говорилось-то, теперь понятно, именно для того, чтобы скрыть истину). Обратная связь вопреки кибернетике исключена, и поэтому следует ликвидировать у себя и саму эту науку об обратных связях.

Писатель Элиас Канетти в исследовании «Масса и власть» пишет, что «приказ старше, чем язык, иначе его не понимали бы собаки (как и любые животные.— М. К.). Дрессировка заключается в том, что животные, не понимая языка, научаются понимать, чего от них хотят... Так что мы можем искать очень древние корни приказа: ясно по крайней мере, что приказ в какой-то форме имеется и вне человеческого общества».

Языкознание в лице столь разностороннего ученого, как Н. Я. Марр, конечно, знало эту тайну языкового общения и могло ее обнародовать — поэтому следует ликвидировать такую лингвистику, которая может преподнести массе то, чего знать ей вовсе не следует.

Воспитание, согласно стратегии авторитаризма, заключается в том, чтобы «привить» воспитуемым качества, «желательные воспитателю». Эти слова принадлежат М. И. Калинину — трон «всероссийского старосты» надобно было отрабатывать. Формулировка противоречит классическому взгляду марксизма, согласно которому надо «не прививать» воспитуемому, а напротив — «воспитатель сам должен быть воспитан».

По Калинину, а значит, и по Сталину, «желательное», привитое необходимо передать всем последующим поколениям — заложить генетически. Ах, генетика утверждает, что это в принципе невозможно,— в таком случае у нас будет своя генетика.

Если подобные предположения неверны, то почему тогда Сталин вдруг заинтересовался биологическими науками и, не чувствуя здесь себя столь «свободно», как в философии, языкознании, экономике (где он сам сформулировал нужные ему «законы»), приблизил к себе тех людей, которые это смогли сделать? Из романа В. Дудинцева «Белые одежды», документальных публикаций теперь известно, что доклад на пресловутой сессии ВАСХНИЛ 1948 года был прочитан после его одобрения Сталиным. По представлению лишь Лысенко, личным его распоряжением, без выборов, введены чуть ли не 30 новых членов в Академию сельскохозяйственных наук. Классическую биологию и генетику решено было вырубить полностью, чтобы заменить ее доморощенной, то бишь придворной, лженаукой. Были отстранены от должности и изгнаны из специальности около трех тысяч специалистов — профессоров, докторов, кандидатов наук.

Наконец, коварное, трудно подчинимое искусство. Например, поэзия. Со времен Платона известно, что «поэты не ведают, что творят», и противу всех рациональных доводов могут заразить народ ненужным, «неправильным» настроением. То же относится и к музыке (известно, что музыка настраивает людей на «свой лад», а у нас должен быть только один лад). Или сатира. Высмеивать, злопыхательствовать — с этим следует покончить раз и навсегда.

Еще Маяковский имел неосторожность издать свой «Приказ по армии искусств». Правда, то был приказ чисто поэтический, но мысль хорошая, ею стоит воспользоваться. И вот организуются соответствующие приказы, то есть постановления, по поэзии, музыке, сатире.

Остается еще история мысли — там-то легко обнаружить все то, с чем так долго и трудно боролись, массу «неправильных» идей. И вот в 1947 году на так называемой «дискуссии», организованной по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии», от имени ЦК выступает разносторонний аппаратчик А. А. Жданов, «вскрывает серьезные ошибки и пороки» этой первой в СССР выполненной действительно специалистом-философом добротной работы по истории западной философии.

Научная история философии, указывал Жданов, является «историей зарождения, возникновения и развития научного материалистического мировоззрения и его законов». Ну а поскольку все-таки материализм не одинок в истории мысли, то следует признать и то, что он вырос и развился в борьбе с идеалистическими течениями, поэтому история философии «есть также (!) история борьбы материализма с идеализмом».

Это невежественный взгляд на историю мысли человека, затуманенного вульгарно-материалистическим бредом, который Ленин в свое время называл «зряшным отрицанием». Разве мог такой, как Жданов и ему подобные, понять суть идеализма; скажем, древнюю и средневековую индийскую мысль, иранское, китайское наследие, философов тысячелетнего европейского феодализма от Августина — IV век — до Фомы — XIII век. Самого этого наследия как бы не существует, если из него нельзя выжать материализм. Подобный взгляд высказывался еще в 18-м году идеологами Пролеткульта и был резко осужден ленинизмом.

Далее борьба требует «непримиримого (!) отношения к буржуазному объективизму (а ведь к «объективистам» относились и Кант, и Гегель.— М. К.) в оценке враждебных науке (?) философских течений». Жданов подверг осуждению философию как процесс постепенной смены одной школы другою и марксизм как одну из философских школ: возникновение марксистской философии «должно рассматриваться» (!) как революционный скачок, как революция, совершившая грандиозный переворот в истории человеческой мысли и превратившая философию в науку.

Во исполнение сей директивы уже специалисты-философы заявили: «История философии как наука создана (?!) марксизмом. До марксизма попытки создать научную историю философии не имели успеха...» Отсюда ясно, что всю историю мысли целесообразно поделить на два, так сказать, периода: домарксистский ненаучный, к которому следует относиться осторожно и критически (это неважно, что его более шести тысяч лет осмысливали величайшие умы человечества), и второй — научный, с 40-х годов XIX века. При этом как-то ненароком забыли, что сам марксизм явился итогом, что у него есть по крайней мере «три источника», образовавших соответственно «три составных части» его, а ведь этим «источникам», в свою очередь, предшествовало то, что создает нераз-

рывную цепь преемственности. Как профессиональный вузовский педагог, я не могу не заметить, что и поныне курс истории философии читается, а тем более сдается на экзаменах, включая и кандидатские, по описанной ждановской матрице. Догмы эти, по существу, остались неизменны, ныне сняты только резкость оценок и выражений.

Незабываем уничтожающий доклад А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» в 1946 году и соответствующее постановление, в результате чего были отлучены от официальной литературы сатирик Михаил Зощенко и поэт Анна Ахматова.

«Грубой ошибкой «Звезды»,— гласило постановление,— является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе... Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание... Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами. Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо...

Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения... Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, «искусства для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом».

Подобная директива для писателя — моральная гибель. Однако и этого «революционистам» было мало, им надо было отнять у писателей, чьи голоса не вливались в хор поющих в унисон осанну режиму, жизнь.

Пора бы уже давно составить трагический мартиролог советской литературы. Я назову здесь всего несколько имен, должных быть выбитыми золотыми буквами не только в благодарной памяти потомков, но и в специальных справочниках: А. Аросев, И. Бабель, Д. Бергельсон, Д. Гачев, Артем Веселый, (Н. Кочкуров), Л. Квитко, Б. Корнилов, О. Мандельштам, П. Маркиш, И. Микитенко, В. Переверзев, Б. Пильняк-Вогау, Г. Серебрякова, С. Третьяков, Т. Табидзе, Е. Чаренц, Б. Ясенский, II. Яшвили...

Немногим из сего горестного списка удалось уцелеть, пережить лагерный ад. Большинство из них погибло.

Пред политическим авторитаризмом поистине «и суд, и правда, все молчи», а Сталин и его приближенные, по слову поэта,— «свободы, гения и славы — палачи».

Начиналось все это, мы видели, много раньше — с того самого времени, как появились «революционисты» — Троцкий, Зиновьев. Для них не существовало никаких, даже всемирно известных, авторитетов. «Революционист» — сам себе авторитет во все времена. Буквально по Некрасову: «Закон — мое желание! Кулак — моя полиция! Кого хочу — помилую, кого хочу — казню». И казнили, а уж если руки были коротки, чтобы взять великую, но не милую его сердцу фигуру, то хоть постращать, приструнить, унизить... И ведь в отличие от Дантеса наши «революционисты» знали, на кого руку поднимали. Не избежал этой участи даже М. Горький, величайший подвижник духа на нашей многострадальной земле, который тоже «в свой жестокий век» восславил свободу и «милость к падшим призывал». И на этого человека, к голосу которого прислушивался весь мир (Ленин, например, хотел пригласить его к собеседованию, выработать какие-то общие взгляды), у «революционистов» поднялась рука. По воспоминаниям В. Ходасевича, тесно соприкасавшегося с Горьким в 20-х годах, отношения писателя с Зиновьевым были плохи и с каждым днем ухудшались. «Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски (!) и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких...» Поэтому слух о том, что Горький умер не своей смертью в 1936 году, думается, имеет определенные основания — ведь назревал большой террор, и мировой авторитет писателя, его связи могли бы стать изрядной помехой. Собственно, Горький оставался последней фигурой в России, которая могла бы еще помешать кровавому разгулу авторитаризма. Что же касается его физического состояния, то, по свидетельству близко знавшего его Ходасевича, жившего вместе с ним на небогатой вилле в Сорренто в 1924 году, здоровья Алексей Максимович был хорошего, бодр и крепок: туберкулез же, обнаружившийся некогда в молодости, был залечен лет сорок назад. Легендою о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать.

Отголоски политического авторитаризма слышны были еще долго. Приведу пример с дважды убитым Федором Раскольниковым (1892—1939). При Ленине он — выдающийся деятель наркомата по военным и морским делам, в 30-е годы — полпред СССР в Эстонии, Дании и Болгарии. Сейчас мы знаем, что он был первым и, кажется, единственным из оставшихся в живых крупнейших деятелей партии и государства, кто осмелился поднять обличительный голос против диких и кровавых репрессий сталинизма. 22 июля 1939 года, находясь во Франции, но все равно подвергая себя смертельному риску, он опубликовал заявление в западной печати «Как меня сделали «врагом народа», а 17 августа — открытое письмо Сталину. Он разоблачал ужасы авторитаризма, приводил факты один страшнее другого и, в частности, так заключал свое обращение к Сталину: «С помощью грязных подлогов Вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения знакомые Вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм.

Вы заставили идущих с Вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей. В лживой истории партии, написанной под Вашим руководством, Вы обокрали мертвых, убитых и опозоренных Вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги.

...Объявление меня вне закона продиктовано слепой яростью на человека, который отказался безропотно сложить голову на плахе и осмелился защищать свою жизнь, свободу и честь. Я протестую против такого издевательства над правосудием и требую гласного пересмотра дела с предоставлением мне возможности защищаться».

Однако такой возможности Ф. Раскольникову так и не предоставили ни Сталин, ни последующая четвертьвековая история. Правда, 10 июля 1963 года решением Пленума Верховного суда СССР постановление 1939 года по его «делу» было отменено. Он восстановлен посмертно в рядах партии, а в печати была рассказана правда о нем. Однако очень скоро — 5 сентября 1965 года — одним из монополистов нашей исторической науки, С. П. Трапезниковым, с официальной трибуны было сделано такое заявление о Раскольникове, убившее его светлую память вторично: «В идейном отношении он был всегда активным троцкистом. Будучи полномочным представителем Советской страны, он отказался вернуться на Родину, совершил тяжкий поступок, а именно предательство (?!)... Сбратавшись с белогвардейцами, фашистской мразью, этот отщепенец стал оплевывать все, что было добыто и утверждено потом и кровью советских людей, очернять великое знамя ленинизма и восхвалять троцкизм. Только безответственные люди могли дезертирство Раскольникова, его бегство из Советского Союза расценивать как подвиг».

Благодаря подобным заявлениям светлое имя отважного бойца с культом Сталина во второй раз на целых двадцать лет было опозорено. Так расправлялись титулованные деятели советской науки и культуры с первыми ее полпредами, проницательно предвидевшими, что может произойти в обществе, если революционистские идеи Пролеткульта окажутся реализованными. Тот же Раскольников писал в 1920 году: «Чтобы творить свою культуру, а не барахтаться в навозе буржуазного футуризма, пролетариат прежде всего должен стать просто культурным. А до этого теория «чисто» пролетарской культуры — только жалкое кустарничество и жалкий самообман».

Постсталинизм

> ...Великое горе, от которого страдают миллионы, это не столько то, что люди живут дурно, а то, что люди живут не по совести, не по своей совести. Люди возьмут себе за совесть чью-нибудь другую, высшую против своей... и, очевидно, не в силах будучи жить по чужой совести, живут не по ней и не по своей, и живут без совести.
>
> Лев Толстой. Из дневника 23 ноября 1888 года.

В начале деятельности Н. С. Хрущева, по историческому докладу которого было принято важнейшее для судеб нашего Отечества постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», разоблачению культа было уделено достаточное внимание, а вот преодоление его последствий затормозилось и тянется кое в чем по сию пору.

Освобождение от сталинизма в общественно-культурной жизни началось круто со знаменитого письма ЦК народу с обличительными фактами один страшнее другого.— это был удар по общественному сознанию, потрясший его, может быть, не менее, чем начало Отечественной войны. Ведь и это стало как бы началом новой войны, внутренней — со сталинизмом в себе, с той верой, которой жил каждый советский человек.

Вот что писал по поводу происходящего Константин Симонов. Я выбрал именно этого человека из поколения 20-х годов, потому что он не принадлежал к числу тех писателей, которые по всякому поводу славословили Вождя и Учителя. Даже в очерках военного времени имя Сталина очень редко упоминалось Симоновым, общую дань времени он отдал разве только в стихотворении «Суровая годовщина» (осень 1941 года).

Итак, в своем недавно опубликованном исповедальном письме (май 1964 года) К. Симонов признается: «В душе у меня, как, наверное, у многих других людей, были сложные чувства по отношению к Сталину. Многое вызывало недоумение, над многими вещами думали, старались себе объяснить их лучшую сторону. Ну, конечно, авторитет Сталина был для нас громадным авторитетом. А для меня он был особенно большим авторитетом во время войны. Я знал, что в 37—38 гг. были сделаны ужасные вещи, посажено много невинных людей, но старался себе объяснить это так, что все это вышло помимо Сталина, что в этом виноват Ежов, НКВД и т. д., а Сталин не знал этого. Конечно, я и тог-

да думал, что на нем лежит часть вины за это, но в то же время считал, что он этого не знал, а когда узнал, то постарался пресечь эти явления. Так я объяснял это себе тогда...

Но когда во время XX съезда и после него я узнал — постепенно — ту правду о Сталине, которой я раньше не знал, о которой, может быть, в какой-то мере догадывался, но старался оттолкнуть от себя эти мысли, старался не дать себе в них поверить... Когда я понял, что Ежов был только исполнителем воли Сталина, когда я понял, что все извращения, все аресты, все суды над десятками и сотнями тысяч неповинно сосланных и расстрелянных людей — все это происходило по прямому указанию, с одобрения и по инициативе Сталина, тогда, конечно, я уже не мог относиться к нему, как я относился раньше... Да, произошла переоценка ценностей. И если бы мы не произвели этой переоценки ценностей, то мы не могли бы с чистой совестью дальше строить коммунизм, идти вперед. ...Я считаю, что люди, которые неправильно в свое время оценивали Сталина, не понимали многих сторон его деятельности — отрицательных, тяжелых, принесших нам трудно исправимые беды, стоивших нам миллионов жизней людей, что люди, которые поняли теперь, как все обстояло в действительности, они обязаны писать о Сталине и об этой эпохе так, как им подсказывает совесть, обязаны рассказать всю ту правду, которую они теперь постепенно узнали».

Однако освобождение от внутреннего ига сталинизма пошло куда медленнее, чем казалось К. Симонову. Этот болезненный процесс происходил лишь с теми, кто пребывал вне власти, вне бюрократического аппарата, который почти не изменился (хотя некоторые чиновники и были уволены). Аппарат, или, как называет его экономист Г. Попов, Административная система, не может отказаться от имманентной ему идеологии: ведь для бюрократа это значило бы отказаться от самого себя.

Пока жива бюрократия как таковая, жива и ее жажда власти, а уж явная или тайная — зависит от социально-политической раскладки и характера верховного управления. Так что пока Административная система и ее костяк — бюрократический аппарат — существуют, диалектика нашей социально-политической жизни будет такова: от бюрократического авторитаризма к авторитарному бюрократизму. А один из основных законов диалектики, как известно, гласит: переход количественных изменений в качественные и обратно!

Неудивительно поэтому, что сей неумолимый закон не обошел и того, кто имел дерзость объявить войну авторитаризму и мощным ударом сбросить иго сталинизма, кто убрал труп Сталина из Мавзолея, реабилитировал невинно осужденных. Однако вскоре этот процесс пошел обратно. Ведь и новый лидер принадлежал тому времени, был ретивым исполнителем воли Самого.

По воспоминаниям Н. С. Хрущева, когда вместе с другими членами Политбюро он вошел к умершему властителю и Берия истошно крикнул: «Тиран мертв!», то Никите Сергеевичу показалось, что Сталин был еще жив и косил на них полуприкрытыми глазами. Увы, ему не «показалось»: для них, для всех функционеров власти, Он еще жил в их сознании и жил очень долго, а для иных, повторяю, живет и по сию пору.

Вернемся в середину пятидесятых годов.

Постановление о культе личности было опубликовано в июне 1956 года, а всего лишь через год, в 1957-м, газеты напечатали сокращенное изложение выступлений Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа», где мало говорилось об искусстве, а больше об отношении к Сталину: «Строительство социализма в СССР осуществлялось в обстановке ожесточенной борьбы с классовыми врагами и их агентурой в партии — с троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и буржуазными националистами... В этой борьбе Сталин сделал полезное дело. Этого нельзя вычеркивать из истории борьбы... за социализм. За это (?) мы ценим и уважаем Сталина (!). Мы были искренними в своем уважении к Сталину, когда плакали, стоя у его гроба. Мы искренни и сейчас (?!) в оценке его положительной роли...»

В неопубликованных ранее главах мемуаров Ильи Эренбурга рассказывается: «К 40-летию Октября была созвана юбилейная сессия Верховного Совета. Собралась она во Дворце спорта, впереди сидели депутаты, а за ними свыше десяти тысяч приглашенных. Хрущев читал длинное выступление, делал это он редко, обычно, прочитав страничку, засовывал текст в карман и переходил к живой речи. На этот раз он читал, часто ошибаясь, и лицо у него было сердитое. За ним сидел громоздкий Мао Цзэдун с непроницаемым лицом. Хрущев сказал: «Как преданный ленинист-марксист и стойкий революционер Сталин займет должное место в истории. Наша партия и советский народ будут помнить Сталина и воздавать ему должное». Раздались аплодисменты. Поворот был резким...»

Молодежь пытались припугнуть, и студенты перестали выступать на собраниях с тем, о чем думали, говорили втихомолку. Конечно, страх ареста, висевший дамокловым мечом над каждым прежде, теперь исчез. Но люди опасались за свою работу, а следовательно, за судьбу — в особенности за работу на «идеологическом фронте». Вновь вернулась (в который раз!) старая, до боли знакомая «фронтовая» терминология: на Третьем съезде писателей СССР, 22 мая

1959 года, Хрущев призвал советских писателей равняться на таких правофланговых «автоматчиков», как испытанный боец-большевик Н. Грибачев. По молодым талантам был дан сильный залп из заржавелых идеологических автоматов.

На злополучной встрече с интеллигенцией в Кремле Хрущев, в частности, вызвал на трибуну молодого поэта А. Вознесенского — одного из знаменосцев социального и духовного обновления нашего общества. Грубо прервав его выступление, он обрушился на него чуть ли не с руганью. Сегодня поэт так вспоминает об этом: «За ним была могучая сила, и я не мог понять, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления. Когда я читал стихи, отбивая ритм поднятой рукой, он закричал: «Вы что руку поднимаете? Вы что нам указываете? Вы думаете, вы вождь?»

Для молодых умов и талантов вместе со Сталиным умер и сталинизм. «Умирают в России страхи»,— твердили вслед за Евгением Евтушенко родившиеся в 30-х годах.

Более старшие, ушедшие юными на войну, тоже переживали «сшибку» резко противоречащих друг другу эпох, мироотношений, нравственных установок. Но выручали внутреннее здоровье, молодость, вера, надежда на лучшие времена.

Очень точно об этом вспоминает Булат Окуджава, поэт, исторический романист, стихи и песни которого в начале 60-х годов открыли новую эру в возрождавшейся советской лирике: «Произошел взрыв. Открылись шлюзы, и накопления в искусстве получили возможность выразиться.

Вот и я возник в то время (добавлю от себя — и мы все, родившиеся в 30-е, «возникли» вместе с ним, с его песнями.— М. К.). А прежде я был сталинистом, как и многие в моем поколении. Удивляться нечему. Сначала было подавление всякой возможности сомнения. Это вызвало страх. Страх укоренился, создал новый тип человека. Мои родители были репрессированы. Но я считал, что они в чем-то виноваты, потому что наши замечательные чекисты не ошибаются. Я пережил два обыска, ночные аресты и, как и многие тогда, жил под гнетом страха. К этому примешивалось желание быть человеком, верить, что происходящее — хорошо, что в нем есть свой резон. Хотелось верить (обращаю внимание на эту важнейшую для советского человека жажду веры, вспомните симоновскую исповедь.— М. К.) — вот что самое страшное. Я был слепым романтиком, типичным продуктом эпохи, и очень просто для себя объяснял зловещие факты, связанные с культом личности Сталина. Я считал, что все происходящее — помимо него... И вдруг — трагическая ломка. Но у меня она произошла очень быстро. Неожиданно выяснилось, что мои родители, которых я тайно любил, ни в чем не виноваты. Это уже было грандиозным подспорьем. Если так, то и все остальное могло быть ошибкой. Я по-новому начал воспринимать и наш мир, и нашу жизнь, и наше будущее».

В том же интервью Окуджава приводит библейский образ: Моисей вел свой народ из Египта на родину сорок лет, хотя можно было дойти за пять дней. Он это делал с мудрой предусмотрительностью, чтобы умерли те, кто помнил рабство, хотел привести туда обновленный народ.

Двадцати, даже тридцати послесталинских лет оказалось недостаточным для того, чтобы люди избавились от лести, верноподданничества.

Поэтому столь скоро сталинская эпоха сменилась брежневской. Внутреннюю связь между ними проницательно проследил автор «Детей Арбата» А. Рыбаков. Вот уже по меньшей мере 40 лет этот писатель изучает свое общество (кстати, тот самый срок, что понадобился Моисею). Он прямо указал на это в одном из интервью: «Застой на рубеже 70—80-х гг. не свалился с неба. Это продолжение той психологической обстановки, которая сложилась именно в тридцатые годы, когда людей отучали самостоятельно мыслить (за всех думал один человек), лишали инициативы, чувства собственного достоинства. То есть всего того, без чего невозможен ни духовный, ни социальный, ни экономический прогресс. И что мы сейчас с таким трудом стараемся возродить».

Как не вспомнить здесь заученные нами еще в школе строки М. Исаковского: «О всех о нас Вы думали в Кремле».

Общественная мысль, искусство, литература постепенно избавлялись от авторитаризма, политика же затормозилась, поэтому параллельное развитие той и другой стало невозможным, пути их болезненно пересекались, и вскоре вновь возникли рецидивы авторитаризма в культурной политике. В конце 20-х — начале 30-х годов преследование Есенина и Булгакова, в 40-х — Ахматовой и Зощенко, в конце 50-х — Пастернака.

Спрашивается: чем принципиально отличается от сталинских гонений травля Хрущевым великого поэта Бориса Пастернака? Даже Сталин пощадил его. «Не трогайте этого юродивого»,— будто бы сказал он. За единственное стихотворение, может, и пощадил, потому, что оно было единственно талантливым в мутном потоке од и песнопений в честь вождя, какие не снились даже царям, даже Екатерине Великой, тоже, кстати, жаловавшей талантливые оды.

Причина издевательств над Пастернаком — эхо былого страха перед властью, требующей расправы над жертвой, по-

стыдная зависть серых выдвиженцев к скромному гению.

Вот как это происходило: «...Сотни московских писателей сошлись в большом театральном зале на улице Воровского исключать из Союза писателей Бориса Пастернака. Исключать, не прочитав романа «Доктор Живаго», главной, единственной против него «улики», не выслушав самого поэта, человека кристальной чистоты и честности; исключать, позоря не его, а себя; исключать с редким единодушием, при одном воздержавшемся! Исключать, чтобы умилостивить разгневанного Никиту Хрущева, как и мы, не читавшего романа... Знаю, иные ставили себе в заслугу, что не пришли на собрание. Другие, что не подняли руки, сунули ее при голосовании в карман поглубже. Все это мелкие увертки совести. Сотни писателей, каждый из которых обязан был быть личностью, совершили нравственное преступление. Как такое могло случиться? Ведь никто из нас уже не опасался тогда репрессий: неужели простая тревога за судьбу очередной рукописи или готовящейся книги, забота о материальном благополучии могли так исказить душу?

Думаю, разгадка в другом: нами еще жестоко владела инерция прошлого, а целительное чувство вины не пробудилось, легкие его уколы подавлялись гордым сознанием «единодушия» всего зала, легко, без сомнений подчинившегося откровенной демагогии». (Из воспоминаний А. Борщаговского.)

Поэт чувствовал, что загнан в угол: «Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно». В отчаянии он вопрошал:

Что же сделал я такого,
Я — убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Чувство личной вины за общее преступление — могучий нравственный двигатель общества, покаяние — моральное выздоровление от тяжкого недуга конформизма и тупого равнодушия.

И сорок лет спустя молю:
В своем зените
Простите молодость мою,
За все простите —
За спесь, и черствость, и сполна
Еще за скуку,
С какой глядел я из окна
На вашу муку.

(В. Корнилов. «Дорога»)

Но, как уже было сказано, политика не спешила каяться. Шли годы, но по-прежнему царствовал авторитаризм, оставшийся в сердцевине узурпированной политической власти, сменивший личину и несколько трансформировавшийся. Резонно поэтому назвать последующие явления постсталинизмом. Суть его — в дальнейшем развитии бюрократического авторитаризма с некоторыми поправками на время.

Ни для какого общества, даже настроенного предельно «революционистски», его собственная национальная история не может пройти бесследно: давние вековые традиции непременно наследуются, и хорошее, и дурное, и по желанию, и даже вопреки таковому, просто потому, что вековое наследство «сидит в крови».

Историк-демократ Ключевский в отличие от своих предшественников историков-дворян (Татищева, Карамзина, С. Соловьева), будучи разночинцем, увидел в «нутре» русской истории то, что до него не видел никто: «...Россия управлялась не аристократией и не демократией, а бюрократией (!), т. е. действовавшей вне общества и лишенной всякого социального облика кучей физических лиц разнообразного происхождения, объединенных только чинопроизводством. Таким образом, демократизация управления сопровождалась усилением социального неравенства и дробности».

Историк имел в виду конкретно николаевский период. Корнями этого явления оказались органичные для русского общества бюрократические традиции.

Со времен Иоанна IV мы унаследовали авторитаризм, а со времен Петра Великого — бюрократию.

Достоевский в «Дневнике писателя» за январь 1881 года отмечал: «...Вот уже почти двести лет, с самого Петра, мы, бюрократия, составляем в государстве все; в сущности, мы-то и есть государство и все — а прочее лишь привесок... Вот после... реформы действительно потянуло было чем-то новым: явилось самоуправление, ну там земство и прочее... Оказалось теперь ясно, что и все это новое тотчас же начало само собою принимать наш же облик (!), нашу же душу и тело, в нас перевоплощаться... Кричат давно... что Россия из этого выросла. Может быть, выросла, но пока все еще мы одни ее держим, зиждем и сохраняем, чтобы не рассыпалась!»

Как видим, и авторитаризм и бюрократия на отечественной почве оказались бессмертны. Они неразлучны, как сообщающиеся сосуды, и если время выталкивает их на периферию общественной жизни, то на том или ином участке общественного сознания возникает ностальгия по утраченному.

Советуясь с Марксом, мы попытались понять, что же представляло собою сталинское общество,— и нашли, что это был «казарменный социализм». Советуясь с ним далее, мы, возможно, поймем суть и брежневского социума, его политики. Вот что писал молодой Маркс об отсутствии подлинной гласности в подцензурной печати: «Величайший порок — лицемерие — от нее неотделим; из этого ее коренного порока проистекают все остальные ее недостатки, в которых нет и зародыша добродетели... порок пассивности. Правительство слышит только свой собственный голос, оно знает, что слышит только свой собственный голос, и тем не менее оно поддерживает в себе самообман, будто слышит

голос народа, и требует также и от народа, чтобы он поддерживал этот самообман. Народ же, со своей стороны, либо впадает отчасти в политическое суеверие, отчасти в политическое неверие, либо, совершенно отвернувшись от государственной жизни, превращается в толпу людей, живущих только частной жизнью».

В 70-е годы наше правительство — прямо по Марксу — слышало только свой собственный голос. Ведущие идеологи, конечно, знали про это, но по уже глубоко укоренившейся привычке вслух и явно они поддерживали в себе самообман, будто слышат голос народа. Общественная наука в лице ведущих академиков, спускаясь ниже, в срединные этажи разветвленной гигантской системы пропаганды, требовала от народа, чтобы он поддерживал этот самообман.

Вот в чем заключалась теория «развитого социализма» и его функционирования.

Что же касается народа, то он был настроен по-разному. Конформисты, желающие достичь более или менее привилегированного положения и любым способом сохранять его, естественно, разделяли «политическое суеверие», стараясь кто как может еще и перещеголять друг друга в верноподданнических проявлениях. Творческая интеллигенция, за исключением верноподданных, «сведя челюсти от молчания», впала в «политическое неверие». Большинство же, совершенно отвернувшись от государственной жизни, превратилось в толпу людей, живущих только частной жизнью.

Да, драматична судьба нашего народа. Пробужденный Октябрем от вековой спячки и «безмолвствования» к исторической жизни и вкусивший ее в годы революции, народ едва-едва успел почувствовать себя по-человечески, то есть каждый чувствовал себя человеком, личностью, ради чего, собственно говоря, и шло на немыслимые жертвы и на смерть все революционное движение в России от Герцена и декабристов до народников и ленинской гвардии.

Затем на три десятилетия он был превращен в безгласную, безликую массу, которой манипулировали, как хотели, и которую приучали много работать, с тем чтобы мало потреблять.

Дети этого поколения после освобождения от страха инквизиции, наблюдая своих запуганных отцов, выработали для себя обратную формулу смысла жизни: мало работать, с тем чтобы много потреблять. И это вполне осуществимо в государстве, где моральным режимом стало лицемерие, т. е. порок, из которого «проистекают все остальные недостатки... порок пассивности». Очень и очень многие (не все, конечно), на словах лицемерно клянясь в верности партии, стали беззастенчиво грабить государство. В конечном счете грабили-то друг друга. Побеждал тот, кто похитрее. Такие, опять-таки тайно, жили «на всю катушку» своей частной жизнью.

Такова теория и практика «развитого социализма» в брежневском обществе.

В условиях авторитарной бюрократии аппарат, обладающий практически неограниченной властью, если не «самолично», то через другие звенья: «Ты — мне, я — тебе» — способствовал расцвету лицемерия, коррупции, превратившихся в тонко разветвленную систему.

Говоря философским языком, я бы назвал это «феноменом превращенного сознания». Обманывая государство и друг друга, люди не могут называть вещи своими именами, они вынуждены превращать их в нечто, что приемлемо с официальной точки зрения. Как в фильме «По семейным обстоятельствам» квартирный маклер, устраивая обмены, называет комнату «тетей» и так далее. В конечном счете люди приучаются лгать и самим себе. Человек не знает правды ни о социальной жизни вообще, ни о своей собственной, более того — и не хочет о ней знать. Человеку пытаются резать правду-матку в глаза, а он, отмахиваясь: «Хорошо живем, хорошо!».

Феномен «превращенного сознания» вдвойне страшен тем, что он, глубоко инертный, пассивный по своей природе, может сотворить и активное зло, полагая в своей «святой простоте», что творит благое дело. И этот эффект, известный в Европе во времена средневековой темноты, в русской народной традиции «эффект божьей росы», относится не только к настоящему, но к будущему и к прошлому. Вот почему и сегодня еще сохранилось немало людей, готовых вознести осанну силе, их же насиловавшей. Эти люди подобны средневековой старушке, подбрасывающей хворост в костер Яна Гуса. Именно они, не ведая, что творят, забрасывали каменьями Бориса Пастернака, академика А. Сахарова, пытавшихся открыть им глаза на социальную или их частную жизнь...

Если ведущая политика очень долго «слышит только свой собственный голос» и ориентируется только на те слои, которые поддерживают самообман, а не на честные искусство, науку, истинную культуру, то такая политика заводит общество в тупик цивилизации, вновь бросая тень на мировую модель социализма, на этот раз — тень авторитарной бюрократии.

И если сегодня, только за два с небольшим года существования гласности, наше общество оказалось готовым к публикации затравленного «Доктора Живаго» и к легальным выступлениям академика А. Сахарова,— это яркое и убедительное свидетельство выхода из тупиковой ситуации, свидетельство внимания политики к истинной культуре и даже ориентации на последнюю. Гласность гораздо раньше экономики пожинает первые плоды перестройки. Но, прежде чем выйти из тупика, обществу пришлось

сполна испытать все негативное, что в нем таилось.

«...Полтора десятилетия такой жизни — и тот поистине страшный результат, к которому мы пришли. Экономический, о котором сегодня уже достаточно сказано, и едва ли не более тяжкий нравственный и духовный: его нам еще только предстоит как следует осознать. Общество, как бы лишившееся интеллигенции,— если понимать под нею не просто людей определенных профессий, но то, чем она всегда была в России со времен Фонвизина и Радищева,— мозг и совесть нации. Общество, в котором господствующим психологическим типом стал человек равнодушный, ни в чем по-настоящему не заинтересованный, легко произносящий любые слова, но ничего не переживающий слишком глубоко, разучившийся стыдиться и презирать, работающий без удовольствия и вполсилы; человек, в котором вместе с катастрофическим выветриванием гражданских чувств даже и сугубо личные как-то обесцветились и усохли. Общество, как в своем спасении, нуждающееся в начавшейся перестройке, но до сих пор еще всерьез не доказавшее своей способности к ней...» — пишет критик Ю. Буртин.

История, проведя наше общество через столь жестокие испытания, поставила наконец политику в отношение необходимой терпимости к внутренней оппозиции.

Осознав опасность, которую нес в себе постсталинизм, нравственное разложение, непременно сопутствующее феномену «превращенного сознания», январский Пленум (1987 г.) указал: «Показателем падения социальных нравов стали рост пьянства, распространение наркомании, увеличение преступности».

Алкоголь в массовом употреблении есть важнейшее и простейшее средство микросоциальной эйфории, позволяющее «забыться», уйти от ложных, «превращенных» форм ненавистной жизни и на время войти, пусть иллюзорно, в иную, принятую жизнь («праздник», как определял такое состояние герой «Калины красной» В. Шукшина).

По отношению общества к алкоголизму можно судить во многом о духовно-нравственном состоянии текущего этапа социального развития.

По данным В. И. Исхакова, заведующего кафедрой статистики Плехановского института, в 1953 году «Сталин сдал страну», в которой потреблялось 3,5 литра чистого алкоголя на душу населения в год. Это меньше всех в мире (!), меньше даже, чем в России при полусухом законе на рубеже 1913 года, когда потребление достигло 4,7 литра. При Хрущеве потребление алкоголя возросло в три раза, при Брежневе — в шесть, а в 1984 году достигало уже 17—18 литров. По закону прямой зависимости, открытому медиками, таков же процент рождаемости дебилов и еще столько же полудебилов. (Критическая точка наступает при 25 литрах — за этим должно последовать вырождение нации, полная экономическая разруха.)

Как видим, алкоголь и наркотики бывают почти ненужными обществу, когда есть духовные наркотики — религия, как было в европейском средневековье, или социальная эйфория, замешенная на страхе, как в сталинском «средневековье» («где так вольно дышит человек»).

После разоблачения культа, казалось бы, последует своеобразный Ренессанс. Правда, в истории еще был Проторенессанс — необходимая промежуточная ступень.

В начале пятидесятых годов нынешнего века у нас в стране произошла «смерть бога в культуре». Да, культ Сталина был обожествлением человека. И вот бога нет, а значит, все дозволено. Но после разоблачения культа в нашем обществе наступил отнюдь не Проторенессанс. Сначала была «оттепель» на десяток лет, с 1956 года по 1965 год, весьма неравномерная, после чего наступил кризис: утрата веры, рецидив новых культов. Отсюда и кризис духа — безверие и разгул плоти, потребительство, взяточничество, казнокрадство, проституция, алкоголизм, наркомания. Перед размерами этих бедствий пасует наша и без того оробевшая статистика.

В хрущевскую «оттепель» появилась целая плеяда реабилитированных имен и обнародованных документов, но процесс не был доведен до конца. Мы уже говорили о том, что в самом руководителе еще слишком сильна была историческая память о пережитом, подчинившая себе обновляемое сознание.

Вскоре начался культ новой личности, пусть в другом масштабе, уже без инквизиции, но и без коренной ломки. Процесс общественного раскаяния в содеянном должен быть доведен до логического конца и реализован в системе поступков, а в социальном плане — в системе радикальных реформ, способствующих демократизации общественной жизни. В конце концов виновные должны неминуемо понести наказание или по крайней мере быть отстранены от власти и руководства, иначе по закону всего живого они будут плодиться и размножаться, плодить себе подобных. Необходимо открыть шлюзы, спустить все нечистоты, очистить наболевшую историческую память. Ведь до сих пор города, улицы, пароходы носят имена инквизиторов или брежневских приспешников. Возвращаются первоначальные названия слишком медленно, едва-едва.

В силу описанных выше причин в обществе, где торжествуют не любовь и гармония, не вера в будущее, а ложь и лицемерие, подонки вопреки своему наименованию (подонки — те, что находятся «на дне» социальном) поднимались наверх, а лучшие люди — яростные

сердца разбивались. Ушли безвременно Шукшин и Высоцкий... Прощальные стихи Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья!», писанные кровью, невольно всплывали в памяти тех, кто читал предсмертные строки Высоцкого:

Мне есть, что спеть, представ перед
Всевышним,
Мне есть, чем оправдаться перед Ним.

А вот те, кто травил поэта, замалчивал его, оправдаться не могут.

Нечто подобное происходило и в других слоях общества.

В Министерстве внутренних дел, как и всюду, есть свои талантливые и умные люди. Один из них, генерал-лейтенант Сергей Михайлович Крылов — основатель первой и единственной Академии МВД СССР. Он был не только великим специалистом, но и знатоком, ценителем искусства, которому предоставил зеленую улицу в своем детище — Академии, не на шутку решив цивилизовать, окультурить служителей и стражей общественного порядка. Писатель Ахто Леви даже посвятил его памяти свою книгу.

Недаром Г. Товстоногов получил нагоняй за то, что перед спектаклем «Горе от ума» начертал на занавесе хлесткую пушкинскую фразу: «Дернул же меня черт с умом и талантом родиться в России». Она характеризовала то время, пожалуй, в не меньшей степени, чем время Грибоедова и Пушкина. Восходящим подонкам таланты нравиться не могут всюду, в том числе и в МВД. И вот по ложному навету нового, свежевыпеченного тогда генерал-лейтенанта Чурбанова (говорили, что еще вчера, до того, как женился на дочери Брежнева, он был просто лейтенантом) Сергей Михайлович несправедливо был отринут от дел тогдашним министром внутренних дел Щелоковым. Крылов застрелился в своем рабочем кабинете. А Чурбанов, никогда и ничем себя не проявивший, но увешанный орденами и другими наградами, вскоре получил звание генерал-полковника.

Время, однако, берет свое. Уличенная в присвоении драгоценностей, валюты и прочих сделках на огромные суммы, покончила с собой жена министра, а вскоре и сам министр, возвратив государству гигантский долг, присвоенный его семьей, тоже застрелился. А ныне арестован и осужден Чурбанов.

Нечто похожее и еще более страшное происходило в Молдавии, Азербайджане, Узбекистане...

Бывший министр внутренних дел Узбекской ССР Хайдар Яхъяев — палач и садист (ныне осужденный) — был... поэтом. Во всяком случае, на нескольких поэтических сборниках красовалось его имя. И первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов тоже был поэтом и меценатом муз. Сей меценат и сибарит опирался на официальных инквизиторов, на министра Яхъяева, и неофициальных — к примеру, руководителя крупного хозяйственного объединения в Наманганской области Адылова, тайного убийцы с аппаратом наемников. Рашидов, Яхъяев, Адылов свергали и убивали всех неугодных. Можно себе представить, каково приходилось поэзии в Узбекистане!

Подобно тому, как, пытаясь оправдать Сталина, говорят, что он, мол, не знал, что творили Ежов и Берия, так же пытаются списать и с Рашидова наиболее тяжкие грехи. Изучивший этот вопрос писатель и журналист Камил Икрамов, сын репрессированного в 30-е годы крупного партийного деятеля республики, резюмирует: «В «своей» республике он знал и контролировал все. И больше всего опасался, как бы кто-нибудь другой не узнал все то, что было известно ему одному. Путь Рашидова к преступлениям можно расценить как трагедию личности... Он чтил силу и презирал демократию, люди были для него «колесиками» и «винтиками», ему присуща была и неукротимая, самодовлеющая страсть к орденам, медалям, вообще любым регалиям. Увы, каждый орден Рашидова отмечал собою очередные потери узбекского народа и узбекской земли. Его «заслуги» откликнулись ныне миллионами гектаров испорченных солью земель и тысячью уголовных дел, очень высокой детской смертностью и крайне низким потреблением мяса. Его «заслуга» в том, что культура, литература, искусство республики покорно равнялись на его произведения, в свою очередь, равнявшиеся в последние годы на «Малую землю» и «Целину»... Теоретики объяснят, наверное, что, минуя стадию капитализма и прямо от феодального строя переходя к социализму, важно не забывать, что сознание масс не может измениться так быстро, как надо бы при таком переходе. Практика это, увы, подтверждает. Не какие-то, а именно феодальные отношения, феодально-байскую мораль насаждали Рашидов и его приспешники по всей социальной вертикали. В вотчину давались колхозы, районы, целые области, учебные и научные институты. Так же обстояло дело в литературе, кино, театре, учреждениях культуры...»

Происходящее в Узбекистане — еще один аргумент в подтверждение выдвинутого нами тезиса о том, что бюрократический авторитаризм, например, сталинизм, диалектически переходит в авторитарную бюрократию, в частности постсталинизм, и обратно. «Грубый», «казарменный социализм» сталинского образца с его рецидивами средневековья, «военно-феодальной эксплуатации крестьянства», по определению Н. И. Бухарина, развернулся на среднеазиатской почве во времена правления Рашидова, особенно в 70-е годы. Такой тип общества можно назвать «феодально-байский социализм». Не случайно новый Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Р. Н. Нишанов сказал

о бывшем первом секретаре — «новоявленный узбекский хан с партбилетом, золотыми звездами (он был дважды Героем Труда.— **М. К.**) и лауреатскими значками». Новофеодальное ханство на почве авторитарного социализма неизбежно привело к вопиющим нарушениям норм партийной жизни и законности, многоступенчатому взяточничеству, очковтирательству, припискам, к «выдвижению кадров на основе родства, землячества, личной преданности или корыстных побуждений» (из обращения XXI съезда Компартии Узбекистана в ЦК КПСС).

Подобная общественная и культурная жизнь не могла не вызывать внутреннего сопротивления со стороны мыслящих и честных людей, прежде всего творческой интеллигенции. Но большинство из «сопротивленцев», памятуя о том, чем прежде заканчивались проявления инакомыслия, предпочитали молчать.

Инакомыслие — иначе самостоятельная мысль, мысль как таковая — преследовалось по-прежнему во всех ипостасях от науки и философии до искусства и общественной деятельности. Инакомыслящих теперь прижать к ногтю уже стало невозможным, но можно выслать за кордон или придумать что-нибудь эдакое... Возникает феномен диссидентства. Думаю, уместно дать историческую справку о возникновении самого явления. Как и все под солнцем, оно не ново. В средние века была ересь, еретики, которые при всех своих отклонениях от официальной доктрины и свободомыслия начинали с того, что воспроизводили идеи первоначального христианства, отбрасывая последующую ортодоксию. С XVI—XVII веков появляются диссиденты, несогласные,— люди, придерживающиеся иных взглядов, чем того требует господствующая церковь: в Англии — диссентеры, во Франции — гугеноты, в Польше — все католики. Современное диссидентство, начиная с XIX века — это нонконформизм, несогласие, не уподобляющиеся всем. Поэтому сегодня в условиях радикально обновляющегося общества необходимо иное отношение к этим людям — конструктивные ответы, а не только хула. У нас диссидентство — подпольная антиофициальная и в этом смысле «контрреволюционная» культура. Ее «души прекрасные порывы» уже нельзя задушить, как это делал сталинизм, но можно приглушить, что и делает постсталинизм.

Итак, когда линия XX—XXII съездов партии оказалась свернутой, а вызванное ею к жизни движение общественного самосознания—неугодным, произошло неизбежное—возникла оппозиция.

«Превращение части — и, подчеркнем, лучшей части — тогдашнего демократического движения в оппозиционное, а энергии положительного социального преобразования в энергию протеста — печальная и драматическая страница нашей истории. Для немалого числа людей это обернулось утратой веры в социализм; судьбы большинства из тех, кого невозможность прямо и открыто высказать свое несогласие с новой официальной линией толкнула к нелегальным формам политического самовыражения, оказались изломанными. Одним пришлось проститься с Родиной, другим нести наказание «по всей строгости закона». Речь не о том, чтобы задним числом освободить их от ответственности за любые их конкретные действия, хотя бы и вызывавшиеся условиями и логикой борьбы... Но должна быть со всей определенностью признана и ответственность другой стороны (на нее прямо указал январский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС.— **М. К.**). Тех, кто обратил этот закон против демократии, в наших условиях — социалистической. Тех, кто тем самым явился источником, а в правовом и моральном плане — виновником возникновения политической оппозиции в нашей стране»,— пишет Ю. Буртин.

Между официозным искусством «автоматчиков», имевших тогда свои собственные трибуны — софроновский «Огонек», кочетовский «Октябрь»,— и оппозиционной (диссидентской) культурой возникает промежуточное недиссидентское звено: не открыто антиофициальное, сосредоточенное всецело на негативных сторонах политики и общественной жизни, а, так сказать, внеклассовое, общечеловеческое, открывающее человека, его дух, душу.

Эта третья культура, долго питавшая душу интеллигенции и народа светом свободы, любви и человечности, была тесно связана с лучшим, что было в профессиональном искусстве, и, когда времена изменились к лучшему, слилась с ним в единое целое. При гласности и демократии, слиянии, оговорюсь, относительном, политики и культуры, в феномене неофициальной культуры—«самиздате» — пропала нужда. Сейчас официальную прессу — ведущие газеты и журналы — зачитывают до дыр и размножают на ксероксе.

Авторитаризм для поддержания своего авторитета неминуемо требует жертв, в том числе и тех, кто добровольно готов положить себя на алтарь Отечества. Одной из жертв, павших «в борьбе роковой», стал «отец водородной бомбы» академик А. Сахаров, имевший мужество противопоставить официальному режиму свое суждение о нем. Этот человек позволил себе «сметь свое суждение иметь» о том, что есть истина, а что ложь. А лжи накопилось предостаточно.

И вот на таком фундаменте ложного, «превращенного сознания» было выстроено все здание официальной культуры — до сих пор не осознанный нами итог развития первоначальной идеи Пролеткульта, осуществившейся вопреки ленинскому указанию и ленинской программе культурной революции.

А ведь, казалось бы, не только в последние десятилетия, но еще и в нэповскую пору мы располагали всем необходимым для построения истинного социализма, однако в действительности этого не произошло. Почему же? Что так упорно и тяжко нам мешает?

Еще в 1923 году, мучительно раздумывая над вопросом о том, что же нужно для построения социализма, Ленин пришел к выводу о том, что при наличии общественной собственности на средства производства и при условии, что власть государства в руках пролетариата плюс союз пролетариата со многими миллионами крестьян при руководстве пролетариата есть «все необходимое и достаточное для этого построения», хотя еще и не самое построение социализма. «Строй социализма» как таковой при указанных условиях — это «строй цивилизованных кооператоров». «Собственно говоря, нам осталось *только* одно: сделать наше население настолько «цивилизованным», чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и наладило это участие... «*Только*» это... Но для того, чтобы совершить это «только», нужен целый переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы... Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия». Но мы не смогли ее правильно пройти и за шесть десятилетий!

Таким образом, за вычетом возможных международных осложнений центр тяжести переносится «на мирную организационную культурную работу»— на «культурничество», потому что полное кооперирование «невозможно без целой культурной революции».

Через несколько дней Ленин добавляет к сказанному, и это публикуется 26 и 27 мая 1923 года в «Правде»: «Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной, но для нас эта культурная революция представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свойства материального (ибо для того, чтобы быть культурными, нужно известное развитие материальных средств производства, нужна известная материальная база)».

А еще через несколько дней в статье «О нашей революции», ссылаясь на международный спор между реформистами и «революционистами», он еще раз уверенно добавит, что «для создания социализма требуется определенный уровень культуры» и что «на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя» «двинуться догонять другие народы».

Именно «окультуривание» массы, в том числе и массы управленческого, бюрократического аппарата, могло бы стать решающим средством для борьбы с бюрократизмом и авторитаризмом, но вместо этого чиновная власть, наоборот, боролась с культурой.

В своих последних статьях Ленин по необходимости сжато, поразительно емко предопределял основные возможные маршруты движения нашего общества, учитывая даже подстерегающие опасности и тупиковые ветки.

Так, например, мы не пришли бы к вспышкам национализма, если бы вовремя учли ленинские предостережения и на этот счет: «Нет сомнения, что мы живем в море беззаконности и что местное влияние является одним из величайших, если не величайшим противником установления законности и культурности. Чистка партии уже тогда вскрыла в большинстве местных проверочных комиссий факты сведения личных счетов на местах.

Законность не может быть калужская и казанская, а должна быть единая всероссийская и даже единая для всей федерации советских республик. Земледелие или промышленность в Калужской губернии не то, что в Казанской, а тем более в Средней Азии или, скажем, на Кавказе. То же относится ко всему администрированию или управлению. Следуя далее логике ленинской мысли, то же относится и к культуре.

«Не учитывать во всех этих вопросах местных отличий значило бы впадать в бюрократический централизм...»

Но законность должна быть одна! И «основным злом во всей нашей жизни и во всей нашей некультурности является попустительство исконно русского взгляда и привычки полудикарей, желающих сохранить законность калужскую в отличие от законности казанской».

Прокурор имеет право и обязан следить за установлением действительно единообразного понимания законности во всех республиках, несмотря ни на какие местные различия и вопреки каким бы то ни было влияниям. А вот суды, судьи выбираются местными Советами, поэтому та власть, которой прокурор передает решение возбужденного им дела о нарушении закона, является властью местной, и она, соблюдая единый закон, при определении меры наказания обязана учитывать все местные обстоятельства. «Если мы этого элементарнейшего условия для установления единой законности во всей федерации не будем проводить во что бы то ни стало, то ни о какой охране и ни о каком создании культурности не может быть и речи».

Это «элементарнейшее условие» в 70-е годы на деле не соблюдалось.

В последней статье «Лучше меньше, да лучше» Ленин еще и еще раз возвращается к вопросу о том, что «нам... не хватает цивилизации для того, чтобы перейти непосредственно к социализму, хотя мы и имеем для этого политические предпосылки».

Располагая этими предпосылками — ликвидацией частной собственности, руководством со стороны рабочих и прочими,— следует заботиться прежде всего о

достижении культурности и не допускать разрастания бюрократического аппарата, который эту культурность сковывает или даже заменяет собою.

Борьба с бюрократией подобна борьбе со злокачественной опухолью: надо разрушать больные клетки, но при этом не повредить здоровые, обеспечивающие эффективное функционирование организаций и учреждений, совершенствование управления.

Сегодня социологи советуют приглядеться к зарубежному опыту. Например, В. Шубкин рекомендует обратить внимание на то, как в Японии сумели использовать общинное национальное сознание, и, как полагает В. Цветов, этот своеобразный коллективизм дает не меньший экономический эффект, чем внедрение технических новшеств. Превращение рабочего в своего союзника позволяет японским фирмам резко сократить число надсмотрщиков и контролеров, чиновников и бюрократов, снизить издержки производства, повысить конкурентоспособность.

Итак, даже крайний «революционизм» не обходится без бюрократии — власти канцелярии, а канцелярия, предоставленная себе, не может обойтись без власти, и бюрократия становится более или менее авторитарной. И все это, как мы видели, не случайный нарост на теле нашего народа и Отечества, а явление с давними традициями, идущими из далекой глубины отечественной истории.

Со времени ленинского завета о кооперации и культурной революции прошло шесть десятилетий — срок достаточный, чтобы во многом ликвидировать указанную пропасть «азиатского бескультурья», и это вполне могло бы быть осуществлено, если бы именно сюда были направлены все основные силы нашего общества.

Но вместо того чтобы наводить переправу через эту глубочайшую пропасть, политика ее разрушала. «Грубый», «казарменный социализм» продолжил и довел до логического конца худшие из отечественных политических традиций: усилил авторитаризм и бюрократию. Что же касается культуры и цивилизованности (эта традиция вывела Россию на протяжении XIX века в число ведущих наций мира), то вот эта линия и была как раз попрана, почти уничтожена. Сталинизм и постсталинизм грубо политизировали ее останки, тем самым разрушая окончательно имманентную сущность социалистической культуры. А без культуры, повторяем, невозможно и полное кооперирование.

Поэтому необходимо рассмотреть эту позитивную, плодотворнейшую из отечественных традиций, чтобы хоть сегодня добраться до ее богатой, столь исковерканной, засоренной и пересушенной «казарменным социализмом» и авторитарной бюрократией, почвы.

Возрождение

Проблема есть сформулированная «боль» самой действительности.

Раздумывая над сегодняшней проблематикой, нужно ли столько внимания уделять предшествующим периодам — сталинизму, постсталинизму?

Безусловно — нужно! Как подчеркивает один из ведущих идеологов нашего общества, А. Н. Яковлев: «Перестройка — не отрицание прошлого. Но отрицание того в прошлом, что мы не можем, не имеем права брать с собой в будущее. И не в силу каких-то субъективных предпочтений или антипатий, а потому, что те или иные завалы могут тормозить наше движение вперед, тащить вспять, а то и просто не пускать в завтра».

Чтобы состоялось это «завтра», чтобы началось действительное Возрождение, необходимо до конца рассчитаться со своим средневековьем, со всем средневековым грузом — духовным, культурным, политическим, социальным.

Но должен, как показывает история и как сказано было в предыдущей главе, должен рано или поздно наступить Ренессанс — возрождение первоначального чистого и высокого духа.

Современные исследования показали, что возможны разные типы Ренессанса — региональные (восточный, западный), на своеобразной мистической почве (мусульманский), национальные (китайский, грузинский, армянский), наконец, половинчатые (русский эпохи Рублева).

Ренессанс возможен во все времена, но — главное! — в подходящих социально-политических условиях. Это прежде всего обновление всей общественной жизни и культуры, в особенности духовной жизни общества, до того находившейся под железной пятою догматической идеологии и инквизиции. Из прошлого известна коренная Реформация (потому и с большой буквы, что коренная) религии, закосневшей в форме духовного рабства, Реформация, осуществленная Мартином Лютером, установившим возможность непосредственного контакта человека с богом, минуя схоластические премудрости и авторитеты.

Освобождение науки, научной картины мира и ее венца — философии — из-под власти церкви (до того философия была лишь «служанкой богословия») вплоть до того, что уже через два столетия (срок совсем небольшой для истории) Лаплас заявит, что его научная картина мира не нуждается в «гипотезе божества».

Эразм окончательно заклеймил схоластику в своем «Похвальном слове Глупости», и схоластическая форма религиозно-философского мышления умерла под ударами этой сатиры (подобно тому, как языческие боги античной мифологии в свое время умерли в сатирах Лукиана — поистине всему свое время).

Поучительна взаимоуважительная полемика, возникшая между этими двумя вождями — Лютером, реформатором религии, и реформатором философии Эразмом (поучительно, знаменательно и то, что эта полемика издана у нас впервые именно сейчас, в начале 1987 года).

Как ни долог был в силу мощных самоохранительных тенденций период средневекового догматизма и схоластики, но и он неизбежно был вытеснен. Реформацией, с одной стороны, и развитием опытной науки — с другой. Мартин Лютер бросает в черта чернильницей, а Френсис Бэкон сокрушает идолов ложного знания новоизобретенным индуктивным методом.

Судя по обозначившимся признакам мощного общественного движения время нашей Реформации наступило: «железный занавес» пал, общественная, экономическая и духовно-историческая летаргия разбужена ускорением, пришел час и схоластике уступить место подлинным знаниям, а отвлеченной от жизни теории и так называемой «методологии», пустой апологетике, повернуться лицом к живой реальности с ее конкретными проблемами и противоречиями.

Уходит время догматов и схоластов — экспроприаторов живой социальной мысли. Это и есть начало нашего Ренессанса — в стратегии ускорения, освобождении от тысячелетней лени и пьянства, возвращении к нравственной чистоте наших первоначальных социальных идеалов, а следовательно, возрождение первоначального марксизма и ленинизма, освобожденного от тяжкого словесного савана сталинизма и постсталинизма.

Так, думается, следует понимать провозглашенное январским (1987 г.) Пленумом ЦК КПСС «настоятельное стремление возродить в современных условиях, возродить как можно полнее, дух ленинизма...».

В этом смысле, по-видимому, и употребляет понятие Ренессанса главный вдохновитель перестройки М. С. Горбачев: «Могу сказать, что у нас в Советском Союзе наступила как бы «эпоха Возрождения», возрождения творческого духа ленинизма».

В еще более свободном — метафорическом — смысле пользуются этим понятием писатели, общественные деятели, в частности Чингиз Айтматов: «Время, которое мы сейчас переживаем, с одной стороны, полно самых светлых надежд, с другой — тревожное. Назрела пора трезво взглянуть на все, что было, сказать себе и другим правду, как она есть... Страна имеет великий шанс возрождения, именно поэтому все, что мешало, порождало сомнения, вызывало пессимистические настроения,— все нужно разъяснить, нужно освободиться от пут, от социально-политических стандартов, так тормозящих движение нашей жизни».

Радикальная реформа управления экономикой, осуществляемая с апреля 1985 года, уже затронула характерные для нашего средневековья отношения сталинизма и постсталинизма. Вводится переход на полный хозрасчет, самофинансирование с одновременным развитием прогрессивных форм организации труда, прежде всего — коллективного подряда. Тенденция к уравниловке критически рассмотрена и осуждена на июньском Пленуме (1987 г.) так же, как и «практика необоснованного изъятия в бюджет собственных средств предприятий и организаций, что подрывало условия для их нормальной хозяйственной деятельности».

Итак, к нынешнему дню отвергнута как порочная система управления, основанная на жестком централизме, детальном регламентировании работы, директивных адресных заданиях и бюджетных ассигнованиях. Экономическая наука предупреждала о ее порочности и тупиковой перспективе еще в начале 60-х годов (в частности, академик В. С. Немчинов), но только сейчас эти предупреждения оформляются в продуманную систему экономической политики.

На место былого безличностного коллективизма приходит ясное понимание необходимости соединить «плановое руководство с интересами личности и коллектива». Изменяются и подходы к планированию — контрольные цифры должны не носить директивного характера, не сковывать трудовой коллектив при разработке плана, предоставить ему широкий простор для выбора самостоятельных решений и партнеров при заключении хоздоговоров.

Внутренним стимулом для проявления личной инициативы становится переход трудовых коллективов к самоуправлению, при котором они вполне свободно и самостоятельно (а не по принуждению сверху) могут решать основные вопросы организации производства вплоть до избрания руководителей.

Пресса, радио и телевидение ежедневно сообщают нам о десятках и сотнях примеров реального, конкретного осуществления такой экономической политики и ее преобразующего воздействия на устоявшуюся, казалось бы, окаменевшую систему.

Искореняя формулы сталинизма — производить для общества как можно больше и потреблять как можно меньше — и постсталинизма — работать на общество как можно меньше, а урвать от него как можно больше,— нынешняя государственная политика ориентирует общество на то, чтобы «люди свое благополучие добывали честным трудом»,— «это и есть социализм, живой, творческий, трудовой». С первой трибуны государства были приведены современные примеры работы в колхозах отдельных небольших коллективных звеньев, в которых среднемесячная заработная плата каждого человека намного превышает 500 рублей: «Ну и на здоровье! Потому

что она выплачивается за труд, идет от реальной продукции».

С январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС мы вступили в новый этап нашего движения по перестройке, в корне меняя застарелое отношение к культуре и искусству. Нынешний социализм пытается раскрепостить все средства, служащие благу человека, его духовному возвышению.

Наступившая гласность, беспримерный прецедент за последние шесть десятилетий, является верным гарантом подлинной критики и самокритики. Это и прежде провозглашалось тысячу раз, даже во времена пика сталинизма, но в условиях безгласности критика с зажатым ртом оставалась бумажным шелестом, либо хуже того — провокацией для вылавливания инакомыслящих. Только гласность открыла зоны, прежде закрытые для критики. Она разбудила летаргически спавшее общественное самосознание, прежде всего художественное — передовых творений литературы, кино, театра,— вернула к жизни имена и произведения, преступно вычеркнутые из списка живых. Именно этот поток публикаций стихов, поэм, романов, фильмов и пьес, в свое время запрещенных и ушедших в небытие, образует ныне поразительный по мощи вал нашего духовного Возрождения. Он и внушает веру в подлинную необратимость перестройки, убеждает сомневающихся и увлекает за собой дремлющих или колеблющихся. Впечатляет весь мир, заставляет его всматриваться с уважением в наш тяжкий опыт.

Впервые в нашей истории в центр всех духовно-культурных процессов постепенно выдвигается человек, личность. Впервые, поскольку на этапе ленинизма в силу исторической необходимости в центр выдвигались масса, коллектив, массовая культурная революция.

Главное богатство —сам человек, его возможности. «Вот здесь мы и предлагаем соревноваться с системой капитализма», — сказано в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду КПСС. Даже политика теперь должна строиться на точном учете интересов классов, социальных групп, личности. (!) Личность, ее духовное содержание — вот нынешний социальный ориентир на деле, на предшествующих стадиях нашего общественного развития никогда прежде не работавший.

«Грубый социализм» — бюрократический авторитаризм — и последующая авторитарная бюрократия привели к мысли, что мы «потеряли годы и десятилетия», более того, что «прекрасного завтра» может просто не быть. Это было отмечено на июньском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС. Иначе говоря, казалось, что социализм зашел в тупик. Жизненно важно стало найти верный ориентир, и он был найден — демократический социализм.

«Вот почему неотложной задачей партии становится дальнейшая демократизация советского общества. В этом, собственно, и состоит суть курса апрельского Пленума, XXVII съезда КПСС на углубление социалистического самоуправления народа... Демократизм —не просто лозунг, а суть перестройки»,— гласят материалы январского Пленума.

И к июню 1987 года уже была разработана конкретная программа «перехода от преимущественно административных (по нашей терминологии — авторитарно-бюрократических.— М. К.) к преимущественно экономическим методам руководства на всех уровнях, к широкой демократизации управления, всемерной активизации человеческого фактора». Эта программа широко комментировалась в печати и потому не нуждается здесь в подробном изложении.

Вот, собственно, какая проблематика должна была бы в первую очередь стать главнейшим предметом общественной науки, однако этого не произошло. Те писатели, которые вместо философов ее пристально изучали, по-видимому, вправе ныне сказать, как Чингиз Айтматов: «С горечью думаю я: сколько напрасного труда потрачено в общественных науках! Многое было, оказывается, не то, а многое было и заблуждением. Масса диссертаций, люди потратили на это годы жизни, вместо того чтобы разрабатывать теорию социализма (реального.— М. К.), произносили заученные формулы».

Итак, час пробил, но общественная наука все еще стыдливо молчит, слышны пока только экономисты и публицисты. Зато во весь голос давно уже говорит художественная литература, которая всегда была в России зеркалом передового ума и совести. К примеру, «Плаха» Ч. Айтматова, произведение, которое, конечно, не могло быть опубликовано несколько лет назад. В «Плахе» прямо сказано, что происходило в стране, когда господствовали ортодоксы, властно подчинив себе не только науку, но и хозяйство, в том числе и сельское: когда кто-то, как айтматовский герой, выдвигал идею бригадных, семейных производственных подрядов, которой только сейчас открылась «зеленая» улица, «бдительные местные политэкономисты начинали быстренько сомневаться: «Не есть ли это посягательство на священные принципы социализма?» — и все немедленно шли на попятный и начинали говорить обратное, доказывать то, что не было нужды доказывать. Никто не хотел быть заподозренным в ереси».

Пришло время менять отношение к «еретикам» не только в экономике. Перестраивать необходимо все сверху донизу, начиная с гуманитарного мышления вообще. Но для этого надо как минимум предоставить возможность «еретикам» сразиться на равных со схоластами, которых всегда больше, а значит, они и сильнее. Им ничего не стоит заглушить чест-

ные голоса строгим запретом или вычеркиванием, редактированием.

Мыслить свежо, самостоятельно, оригинально больше всех мешает именно внутренний редактор-схоласт. И это самое страшное, потому что с ним бороться почти невозможно. Мыслители по профессии разучились мыслить.

Наша революция сегодня — революционная перестройка — исходит сверху. В этом замечательное своеобразие нашей Реформации. Но, чтобы пронизать все общественное здание, снизу должна подняться мощная волна антисхоластического мышления. Пока же она неизбежно застревает на срединных этажах, по-прежнему оккупированных схоластами — людьми, дрожащими за свои должности. Между «верхом» и «низом» залегает плотный, толстый промежуточный слой, заложенная в нем энергия не желает ничего менять. Чтобы выжить новой системе, необходимо, образно говоря, соорудить социальные лифты со свободным ходом снизу доверху, по крайней мере в области общественно-философской мысли. Ведь пока всякое движение снизу на середине по-прежнему перекрывается и глохнет. На это обстоятельство специально обращают внимание энтузиасты перестройки. Один из них, рабочий щекинского объединения «Азот» Тульской области, писал в «Правду»: «У меня сложилось мнение, что между ЦК и рабочим классом все еще колышется малоподвижный, инертный и вязкий партийно-административный слой, которому не очень-то хочется радикальных перемен...»

Добиться таких перемен поможет прежде всего самоотверженность энтузиастов, которые совершали все великие революции. Верю, что таких людей еще достанет в народе нашем, как бы он ни изверился, надо только дать им возможность проявить себя в деле, каждому — в своем деле, дать гарантию «быть услышанным» (по Иммануилу Канту), правильно понятым «наверху». Понятым, несмотря на то, что схоласты обвиняют их в очередной ереси и пытаются морально уничтожить.

Итак, мы видим, что наша философия в строгом смысле не может называться философией, которая должна объять все бытие и время (по Хайдеггеру) и быть вершиной пирамиды всех наук (по Гегелю). Ее завоеванием до сих пор остается пока только социально-политическое учение, действительно революционное, идейно и практически изменяющее мир. Подтверждение тому — история современности, особенно послевоенный мир, освобождающийся от ига колониализма в результате революционной борьбы, диалектику которой учат, конечно, «не по Гегелю», а, говоря словами В. В. Маяковского, «с Лениным в башке и с наганом в руке».

Именно в этом направлении марксистско-ленинское учение и продолжало развиваться. Параллельно и постепенно сюда добавились логика, эстетика, этика и научный атеизм, конкретная социология и социальная психология, отчасти аксиология. В последнее время обозначился и некоторый подход к проблеме человека (хотя общество к ней, по-видимому, не вполне готово).

Ошибка состояла в том, однако, что, вопреки объявленной диалектической установке на развитие предмета и необходимости видеть его в противоречии противоположных сторон, предмет — социализм — виделся не реальным, исполненным противоречий, а уже развитым. Все «достоинства» подобной диалектики обнаружила теория бесконфликтности в искусстве 50-х годов, согласно которой суть борьбы в нашем обществе сводится к «борьбе хорошего с лучшим», а не извечного добра и зла. Так что речь шла лишь о «дальнейшем совершенствовании» только хорошего, так сказать, шлифовке и чуть ли не автоматическом перерастании в следующую фазу — коммунизм. Наша диалектика 60—70-х годов, сама того не заметив, стала метафизикой, заменив анализ противоречивой реальности умственной идеализированной конструкцией. Программа партии была воспринята не как программа сложного и противоречивого движения к образу запечатленного в ней будущего социализма, а как образ самой реальности. Образ и действительность поменялись местами, и стало очень легко жить — вопреки Ленину, который говорил: «...Надо быть как можно осторожнее и точнее... А если мы малейшие претензии заявим на то, чего мы не можем дать,— это ослабит силу нашей программы. Они (трудящиеся.— М. К.) будут подозревать, что наша программа — это только фантазия».

Сегодняшний философ-марксист должен вернуться к реальной противоречивой действительности и начать с анализа ее противоречий. Но поскольку социальная действительность чрезвычайно усложнилась, невозможно далее полагаться только на собственные индивидуальные наблюдения и исследования. Философу сегодня как никогда должны помочь специальные науки.

Классический марксизм имел с самого начала подчеркнуто классовый характер. Это была прежде всего философия рабочего класса: «Подобно тому как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие». Эта философия ориентировала рабочий класс на революционное преобразование, на созидание принципиально нового социалистического общества. Это и ныне действует в отношении тех обществ и государств, которые проходят аналогичные этапы исторического развития. Что же касается нашего общества на 71-м году его существования, учитывая напряженную международную действительность, узкоклассовый подход должен уступить место иному, более широкому.

В пору исторического восхождения рабочего класса, как бы предвидя культ пролетариата, о чем мы уже говорили подробно, Г. В. Плеханов говорил: «Если пролетариат хочет поставить защиту своих классовых интересов на широкую основу политической борьбы, он должен бороться за общие интересы истины, культуры, справедливости и человечности».

Сегодня это относится уже не только к передовым классам, но и к нациям, и к государству в целом. Вот почему на встрече с представителями Иссык-Кульского форума М. С. Горбачев подчеркнул «приоритет общечеловеческой ценности мира над всеми другими, к которым привержены те или иные люди».

На беспрецедентном в истории нашей страны международном форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» советский руководитель глубоко обосновал необходимость поиска форм совместного существования различных, даже противоположных, классовых систем, так что новое мышление призвано «покончить с отторжением политики от общечеловеческих норм нравственности».

Почему так высока в мире оценка нашей сегодняшней политики? Потому, что грамотная интеллигенция очень хорошо знает, что и ныне вспыхивающие проявления троцкизма, сталинизма, маоизма и прочего тоталитаризма — государственный экстремизм обращен только на себя самое, «страшно узок», как сказал бы В. И. Ленин. Открыто или тайно, он с неизбежностью отрывает себя от общечеловеческих интересов «истины, культуры, справедливости и человечности».

Однако решать такие международные задачи под силу только политикам, что же касается задач внутренних, социальных, то тут должна подключиться общественная мысль. Только сейчас наступает, наконец, время полного отрезвления от прежней эйфории — запуганно тоталитарной при сталинизме и «превращенно»-вещистской при постсталинизме. И обнаруживается, что проблемы, которые казались нам давным-давно решенными, вдруг заявляют о себе как о нерешенных. К этому наше общество оказалось неготовым, ибо не хотело слышать о реальных противоречиях.

Один из типичных примеров.

На съездах партии в 60—70-е годы успокоенно констатировалось: национальный вопрос у нас «решен полностью и окончательно». Однако националистические вспышки показали, что нельзя далее принимать желаемое и возможное за действительное.

«...Негативные явления и деформации, с которыми мы провели борьбу, проявились и в сфере национальных отношений. Нет-нет да и дают себя знать проявления местничества, тенденции к национальной замкнутости, настроения национального чванства и даже инциденты, подобные тем, что совсем недавно произошли в Алма-Ате.

События в Алма-Ате и то, что им предшествовало, требуют серьезного анализа, принципиальной оценки. Во всем этом еще предстоит внимательно разобраться». (Из материалов январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС.)

Само по себе решение национального вопроса — беспримерный социально-исторический акт, который не удавался еще ни одному режиму, кроме социализма,— ни феодализму, ни капитализму. До сих пор даже самые развитые общества и Запада, и Востока сотрясают национальные, национально-расовые и национально-религиозные волнения, распри и беспорядки: конфликты англичан с ирландцами, белых и черных в США, ирано-иракская война, не говоря об апартеиде и прочем уходящем корнями в средневековье рабстве с их нетерпимостью «своих» к «чужим».

Так что вопрос этот чрезвычайно сложный, и тем не менее в целом он был успешно решен в СССР.

Однако в отличие от нашей общественной науки в социальных отношениях ничто не стоит на месте. В то самое время, когда во всех республиках Союза писались величальные книги и диссертации по замечательной гармонии «национального и интернационального», в области национальных отношений, как и повсюду, наступил застой и более того — возвращение в прошлое. Благодаря национальной политике 60—70-х годов, которую называли «мудрой, ленинской», в некоторых республиках царила социальная несправедливость. Возникли конфликты с русскоязычным населением и более всего там, где щедрая природа благоприятствует хозяйству,— на Кавказе, в Средней Азии.

При создании Союза Советских Социалистических Республик, чтобы обеспечить отсталым народностям ускоренное развитие от феодализма к социализму, минуя стадию капиталистического развития, им были предоставлены льготы и преимущества в социальном, экономическом, культурно-политическом развитии, в системе всесторонней подготовки кадров.

Благодаря таким всесторонним мерам, создавшим опережающие темпы развития для ранее резко отсталых народов, эта задача была решена в кратчайшие сроки (что само по себе служит наглядным историческим уроком для освободившихся стран третьего мира). Но после того, как задача ускоренного развития с предоставлением, так сказать, права преимущественного исторического «проезда» была решена, дальнейшее действие этого права стало не ускорителем, а тормозом, более того, именно оно-то и является до сих пор основной причиной для разного рода националистических проявлений.

В нормальных, здоровых семьях равны все дети, предоставление кому-либо каких-то льгот и преимуществ с неизбежностью ведет к кичливости забалованных детей, а стало быть, и утрате внутреннего стимула к истинному, а не официально признаваемому саморазвитию. То же и в семье народов: психологические причины национальной кичливости — те же самые, и ведут они к тому же — к утрате внутренних стимулов развития.

О тревожном росте национальной кичливости смело заявил Чингиз Айтматов еще в начале 70-х годов. Тогда я вел литературный диалог с ним. Из личного опыта 30-летней жизни и работы в Ташкенте я знаю совершенно определенно, что, скажем, 20—25 лет назад отношение к русским и другим европейским национальностям со стороны местного городского населения было принципиально иным, нежели сейчас. Ныне появились привилегированные школы (или классы в оных), так сказать, «только для местных», привилегированные институты или факультеты для них же и почти сплошь, до 90—95 процентов, привилегированные НИИ, кафедры, административные службы и тому подобное. В результате атмосфера взаимоуважения и терпимости исчезла, возникло социальное неравенство, а это всегда — почва для конфликтов всякого рода, включая оголтелый национализм титулованных лиц и их сынков, однажды выходящих на улицы с бездумно-безумными лозунгами и действиями.

Итак, в результате льгот и преимуществ для ранее отсталых наций, сохранившихся до последнего времени, мы пришли к следующим парадоксальным итогам.

Уже к 1979 году по обеспеченности занятого населения специалистами высшей квалификации среди населения Союза с низшими показателями оказались русские, белорусы и народы Прибалтики, то есть те, которые до Октября имели наиболее высокие показатели грамотности. Наивысшие же показатели, наоборот, у тех, которые до революции были почти сплошь неграмотными,— у народов Закавказья и Средней Азии. Среди научных работников СССР самые низкие показатели квалификации лиц с учеными степенями сегодня у русских и белорусов, что вполне понятно, если учесть тенденцию их подготовки: на 100 научных работников имелось аспирантов среди русских — 9,7, белорусов — 16,4, киргизов — 23,8, туркмен — 26,2. Поскольку тенденция сохранялась, то к нынешнему году, естественно, это различие выглядит, надо полагать, еще более разительно. В некоторых привилегированных НИИ (только для местных) число докторов наук ныне достигло таких фантастических процентов, какие и не снились ни Ленинграду, ни Москве, как, например, в Институте языка и литературы АН УзССР, где я работал. Там 50 процентов из всего состава научных работников — доктора наук. Я пока ничего не говорю о реальном качестве специалистов.

Как же это могло произойти? Столь кратчайшие сроки — нации были почти поголовно безграмотными, а за 60—65 лет, с 1922 года, стали самыми учеными в мире?! Разве не поразительно, что по числу лиц с высшим образованием на душу населения русские оказались даже среди народов РСФСР на 16-м месте в городе и на 19-м в селе, уступив в полтора раза недавно бесписьменным бурятам, якутам!.. Неудивительно, что наука наша столь удручающе посерела. Не пора ли заняться этими вопросами соответствующим ведомствам, министерствам и включить необходимые поправки в реформу высшей школы, Академии наук... Отметим также, что РСФСР — единственная из республик, не имеющая своей Академии наук. Надо полагать, русским и всем русскоязычным она уже больше не нужна.

Тем не менее крупнейшие вузы РСФСР (Москвы и Ленинграда) по-прежнему отдают до 15 процентов своих мест представителям национальных республик. Подчеркну: зачисление, можно сказать, внеконкурсное. А в целевую аспирантуру и частично докторантуру попадали двадцать последних лет в основном только путем протекционизма или взяточничества. В ряде республик, в частности Кавказа и Средней Азии, к нынешнему дню студенчество до 75 процентов и более состоит из местных национальностей, аспирантура же, а также все гуманитарные кафедры и НИИ — до 90 процентов.

И это движение вспять, идущее от былого, достигнутого интернационализма назад к местничеству, межнациональным распрям, мы продолжаем называть «ленинской национальной политикой»! К истинному духу ленинизма она имеет то же отношение, что и та «марксистско-ленинская», с позволения сказать, философия, которую до сих пор преподают во всех вузах страны.

Результаты такой политики, как и образования, нередко оказываются обратными по отношению к тому, что ожидалось: вместо убежденного марксиста-ленинца, не отделяющего себя от своего Отечества, от общесоциальных идеалов,— получается человек, ограниченный индивидуальным или местническим, групповым, узконациональным кругозором. При этом на любых общественных форумах он готов с легкостью произносить усвоенные им формулы, догмы о подлинных ценностях и идеалах, в душе смеясь надо всем и всеми и даже над самим собой, он-то хорошо знает, за что борется в жизни действительной: дубленка, машина, дача — сытная, сладкая жизнь.

И это — неизбежное следствие политического лицемерия: разрыва слова и дела и соответствующего философского образования, не отягощенного интеллектом, сводящегося к зубрежке простейших формул, догм и положений «морального кодекса», нисколько не мешающего быть в жизни отпетым аморалистом.

Поэтому нет смысла конкретно сравнивать наши средние, общегосударственные статистические данные с другими образованными нациями — ведь суть-то в качестве специалистов, конкретной пользе их продукции. По данным заведующего кафедрой статистики Плехановского института профессора В. А. Исхакова, по

реальному уровню образованности мы к 1970 году были восьмиклассниками, сейчас — девятиклассниками, тогда как США уже к 1917 году были на уровне седьмого класса, а ныне — первого-второго курса университета. Что же касается высшего образования молодежи, мы в мире на 25-м месте после Эквадора, Панамы, даже Ливия нас опережает — оттого, что мы взяли курс на ПТУ и большая часть нашей молодежи пока еще за плечами имеет в основном только такое образование.

Но вернемся к национальным отношениям.

Напомним, что в результате льготной бюджетной и налоговой политики, политики закупочных цен и прочего в течение десятилетий создавались условия для опережающих темпов развития ранее отсталых наций. Для примера: в 40-х годах доходы колхозников Узбекистана были в девять раз выше, чем в РСФСР, а стоимость валового сбора продуктов растениеводства за трудодень в Нечерноземье (по закупочным ценам) была в десять раз ниже, чем в Узбекистане, и в 15 раз ниже, чем в Грузии.

Все это вместе взятое — падение удельного веса наций, обладающих большим опытом работы в наиболее сложных отраслях науки и экономики, и, наоборот, минимальный рост обладающих таким опытом,— будет неминуемо тормозить социально-экономическое развитие страны. А ведь это стратегически важный курс, вызванный *условиями выживаемости*, поскольку, скажем, темпы стратегической выживаемости у Японии — пять — восемь процентов в год, а у нас пока только два — четыре, а валовой национальный продукт (потенциал) у Японии уже почти как у нас — 1,7 триллиона долларов, а у США вдвое больше — 3,9.

Наконец, не может не тревожить падение удельного веса наций, отличающихся оптимальным опытом решения военно-стратегических задач. Не случайно военные прогнозисты США, потирая руки, рассчитали, что с 2000 года рядовой состав Советской Армии станет наполовину мусульманским.

Сказанное может и должно быть дополнено многочисленными конкретными исследованиями, которые уже частично осуществлены, но по-прежнему, как в эпоху постсталинизма, функционируют на уровне «самиздата», ибо вопреки курсу перестройки органы общественной науки не пропускают в свет подобные материалы.

Хватит зажимать рот общественной совести и самосознанию! К этому так привыкли, что хотели бы все оставить по-прежнему.

Диалектику современной эпохи еще только предстоит изучать, но тут труды наших академиков дают нам немногое. XX век исключительно сложен — сложен из бесчисленно разных граней,— поэтому далеко не у всех на планете советская Программа мира получает адекватный резонанс. Завоевать умы и души миллионов людей, среди них, в частности, западной интеллигенции (так или иначе влияющей на своих политиков, как-то взаимодействующей с ними) — дело необычайно важное и перспективное. Мир ныне в руках не только политиков: сегодня к его защите подключились врачи, ученые-физики, вчерашние военные деятели, завтра это должен быть мозг культуры — гуманитарии.

Но у гуманитарной интеллигенции Запада в отличие от физиков, врачей, имеющих с советскими коллегами определенные профессиональные связи, к нам весьма настороженное отношение. Они нас не принимают отнюдь не только из-за пресловутой проблемы «прав человека» — это лишь логический итог того, что можно назвать долгим взаимонепониманием и взаимонеприятием в области гуманитарии, духовной культуры. Ведь в течение пяти десятилетий, с 30-х годов, у нас сложилась стратегия и даже тактика «смертельной борьбы» (!) с буржуазной идеологией — борьбы, не скрываемой даже дипломатическим флером.

В 1934 году — год памятного «съезда победителей» — Москву посетил знаменитый автор «России во мгле» и имел беседу со Сталиным, изданную у нас спустя четыре года. Писатель сказал главе Советского государства: «В настоящее время во всем мире имеются только две личности, к мнению которых, к каждому слову которых прислушиваются миллионы: Вы и Рузвельт... Я еще не могу оценить то, что сделано в Вашей стране... Но... я знаю, что у Вас (я сохраняю правописание времени публикации: русский переводчик и издатель беседы под влиянием господствующей атмосферы смешивает собственное и нарицательное значение местоимения в словосочетании типа «ваше государство», для него оно становится «Вашим государством».— М. К.) делается нечто очень значительное. Контраст по сравнению с 1920 г. поразительный».

Через всю беседу крупнейший представитель западной интеллигенции пытался провести идейную связь между Сталиным и Рузвельтом, Москвой и Вашингтоном — на том хотя бы основании, что капиталисты в Америке создают плановое хозяйство, но и тем и другим не хватает умения руководить. Вместо того, чтобы подчеркивать антагонизм между этими двумя мирами, надо бы в современной обстановке стремиться установить общность языка между всеми конструктивными силами.

Однако эта линия у Сталина не нашла ни малейшего приятия, наоборот, он настойчиво подчеркивал «контраст между классами, между классом имущих, классом капиталистов, и классом трудящихся, классом пролетариев»: дескать, имущие «не видят ничего, кроме своего интереса, своего стремления к прибыли».

На это Уэллс сказал, что он, испытывая серьезнейшие симпатии к социализму, в последние два года много думал о необходимости пропаганды идей социализма и космополитизма в широких кругах западной интеллигенции. И к этим кругам приходить с «прямолинейной пропагандой классовой борьбы — бесцельно... эти круги считают Ваш примитивный антагонизм классовой борьбы нонсенсом». На фоне милитаризующихся Японии и Германии в англо-саксонских странах произошел серьезный перелом в общественном мнении по отношению к СССР. И в этих условиях «надо не выпячивать антагонизм между двумя мирами, а стремиться сочетать все конструктивные движения, все конструктивные силы в максимально возможной степени. Мне кажется, что я левее Вас, мистер Сталин, что я считаю... мир уже ближе подошел к изжитию старой системы».

На что Сталин, фанатически преданный своей идее, отвечает непримиримо: «Капиталист прикован к профиту, его никакими силами оторвать от него нельзя. И капитализм будет уничтожен (!) не организаторами производства, не технической интеллигенцией, а рабочим классом, ибо эта прослойка (интеллигенция.— М. К.) не играет самостоятельной роли. ...Кроме того, разве можно упускать из виду, что для того, чтобы переделать мир, надо иметь власть? Мне кажется, г-н Уэллс, что Вы сильно недооцениваете вопрос о власти, что он вообще выпадает из Вашей концепции. Ведь что могут сделать люди даже с наилучшими намерениями, если они не способны поставить вопрос о взятии власти и не имеют в руках власти? Они могут, в лучшем случае, оказать содействие тому новому классу, который возьмет власть, но сами перевернуть мир они не могут.

Уэллс: «Я слежу за коммунистической пропагандой на Западе, и мне кажется, что эта пропаганда в современных условиях звучит весьма старомодно, ибо она является пропагандой насильственных действий. С точки зрения конструктивно мыслящих людей, коммунистическая пропаганда на Западе представляется помехой.

Сталин: Вы правильно констатируете, что старый мир рушится. Но Вы не правы, когда думаете, что он рухнет сам собой... Капитализм сгнил, но нельзя его сравнивать просто с деревом, которое настолько сгнило, что оно само должно упасть на землю. Нет, революция, смена одного общественного строя другим, всегда была борьбой, борьбой мучительной и жестокой...»

Даже в беседе с наиболее лояльным представителем западной интеллигенции Сталин не считал нужным скрывать своего агрессивного отношения к миру капитализма, оно не было поколеблено и условиями союзничества в совместной войне с фашизмом, встречей на Эльбе. В 1952 году Сталин заявит: «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм» (!)

Такая политика тотального авторитаризма распространяет свой «революционизм» на все области общественной жизни и культуры. Поэтому идеологическая рука Сталина — А. А. Жданов заявлял во всеуслышание: «Кому же, как не нам, стране победившего марксизма и ее философам,— возглавить борьбу против растленной и гнусной буржуазной идеологии, кому, как не нам, наносить ей сокрушающие удары!»

Наступило, наконец, время все назвать своими именами. Вот один из ее фрагментов. В гневной и страстной статье Юрия Карякина читаем: «В мае 1937 года секретарем Ленинградского обкома был тов. Жданов. Жданов собрал руководящих работников обкома и сообщил: в наших рядах, в ленинградской организации, раскрыли двух врагов — Чудова и Кадацкого. Мы ничего не могли сказать. Казалось, что примерз язык. Но когда окончилось это совещание и когда Жданов уходил из зала, я сказала ему: «Товарищ Жданов, Чудова я не знаю, он недавно в нашей ленинградской организации. Но за Кадацкого я ручаюсь. Он с 1913 года член партии. Я его много лет знаю. Он честный член партии. Он боролся со всеми оппозициями. Это невероятно! Надо это проверить!» Жданов посмотрел на меня жестокими глазами и сказал: «Лазуркина, прекратите этот разговор, иначе вам будет плохо». Но я никогда не думала, будет мне хорошо или плохо, когда я защищала правду».

Вскоре она была арестована. Тюрьма, лагерь, ссылка — почти двадцать лет, но выжила. А чаще всего поименный список тот вел прямо в безымянные могилы».

Вот чем заканчивались сокрушающие удары по идеологии и какие цели они преследовали: всякое инакомыслие на любой почве — политики, науки, искусства — объявлялось «идеологической диверсией» со стороны «буржуев» и «буржуазной идеологии».

Для иных, особо ретивых идеологов и философов, вся жизнь превратилась в сплошную, перманентную борьбу с внутренними и внешними врагами, которые казались, вполне естественно, скованными одной цепью.

Как пример, перечислю лишь некоторые труды академика Митина, созданные им самим либо под его неусыпным руководством. Вся жизнь этого, с позволения сказать, «ученого» с завидным усердием ушла на «борьбу»: «Боевые вопросы материалистической диалектики» (М., 1936), «За материалистическую биологическую науку!» (М., 1949), «Против реакционного менделизма-морганизма!» (М.-Л., 1950), Доклады и боевые выступления на международных конгрессах (1958), «НТР и идеологическая борьба» (М., 1973), «Национальный вопрос и современная идеологическая борьба» (Ташкент, 1974), «Проблемы современной идеологической борьбы» (М., 1976), «Идеологическая борьба в современном мире» (Киев, 1978),

«Идеологическая борьба и мировой революционный процесс» (М., 1978), «Идеологическая борьба двух социальных систем» (М., 1979) и так далее и тому подобное.

Такое отношение к западной идеологии, культуре в целом и возвело ту крепость конфронтации, в которой только сейчас нашей сегодняшней политике удалось пробить первые бреши.

Однако последнее относится лишь к области внешней политики. Что же касается всей сферы общественного сознания — философии, права, морали, религии, искусства и культуры,— тут по-прежнему, как это ни странно, вопреки духу времени сохраняется, вновь повторю, все тот же сталинско-ждановский авторитаризм с его духом непримиримости и нетерпимости.

Во многих академических институтах до сих пор существуют специальные научные отделы именно под такой, сегодня звучащей почти анекдотически, вывеской, как скажем, «сектор борьбы» с буржуазной философией, искусствознанием и так далее. Первоначально, по-видимому, имелась в виду ее политическая форма, но потом неприятие и борьба — в самой грубой, некорректной форме — перекинулись на прочие области идеологии — философию и социологию, историю и культуру, этику и педагогику. Мы начисто отрезали себя от зарубежной гуманитарии. Но ведь это значило отрезать себя от мировой духовной культуры и мысли. Русской культуре всегда была присуща «всемирная отзывчивость» (Ф. Достоевский), потому что нам всегда было «внятно все — и острый галльский смысл и сумрачный германский гений...» (А. Блок). Почему же сия «всемирная отзывчивость» не распространяется на современность, в частности на буржуазную культуру? Ведь в «их» философии, а также эстетике, этике, культурологии далеко не все «буржуазно» — есть и весьма резкие, антибуржуазные настроения, выступления, идеи, тенденции. Далеко не все «идеалистично» — есть школы своеобразного «научного материализма». И, наконец, далеко не все направлено против нас, кроме, конечно, открытой пропаганды антисоветизма. Ведь и мы в последнее время научились отличать, скажем, «социалистический образ жизни» от «образа жизни в социалистическом обществе». В последнем случае наряду с социалистическим содержанием функционирует и многое другое, несоциалистическое по существу: пережитки, религиозность, тунеядство, нетрудовые доходы, потребительство, преступность, наконец.

Надо признать, что мы первыми начали эту борьбу (я имею в виду только область гуманитарии), провоцируя тем самым ответное неприятие. Не пора ли и здесь научиться отделять зерна от плевел, дифференцировать культуру и мысль буржуазного общества? Проявлять должное доверие ко всему прогрессивному, не только марксистского толка? Не пора ли нашей гуманитарии вслед за другими областями науки и культуры, включая литературу и искусство (где связи так же тесны и во многом взаимооткрыты друг другу), изменить свое отношение к гуманитарии Запада, чтобы навстречу изменилось и отношение к нам?

Не потому ли наша гуманитария, особенно общественные науки во главе с философией, так безнадежно отстает от жизни, выбрав не противоречивое и потому трудное движение вперед, а удобный бег мысли на месте, вращение в колесе схоластики одних и тех же категорий, догм, открытых классиками марксизма более ста лет назад?

Наш трудный, многострадальный отечественный опыт, чреватый столькими ошибками и жертвами, подводит нас, наконец, к необходимости принципиального отказа от духа нетерпимости, который порождает и множит насилие всякого рода, прежде всего над добром и культурой, кои по природе своей беззащитны.

Пора отказаться от «революционистской» идеи, въевшейся в плоть и кровь советского человека,— сталинской идеи о том, что «нужно уничтожить империализм», и ждановского требования «наносить сокрушающие удары по растленной и гнусной буржуазной идеологии!». Теперь мы хорошо знаем, к каким невосполнимым потерям приводит такой «революционизм». Сыты по горло!

Пусть в нормальном, спокойном — политическом и культурном — соревновании сосуществуют страны социалистической и буржуазной демократии, что вполне осуществимо при условии обеспеченности именно демократией, хотя бы и различно понимаемой в обществах социализма и капитализма.

В ряду великих вопросов отечественной культуры, воскресших вновь сейчас, на новом историческом уровне, вслед за «Куда ты несешься, Русь?», «Что делать?», «Кто виноват?» встает и ленинский «От какого наследства мы отказываемся?».

В 90-х годах прошлого века молодой Владимир Ильич говорил, что «русские ученики» марксизма изобличают народников за то, что те «вместо общеевропейских идеалов сочиняют по многим весьма важным вопросам всякие самобытные благоглупости», и призывал отказаться от этого наследства.

Что же тогда сказать о крайних «самобытных благоглупостях» сталинизма?! В частности, о его наследии в области духовной культуры?

Судьба нашей культуры трагична. Она похожа на судьбу всей страны в лютую годину войны. В нашей Победе заключена тайна «русского чуда», мы выстояли даже там, где это представлялось невозможным. Безбрежность территории, громадность сплоченных народных масс, неисчерпаемость души народной с ее бесконечным терпением, редкостной самоотверженностью и беззаветной надеждой и верой в светлое будущее — вот слагаемые этой тайны. В этом Россия и народы, объединившиеся вокруг нее, беспримерны. Этим она и поражает Запад еще со времен Гюго, указующего: «Россия восходит!» Поистине провидцем оказался Гоголь: «...и косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Вот почему наш народ выстоял. Так что не благодаря якобы «гению» Сталина, а вопреки ему; вопреки дикому насилию, разгулу грубых начал по отношению к литературе, искусству, науке, военной науке и тактике. Во всей системе культуры, не говоря уже о репрессиях по отношению к старой ленинской гвардии, грубость и произвол переросли в государственный разбой. Разбойные нападения происходили не только в 37-м, особенно лютом году, но в той или иной мере неизменно, из десятилетия в десятилетие...

Вот то противоестественное по отношению к человеку и человечности устрашающее наследие, которое нам досталось! Авторитаризм наследил кроваво — несмотря на настойчивые ленинские предостережения. Давши клятву у гроба Ленина «свято выполнить все его заповеди», Сталин и его клика не выполнили ни одной, более того, грубо и святотатственно нарушили их. Сталинизм оказался клятвопреступником по отношению к ленинизму. По отношению к Человеку и Культуре. И в том его историческое преступление.

Таким образом мы сегодня оказались преемниками двух наследств — ленинизма и сталинизма. Сложность ситуации для нас заключается в том, что вся правда о втором наследстве до сих пор не раскрыта, и потому иные из наследников, увы, не ведают, что творят.

Перестройка — это возрождение ленинизма, очищение его от наслоений, оставленных сталинизмом и постсталинизмом. Принципиальный отказ от второго наследства тем самым возвращает к идеологии первоначального ленинизма.

Что же касается нас, раздумывающих над путями общественного движения, то будем споспешествовать, насколько хватит сил, осуществлению (нормального, без искусственного форсирования, не в темпе, но и без «бега на месте») пути развития, диалектически сочетающего революцию с эволюцией, политику с культурой.

Политика гласности и есть единственно возможная культурная политика, действительно способная учиться на собственных ошибках. Только ей и суждено приблизиться наконец к тому славному будущему, о коем всегда чаяла наша великая отечественная культура.

●

В. П. ШИМАНСКИЙ

Как же ты нашла меня, мама?

ИЗ ФРОНТОВЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

После тяжелых, изнурительных боев под Александрией и Кировоградом, участия в Корсунь-Шевченковской и Усманско-Баташанской наступательных операциях 2-го Украинского фронта части 8-го механизированного Александрийского корпуса в марте 1944 года были выведены на отдых и переформирование. Наша 116-я танковая Александрийская бригада разместилась в селе Лелековка неподалеку от Кировограда.

Мы отмылись, отоспались. Потекли напряженные учебные будни. Казалось, что только вышли из боев, а уже и лето пошло на убыль. Оно было полно событиями. То принимали сообщение, что Антонеску сбежал и Румыния выпала из гитлеровской тележки. То сообщение о том, что болгарский министр иностранных дел от имени своего правительства объявил о полном нейтралитете Болгарии. Бывали дни, когда передавали по три-четыре приказа Верховного Главнокомандующего о взятии городов. В оперативных сводках Совинформбюро назывались Кишинев, Констанца, Дембиц, Яссы, Тарту, Сандомир и многие другие города. Советская Армия наступала на всех фронтах, громя противника, освобождая города и разрушая ненавистный порядок, который насадили фашисты в странах Европы. В эти же дни пришло сообщение об освобождении Парижа. В общем, гитлеровская коалиция трещала по всем швам, хотя в сводках по-прежнему говорилось об упорных боях, о том, что противник сопротивляется с тупым ожесточением.

У штаба бригады была вывешена обычная школьная карта, на которой отмечались изменения на фронте. Около нее всегда можно было видеть бойцов и офицеров. Сколько здесь было высказано планов и прогнозов о том, где нам предстоит сразиться с врагом, сколько возникало по этому поводу жарких споров!

— Нам не иначе, как к братьям чехам и словакам теперь идти,— утверждал кто-то из бригадных стратегов.— Почему, говоришь? А погляди на карту — прямой путь из Кировограда. Львов наш, а там рукой подать до Карпат.

— Нет,— возражал ему другой,— ты не прав. Тут скорее с мадьярскими землями придется познакомиться. Видишь: вот Румыния, а вот и Венгрия. Как раз на нашем пути стоит.

Все внимательно смотрят на карту. Прикидывают расстояния от Кировограда до ближайших участков фронта. Дымят цигарками. Табак у наших хозяев уродился добрый, и мы щедро смешиваем самосад с тем, что получаем по пайку.

— А может, в Румынии и Югославии придется побывать? А?

— Нет, вряд ли. Я думаю, что скорее всего в Польшу нас двинут. Лично я за Польшу! — категорично заявил лейтенант Петр Павлюченко.

— Что, паненки тебя интересуют или другая причина? — с подковыркой спросил друга Сергей Смирнов.

— Если хочешь, то и паненки. Говорят, что народ они стоящий. Но главное, через Польшу самый близкий путь до Берлина. Видишь, вот на карте Сандомир? А теперь прикинь: плацдарм тут не зря держим. Не иначе наступать отсюда будем...

— А по мне,— вставил старший лейтенант Максимов, новый командир взвода связи,— все равно, где воевать, лишь бы самому довелось тряхнуть этот самый ихний Берлин. Да так тряхнуть, чтобы фашистские гады на сотню поколений вперед заказали к нам войною ходить!

Никто не стал спорить. Берлин... Эта точка на карте, далеко за линией фронта, в глубоком немецком тылу, приковывала тогда взоры и мысли не только наши, но и всех воинов Красной Армии. Каждому хотелось принять участие в его взятии. Этого страстно хотели и мы.

В первой половине августа 1944 года по приказу Верховного Главнокомандования 8-й механизированный Александрийский корпус передислоцировался из-под Кировограда в район Минска — столицы героической и многострадальной Белоруссии, недавно освобожденной от врага.

Наша бригада разместилась в лесу, на окраине города, у деревни Слепянка.

Минск предстал перед нами в руинах. Оккупанты превратили его в груду развалин. Практически все жилые дома, промышленные предприятия и административные здания были разрушены. В городе, где проживало до войны 270 тысяч человек, к моменту освобождения от гитлеровцев оставалось около 55 тысяч. Уцелевшие жители ютились в подвалах, сараюшках и не покладая рук расчищали руины, приспосабливали к жилью мало-мальски пригодные строения.

Вокруг Минска всюду были видны следы прошедших здесь недавно ожесточенных боев. На обочинах дорог, в полях и лесах, на улицах города осталось огромное количество немецкой техники, разбитой, обгоревшей, а то и брошенной в исправном состоянии.

На новом месте мы быстро отрыли землянки, обжились. Все понимали, что сюда, в Белоруссию, нас перебросили неспроста. Наверняка предстоят бои в составе одного из Белорусских фронтов. Какого — неважно. Над этим мы голову не ломали.

Теперь каждый знает о планах Советского Верховного Главнокомандования той поры, предусматривавших освобождение Польши, Чехословакии, разгром гитлеровской Германии. Но тогда не только солдаты и офицеры, но и многие генералы не имели представления о замыслах высших штабов. Однако все интуитивно чувствовали, что Белорусским фронтам в ближайшее время предстоит решать серьезнейшие задачи, и понимали, что участвовать в боевых действиях на любом из них — дело и почетное, и ответственное.

Опять потекли учебные будни, прерванные переездом. Новую боевую технику части корпуса получили позже, перед отправкой на фронт. А тогда для учебных целей использовали небольшое количество танков, самоходок, артустановок и другого вооружения, оставшегося от предыдущих боев. Были оборудованы учебные поля: возведены препятствия, минные заграждения, дзоты, бронеколпаки и артиллерийские позиции. На них учились, тренировались все танковые экипажи, взводы, роты, батальоны, штабы частей и подразделений.

Серьезное внимание уделяли отработке взаимодействия танков с мотопехотой, артиллерией, авиацией, особенно в условиях штурма и прорыва мощной, глубоко эшелонированной обороны противника — инженерных противотанковых и противопехотных заграждений и мин,— форсированию преград, блокированию и ликвидации опорных пунктов вражеской обороны, боям в населенных пунктах... При этом большое значение придавали действиям подразделений после прорыва вражеской обороны и выхода на оперативный простор по тылам противника. Занятия проводили в лесистой и заболоченной местности круглые сутки.

Так тщательно и так кропотливо учеба никогда прежде не велась, не говоря уже об изменении ее тематики и методов организации. Активно использовали и собственный опыт, накопленный в предыдущих боях.

С предрассветного июньского часа 1941 года наша армия проходила жестокую школу войны: каждая операция, каждый бой — урок, испытание и всегда почти нечто новое, заставляющее задуматься и солдата, и командира, и политработника. Популяризация боевых традиций подразделений и частей, рассказ о героизме и мастерстве солдат, сержантов и офицеров в прошлых боях, встречи бывалых воинов с молодыми занимали в партийно-политической работе основное место. «Добить раненого зверя в его собственной берлоге» — стало ее главным стержнем.

Мы знали, что у немцев появилось новое противотанковое реактивное оружие, но с ним в предыдущих боях наша бригада еще не сталкивалась. Под Минском было захвачено немало фаустпатронов, и нам показали их действие на застывших вражеских «тиграх» и «фердинандах»: с дистанции до ста метров пробивали толстую броню. Это было опасное оружие, особенно в уличном бою, когда танк зажат между домами, а из окон, чердаков и подвалов по нему может бить «фаустник». Танкисты учились тактическим приемам борьбы с новым оружием врага, что очень потом пригодилось, в частности, при овладении населенными пунктами в Восточной Пруссии и Померании.

Командир бригады полковник Юревич особо много внимания уделял учебе офицеров штаба, командиров батальонов и рот. Мы основательно штудировали боевые уставы, немало времени проводили в поле, решая различные тактические задачи, учились действиям в ночных условиях...

В одном из журналов была опубликована повесть Александра Бека «Волоколамское шоссе». Комбриг организовал коллективную читку этой повести офицерам, а затем детальное обсуждение прочитанного. Помнится, какие горячие споры возникали по поводу то одного, то другого решений и боевых действий героя повести комбата Момыш-Улы.

И теперь, после многих лет, я с удовольствием и признательностью вспоминаю повесть А. Бека, которая заставляла думать, соизмерять свои действия с действиями его героев.

Однажды под утро в моей землянке зазуммерил телефон. Снимаю трубку.

— Товарищ старший лейтенант, вас срочно вызывают в штаб,— сообщил телефонист от дежурного по бригаде.

Через несколько минут подбегаю к штабу. В темноте различаю несколько «виллисов».

— Николай, что стряслось? — спрашиваю капитана Лукина, дежурившего в ту ночь.

— Начальство прибыло. Из корпуса генералы Фирсович и Белогорский. С ними какой-то генерал с офицерами из Москвы. И твой Захаров приехал. Беседуют с Юревичем.

Полковник Захаров — начальник связи корпуса. «Неспроста он тут»,— пронеслось в голове.

Дружно собрались командиры батальонов и начальники служб. Я был тогда начальником связи нашей танковой бригады.

Вскоре всех нас пригласили в большую комнату, где находились прибывшие генералы и офицеры, полковник Юревич, его заместитель по политчасти, начальник штаба.

— Товарищи,— начал генерал Фирсович.— Мы прибыли проверить боевую готовность вашей бригады. Объявите боевую тревогу.

Все взглянули на часы. Полковник Юревич, обращаясь к Лукину, приказал:

— Объявите боевую тревогу!

Тотчас по проводам приказание было передано в подразделения. Каждый служивший в армии знает магическое значение этих двух слов: «боевая тревога». Они взметают с постелей только что крепко спавших людей — и сна как не бывало. Это приказ военному человеку привести себя и врученное оружие, технику, подчиненных в готовность, немедленно приступить к выполнению боевой задачи.

Комбаты вместе с проверяющими офицерами поспешили в свои подразделения. Группа офицеров осталась для проверки служб. С боевой подготовкой связистов знакомились подполковник и майор из Главного управления связи Красной Армии. С ними был и начальник связи корпуса. Мои подчиненные оказались, как говорится, на высоте. Они четко отвечали на вопросы, имущество было в отличном состоянии, да и сами имели опрятный, подтянутый внешний вид.

Хотя я и был уверен, что служба связи бригады подготовлена неплохо, но, естественно, в тот день немало волновался.

Вечером нас пригласили для подведения итогов проверки. Докладывали руководители групп. Одним из последних выступил «мой» подполковник, как мысленно я называл проверяющего связистов. Сказал лаконично:

— Серьезных замечаний по подготовке связистов и техники нет. На частные недостатки обращено внимание начальников связи бригады и подразделений. Полагаю, они их устранят.

Нужно заметить, что проверяющие были довольны боевой подготовкой всей бригады. Командир корпуса нескольким офицерам объявил благодарность. Я был награжден часами. Это была награда не только мне: отмечена упорная работа всех связистов. Этот дорогой памятный подарок я храню и сейчас.

О памятной учебе под Минском, кропотливой подготовке к предстоящим боям воины-александрийцы могут поведать многое. Но они с удовольствием вспоминают и выпадавшие тогда часы отдыха. Частыми гостями были у нас артисты из Москвы и других городов, фронтовые и армейские ансамбли. Врезался в память концерт Московского симфонического оркестра в чудом уцелевшем здании минского Дома офицеров. Переполненный солдатами и офицерами зал был зачарован классической музыкой. Сидели не шелохнувшись, затаив дыхание. Казалось, каждый звук находил отзыв в сердце каждого. А ведь многие из присутствующих на том концерте раньше классическую музыку не слушали, а если и слышали где-то случайно, то не понимали и не воспринимали ее. А тут произошло какое-то диво: она всех захватила, околдовала, увела далеко-далеко от войны, крови, смерти...

Солдаты и офицеры любили и самодеятельные концерты. В каждой роте и батальоне были свои чтецы, танцоры, певцы, и всюду то там, то тут на лесных полянах вечером звучали гармошки, пелись песни. «Вставай, страна огромная», «В землянке», «Синий платочек», «Любимый город», «Темная ночь», «Катюша», «Три танкиста»... Песня, музыка помогали в трудную минуту выстоять, вселяли силу и бодрость духа, снимали усталость, отвлекали от пережитого, возвращали сердца к дому, родным, близким, напоминали о долге, не позволяли ожесточиться, омертветь душой.

И еще об одном незабываемом эпизоде. Как-то рано утром скрипнула входная дверь в мою землянку. Я открыл глаза и увидел спускающуюся по ступенькам женщину. Мама?! Сон или явь? Откуда она? Как она попала в эту землянку из далекого Архангельска?

— Сын, здравствуй! Что, не признал меня, что ли?

— Мама, родная, откуда ты здесь, как ты тут оказалась?

Я вскочил, крепко обнял ее худенькие вздрагивающие плечи. Спазма перехватила горло. И мы застыли безмолвно. Только рука матери все время гладила, как в детстве, мою голову... Мой друг Николай Лукин, случайно встретивший маму у околицы деревни и приведший ко мне, молча наблюдал эту сцену. Потом потихоньку ушел, а мы и не заметили этого.

— Как же ты нашла меня, мама?

Мы присели на мою немудреную солдатскую постель, и мать поведала о своих похождениях в поисках меня.

Еще из-под Кировограда я написал ей, что получил, дескать, письмо от Севы (якобы от себя) и что он находится в селе Лелековке. Военная цензура не обратила на это внимания. Да и приведенная фраза ничего не рассекречивала.

Мать не видела меня с 1939 года. В восемнадцать с половиной лет я был призван на срочную службу в Красную Армию. Начинал войну сержантом. Знала, что я с первых дней войны на фронте, жила в постоянной тревоге. И тут решила меня навестить. Легко сказать это теперь! А тогда... Работала она маляром, попросила у начальника краткий отпуск, благо, все годы войны трудилась без выходных и отпусков. Ей пошли навстречу. Но как она получила пропуск в прифронтовую зону — для меня и сейчас загадка. Ни связей, ни влиятельных знакомых у нее не было. Видимо, проявила особую настойчивость, обошла немало кабинетов и сказала такие слова, что пропуск ей выдали.

Добиралась до Кировограда она долго, со многими пересадками, в битком набитых вагонах с бесконечными ожиданиями на станциях. Можно представить ее радость, когда она оказалась наконец у цели своего путешествия...

В Лелековку мать приехала на третий день после того, как мы погрузились в эшелоны и отправились в Минск. Она нашла стариков, у которых я жил на постое, и пробыла у них пару дней, подробно расспросила обо мне. Повздыхала, погоревала, что не довелось свидеться. И ей вдруг пришла мысль: а нет ли поблизости второго ее сына, моего брата Игоря? Он, как она знала, тоже воюет на 2-м Украинском фронте. И мать отправилась в Кировоград, разыскала отделение полевой почты, назвала номер части, по которому отправляла письма брату. На почте ее задержали для выяснения личности. Но, к счастью, все прояснилось быстро. Офицер, беседовавший с ней (надо же такому случиться!), подтвердил, что часть, в которой воевал брат, обслуживается именно этим почтовым отделением. Когда оттуда прибыл боец за почтой, он приказал тому взять с собой и мать. Видимо, у этого офицера было доброе сердце и воспитала его добрая женщина. Так мама нежданно и негаданно нашла землянку другого сына-фронтовика. Мы с братом, оказывается, были долгое время рядом, воевали на одном участке фронта, а затем неподалеку находились на отдыхе, но оба, конечно, об этом даже не догадывались.

Потом, вернувшись в Архангельск, мама получила от меня письмо, в котором я тем же приемом намекнул о своем новом местонахождении, и она вновь собралась в дорогу. Опять обошла немало кабинетов, пока не получила вторичного разрешения на поездку в прифронтовую зону. Так она оказалась в моей землянке в то утро.

Я слушал мать и думал: какая же ты сильная и смелая! Почти неграмотная, простая работница, вечно всего боявшаяся, не выезжавшая из своего рабочего поселка. И надо же! Сколько затратила сил, сколько проявила смекалки и находчивости, чтобы повидать своих детей-фронтовиков!..— Спасибо, родимая. Такое вовек не забудешь!

— А вот тебе гостинцы! — И мать выставила на стол банки с брусничным вареньем, с солеными грибами.— Я для тебя и пирог испекла. Но он зачерствел и испортился. Долго добиралась,— с грустью сказала она.

Мать с разрешения командования бригады пробыла у меня три дня. Но она, по сути, была гостьей всей части. Ее кормили из солдатского котла, показали боевую технику и даже прокатили на танке. Она смотрела солдатскую самодеятельность и сама пела.

Но особенно запомнилось ее выступление перед солдатами и офицерами одной из рот, куда она была приглашена. Пошел с ней и я. Мать рассказала о жизни в тылу, о том, как там работают. Сказала, что все матери, жены и невесты ждут возвращения домой своих солдат с победой.

— У меня на фронте два сына. Один сидит вот тут. Я обращаюсь к нему: воюй честно, сынок, исполняй свой солдатский долг, как положено, как требуют от тебя командиры. И очень хочу, чтобы ты остался живым и вернулся домой. То же от всех матерей я хочу сказать и вам, дорогие сыны. Бейте гадов, оставайтесь живыми, домой возвращайтесь с победой!

Долго потом вспоминали в части о выступлении простой русской женщины. Как я был горд и счастлив за маму!

Мне было разрешено проводить маму до Москвы. Дали отпуск, что тоже было само по себе большой радостью. И вот мы в Москве. Я в столице второй раз. Впервые я был тут в августе 1942 года. Тогда в числе трех представителей Воронежского фронта я участвовал во Всеармейском совещании связистов. Город был настороженный, суровый. Окна в домах заклеены крест-накрест полосками бумаги, витрины во многих местах заложены мешками с песком. Дежурили зенитные батареи. В садах, скверах, на площадях днем стояли аэростаты заграждения. А вечерами они взмывали в небо. Много военных патрулей, и почти не видно гражданских: ведь многие предприятия, учреждения были эвакуированы или закрыты. Лица москвичей сосредоточенные, усталые, озабоченные.

В этот же приезд столица выглядела иначе, жила другой жизнью. И хотя еще сохранялось затемнение и дежурили средства противовоздушной обороны, Москва находилась теперь в глубоком тылу, и это чувствовалось во всем. Улицы стали многолюднее, оживленнее, а лица людей — светлее и радостнее...

Посадив маму в поезд на Архангельск, я поспешил обратно в Минск. Прощаясь с Москвой, не думал, что через год вновь сюда вернусь и что вся моя дальнейшая судьба будет затем связана с этим городом: здесь закончу институт, здесь буду возглавлять один из районных комитетов партии, избираться членом городского комитета и депутатом Московского Совета, членом правительства Российской Федерации... Повторяю: не думал и не мог об этом думать. Все мои мысли тогда были — скорее в часть, к фронтовым товарищам, скорее в бой.

Е. ГОРБУНОВА

Проблема выбора и вины

К СПОРАМ ВОКРУГ РОМАНОВ Ю. БОНДАРЕВА

Прошли годы, а о бондаревских «Выборе» и «Игре» продолжают говорить и спорить. Автор по-прежнему получает много писем, а читательские конференции неизменно многолюдны. Уже по одному этому стоит, наверное, задуматься, на чем держится этот интерес и насколько точными оказались успевшие сложиться литературно-критические стереотипы.

«Выбор» и «Игру», а к ним принято присоединять и «Берег», называют трилогией о нашей художественной интеллигенции, ее специфических проблемах и заботах. И в самом деле: Никитин — известный писатель, Васильев, Лопатин — живописцы, Щеглов — режиссер, а Крымов, Стишов, Балабанов, Пескарев, Гричмар — деятели кино. В большинстве своем они занимают престижное положение в обществе, принадлежат к его привилегированному слою, не скованному повседневными бытовыми заботами и трудностями. Им не приходится бегать с авоськой в обеденный перерыв за молоком и мороженой рыбой, выстаивать в очередях за предметами первой необходимости, выматываться на полутора и двух ставках в поликлинике или школе, с книжкой в руках тесниться и мерзнуть в городском транспорте, откладывать по десятке из получки на телевизор. В общем, жить обыкновенной жизнью хорошо нам знакомых и симпатичных людей, достойных любви и уважения.

Таких персонажей на этот раз мы почти не встречаем, хотя хорошо их запомнили по другим его романам, повестям и рассказам.

Бондарев не раз говорил, что испытывает особый интерес к интеллигенции, к личностям интеллектуального склада. Их достаточно хорошо знает и разделяет их тревоги за судьбы общественной нравственности и справедливости. В людях творческого труда его привлекает способность и склонность к тому своеобразному способу мышления, какой Бондарев называет совестливым разумом, повышенная восприимчивость к импульсам окружающей среды, зоркая наблюдательность и душевная отзывчивость. Писатель не осуждает их и за подверженность рефлексии, под которой разумеет не слабость или неустойчивость натуры, а стремление к честному самоанализу, к принятию на себя вины и ответственности за зло, чинимое людям.

Казалось бы, точка зрения автора и критики в данном случае совпадает. Но тут-то и начинается первопричинное расхождение. Все три романа написаны не о каком-то одном особом слое общества, а о жизни всех его слоев и уровней, затронутых кризисными явлениями последних десятилетий. Всей силой своего драматизма и непримиримости они обращены к болевым точкам современности, к ее урокам и предупреждениям. Критика чаще всего скользила по поверхности, упрекая автора за выбор героев, причисляемых к так называемой интеллигентской элите, за их, как утверждали, недемократический образ жизни, отгородивший их от народа пресловутыми торшерами и фужерами, так раздражившими критику. Васильева и Крымова упрекали в духовном отщепенчестве, а Рамзина без колебаний называли предателем и изменником и даже «потенциальным вешателем» (последняя характеристика принадлежит журналу «Дон»).

На подобные крайности стоит обратить внимание, хотя они и находятся в противоречии с подавляющим большинством отзывов о романах. В нашем распоряжении огромное число обстоятельных, вдумчивых исследований, эмоционально взволнованных откликов. Особенно в письмах. Отрывки из одного такого письма о «Выборе» хотелось бы процитировать. Его автор Василь Быков.

«Я очень люблю твои «Батальоны» и «Залпы», мне немножко грустно поступаться ими, но, по-видимому, можно и поступиться. Там была только война, здесь — вся жизнь, здесь тайная магия мыслителя и художника в их диалектическом переплетении. Это органная фуга, хорал Судьбы! Я уже не говорю о вставной новелле 43-го года, которая просто изумительна по изобразительной силе и еще по могучей логике фронтовой случайности, приведшей Илью к необходимости его рокового выбора. Но — случайность ли тут? Все, однако, ясно определилось той ночью и особенно в то утро, когда горстка их пробилась к своим. Капитан, командир полка и Лазарев — вот злые духи фронтовой судьбы. Ну, и еще немцы. Я очень боялся, читая, чтобы у тебя Илья, послевоенный, не оказался кем-то таким, как это принято изображать такого рода людей. Но нет, конечно, дружище, разумеется, ты слишком тонкий и честный художник, чтобы не понять всего этого. Заключительные главы романа звучат трагически... и столько там боли, тоски, горечи ума, что читать порой бывает невмоготу, хочется отдохнуть, перевести дыхание. Но это великолепно, разумеется. Я, как ты помнишь, очень высоко оценивал твой «Берег», но здесь сильнее, чище и — страшнее. Мощно и прекрасно! Дай тебе бог!»

Письмо заканчивалось словами о том, какую же «уймищу» сил, мыслей и чувств истратил автор на создание «Выбора», и советом «отойти, передохнуть». Но Бондарев не последовал совету. Вслед за «Выбором» (1980) появилась «Игра» (1981—1984), которую автор, если судить по обозначенным датам, писал, не переводя дыхание, по-прежнему расходуя «уймищу» сил, мучаясь множеством вопросов, забирающих все дальше и вглубь...

О чем же действительно написаны эти романы и в чем источник их духовного притяжения?

Сам автор явно давал повод для разночтения, как бы нарочито зашифровав романное содержание, непривычно — до ошеломления — повышая его социально-критический накал и жестокую неприязнь к явлениям морального индифферентизма, сковавшего духовные силы общества. Перед читателем действительно развертывалась «вся жизнь» целого поколения, перенасыщенная жестокими противоречиями и контрастами.

Принято считать, что «точкой отсчета» романной коллизии «Выбора», а стало быть и его идейной завязкой, стала война. Это она раскрыла до конца потаенную сущность молодых героев, поставив их по разные стороны добра и зла. Воротюковская характеристика Рамзина, как офицера, не оправдавшего доверия, труса и дезертира, многими принималась на веру, и потому приговор казался заслуженным. Тем самым тема романа сводилась к рассказу о малодушии юного лейтенанта, струсившего в бою, перебежавшего на «ту» сторону и должным образом наказанного.

Нет спору, эпизод с орудиями и Воротюком играет ключевую роль в романе. Но, если бы все сводилось к изображению «военной случайности», то идея на этом эпизоде и замкнулась бы. Да и сюжетная композиция, как нетрудно понять, должна была бы выстроиться иначе: мотивы измены и судьба «изменника» потребовали бы более полного и тщательного исследования, вытеснив всю остальную проблематику «Выбора». Роман неизбежно должен был разделиться на две неравнозначные, изолированные друг от друга части: одна посвящалась бы семейной драме и интеллектуальным метаниям Васильева, другая — изображению кары, настигшей Рамзина. Полностью было бы разрушено единство идеи, пронизывающей духовное содержание «Выбора». Нечто подобное и произошло в критике, настойчиво противопоставлявшей «хорошего» Васильева «плохому» Рамзину.

Но «Выбор», его герои и художественная идея противились подобному выпрямлению. Нельзя не уловить ту гуманистическую доминанту, которая органически сопрягала прошлое и настоящее, военное и мирное время, придавала эпизодическим фигурам Воротюка, Гужавина, Лазарева грозное и опасное значение. Ведь их, а не Рамзина назвал Василь Быков, сам прошедший через испытания фронта, «злыми духами войны», и вполне законно поставил вопрос: «случайность ли действовала тут» или некие общие закономерности конкретных исторических обстоятельств?

Иные критики в поисках сколько-нибудь убеждающей аргументации случившегося сосредоточили внимание на анализе нестандартного, трудного характера Ильи Рамзина. На эту тему было высказано немало разнообразных суждений. Наиболее обстоятельное исследование психологии Ильи содержалось в статьях Ал. Михайлова. Он назвал Рамзина личностью «экзальтированной», в которой «страсть к жизни, непомерное честолюбие, привычка первенствовать, подавлять других физической силой, волей, все более утверждающаяся властность» направляют поступки, диктуют решения. Под таким углом зрения рассматривались эпизоды общения Ильи с другом, прощания с Машей, убийства немца на «нейтралке», стычки с Лазаревым.

Выдвигались и другие мотивировки. Но все они так или иначе замыкались в кругу собственно психологической проблематики, не принимая во внимание объективных обстоятельств истории. В воздухе провисал главный вопрос: стоило ли писать роман, названный так ответственно — «Выбор», если акт гражданской и нравственной трагедии героя — его предательство — был обусловлен только экзальтированностью характера? Не сводилась ли при этом художественная идея к элементарной прописи: изменять Родине нехорошо?

Психологическая логика, а вернее, алогизм поведения Рамзина играют в романе не последнюю роль и служат важным средством его индивидуализации. Но логика романа в целом обусловлена, как представляется, прежде всего логикой социально-исторической коллизии, именно так, а не иначе сформировавшей психологию героя. Замысел писателя не сводился к изображению «отрицательного»

молодого человека, допустившего роковую ошибку и за это справедливо наказанного. Он предполагал анализ полноты жизненных обстоятельств, сложившихся для Рамзина роковым образом, и выводил тем самым драматизм «Выбора» за пределы собственно и только военной ситуации.

Истинный драматизм характера и участи Ильи Рамзина, так же как эпичность романа в целом, трудно оценить, не принимая во внимание драматизм предвоенной эпохи. Уже тогда — «до войны» — Илья был поставлен в положение отщепенца, сына «врага народа», и уже тогда школьник Рамзин решил не покоряться злым обстоятельствам, чужой неправой воле, тренируя свою выносливость. Жажда справедливости, томившая его гордую душу, и униженность незащищенности сложно перепутались в незрелой и легкоранимой душе человека, готовившегося дать отпор, восстановить свое доброе имя. Этот юный человек, только еще вступавший в жизнь, вступал в нее с гипертрофированной мнительностью и самолюбием, подозрительностью и гордостью.

Роман заставляет многое припомнить и задуматься не об одной изломанной судьбе лейтенанта и его смертной расплате за неправый выбор (если у него имелось право выбора), но и о чем-то еще, как бы стоящем вне конкретного сюжета, углубляющем его наполнение. Например, о драматизме истории, шагающей в своих тяжелых сапогах. Вспоминались другие произведения Бондарева — «опасный» разговор Бессонова со Сталиным в «Горячем снеге» о несправедливо репрессированных советских военачальниках; сказанные в сердцах слова Бориса Ермакова («Батальоны просят огня») — есть, мол, такие, кто думает: людей в России много, что такого, если погибнет «лишняя» сотня или тысяча; возникали перед глазами фигуры героев «Тишины» и «Родственников»... Короче говоря, выстраивался определенный ряд образов и идей, полных глубокого значения не для одного своего времени, но и для времени исследуемого.

Война, как кажется, на какой-то срок отодвинула, но не сняла те самые неоднозначные вопросы, какие больше не могли оставаться без ответа. Она же дала на них и свой, тоже неоднозначный ответ, сделав сильным и независимым Костю Корабельникова, надломив Дроздовского и Рамзина, высветив живучесть явлений и типов, олицетворенных в образах Уварова, Быкова, Грекова, Воротюка, Гужавина. Судьбы их всех связаны, как звенья общей цепи, не оборвавшейся с окончанием войны, а дотянувшейся до наших дней. Цепи, которая оказалась такой крепкой!

В этой первопричинной ситуации «сына врага народа», о которой в романе мы скорее догадываемся, чем узнаем, зерно драматического замысла. Хотя события «Выбора» развертываются в наше время, отдаленное от юности героев, трагический конфликт завязывается именно тогда — в годы их юности. Гнет чужой воли и несправедливости Илья ощущал постоянно и постоянно готовил себя к сопротивлению.

Начало войны, всеобщность переживаемого бедствия, как понимал Илья, снимали вопрос об отце, уравнивая сына со всеми остальными. Перед ним открывались равные возможности проявить гражданский патриотический долг, реализовать свои незаурядные способности. Добившись досрочного призыва в армию и пройдя некороткий боевой путь, он окончательно ощутил себя равноправным участником общего святого подвига. Тем более внезапным и непредсказуемым был для Ильи роковой слом обстоятельств, на полном ходу выбросивших его «из тележки». Ужасной была неотвратимость смерти как раз тогда, когда он, по собственному признанию, страстно хотел жить, но еще ужаснее оказалось, что это, в сущности, была и не смерть, не гибель в бою, а унизительная и незаслуженная казнь.

Судьба Рамзина как бы возвратилась вспять, и на этот раз — бесповоротно. Илья шел к командиру полка Воротюку не ради самооправдания, а во имя справедливости. Но уже после недвусмысленных обвинений капитана Гужавина Рамзин чувствовал, что случится что-то непоправимое, что «все испытанное ночью — гибель лошадей в упряжках, расстрелянные танками орудия на переезде, прорыв из окружения восьми человек, оставшихся в живых от батареи, — все выглядело в глазах пехотных офицеров бегством».

В сцене с Воротюком свершилось самое главное: Рамзин вновь был отброшен в пучину несправедливости и одиночества, отторгнут от общей жизни. Разобщение людей, их противостояние вместо единения, подтачивает основы общественной нравственности. Оно смертельно ударило по Рамзину, но не менее сильно и по обществу, создавая почву для безнаказанности Лазаревых, Гужавиных с Воротюком вкупе. Много лет спустя, говоря с Васильевым о жертвах, понесенных в войну, о напрасно загубленных жизнях, Рамзин скажет с ненавидящей убежденностью: «Таких в любое время вешать мало... Я-то знаю, кого судить за погибших — майоров Воротюков надо судить, которые и карту-двухверстку толком читать не научились... По телефону он кричал два слова: «Вперед!» и «Давай!».

Вспомним: Воротюк, не выслушав объяснений, не задав ни одного вопроса, с ходу вынес свой смертный приговор. Это, если отстраниться от эмоций или мнимо понятой военной целесообразности, был явный произвол. Командир полка не просто бросал людям, только что смотревшим в глаза смерти и дравшимся, не жалея сил, грубые, тяжкие обвинения.

Ссохшимся голосом Владимир задал

естественный в этих обстоятельствах вопрос: «Что будем делать?» «Умирать, — тоном бесстрастного хладнокровия сказал Илья, и Владимира поразила длинная усмешка, изломавшая его залитую потом щеку. — Какая пуля слаще, а? Немецкая или русская? — повторил он слова Воротюка, не выходившие, вероятно, у него из головы. — Нет, живые мы ему не нужны. Он уже доложил начальству, что мы геройски погибли, раздавленные гусеницами, и потому только танки взяли станцию. Наша смерть — его оправдание, Володька. Воротюк никогда не отступает. Мы погибли вместе с орудиями. Понял?

— Я тоже об этом думаю».

Именно Илья дает Васильеву шанс на спасение: его и солдата Калинкина он оставил с автоматами в прикрытии, а с остальными пятью пошел к мосту. Ночью Васильев долго слышал, как отстреливалась группа Рамзина в овраге, как постепенно умолкали одна за другой наши автоматные очереди, а немцы все бросали и бросали в уже умолкнувший овраг гранаты. Мог ли такой человек, как Рамзин, поднять руки и сдаться в плен — из трусости, малодушия? Способен ли он на измену? Сам Илья упорно не отвечает на вопросы Васильева ни в Венеции, ни в Москве. То ли из гордости, то ли по другим мотивам отказывается говорить на эту тему. Точно известно только одно — у Власова не служил, полицаем не был. И даже, как обнаружится позднее, оказывал некоторые услуги нашему командованию. А может быть, получилось так, как сплошь и рядом получалось на войне с ранеными и захваченными в плен беспомощными людьми?

Объективную коллизию, в водоворот которой попал Рамзин, разрешила история. Для Ильи — слишком поздно и слишком трагично.

Второй раз выбрав смерть, Илья пришел к единственно неизбежному для него нравственному решению.

А стояла ли перед Воротюком проблема выбора? Объективно — стояла, но субъективно, по всей вероятности, нет. Воротюк в романе не просто раздражительный и несправедливый человек, а выражение вполне определенного явления, которое было хорошо известно воевавшим. Подобные ему командиры не были чем-то исключительным, особенно в начальный период войны. Об их воинских принципах писал А. Корнейчук осенью 1942 года в пьесе «Фронт», а после войны — В. Быков в повести «Его батальон». Теперь об этом недвусмысленно сказал Ю. Бондарев, напомнивший о жизнестойкости подобных явлений и типов.

Понятие о нерасторжимости воинского и нравственного долга, а следовательно, и проблемы выбора для таких не существовало.

Но «на войне, — заметил Василь Быков, — важность выбора была особенно неотвратима, ибо следствия выбора могли быть трагическими. По сути, конечным итогом выбора была победа или смерть, слава или бесславие». При кажущейся одномерности экстремальных условий фронта, «отступление от высоких нравственных требований нередко заканчивалось большой кровью, когда виновником гибели кого-то являлся не только противник, что само собой разумеется, но также и тот, кто послал, не обеспечил, не разобрался, ошибся, игнорировал обстановку. В таких случаях выступают на первый план жесткие требования нравственного максимализма, игнорировать которые как раз и было бы безнравственно». В выборе, сделанном Воротюком, нравственный постулат отсутствует.

Правомерность поступков командира полка оспорили, насколько мне известно, А. Павловский и Н. Иванова, сказавшая что «Илья Рамзин вместе с Васильевым был заранее отдан на заклание майором Воротюком, который объявил начальству, что полковая батарея во время ночного боя погибла. Это Воротюк послал людей просто на бессмысленную гибель, ухватившись за выгодный ему донос старшины Лазарева».

Но у Воротюка оказались и активные сторонники. Его уверенно защищали несколько читателей — бывших фронтовиков. Один из них писал: «До боли жаль Рамзина, но приказ Воротюка вызван обстоятельствами. Что делать? Война! Безысходное положение!»

Нет слов, на фронте бывали такие ситуации, о которых упоминают «посвященные» читатели. Одну из них описал Ю. Бондарев в «Горячем снеге». Но ведь ничего подобного в «Выборе» нет. Просто батарея Рамзина не была осведомлена разведданными о сложившейся обстановке и действовала по своему усмотрению и возможностям. В результате — потеря станции и та самая «большая кровь», которой могло и не быть при распорядительном и грамотном командире полка. Согласитесь, ситуация, во многом меняющая дело: ответственность за поражение и потери несет в первую очередь командир полка. Безграмотно с военной точки зрения (я уж не говорю о нравственной) и его дальнейшее поведение. Так что же означает приказ Воротюка: военную необходимость, командирскую безграмотность или, может быть, преступное своеволие? Над этим стоит задуматься.

Некоторые защитники командира полка ссылались на приказ № 227. Он давал право расстреливать на месте дезертиров и трусов или отдавать их под трибунал. Но ведь дезертирами и трусами артиллеристы не были, таковыми для собственного оправдания их считал только Воротюк да еще капитан Гужавин. Суд, дойди до него дело, как ни короток и строг он бывал, все же оставался судом. Значит, разбирательством. А этого меньше всего хотел Воротюк, по нераспорядительности которого была сдана противнику накануне взятая станция.

Что же придает художественное единство «Выбору»? Если вспомнить еще раз Льва Толстого, то не сюжет и не герой, а нравственная идея, ради которой сотворен роман. Или, иначе говоря, отношение автора ко всему происходящему. Бондаревское отношение к Рамзину и Воротюку выражало новый тип трагического героя и трагической коллизии нового времени.

К такому заключению естественно подводит вся логика романа. Ее не опровергает и сам Ю. Бондарев. На встречах с читателями писатель не раз говорил, что любит такие натуры — сложные и цельные одновременно, динамичные и взрывчатые; он сблизил Рамзина не с кем-нибудь другим из своих героев, а с лейтенантом Княжко — самым достойным и благородным из всех. В Илье Рамзине он ценил смелость, бесстрашие, прямоту, справедливость — качества, сближающие обоих лейтенантов. Не повернись события так круто и непредвиденно, Рамзин вернулся бы домой с победой. Он фигура трагическая и вполне современная как с точки зрения сгубивших его обстоятельств, так и со стороны духовной; он человек, способный к раскаянию и признанию своей вины.

Думается, важное достоинство «Выбора» в том, что, продолжая гуманистические традиции русской литературы, автор одновременно проявил способность и даже, если хотите, смелость по-новому обнажить корни исторических противоречий нового времени. Трагическая коллизия его героев (это можно распространить и на «Игру») как бы сопрягает настоящее с недавним прошлым, обнажая предпосылки волюнтаристской безнаказанности и общественной пассивности, ставших впоследствии серьезной угрозой для общества. Безоговорочное осуждение Рамзина критикой и читателями, так же, впрочем, как и многие обвинения в адрес Васильева и Крымова, можно предположить, отражают еще не изжитую инерцию прямолинейно-догматического мышления. Оно, это мышление, благоприятствовало развитию таких явлений, против которых сегодня решительно и непримиримо восстает все наше общество.

Более чем странно звучат сегодня слова иных критиков, оправдывающих предательское поведение доносчиков и клеветников, обывателей и трусов, обеспокоенных только своим собственным благополучием и безопасностью. «Понятно, что Греков защищался, спасал свое положение, кафедру и партийный билет,— считает В. Коробов.— Более того, зазвони он во все колокола, выступи в защиту сестры как человека и ученого, ей это ничуть бы не помогло, а он бы полетел отовсюду. «Логика» и «правда жизни» на стороне Грекова, этим он и утешался долгие годы».

Не спорю, подобной «логикой» утешались многие, чья совесть нечиста. Но вправе ли мы сегодня, ссылаясь на «правду жизни», обелять типов, подобных Грекову? Вот она, та страшная «философия» конформизма, соглашательского приспособленчества, в единоборство с которой отважно вступали рыцари чести и совести — Княжко и Никитин, Костя Корабельников и Валерий Греков, а за ними, так или иначе, жертвы подобной беспринципной «философии» — Рамзин и Крымов. Как же незаметно и глубоко прокралась она в наше общественное сознание, быт, отношения, искусство и критику, расшатывая их гуманистическую основу! Исследование подобной философии и типов, к ней притерпевшихся, переставших ее замечать, станет основным содержанием «Игры» Ю. Бондарева.

Двусмысленность положения Рамзина или Крымова проистекает в романах Бондарева не только из внутренней противоречивости их характеров и поведения; ее истоки и в тех обстоятельствах, которые поставили персонажей в двусмысленное положение. Вины Рамзина ведь могло и не быть, сложись его биография иначе, столкнись он в роковую минуту не с Воротюком, а с Гуляевым, например. Но на его пути встал именно Воротюк — олицетворение и порождение тех разрушительных антигуманных сил, которые завоевывали в нашем обществе все более прочные позиции. Высокоразвитое чувство человеческого достоинства, воспитанное идеалами социализма, оказалось попранным и униженным противоречиями той жизни, которая призвана осуществлять эти идеалы. Такова трудная диалектика истории, и закрывать глаза на ее трудности не следует.

Над этой диалектикой конфликтов — нравственно-психологических, социально-исторических, политических—мы обязательно задумаемся, читая романы Ю. Бондарева. В ней ключ к пониманию психологии и поведения его героев, выходящих из ряда привычных и понятных нам канонов. Написанные о необходимости верного — по совести — выбора жизненных решений, остро встающих перед личностью, ищущей пути к правде, эти романы и нравственно-этическую проблематику трактуют в ее социально-исторической обусловленности. Понимая добро и справедливость не просто как вечное человеколюбие и сострадательность, они тем самым остаются верны и психологической, и исторической правде.

Недооценка конкретно-исторического контекста в романах «Выбор» и «Игра» приводила, как уже было замечено, ко многим неточностям. Это хорошо видно и на примере рассуждений о Крымове. Одни критики и читатели отзывались о нем, как о самонадеянном снобе, разочарованном «стареющем Вертере», другие — как о современном Дон Кихоте, ставшем жертвой своих романтических иллюзий. И те, и другие так или иначе обособляли Крымова от трудной жизненной реальности. При этом вольно или невольно наружу вылезало знакомое стремление «внести окончательную ясность» посредством разделения на черное и белое, положительное и отрицательное.

Попытка одномерно определить таких героев, как Крымов или Рамзин, не помогала понять смысл их внутренней коллизии. Писавшие о Крымове чаще всего полагали, что он пал жертвой неблагоприятно сложившихся обстоятельств, оказавшихся сильнее героя. В известном смысле это так. Но при этом скрадывается главное — диалектическое взаимодействие личности и обстоятельств, в данном случае далеко не ординарное. Своеобразие крымовской коллизии состоит в том, что, натолкнувшись на неблагоприятное давление извне, испытав отвращение к открывшейся его взору действительности, Крымов неожиданно для себя понял, что он и сам причастен к этим переменам в окружающем его нравственном климате. Процесс духовного прозрения и самообличения героя перенес центр романной тяжести из области внешних событий в сферу психологическую. Крымов не восстает на борьбу с обстоятельствами, сгубившими Ирину, а теперь грозящими ему самому, но, сознав свое сопричастие к случившемуся, принимает вину и ответственность на себя. Поворот непредвиденный и многими недооцененный. Здесь следует искать источник новизны последних романов Бондарева.

Сомнением и самоосуждением терзаются и Крымов, и Васильев. Хотя в «Выборе» драма героя, пожалуй, не выражена с такой трагической безысходностью, как в «Игре», сходство духовного кризиса Васильева и Крымова в принципе очевидно. Источник его внутри характеров, потрясенных внешними обстоятельствами — прозрением нравственной анемии, загасившей гуманистический потенциал общества, искусства, личности.

Незаметно для самих себя бесстрашные лейтенанты военного времени — Васильев и Крымов — в изменившихся условиях существования как-то притерпелись и приспособились к его контрастам и несообразностям, усвоили отстраненно-снисходительный взгляд на людские слабости и недостатки. Да и на свои собственные тоже. Оставаясь субъективно честными и бескорыстными, чуждаясь лести и подхалимства, они с головой ушли в свою работу, отгородившись ею от окружающей житейской суеты.

Увлеченность собственными успехами невольно притупила у Васильева чуткость к чужой беде, даже когда это касалось самых близких.

Да и Крымов, человек бесспорно талантливый и прогрессивный, в конце концов недурно поладил с бюрократическим аппаратом, вершащим судьбы киноискусства, привык к мелкой суетности киношной братии.

Понадобился резкий удар извне, чтобы дестабилизировать инерцию благополучия и терпимости, показать как бы заново — без прикрас и снисхождения,— сколь разительно изменился окружающий мир и они сами — Васильев и Крымов,— не ставшие лучше других и многое утерявшие со времени своей бесстрашной военной юности. Таким ударом для Васильева оказалась встреча с Рамзиным и особенно с маленькой похоронной процессией на кладбище, для Крымова — гибель актрисы Скворцовой.

В разной степени и с разной глубиной драматизма Васильев и Крымов переживают сходную драму, мучаются тем, что заходили все дальше и дальше, поступались совестью, идя на компромиссы, самоустраняясь от «мелких» людских забот, а заодно и от самих людей.

Прозрение, пришедшее в трагическую пору, потрясает Крымова. Впервые за долгое время он видит себя как бы со стороны и начинает понимать, что морально-нравственный индифферентизм, сковавший общественное сознание, общественную активность, возник и распространился не сам по себе, а благодаря и его собственному индифферентизму и нравственной апатии.

Осознание сопричастности к пошлому, бессердечному миру, так же как и упрямое нежелание отступать перед его натиском, рождает горестное чувство вины за все случившееся с Ириной, с Ольгой, с ним самим, постепенно разменявшим золото высоких идеалов на медные пятаки иллюзорного преуспеяния. Охваченный отчаянием и яростью, Крымов совершает нелепые, вызывающие поступки, путая и мешая карты в той фальшивой игре, какою окончательно стала его жизнь.

Теперь Крымов ясно отдавал себе отчет в том, что философия конформизма проникла в него самого, в его духовный мир, казалось бы, всемерно удаленный от этой философии, и так трагично сказалась на его судьбе. Вспомнилось, как самоуверенно увещевал он смертельно раненную Ирину. «В искусстве,— сказал он тогда,— властвуют в определенную пору две царицы — это зависть к чужому успеху и ревность к чужим возможностям. И никакие нравственные революции не лишат этих цариц трона. В конце концов побеждает тот, кто умеет работать. Вот и все». Впрочем, отдавая себе отчет в цинической жестокости сказанного, Крымов бесстрастно констатировал: «Я режиссер и привык ко всему... В кино, чтобы победить, надо пройти через девять кругов Дантова ада».

Каким же беспощадным бумерангом ударят эти слова по Крымову. Свои «девять кругов» он так и не пройдет до конца. Подобно Ирине, сломавшейся уже «на первом круге», Вячеслав Крымов, казалось бы, прочно защищенный от любых неожиданностей своей престижной репутацией и талантом, будет погублен элементарными злословием и клеветой коллег, с торжествующей безнаказанностью загнавших в «мышеловку» своего вчерашнего кумира. «Нравственная революция», безотлагательность которой

Крымов постигает со всей силой трагических последствий, предстанет в романе как главное веление времени; личная драма героев распахнет двери к осознанию драмы, нависшей над обществом, его гуманистической моралью и нравственностью.

Те самые «царицы», на которых Крымов еще вчера смотрел сквозь пальцы, которым, случалось, потворствовал, объединившись с вельможным руководством, теперь занесут гильотину над его головой, и разномасштабные планы романного повествования сомкнутся в его духовной протяженности от времен Аввакума к эпохе Джона Гричмара.

Но именно теперь Крымов не захочет смиряться с тем, к чему успел привыкнуть и притерпеться. Очертя голову и не думая о последствиях, он пойдет напролом, шокируя и оскорбляя начальство, пугая друзей. Напрасно Стишов станет призывать Крымова к благоразумию и сдержанности. Прозревший Крымов примет на себя «всю вину» за содеянное им самим и окружающими, за то трагическое неблагополучие мира, жертвой которого становятся в первую очередь слабые и чистые души. «За слезинку ребенка, без вины пролитую, мы все, кто еще способен чувствовать, иначе никто ничего не стоит...» — скажет он другу Стишову.

Не виноват, а именно виновен! Это слово, сознавая, что делает роковой последний шаг, будет повторять Крымов «деликатному» следователю Токареву. «Виновен... Во всем. И вам не нужно больше задавать вопросы ни Балабанову, ни Молочкову, ни прочим»,— будет настаивать охваченный отчаянием Крымов. Эпизод в романе мимолетный. Однако в нем сфокусируется наконец все самое главное, ради чего написана книга,— ее нравственно-философская идея. Сомкнутся и одновременно разверзнутся два его повествовательных слоя — вполне реальный, прозаически-сниженный и символический, чтобы не сказать мистический, ведущие к потаенному смыслу «Игры». И этот смысл воплотится всего в двух самоубийственных словах героя — «Виновен, виновен!».

Если смотреть на вещи глазами Токарева или Молочкова, то Крымов действительно ни в чем не был виноват. В их отношениях с Ириной не было того, что подразумевают «доброжелательные» авторы анонимки и следователь. На прямо поставленный вопрос Токарева Крымов ответит его же словами: «Нет, Ирина Скворцова не была ни моей любовницей, ни подругой, ни приятельницей. Было другое».

Свою вину Крымов видел как раз «в другом» и сознавал ее с нарастающей глубиной постижения. Он был виновен в том, что вселил в Ирину надежду, которой не суждено было исполниться, окончательно лишил ее «радостной» жизни. Тогда, приглашая ее в мир своей профессиональной повседневности, Крымов не догадался, не понял, что это чистое, хрупкое создание не приживется в нем. Ирина погибнет из-за нехватки кислорода — элементарной добропорядочности. Это он понял потом, когда сам стал жертвой своих «сограждан», со знанием дела, со злорадной упоенностью загнавших его в тупик.

Он судил и обвинял себя по другим меркам и с иной строгостью, какая недоступна их моральному статусу. Он брал на себя вину за страдания и гибель таких, как Ирина, «беззащитных перед жизнью», за зло, содеянное в мире другими людьми, за то, что жил среди таких, как они, жил с ними, ничем ведь, по совести, от них не отличаясь. Может быть, только мерой таланта?

Сложно зашифрованное духовное содержание романа «Игра» укладывается в каких-нибудь три дня фабульного существования центрального героя — Вячеслава Андреевича Крымова,— с момента его возвращения из Парижа, где на международном кинофестивале его новый фильм был удостоен высшей награды, и до момента, когда по дороге из города на дачу он повернул машину не в ту сторону и «навстречу понеслось грохочущее, дымящее...».

И как же много вместилось в эти три дня! Как будто бы перед нами прошла не одна жизнь самого Крымова, а многих людей, нескольких поколений с их муками, думами, надеждами, страстями... От неистового Аввакума, и на смертном костре не отрекшегося от своей веры, до трезвого американского кинопродюсера Джона Гричмара, полностью утратившего надежду и веру; от героического самопожертвования командира полковой разведки на обледенелой ничейной земле до сегодняшнего знаменитого кинорежиссера Вячеслава Крымова, уставшего от всеобщей благосклонности, изверившегося в успехе у заграничных и отечественных ценителей искусства; от чистоты и беззащитности Ирины Скворцовой до безнаказанности и торжества цинического лицемерия и злобы Молочкова, Гулина, Балабанова, завистливо-доброжелательных коллег, готовых в любую минуту предать, изменить, продать и самого Крымова, и честь, и совесть, и человеческое достоинство...

Разрабатывая новый тип трагического конфликта, Ю. Бондарев не мог не ощутить насущной потребности в героях, способных всем своим моральным статусом противостоять негативным явлениям, исподволь разъедающим общественную нравственность. Как и не понимать всей трудности подобных решений. Поэтому гибель героев в его произведениях не их поражение, пусть даже обстоятельства оказываются сильнее, а, напротив,— нравственное превосходство личности, не пожелавшей приспосабливаться к обстоятельствам. Готовность такого героя «идти до конца» (Гегель) придает его образу черты и значительность героя трагического, погибающего, но не сдающегося в заведомо неравной борьбе.

К самому себе как личности цельной и непреклонной возвращается по сути дела Рамзин в последнем роковом выборе, сделанном в отеле «Метрополь». Цельным, не желающим подчиняться законам так называемой целесообразности и службистского практицизма, уходит из «Игры» Крымов. Выход к эпическому и философскому постижению истории достигается при этом не за счет расширения повествовательного пространства или укрупнения и героизации центральных персонажей. В этом смысле автор поступает даже с известным вызовом, лишая их тени монументальности и величавости. Но как бы локальны ни были с виду границы конфликтной коллизии, как бы беспомощно ни вел себя герой, движущим стимулом драматизма, если сослаться на Ф. Энгельса, остается «трагическая коллизия между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления».

У Рамзина это коллизия объективной его правоты и субъективной беззащитности, недостижимости истины (сначала касающейся отца, ставшего жертвой порядка, за который он сам сражался и победе которого способствовал, затем самого Ильи, уверовавшего в справедливость и не помышлявшего об измене Родине). У Крымова — драма слишком позднего прозрения и самоосуждения. Поэтому в развязке романов оба, как люди честные и порядочные, они только платят за свою «вину» полной мерой самонаказания. Ни тот, ни другой не идет на сделку с безнравственностью сложившихся обстоятельств, не хочет долее подчиняться соображениям житейского конформизма. Компромисс, с которым, что греха таить, они не раз смирялись, ныне был бы равен предательству не одного отца или Ирины, но и тех высоких идеалов, которые вели к победе на войне.

Эти «частные» психологические коллизии по-своему выражали социальный конфликт эпохи: противоречие должного и сущего, достигающее своего предела. «Личная» ситуация героев самосильно перерастала в общественную конфликтную ситуацию, чреватую высокой мерой драматизма. Трагизм положения героев «Выбора» и «Игры» проистекал из той самой «практической невозможности» осуществления «исторически необходимого требования» правды и справедливости.

Своего рода катарсис в финале обоих романов убеждал читателя в необходимости быть твердым и последовательным в своих нравственно-этических убеждениях. На первый план выдвигалось требование социалистической гуманности и законности, нарушение которых чревато ущербом для личности. А следовательно, и для общества. Исследуя индивидуальную психологическую драму героев, автор приближался к общезначимым философским выводам.

Бондарев в этом смысле вовсе не был единственным и одиноким. Даже в самые застойные времена прямо или косвенно — в дискуссиях или в духовном борении героев — многие наши писатели как бы спешили выразить свою неудовлетворенность жизнью, очевидными и подспудными ее искажениями. Дух нравственной нетерпимости так или иначе заявлял о себе в русской, литовской, киргизской, грузинской прозе, в творчестве писателей других регионов нашей страны.

В самой действительности зрели силы, которым предстояло взорвать сложившийся «порядок», разрушить его тормозящую инерцию. Жизнь выдвигала новые ответственные задачи, решение которых становилось все более безотлагательным. Она требовала действий революционизирующего характера во всех сферах социальной и экономической жизни общества. Их главная цель, по словам М. С. Горбачева, заключалась в необходимости достижения нового качественного состояния общества, преобразования его морального климата.

Особую весомость эти требования имели в художественном творчестве, всегда являющем собою чуткий барометр общественного состояния.

Неоднотипные, написанные на разном национально-временном материале, неравнозначные по своему кругозору, эти книги близки с одной точки зрения, которую Ю. Бондарев, выступая на филологическом факультете МГУ, определил как сближающее разных авторов стремление «разрубить лед самоуспокоенности», воспротивиться казенному равнодушию и амебной пассивности во всем, что касается человека, его положения среди людей и в мире, преисполненном тревог, надежд и разочарований. Поставить тем самым художественное творчество на службу собирания человеческого в человеке.

Думается, что сказанное с достаточным основанием распространяется и на романы Ю. Бондарева. Новое в данном случае, если согласиться, что для Бондарева это было действительно ново, а не представляло собою поступательное развитие всего его творчества, состояло не в замеченном критикой преобразовании художественной формы как таковой, а в стимулах ее обновления, в многозначительном смысле «смены героев». Бесстрастно погружаясь в анализ болевых процессов социальной действительности, он извлекал истину из «тьмы» житейской повседневности, той самой повседневности, к беспринципности которой, коль уж на то пошло, по-своему притерпелись и не одни герои бондаревских романов, но и мы с вами. А для того, чтобы вскрыть эту истину, кроме всего прочего, требовалось еще незаурядное гражданское мужество, запас духовных сил, решимость взломать рутинную инерцию. «Нынче уже мало терпения и дара,— сказал о долге и совести современного литератора В. Распутин,— как никогда прежде, пи-

сателю необходимы гражданская стойкость и зрелость».

Не в этой ли гражданской отваге и ответственности новаторский смысл последних бондаревских романов, которые разрешаются не утешительным вознаграждением добродетели и торжеством справедливости, а гибелью героя? Гибелью, если быть объективным, свидетельствующей не о его бессилии и поражении, а о том, что социальные и моральные противоречия в обществе настолько опасны и глубоки, что для их преодоления требуется высокая мера самопожертвования и бесстрашия.

Оба героя — Васильев и Крымов — платят высокую цену за настигающее их прозрение. Трагическое и запоздалое, оно составляет идею романов Ю. Бондарева. Постигая глубину негативной общественной ситуации, его герои осознают и глубину своей вины перед общественной моралью. Такая способность делает их не просто положительными (в истинном смысле понятия), но и трагическими героями нового времени.

Новое в данном случае состоит не только в том, что писатель открыто заговорил о вредоносных явлениях, тормозящих поступательное движение социализма, но и в том, что предпринял своего рода попытку социальной анатомии этого процесса, выявил его злокачественную мимикрию и гибельные последствия. Без всякой уклончивости и двусмысленности обнажив их подлинную опасность и не просто ужаснувшись ее всевластным проникновением, он пошел дальше и показал, как негативное зарождается в недрах позитивного, подтачивая его изнутри.

Решительно менялась и форма повествования: действие, начинающееся в момент кульминации событий, развивалось с высокой степенью внутреннего напряжения, становилось порывистее и «непоследовательнее», контрасты поляризовались, прямая речь и внутренний монолог теснили описание, резче обозначая динамизм внешнего и внутреннего конфликта. Заметная дисгармония формообразующих компонентов, вызвавшая нарекания уже при обсуждении «Берега», теперь как будто бы возобладала.

Читатель, натолкнувшись на предельно спрессованное, порой до однозначности, повествование, терялся в догадках, раздумывая, что же произошло — то ли автор слишком уж торопится, утрачивая по пути привычную и полюбившуюся нам манеру художественного живописания, то ли чего-то недодумал, с чем-то не совладал. А может быть, наоборот, такова его творческая задача — по-новому проникнуть в затаенные контрасты переживаемого времени, резче их обозначить, драматичнее изобразить их кризисное противостояние? Побудить, наконец, читателя к самостоятельному осмыслению первопричин?

Позднее автор отчасти объяснил некоторые особенности сложно-ассоциативной структуры романов тем, что ставил перед собою экспериментальную задачу: предельно сократить описания, чтобы передать суть происходящего через диалог и внутреннее действие персонажей. Иначе говоря, опереться на законы драматического искусства, допускающие «скачки» и «перерыв постепенности», не нарушающие единства драматического действия.

Предпринимая подобный эксперимент, Ю. Бондарев шел на большой риск, не во всем оправдавший себя. Заметнее всего понесенные издержки сказались на жизненной и эстетической полнокровности характеров, как бы повернутых к читателю только одной своей стороной, представленных в одном доминирующем состоянии. Прием одностороннего заострения вполне оправдал себя в отношении Балабанова, Пескарева, Молочкова, отмеченных печатью гротеска. Но характеристике центральных персонажей он наносил известный урон. Более всего это коснулось Ирины, фигуры в романе скорее иллюстрирующей тезис, чем действующей.

Гипертрофированную форму приняли и диалоги, особенно центральных персонажей. Обстоятельно распространенные, они нередко превращались в развернутые декларации, по-своему тормозящие самодвижение идеи и характеров. И нет смысла делать вид, будто в том громадном конгломерате политических, социально-нравственных и эстетических проблем, образующих духовное содержание «Выбора» и «Игры», все обошлось без сучка и задоринки. И «сучки», и «задоринки» нет-нет да и давали о себе знать. Порой чувствительно. Форма не осталась безразличной к содержанию, оказывая на него обратное влияние. Касалось это и отдельных образов, и организации художественной структуры. Переход от одного плана в другой совершался иногда слишком резко, и сами планы казались недостаточно плотно пригнанными друг к другу; многие символические мотивы и подробности трудно поддавались разгадке, их связь с центральным мотивом романного замысла подчас терялась. Стиль, нарочито сдержанный и отточенный, вдруг нарушался изысканностью отдельной фразы или, наоборот, выглядел слишком уж зажатым — так и хотелось раздвинуть пространство, увидеть живой, естественный мир, к которому Бондарев всегда близок и чуток, дать волю эмоциям, загнанным внутрь характеров.

Нетрадиционная поэтика бондаревских романов заслуживает специального исследования. Свою же главную задачу я видела в том, чтобы с помощью конкретно-исторических критериев точнее определить круг вопросов, волнующих не только литературных героев и автора, но и непосредственно и болезненно задевающих всех нас, живущих в противоречивом и трудно обновляющемся мире. Не случайно именно вокруг этих проблем соредоточились споры критиков и читателей последних романов Ю. Бондарева.

Почта «Октября»

Почта на статью Ю. Буртина «Вам, из другого поколенья...», опубликованная в № 12 журнала за 1987 год, вызвала еще больший поток писем[1]. Теперь уже читатели спорят с читателями. Одни поддерживают оппонентов Ю. Буртина — И. Перова, П. Лобанова, В. Фролова, другие (их абсолютное большинство) ведут с ними спор.

В своих письмах читатели затрагивают широкий спектр проблем нашей жизни за 70 лет, но в центре полемики оказался вопрос о Сталине, о той модели социализма, которая сформировалась под его руководством в 30-е годы, размышления о сталинском наследии, о причинах, которые привели наше общество к нынешнему предкризисному состоянию.

Именно эта тема легла в основу нашей публикации. Редакция решила не включать в нее письма читателей, выступающих в безоговорочную защиту Сталина и сталинизма как незыблемого образца, единственно верного пути развития социализма, ибо они или целиком повторяют аргументы И. Перова, П. Лобанова, В. Фролова, или просто ограничиваются экспрессивной поддержкой их мнения. Процитируем (за лапидарность стиля) лишь телеграмму из Батуми, подписанную Чхаидзе: «Уважаемая редакция! Мы коллективно прочли Перова, Лобанова, Фролова, опубликованные в журнале № 12 в ответ на статью Буртина «Вам, из другого поколенья...», и скажем прямо: все получили огромное удовольствие, наслаждение по поводу объективной оценки личности Сталина, сталинизма периода 30-х, 40-х и последующих годов, что вселяет в нас уверенность, что правота своего добьется, справедливость восторжествует. Спасибо вам за это и прошу опубликовать эту телеграмму».

Думаем, читатели обратят внимание, что авторы публикуемых ниже писем не претендуют на исчерпывающий анализ недавней эпохи, они сосредоточили свое внимание на тех фактах нашей жизни, которые замалчивались, утаивались намеренно, искажались. Авторы справедливо полагают, что без воссоздания правдивой картины прошлого — без утайки и изъятий — невозможен процесс общественного обновления, наше духовное возрождение.

Уважаемая редакция!

В откликах на статью Ю. Буртина «Вам, из другого поколенья...» в письме, подписанном И. Перовым, последний призывает Буртина спросить мнение о Сталине рабочих, военнослужащих и колхозников. Так вот: я — профессиональный военный. В армии — с июля 1941 года. В партии — с 1947 года. С 1972 г. (после демобилизации) преподаю в военном училище.

Мне было противно читать письма Перова, Лобанова и иже с ними, написанные в печально знакомой манере доносов конца 30-х и 40-х годов. Пусть не обольщаются их авторы тем, будто все рабочие, военнослужащие и колхозники солидарны с их истинно «дремучей» идеологией.

Большинство — за гласность, провозглашенную партией, за историческую правду, выражением которой и была статья Ю. Буртина.

Спасский Борис Ильич,
подполковник в отставке,
секретарь первичной парторганизации
группы кафедр военного училища

г. Ленинград

Товарищу И. Перову из Кишинева

Дорогой мальчик, ваше письмо потрясло меня, вероятно, несообразием возраста его автора и диким фанатизмом отстаивания каких-то нелепых идей. И невооруженным глазом видно, что они незрелы, вы уж простите. Приходит в голову мысль о том, что это, вероятно, ваша шутка.

Только как женщина и мать, если вы позволите, скажу вам: нет ничего дороже человеческой жизни. Философия уважения к чужой жизни — это философия человека цивилизованного, человека высокой духовной организации. Каждая отнятая Сталиным жизнь — это трагедия. Трагедия человека, его семьи, трагедия народа. Чтобы она не повторилась, мы должны ценить и лелеять Правду — врага слепого идолопоклонства. И не так уж Хрущев смешон, как вам кажется. Кукурузное поле лучше кладбища.

И. М. Шитова

г. Киев.

Мы только начинаем учиться демократии, представленная возможность высказывать свое мнение означает еще и соб-

[1] Редакция благодарит всех читателей, откликнувшихся на эту публикацию, выражает признательность за замечания в наш адрес и приносит извинения за опечатку, которую заметил читатель Г. Альтшуллер: на стр. 202 в сноске следует читать: «в конце 1966 года...».

Письма публикуются в сокращении (из-за недостатка места), но без какой-либо правки.

людение хотя бы элементарных этических норм.

«Открытый ответ» И. Перова (г. Кишинев) возмущает нас откровенным хамством. Можно придерживаться противоположных взглядов на исторические события, но, выражая их, не следует опускаться до оскорбления личного достоинства оппонентов.

Думаем, что слова брани, высказанные И. Перовым в адрес автора статьи, не заденут Ю. Буртина, тем более что в ответе И. Перова четко просматривается слабая осведомленность о событиях, происходивших в 30—50-х годах.

...Следует ли публиковать подобные письма, содержащие недопустимые выпады в адрес оппонента? Это возвращает нас в недавние времена, когда привычно навешивались ярлыки и шельмовали авторов, нашедших в себе мужество высказать свои взгляды.

Супруги Сорокины

г. Ленинград

Открытые вопросы И. Перову

Давно, с 1956 года, с обостренной болью слежу за всеми публикациями, восстанавливающими добрые имена и дела советских людей, пострадавших в страшный период проклятого культа. На всю жизнь запомнились жуткие рыдания и крик тети: «Зачем мне реабилитационные бумажки, мне нужен Георгий!» Он, дядя Георгий, погиб, взятый в 1937 году. И не было ни суда, ни следствия, только трагические последствия.

Вы, И. Перов, хотите, чтобы такое повторялось еще и еще? Я — нет.

Обращаясь к вам и вашим ровесникам, я называю всех вас «правнуки Сталина». Во-первых, потому, что вы действительно по возрасту годитесь в правнуки Сталину, но, главное, потому, что вы, исповедующие потребность в «сильной личности», тоже страшны. Ведь вы — настоящее и ближайшее будущее нашего народа. Вам и работать, и руководить, и «казнить, и миловать». Боюсь, что с вашей нравственной позицией вы будете больше «казнить».

Но продолжу вопросы.

Вы, И. Перов, обращаясь к Ю. Буртину, восклицаете: «Вы работали в архивах, ввели в оборот неизвестные доселе документы, спросили очевидцев?..» Неужели вы в свои 23 года все это проделали? Позвольте усомниться в этом. А посему давайте отталкиваться от тех данных и документов, которые проходят в открытой печати, которыми может располагать любой человек...

Возьмите стенографические отчеты XVII съезда («съезда победителей») и XVIII съезда ВКП(б). Сравните составы руководящих органов съездов. Не можете ли вы подсчитать, сколько большевиков-ленинцев не упоминается в документах XVIII съезда? И сказать, где они? В лучшем случае оставлены не у дел, в худшем — арестованы, в самом страшном — уничтожены.

Вы хотите, чтобы такое повторилось? Я — нет.

В числе погибших в с е, оставшиеся в живых к 1935—1938 годам члены первого Советского правительства и обоих предоктябрьских составов ЦК партии, за исключением А. М. Коллонтай, М. К. Муранова, высланного за границу Л. Д. Троцкого и, разумеется, И. В. Сталина. В числе погибших 98 из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранного на последнем перед массовыми репрессиями, XVII съезде партии.

К XVIII партсъезду процент делегатов с партстажем до 1920 года, т. е. р а б о т а в ш и х с В. И. Л е н и н ы м, упадет с 80 до 18.

Вам, И. Перов, это известно?

Ответьте хотя бы сами себе, тов. Перов, на следующий вопрос. Смерть Кирова, самоубийство Орджоникидзе, смерть Кедрова, Постышева, Косиора, Чубаря, Крыленко, Томского, Рудзутака, Бухарина, Рыкова, Косарева, Кузнецова, Вознесенского... Вы знаете, мне страшно продолжать — это на чьей кровавой совести?

Расправы с лучшими представителями науки и культуры, руководителями промышленности, транспорта, сельского хозяйства (вам назвать фамилии, или знаете сами?) тоже нужны были для ускоренного строительства социализма?

Вы отсылаете Ю. Буртина к мнению рабочих, колхозников, военнослужащих. А сами вы знакомы с их мнением?

Я кадровый военный, отдавший Советской Армии более 30 лет. Около 30 лет состою членом КПСС. Наберитесь терпения выслушать мое мнение.

Позвольте напомнить вам страшный перечень сталинских преступлений перед армией (данные генерал-лейтенанта Тодорского А. И.).

Сталинские репрессии вырубили:

из 5 Маршалов Советского Союза	— 3
из 5 командармов I ранга	— 3
из 10 командармов II ранга	— 10
из 57 комкоров	— 50
из 186 комдивов	—154
из 16 армейских комиссаров	— 16
из 28 корпусных комиссаров	— 25
из 64 дивизионных комиссаров	— 58
из 454 полковников	—401.

Жуткая, леденящая кровь арифметика. Да, тов. Перов, именно Сталин о б е з г л а в и л нашу родную рабоче-крестьянскую Красную Армию, уничтожил лучшие ее кадры, цвет руководящего состава. Вам известны их фамилии?

И в 20 млн. отнятых жизней советских людей в этой войне страшная, преступная вина Сталина.

А тот факт, что под смертным приговором Тухачевскому стояли подписи Блюхера и Дыбенко, является еще одним страшным следствием «деяний» вашего кумира. Весь наш народ, руководители и рядовые, жил в атмосфере безнравственности, вопиющего беззакония, отсутствия демократии, в атмосфере сыска и доносов, расправ без суда и следствия.

Люди исчезали. Никто не знал, куда, за что и на сколько. Часто не было ни суда, ни следствия. Можете ли вы ощутить умозрительно, под каким прессом страха жил народ? Слышать по радио, читать в газетах одно, а видеть в реалиях другое. Можно ли измерить всю величину нравственного ущерба, нанесенного беззакониями и попранием основ демократии! А ведь на почве безнравственности, беззакония, отсутствия демократии очень быстро прорастают негодяи всех мастей и рангов. И когда после октября 1964 года исподволь произошла по волеизъявлению высшего руководства моральная реабилитация Сталина, когда снова зацвели пышным цветом авторитарно-бюрократический характер взаимоотношений между руководителем и массой, система привилегий для верхних этажей (кстати, Перов, это не «вздор», как вы по незнанию утверждаете, а факт: возникли привилегии при Сталине, примерно с 1926 года), бесконтрольность и вседозволенность, славословие и пустозвонство, проявились новые формы злоупотреблений властью — это вопиющие факты по Узбекистану, Казахстану и др. Это — наследие Сталина! У внуков проявилось.

А что вы, тов. Перов, знаете о колхозах и колхозниках?

Может быть, вы скрупулезно разобрались, как подрывались экономические основы сельского хозяйства с самого начала коллективизации теми самыми «административно-командными» методами руководства? Другого метода ведь не допускалось!

А знаете ли вы, И. Перов, что советский колхозник был бесправен как гражданин? Он не имел паспорта! Да, да, того самого «молоткастого, серпастого». В районный городок по разовой справке ездил. Как, И. Перов, этот факт нашего бытия тоже в заслугу «демократии по-сталински» запишем?

Когда вы, тов. Перов, и подобные вам напирают на факт достижений нашей Родины в строительстве социализма под мудрым руководством «вождя народов», позвольте отослать вас всех к такой категории, как диалектика.

Закон исторического развития общества объективен, движение вперед остановить невозможно. Великие личности ускоряют и облегчают этот процесс. Другие же могут замедлить, искривить, но не отменить или повернуть вспять. Заслуга в достижении строительства социализма нашего великого народа.

Выдающаяся роль Сталина в войне? Русский народ победил бы Наполеона и без царя Александра I («Победителя»). Великий советский народ победил бы и без Сталина, только с меньшими потерями в войне. И совершенно без потерь после войны, когда сталинские вакханалии продолжались в огульных массовых заключениях советских людей, побывавших в плену, в жутком по своему беззаконию «ленинградском деле» и т. п.

Страшно сегодня вот еще что. Отстаивая право «вождя» на ликвидацию демократии, на беззакония, на преступления против своего народа, вы уже научились передергивать в доказательствах. Вы, И. Перов, приводите пример из доклада товарища М. С. Горбачева на торжественном заседании, посвященном 40-летию Победы, где упоминается имя Сталина. Вы услышали «шквал» аплодисментов. Но как же вы «не услышали», как М. С. Горбачев в докладе на торжественном заседании, посвященном 70-летию Великой Октябрьской революции, говорил о сталинских «преступлениях на почве злоупотребления властью», о том, что вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна?

В. Чабанов, полковник Советской Армии, член КПСС, образование высшее, 49 лет.

г. Ашхабад

Мне 80 лет. Я был свидетелем и даже участником многих событий еще с конца 20-х годов, событий и хороших, и ужасных, и всегда «умолял» свой организм и разум: «Доживи до тех дней, когда история скажет правду». Жизнь распорядилась так, что я дожил до этого времени, дожил до того, когда народ дает правдивый анализ пройденному.

Сам я колхозник с 1927 года. В тот год наша комсомольская организация всей ячейкой добровольно вступила в процветающий колхоз «Пчела» села Комаровки Теплицкого района Винницкой области. Потом учеба в Уманском педтехникуме, учительская работа на Украине с 1930 по 1934 год, затем Ленинградский институт имени Герцена, исторический факультет.

Еще раз говорю: я рад, что дожил до гласности и правды. Я одному удивляюсь: почему обходят сложные события конца 20-х годов, голод на Украине в 1933-м, обходят события до Берии? Почему?

И еще одному удивляюсь: как могут находиться люди вроде Перова или Лобанова, повторяющие такие избитые слова о Сталине и нашем недавнем прошлом. Вы, Перов и Лобанов, или ничего не видели, или это фарс, или в свое время выдвинулись на чужом горе. Или вы бессердечные, бездушные, или вы не анализируете исторические факты?

В 1933 году, когда был прекрасный по тем временам урожай на Украине, я видел, как в Лысянке люди умирали с голоду. Приходишь в лысянскую школу на урок и каждый день кого-то недосчитываешься: «отучился». Можно было увидеть умирающего у забора той же школы. Так было, уважаемые защитники сталинизма. А уж что на белых акациях делалось! Это трагизрелище: сотни опухших от голода людей обрывают цветы,

чтобы испечь какие-то коржи для спасения себя и детей. Вы видели такое, защитники? В той же школе весной 1933 года организовали завтраки для спасения детей: собирали картошку, которая перезимовала на полях, и из этой перегнившей, перемерзлой картошки делали баланду для детей. Вы такое блюдо для своих детей делали?

Перекинемся в другой район Украины, в ту же мою Комаровку, где был с 1923 года цветущий колхоз. А что сделали в 1933-м? Тоже весь хлеб вывезли, и, пожалуйста,— голод! Умерли многие. А уж что произошло в семье Гненной Елены, описанию не подлежит. А в печати в это время на все лады повторялась сталинская фраза: «Жить стало лучше, жить стало веселей».

Вы, защитники, забыли известную истину: любые реформы реакционны, если рушится человек. Или: несовместимо с разумом злодейство. Не будем говорить о 1937—1938 годах. Попробуем вернуться назад, в конец 20-х — начало 30-х годов. Возьму самое близкое мне — школы. Вот, Лысянский район. Доценко Василий, Проценко, Горкавий — лучшие учителя школ — погибли, погибли еще десятки. Заведующий начальной школой в селе Жабчинцы Ковамский был репрессирован только за то, что организовал в школе кружок юннатов. Дико, правда? Погиб лучший учитель. А вот вороновицкая школа им. Можайского: убито семь учителей. В нашем Уманском педтехникуме лучший преподаватель Затонский, завуч Черняховский (земляк генерала Черняховского) и многие другие пали жертвами сталинизма. Студенты Осипенко, Машковская разделили участь своих учителей.

Или вот Христиновская железнодорожная школа: трое лучших учителей репрессированы. Когда отправляли одного из них, к теплушке пришел весь класс проводить любимого учителя «в дальний путь на долгие года». За этот мужественный поступок началось гонение на учеников класса, на администрацию школы. Последовали новые аресты. Вы слышите, защитники Сталина, мой голос, вы слышите вопли детей? Вы видите пухлых от голода, умирающих в урожайный год? Может, это выдумка? Нетрудно проверить. И нечего искать архивы, мы еще живы — спрашивайте!

А видели вы, как проходила коллективизация и ликвидация так называемого кулачества? Я могу вам привести десятки имен середняков, которых весной 1930 года погрузили в холодные вагоны на станции Роскошевка, среди которых было много больных, стариков, детей и... А коллективизация? Помню, 15 марта 1930 года нас, студентов Уманского педтехникума, ничего не объясняя, одели в шинели, дали винтовки, патроны и направили в село. Для чего, скажете? Оказывается, мы — пугало. Чтобы крестьяне со страху «добровольно» вступали в колхоз. Скажите, где о подобной коллективизации написано у Ленина? В кооперативном плане? А потом Сталин с хитрецой напишет статью «Головокружение от успехов», дабы остаться в стороне.

Теперь перенесемся в Ленинградский институт имени Герцена. 1934—1935 годы. Массовые репрессии студентов и профессорско-преподавательского состава. Что это? Везде враги? За что убиты мои сокурсники: комсомолец Забовский, Паупер и другие?

Найдите мне, защитники Сталина, такое место у Маркса или Ленина, где бы доказывалась необходимость моря слез для строительства социализма. Не найдете ничего подобного.

М. З. Жук, пенсионер

г. Винница

Тов. Перов!

Читая ваше открытое письмо Ю. Буртину, думала, что это пишет какой-то замшелый сталинист образца 37-го года, а, оказывается, вам 23 года. Ничего себе!!

В какой же семье вы росли? Какие учителя вас учили? Какие книги вы читали? Неужели вам безразличны судьбы Ахматовой, Зощенко, Цветаевой, Раскольникова, Тухачевского, Вавилова — тысяч коммунистов и просто людей, погибших в тридцать седьмом? Как говорится, «культа нет, но поклонники остались», да еще такие юные. Это страшно.

Вы с такой безапелляционностью, с таким апломбом говорите от лица вашего поколения и даже народа: «Спросите рабочих, колхозников, военнослужащих...» Люди-то, т. Перов, хоть рабочий, хоть академик,— разные и мыслят по-разному. Сужу по себе, своим друзьям, своим сыновьям. Их у меня двое. Старший — офицер-подводник, младший — курсант. Разница 15 лет, но они не разделяют ваших восторгов сталинскими временами. Лично я очень благодарна М. С. Горбачеву. В своем докладе к 70-летию Октября он оценил гражданское мужество Н. С. Хрущева. Мне 58 лет. Всю блокаду прожила в Ленинграде. Что такое Сталин, знаю не только по мемуарам и нежных чувств к вашему идолу не питаю. Конечно, если вас не могли переубедить ни XX, ни XXII съезды партии, то и к Буртину вы глухи, и поэма Твардовского, наверное, не для вас.

З. Б. Матросова

г. Ленинград

Скажу о своей позиции сразу. Я против того, чтобы кидать в топку паровоза, идущего к светлому будущему, пассажиров, а иногда и членов локомотивной бригады, при этом выборочно, оставляя только серых, а светлых — лишь на моменты, когда машинист чувствует, что без них наступит конец.

А сейчас будет повествование о некоторых моментах жизни моих близких. Замечу при этом, что ни у кого из них

не только в делах, но и в мыслях не было нанести ущерб стране, Родине, Советской власти.

Тем больнее писать и вспоминать об этом. Часто, как гвоздь, застревает в голове вопрос: «За что?»

Моего деда по матери раскулачили за то, что у него была глинобитная кузница и, видимо, он работал и жил несколько лучше, чем другие. Дед был на отхожем промысле (плотничал) и, узнав о раскулачивании, в деревне не появился, поэтому его не сослали. Но бабушку увели в лаптях по колено в снеговой весенней воде в район. Исполнители были верхом на лошадях. Сослали в Иркутск. Моя мать (старшая из детей) была замужем, в другой семье, и не была репрессирована. Остальные дети (четверо, в возрасте от 12 до 5 лет) были сосланы в леса. По состоянию здоровья бабушку отпустили из иркутской ссылки, и ее жизни хватило лишь на то, чтобы добраться до родных мест. Так она и не увидела своих детей. Не могу понять: кто выиграл оттого, что была растерзана семья?

Моего отца на войну не взяли из-за туберкулеза. Работал всю войну на износ, после войны работать уже не мог. Была у нас неплохая — для райцентра — квартира. Понравилась эта квартира одному из районных начальников. И вот, когда отец находился в больнице, нас обманным путем выселили из квартиры. Когда мать поняла, что ее обманули (после ремонта в нашу квартиру въехал этот бюрократ), и сказала об этом бюрократу, то он, нагло ухмыляясь, сказал: «Ты, оказывается, дочь кулака и еще ходишь жалуешься, жаль, что и тебя не упекли в свое время».

Отец был членом партии, обращался за помощью в различные инстанции (письменно, конечно, ходить уже не мог). Но никто нам не помог. Доживал отец в сырой комнате с нами — тремя детьми и матерью. Часто у него горлом шла кровь, сильно кашлял. Здесь, в этой комнате, мы все спали, готовили пищу, уроки, на наших глазах умирал отец. К 19 годам я уже был седой. За что такое? Отец был труженик и честный человек.

Вот еще один рассказ. Отец моей жены отсидел в лагерях 8 лет лишь за то, что сказал: «Сталин, наверное, побоится поехать на Ялтинскую конференцию, его там могут убить». Он (тесть) занимал скромную должность механика винзавода, но эта должность была желательна человеку, который и написал на тестя моего донос. Времени прошло немного, и доносчик стал механиком, а новоиспеченный «враг народа» маршировал босыми ногами по снегу до тех пор, пока не оговорил сам себя да подписал «признание» во вредительстве. За что, вернувшись, он умер в мучениях? Этот человек и мухи не обидел.

Сталинисты очень фанатичны. А почему они сталинисты? Да потому, что не они сами страдали, не они маршировали по снегу раздетыми. А чувство сострадания у них не развито. Как же жить, если не очиститься от этой грязи? Как жить, если не перестрадать болью невинных жертв сталинизма?

Сейчас снова идет кампания за сокрытие этого гнойника нашей ближайшей истории. Это понятно. Люди, паразитирующие на высоких идеях, а реально залезшие обеими ногами в корыто, не дают пробиться всей правде... Вот я прожил 54 года, часть событий знаю сам, над другими размышляю, но хуже сталинизма ничего не нахожу. Все корни, вся плесень произрастают от него. Страх — вот наша беда.

Ведь вспоминать стыдно. А, впрочем, зачем вспоминать? Вдруг мое письмо попадет к сталинисту и все уйдет в песок?

А вдруг попадет к честному? Тогда! Тогда моя просьба: «Ребята, не сдавайтесь!» Как хочется честности и чистоты. Ведь мы наследники народов России. Той самой, которая всегда была великой и в мечтах, и в делах!

И, конечно же, пока что

П. Петров

(простите, может быть, в дальнейшем буду смелым).

г. Кировочепецк Кировской обл.

Мне почти в три раза больше лет, чем Перову. Все мое детство и юность прошли в эпоху сталинского насилия, произвола и страха. И я взялся за перо, чтобы ответить на ложь И. Перова.

О порядках и привилегиях. Тюрьмы были забиты не только «врагами народа» и «вредителями», но и расхитителями народного добра. Эту категорию составляли преимущественно вдовы и старики, которые, спасая детей от голода, собирали по колхозному полю колосья после уборки урожая, перекапывали поздней осенью или весной картофельное поле или уносили мешок догнивающей в скирдах соломы, и в то же время, когда люди пухли от голода, в городах, как саранча, плодились дельцы-миллионеры со своими артелями «левой» продукции. В 1955—1957 годах в каждом городе Белоруссии были раскрыты такие мафии.

О роли Сталина в войне.

Как руководил Сталин оборонительными и наступательными операциями, характеризует итог: мы потеряли в войне 20 млн., а поверженная Германия в войне с СССР, Англией, США, Францией, Польшей, Югославией и т. д. потеряла только половину. Так не его «мудростью», а нашей кровью без меры завоевана эта победа!

О большом терроре. Почему же ни до Сталина, ни после Сталина не было ни «врагов», ни «вредителей», ни «предателей»? Откуда же они появились? Кто их придумал? Кто дал установку, что в «каждом коллективе есть враги, наша задача своевременно их разоблачить»? А ведь коллективы бывают разные, даже

в 3 и 4 человека. И кто из них первый побежит с доносом на товарищей?

О снижении цен. Фактически, прежде чем снижать, цены были во много раз без шума увеличены и приближены к коммерческим на рынке, а потом снижались... на 5—10%, но как гремел уже Левитан, а пресса месяцами занимала свои страницы благодарностями и восхвалением «отца всех народов и племен». Если до войны килограмм хлеба стоил 85 коп. и 1 руб., то после всех «крупных» снижений стоил 1 руб. 40 коп. Где же снижение? А зарплата рабочего была в 10 раз ниже, чем теперь. А как выжил колхозник, одному богу известно. За неуплату налога отбирались последние подушки.

О Н. С. Хрущеве. Самое крупное «злодейство» сталинцы предъявляют Н. С. Хрущеву за кукурузу. Ай, ай! Какое преступление! Легче Сталину простить многие миллионы загубленных лучших людей Отечества, уничтожение деревни, чем Н. С. кукурузу.

А знают ли сталинцы, что американские фермеры и сельское хозяйство подняли за счет кукурузы да и у нас она самая продуктивная культура? Конечно, в северных зонах Нечерноземья ее, видимо, выращивать не следует.

Сталинские догматики подвели наше Отечество к пропасти, они готовы туда и нас подтолкнуть. Только бы не сдать своих позиций, не потерять своих привилегий.

Уважаемая редакция! Если ваш журнал опубликовал грубый пасквиль И. Перова, прошу опубликовать и мой ответ. Гонорар прошу направить в Советский фонд культуры для восстановления тех великих памятников, которые были разрушены в эпоху сталинизма.

В. А. Давыдов, участник войны, ветеран труда

дер. Луговая Вирня Гомельской обл.

Мне было 17 лет, когда объявили полководцев врагами народа. Я мальчишеским умом своим не поверил этому. Я сам работал в НКВД, видел, как арестовывали «врагов народа». Все видел и молчал... В общем, были сталинские времена...

Дятлов, старый солдат, участник войны, пенсионер

г. Барнаул

Мне кажется, публикация поэмы «По праву памяти» в 1969 году была бы не так эффектна, вернее, не так боеспособна, как сейчас. Ведь не выдохлись тогда еще эти мастодонты и фарисеи. Еще никто не смел сказать о них: «А король-то голый». И мы тогда еще жили «лучше, чем в тот же период прошлого года», пока не пришлось решительно все исправлять.

И ведь появись поэма в то время — как знать, не пришлось бы нам, другому поколению, на митингах «клеймить позором» автора за «гнусную клевету на нашу историю», не читая ни строчки... И ведь затоптали бы: мы в своем безмолвии были лучшей опорой и надежными исполнителями «воли партии, воли народа», а точнее власть предержащих бюрократов.

Нам (мне) очень нужна эта поэма как факт, как аргумент неконъюнктурности нынешней литературы и вообще как образец художественного анализа эпохи. Ведь уже те, кому невыгодна демократизация, и «сталинисты снизу» вооружились старыми, дряблыми словечками о «критиканстве», «охаивании», «разваливании устоев» и т. п.

Завидую и радуюсь своей дочери — ей 16 лет. Она и до этого с интересом внимала тому, что творится у нас, а теперь ей еще и претворять все это в жизнь.

В. Островерхов, инженер

г. Нефтеюганск

Понимаю, что мои мысли, мои размышления ничего не будут значить для тех, на кого в свое время опирался Сталин, для которых полученная доза облучения сталинизмом оказалась смертельной, кто навсегда утратил моральные ориентиры и в системе нравственных координат которых перестали существовать такие категории, как СОСТРАДАНИЕ, СОВЕСТЬ, ВИНА и ДОЛГ. Именно поэтому я обращаюсь к тем, кто в силу своей молодости или просто неведения не отличает пока добро от зла, меньшее зло от большего зла, истину от лжи. Оправдывать и объяснять массовые репрессии исторической закономерностью — значит ставить под сомнение состоятельность социализма, подводить теоретическую базу, дискредитирующую его как социальную систему. Так, следуя логике апологетов сталинизма, можно оправдать любое проявление жестокости и человеконенавистничества. В их логическую схему легко вписывается и стекающая на угли с инквизиторской дыбы кровь, и безмолвие фашистской душегубки, и зловещая тишина полпотовских городов-призраков, и бесследное исчезновение людей в пиночетовских застенках.

Но вернемся все-таки к документам, которые требовал И. Перов. Остановлюсь лишь на том вопросе, по которому Ю. Буртин высказывает «дремучие взгляды». Итак, пакт о ненападении с Германией и договор с Гитлером «О дружбе и границах». С текстом этих документов, как и И. Перов, я, к сожалению, не знаком, но с последовавшими за ними унизительными для великой державы и оскорбительными для советского народа реверансами в сторону фашистской Германии я ознакомился. Вот сделанные в 1939 году на 5-й внеочередной сессии Верховного Совета СССР заявления Молотова: «...Однако оказалось достаточным короткого удара по Поль-

ше со стороны сперва германской армии, а затем — Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского Договора...— И далее: —...не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как войну за «уничтожение гитлеризма»...» («Правда», 1 ноября 1939 г.). А вот заявление самого Сталина: «... Не Германия напала на Англию и Францию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну» («Правда», 30 ноября 1939 г.). А чего стоит его ответ Риббентропу: «...Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» («Известия», 26 декабря 1939 г.). В этом же ряду находятся и Заявление ТАСС от 14 июня 1941 года (т. е. за 8 дней до начала войны), оправдывающее действия Германии и опровергающее агрессивность ее намерений, а также германо-советского коммюнике от 18 сентября 1939 года. А разве стерлись в памяти народа судебные процессы за антигерманские настроения?

Совершенно очевидно, безответственная сталинская политика заигрывания с германским фашизмом поставила советскую дипломатию, да и в целом народ, в двусмысленное положение. Ведь все это делалось в то время, когда фашистские танки терзали тело Европы, а самолеты люфтваффе уже стерли с лица земли испанскую Гернику...

Не сбрасывая со счетов то, что пакту о ненападении предшествовали Мюнхенское соглашение, «аншлюсс» Австрии и другие нечистоплотные ходы западной дипломатии, думаю, каждый вправе спросить: к лицу ли было руководителю первого в мире социалистического государства опускаться до уровня беспринципных западных политиков? Некоторые упорно навязывают мысль, что пакт о ненападении нам был жизненно необходим, что он якобы работал на оттяжку войны. На мой взгляд, это беспочвенное утверждение. Глубоко убежден, что с августа 1939 года по июнь 1941 года Гитлера сдерживал не пакт, а необеспеченность тыла, недостаточная подготовленность армии к решающей схватке. Эти два года ему самому нужны были, как воздух. И использовал он их с гораздо большей выгодой. Во всяком случае, пока в нашей стране в условиях всеобщей подозрительности продолжались репрессии в отношении видных ученых, конструкторов, военных (Вавилов, Туполев, Королев, Штерн и т. д.), а на наших западных рубежах демонтировались старые укрепрайоны, пока Сталин доказывал мировой общественности, что Германия ведет в Европе справедливую войну, опровергал «необоснованные слухи» о том, что она готовится напасть на СССР, убеждал народ в том, что «Красная Армия всех сильней», а победы в будущей войне мы добьемся «малой кровью», Гитлер за это время оккупировал почти всю Европу, обеспечив тем самым надежный тыл, заставил ее промышленность работать на военные нужды рейха и, самое главное, успел сосредоточить на границе с СССР 190 отмобилизованных дивизий, прошедших через европейский театр военных действий и получивших необходимый боевой опыт...

В заключение хотелось бы продолжить затронутый Ю. Буртиным вопрос о социально-психологической природе современного сталинизма. Размышляя вообще об истоках, из которых течение сталинизма черпает силу, неизбежно приходишь к выводу, что основной живительный родник, не дающий пересохнуть когда-то бурному потоку,— это ЛОЖЬ. Именно она столкнула в этот мутный поток большую часть людей. Но есть и другие подпитывающие это течение роднички. Это ПОДЛОСТЬ, ЖЕСТОКОСТЬ, ВЛАСТОЛЮБИЕ и СТРАХ. В первые три родничка с размытыми бережками нравственности не могли не забрести те, внутреннее содержание которых созвучно названиям этих родничков. В последнем оказались люди с чрезмерно развитым чувством самосохранения: «А вдруг все возвернется на круги своя»?

В сооружении плотины, которая бы перекрыла течение сталинизма, видится надежная гарантия необратимости происходящих в нашей стране революционных преобразований. Именно на этом направлении развертывается генеральное сражение за перестройку, ибо, осознаем мы это или нет, но позитивное восприятие сталинской государственно-политической системы неизбежно предполагает отрицательное восприятие того нового, что несет с собой перестройка. Выиграв это сражение, мы заложим под перестройку надежный фундамент. Лучшим же материалом для сооружения упомянутой плотины будет только Правда.

Г. К. Котовщиков, мне 34 года, член партии с 1987 г.

г. Иркутск

Тов. И. Перов, вы пишете: спросите любого рабочего, колхозника или военнослужащего о личности Сталина в любое время, хотя бы в День Победы. Ну, что ж, отвечу вам. Я рабочий, ветеран войны и труда и знаю это время не из разговоров или книг, а реально. Родился, жил и воевал во время правления Сталина. Время было страшное. Не буду касаться материальных сторон жизни. Они были тяжелыми, но на это были свои причины. Коснусь другого. О нравственной атмосфере бесправия и унижения. Каждый день аресты, травля честных людей. Все это трудно передать словами, все это надо прочувствовать, когда отец боялся сына, а брат отказывался от брата. И страдали, оказывались

виноватыми честные люди, которые по своей природе не могли ни доносов писать, ни оклеветать другого. Ведь в жизни не тот, кто громче всех хлопает и с трибун произносит лозунги, а тот, кто говорит правду, и порой горькую, чаще всего и дело больше любит, и Родину. Я думаю, Сталин нанес огромный вред социализму, его идее и самому духу. Все это придется расхлебывать еще и нашим потомкам.

Вы пишете, что при Сталине была создана сильная индустрия. Все правильно. Но, имея огромнейшие природные ресурсы, имея большую и притом дешевую рабочую силу, можно было создать индустрию без человеческих жертв. А строили по лозунгу «Лес рубят — щепки летят». Вот и нарубили «лесорубы», что и сейчас не расхлебаем. Вы пишете, что 1939 год спас нас от Гитлера. Давайте рассуждать логически. Как только в 1939 г. уехала от нас англо-французская военная делегация, не договорившись с нами, сразу же прилетел Риббентроп. Германии было на руку сорвать договор с нашими будущими союзниками и заключить договор с нами (хотя Литвинов был против этого договора). В 1939 году Германия еще не представляла такой огромной военной силы, у нее не хватало сырья, не хватало ни природных, ни людских ресурсов, чтобы воевать с нами. За 2 года, с 1939-го по 1941-й, фашистская Германия захватила всю Европу с ее высокоразвитой промышленностью, огромные запасы природных, материальных и людских ресурсов. Накопила военный опыт, перевела всю захваченную европейскую промышленность на военные рельсы, отмобилизовала армию и в 1941 году всей своей мощью подкатила к нашим границам.

Теперь о Великой Отечественной войне. Вы ссылаетесь на мемуары Василевского о блестящих операциях. Не будем брать 1941 год, но и в 1942 году ведь немцы дошли чуть ли не до Баку, взяли часть Кавказа, и на Керчи у нас были далеко не блестящие операции. А сколько было котлов (окружений), нет смысла все их перечислять, поэтому было огромное количество пленных. Вы пишете, что Сталин отказался от сына в пользу народа. Да что от Сталина было и ожидать! Ведь он отказался и от миллионов пленных, виновником горькой участи которых прямо или косвенно он был сам. Его слова: «У меня нет пленных, у меня есть изменники Родины» — привели к большим трагическим последствиям. И вообще сталинские слова «Война без жертв не бывает» породили то, что никто не считался с огромными людскими потерями и шли напролом.

Вы пишете, что Сталин отменил карточки. Да, карточки-то отменили, а продуктами и потребительскими товарами не обеспечили, что привело к большим спекуляциям на черном рынке и к открытию так называемых спецмагазинов для ограниченного числа людей. На сколько было снижение цен, на столько выпускали заем, который покрывал все расходы. Так что практически никакого снижения не было. Вы обвиняете Н. С. Хрущева, что при нем появилась система привилегий. Глубокое заблуждение! Во время войны и после, до самого Хрущева они существовали. Существовали закрытые магазины, санатории, закрытые больницы. Хрущев отменил многие привилегии. Ввел единое для всех новое трудовое законодательство (это очень был большой радикальный закон). Ведь при Сталине колхозник не имел никакого права покинуть колхоз, а рабочий не имел права уволиться с предприятия, если начальник не дает на то свое согласие. (А согласие давали буквально при исключительных обстоятельствах.) Началось массовое — повторяю — массовое строительство жилья для рабочих (до этого были в подавляющем большинстве бараки). Было постановление о сокращении управленческого аппарата, изъятие из кабинетов телевизоров — передача их детским домам, сокращено количество персональных машин. Но все это упиралось в глухую стену, саботировалось как в верхах, так и внизу, все реформы опошлялись, ставились палки в колеса. Хрущев много сделал, чтобы преодолеть в мире недоверие к нам других стран. Ну, как было при Сталине? Советская машина, советская техника — трактор или станок — самые лучшие, и попробуй возразить — сразу «ярлык»: «преклонение перед Западом». Тогда напрашивается вопрос: зачем конструктору изобретать новое, еще лучшее, когда у нас и так все самое лучшее? Вот вам и корни застоя.

Да, атмосфера тех лет была противоречивой, искали выхода, много ошибались. Но цель была благородной и средства нормальные, гуманные.

М. С. Горбачевым начато огромное, великое дело, которое действительно сделает нашу страну (в этом я не сомневаюсь) и сильнее, и богаче, а наше общество свободным и справедливым. Но все это мы можем сделать только сами. От нас самих все это зависит. Главное в том, чтобы никогда в будущем не повторилось страшное для нашего Отечества время. А чтобы оно не повторилось — нужно вегда помнить о нем.

В. Федоров

г. Тольятти

Я не принимаю особенно близко к сердцу излияния старых сталинистов, которые уже не в состоянии «вытравить из себя раба». А вот излияния моих ровесников типа тов. Перова заставляют задуматься. Я хорошо знаю этот тип современника: это люди, абсолютно уверенные в своей правоте и подгоняющие все доказательства под свое понимание реальности, в то же время закрывающие глаза на саму реальность (это изначальное предубеждение к тому, чего не понимаешь,— горе нашего времени). Они

не умеют относиться критически к напечатанному, не умеют рассматривать факты с какой-либо стороны, кроме своей. Не могут понять простую истину: их убежденность еще не доказательство правоты.

Интересно проследить за развитием статьи И. Перова: он ведь пишет не о правоте Сталина, а о с в о е й убежденности в этой правоте. А в доказательствах проглядывает либо невежество, либо однобокий подход.

Как можно подробнее растолковывать каждый теоретический постулат, подкрепляя его многочисленными доказательствами и ссылками на источники,— это единственный способ, если не убедить предубежденных, то по крайней мере заронить у них хотя бы сомнение в собственной правоте.

Впрочем, надо ли их вообще убеждать? Верните правду мыслящим, и рано или поздно она дойдет до каждого.

Л. Кацыка, офицер ВМФ

г. Петропавловск-Камчатский

Письмо П. Лобанова полно противоречий, о которых он и не подозревает, видимо: удостоив XXVII съезд звания большевистского, он не признает его преемственности XX и XXII съездам по линии демократизации общества; он превозносит сталинские методы руководства и не сознает, что XXVII съезд нацеливает на отказ от административно-командной системы управления.

Что же касается «истинного ленинизма» Сталина, то тут без фактов не обойтись. Возьму лишь некоторые. Так, в философии Сталин отвергал один из главных законов диалектики — закон отрицания отрицания, тем самым снисходительно «исправив» «заблуждения» Маркса и Ленина; в политической экономии почти до конца жизни не признавал объективных экономических законов, в частности закона стоимости. В политике конец 20-х годов и 30-е годы — во многом не что иное как использование методов, лозунгов Троцкого: чистка и перетряхивание партии, госаппарата и армии; выжимание сока из крестьянства, огосударствление колхозов. Была и попытка большого скачка, были массовые репрессии и массовый голод, в результате которых пострадали миллионы людей. Социализму по самой его природе чужда необходимость дышать и думать по приказанию одного, пусть и «сверхвыдающегося» человека, а именно к такому социализму, казарменному, зовет тов. Лобанов. Богатство социализма как раз в разнообразии и богатстве личностей, а не в бездумной исполнительности, солдафонской унификации; в богатстве форм, методов, точек зрения по поводу путей развития.

Цель идеологической борьбы вовсе не в охаивании прошлого и своих противников, не в применении методов политической дубинки, ибо дубинка отдает пещерными временами (и я бы не хотел, чтобы социализму привешивали эпитет «пещерный»), а в устранении политических и духовных анахронизмов, встающих на пути развития, демократическими методами — хотя поклонники сталинизма как раз сбиваются в другую сторону,— и это неудивительно: кому охота терять привилегии, получаемые чаще всего не по заслугам, а по родству, связям и т. п.?

Думаю, что историческая правда окажется не на стороне поборников сталинизма и не на стороне действительных очернителей, а на стороне тех, кто засучивает рукава и подставляет плечи под насущные задачи, где и когда бы они ни вставали.

С партийным приветом

В. Шишкин, инженер-экономист

г. Реутов

Я живой свидетель сталинских времен. Поэтому меня до боли в сердце задевает все, что пишется о них. Поэтому я не мог пройти мимо выступлений сталинистов Перова, Фролова и Лобанова. Мне 75 лет. Под сердце вшит кардиостимулятор. И живется, и пишется нелегко. Но и умолчать я не мог. Наше известное отставание сегодня в развитии науки и техники от ряда западных стран объясняется и тем, что при Сталине был выбит интеллектуальный слой народа. К тому же уничтожалась прежде всего потомственная интеллигенция, взращиваемая поколениями. Ее в одночасье не возродишь.

Видимо, у Сталина подсознательно был «особый счет» к интеллигенции. Сталину, как всякому диктатору, были нужны слепые исполнители, «винтики», послушные его малейшему волеизъявлению. Но гибли, конечно, и рабочие, и крестьяне. Достаточно было бросить косой взгляд на портрет вождя, вымолвить неосторожное слово и... нет. Приведу пару местных примеров, до чего мог дойти карательный абсурд.

В Боровичах в местной газете до войны работал паренек Федя Жданов. Как-то пришел утром в редакцию и рассказал про свой диковинный сон, как они со Сталиным стометровку бежали... Через несколько дней Федю «взяли» и дали 10 лет заключения в ИТЛ, кои он отсидел «от звонка до звонка». Вы, товарищи Перов и Лобанов, слышали такое, чтоб когда-либо в мире людей карали за сны?

Вы можете сказать, что Сталин не знал о таких «казусах» на местах. Да, не знал. Но разве местные власти допустили бы карательные перегибы, если б им не было дано «добро» сверху?

Другой мой знакомый, начальник техотдела комбината огнеупоров В. Масляков, как-то рассказывал, что из его родного села Кончанское, под Боровичами, в ночь на 1 мая 1939 года были арестованы 13 мужиков, и все пропали «без

вести», словно на войне. В числе их был и его отец.

Пример правления Сталина еще раз показал всем, что горе стране, когда к руководству ею приходит не самая мыслящая часть общества, а карьеристы, недоучки, презирающие интеллигенцию. К слову, интеллигенцию ненавидели диктаторы всех времен.

Лобанов пишет: «Отдавая дань заслугам великого Сталина, советский народ похоронил его в Мавзолее вместе с Лениным». Звучит весомо, ну, а если вдуматься? Разве народ решал, где похоронить Сталина? Разве проводился всенародный опрос в данном случае? Положить рядом с Лениным Сталина решили его ближайшие соратники: Берия, Каганович, Молотов и Маленков. Но при чем тут народ?

К трагическим для страны последствиям привели недостатки в характере Сталина, о которых пророчески предупреждал Ленин. Но главное — его интеллект не соответствовал той высоте, на которую он себя вознес. Масштаб событий ему оказался явно не по плечу. Он был на деле не диалектиком, а догматиком.

А теперь о ГЛАВНОМ. Во все времена велась война между племенами, классами, кланами, нациями, странами, но она носила лишь эпизодический характер, ибо неизменно кончалась миром. Но есть война, которая извечна. Это война между людьми живого ума и тупицами, творцами и чиновниками, первооткрывателями и консерваторами, подвижниками и подлецами, талантами и бездарями, мыслителями и фельдфебелями, принципиальными и беспринципными людьми. И счастье для народа, если к руководству страной во всех ее командных инстанциях приходят ПЕРВЫЕ. И горе если — ВТОРЫЕ. Наверно, никогда в нашей истории не было такого раздолья для ВТОРЫХ, как в сталинские времена. Для продвижения вперед не нужны были ни оригинальное мышление, ни стойкость в отстаивании своих взглядов, ни ум, ни талант, ни способности. А нужны были угодливость перед вышестоящими, оголтелое восхваление Вождя, слепое послушание и тупая прямолинейность в словах и делах. Поощрялось самое отвратительное, что может быть в человеке: доносительство, предательство товарищей, отказ от отцов, матерей. Так почему же в те времена роскошествовало «царство» ВТОРЫХ? Да потому, что царствовал ВТОРОЙ (ПЕРВЫЙ лежал в Мавзолее). Как и положено у ВТОРЫХ, ложь в обществе стала всепоглощающей. Иначе и быть не могло, ибо лгали ВТОРЫЕ с самого начала, пытаясь выдать себя за ПЕРВЫХ. Нам трубили о «расцвете колхозного строя», а крестьянство переживало величайшую трагедию. Нам говорили об успехах в промышленности, а она не выполняла планов. Учетчики населения посчитали одно, а нам сообщали другое. (С тех пор и началось величайшее зло приписок.)

Но самая горькая неправда заключалась в том, что в наших глазах выставлялись «врагами народа» самые яркие, талантливые, преданные из нас. И мы верили, ибо информация была однозначной.

К слову, «первородство» наших застойных времен надо отнести к 30-м годам, когда людей отучали думать, решать, проявлять инициативу. Страшились лишнее слово сказать. А о «своем мнении» и речи не могло быть. Все, что ни поднесут сверху, все огульно одобрялось. Правда, к критике нас призывали, но кто бы решился на нее?

И вчерашнее разливанное море «серой литературы» началось с ручейка 30-х годов, когда единственным параметром художественности считалась тематика, сдобренная безудержным славословием. Нам все время доказывали, как мы правильно, как мы хорошо живем, как нам завидуют все народы мира и проч., и проч. Боже, сколько было лжи! Сталин вещал, что человека надо «растить бережно, как плодовое дерево», и тут же людей вырубали, как на колымском лесоповале.

Внутренний террор, развязанный против своего народа, не имеет равных себе в истории страны. Приведу лишь один пример. Пламенный юноша, студент Александр Ульянов был расстрелян за подготовку покушения на царя. Он был отнесен к «цареубийцам». А его брату Владимиру Ульянову разрешили окончить университет. Но представьте себе, что если бы кто-то задумал покушение на Сталина. То не только он, но весь его род был бы истреблен поголовно.

Были ли у Сталина заслуги перед народом? Были! Однозначных явлений в жизни не бывает. Она слишком диалектична для этого. Но за всю историю Родины ни один ее правитель не причинил столько ей зла, как Сталин. И в материальном, и в духовном смысле этого слова.

Было время, когда я верил в Сталина, Сталину. Но в свете всего, что я осмыслил сегодня, считаю это время самым постыдным в моей биографии. Пелена спала с глаз после войны.

Л. Альшиц, ветеран войны
с. Боровичи Ленинградской обл.

Есть руководители, которые, не читая роман Рыбакова «Дети Арбата», называют его пасквилем на Сталина. Такие при смене политики не допустят никаких полемик в отношении Сталина. Политика Сталина — это их идейная платформа. При подобной политике у них есть права безнаказанно подавлять тех, кто ниже по рангу, при этом нисколько не рискуя своей «особой» в том случае, если они действуют «строго по ветру». Если вспоминать сталинские времена, то тогда зачастую выбивались не по одному составу обкомов и горкомов. Но в данном случае поклонники Сталина (из среды руководителей) об этом молчат, так как в наше время им это не грозит (хотя при Сталине жизнь любого руководителя могла быть зачеркнута после любого доноса). Характерен как пример вопиющего произвола один из документов того времени:

«Тов. Сталину.

Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих суду Военной Коллегии:

1. Список № 1 (общий).
2. Список № 2 (бывшие работники НКВД).
3. Список № 3 (бывшие военные работники).
4. Список № 4 (жены врагов народа).

Прошу санкции осудить всех по первой категории.

Ежов.

За — Сталин.
За — Маленков.
За — Каганович.
За — Ворошилов.»

(Стенографический отчет XXII съезда КПСС, т. I, стр. 152).

Первая категория — расстрел. Вдумайтесь: они еще только предстанут перед судом, а им уже подписан смертный приговор.

Почему «волосы встают дыбом» у некоторых сторонников Сталина из-за того, что сейчас стали писать о нем Правду, а не из-за того, что все это было на самом деле?!

Многовариантность лучше, чем один вариант. Возможность дискуссий, полемика — это лучше, чем политика давления, это естественное состояние.

А те, кто пророчит анархию, пусть подумают: а стоит ли так унизительно думать о нашем социалистическом строе, предполагая, что при развитии и расширении демократии могут пошатнуться наши устои? А вот устои тех, кто думает и действует по старинке, при расширяющейся инициативе масс рухнут. Это точно. И это именно то, чего они так боятся. Это именно то, почему они так цепляются за времена Сталина.

Разрушив «идола» в лице Сталина, они будут лишены основной опоры. При демократии нельзя будет использовать партию в угоду себе. При демократии партия станет партией ленинского типа!

Дело сегодня не в Сталине, а в его идейном наследии. Во время перестройки споры вокруг Сталина обострились вовсе не потому, что хотят очернить прошлое и отвлечь от перестройки. Вопрос стоит так: или мы, проанализировав пройденный путь, отвергнем сталинизм как учение, чуждое социализму, и двинемся вперед по ленинскому пути, строим общество активных творцов, или, следуя духу Сталина, отвергаем коллективную мысль, утверждаем догматизм, упорствуем в своих ошибках, которые уже привели нас ко многим бедам, довольствуемся обществом не творцов, а исполнителей.

Н. Мочалов, 1952 г. рождения, наладчик спецгороборудования
г. Городец

Чувство гражданского долга повелевает взяться за перо, чтобы изложить свою твердую, выстраданную позицию.

Если сегодня не так уж и малочислен отряд противников вашего мнения, тов. Буртин и редакция «Октября», то это не их вина, а наша общая боль, беда и трагедия: «кормили» ведь всех нас ложью и обманом (полуправда — всего лишь одна из многих форм лжи) не год-два, а в течение многих десятков лет. Печальное следствие губительной стратегии, положенной в основу управления партией и страной.

Согласитесь, дорогие товарищи из «Октября», сколько и как бы мы ни бичевали культ личности вообще, мы не сможем выработать и поставить на его пути надежный, непреодолимый барьер до тех пор, пока решительнейшим образом не вскроем и таким же решительнейшим образом не устраним причины, порождающие и вскармливающие это зло. Элементарщина, исходная позиция! Коль я, гвардии рядовой нашего общества, хорошо понимаю эту элементарщину, то тем более не вправе не понимать ее те, кто поставлен у руля партии, государства, общества.

Ведь уже никто не вправе не видеть, что такие уродливые и чуждые природе социализма явления, как культ личности, лесть, подхалимаж и угодничество, ложь, обман и очковтирательство, показуха, шумиха и парадность, произвол, вседозволенность и беззаконие, злоупотребления властью, волокита и бюрократизм, преследование и расправа за критику вверх, нанесли КПСС, советскому обществу и в целом социализму буквально опустошающий нравственный и экономический урон.

Я не помышляю найти хотя бы малейшее оправдание Сталину и культу его личности. Не собираюсь отрицать и известного марксистского положения о роли личности в истории.

Тем не менее, глубоко осмысливая происшедшее и происходящее, осмелюсь утверждать, что уже тогда, у истоков, куда нужнее и важнее было подумать о выработке такого механизма, который бы надежно защищал и ограждал партию, общество, государство и в целом социализм от негативного влияния негативных качеств любой власть имущей личности. Главная причина наших главных бед лежит буквально на поверхности. И заключается она не в каких-то изъянах черт характера власть имущей личности, а в изъянах задействованной в партии и государстве системы выбора власть имущих личностей вооб-

ще — от бригадира и директора до Генсека и главы государства включительно.

Острый, ставший хроническим дефицит Доверия к Народу, Низам, острый, ставший хроническим дефицит Демократии вообще и прежде всего в главном, решающем, определяющем звене — в отборе руководителей всех рангов — вот главная причина всех наших бед. Губительной оказалась (иной она и быть не могла) полная моральная, психологическая и материальная зависимость Низов от Верхов при практически сложившейся полной независимости Верхов от Низов.

И если мы не учредим разумную взаимную зависимость Верхов от Низов, все останется по-прежнему.

Мы ни на шаг не сдвинемся с места до тех пор, пока сформировавшийся в условиях губительной стратегии лжи и обмана народных масс и круговой поруки упркорпус (корпус номенклатурных) будет сам, без Народа решать, кого, на какой ступеньке и как долго держать.

Очень хорошие и очень верные слова не устает повторять М. С. Горбачев: больше демократии, больше социализма. Это вселяет Веру и Надежду. Потому что это и точный диагноз нашего заболевания (дефицит демократии), и рецепт лечения, поскольку именно она и только она может обеспечить полное выздоровление.

Но что смущает? Демократии и социализма на сегодня у нас ровно столько, сколько отпущено сверху. Разве не так?

Разумеется, говоря о том, что мешает нам трудиться с максимальной отдачей и нормально жить, никто из нас ни на йоту не уменьшает и не принижает всего того положительного, что было сделано и достигнуто Народом Страны Советов под руководством КПСС за все 70 лет.

Но мы не вправе не видеть и не понимать и того бесспорного факта, что при тех же объективных условиях и возможностях наши успехи и достижения могли быть неизмеримо больше, выше, лучше.

В печати высказывались предложения о необходимости сооружения Памятника жертвам культа личности Сталина.

Речь должна идти не о памятнике, а о множестве таких памятников. Но не в этом главное. Лучшим памятником жертвам произвола и беззакония в нашей стране будет вскрытие и устранение причин, порождающих и вскармливающих эти уродливые явления в партии и обществе. Об этом и речь.

Неужто и дальше будем жить по гнилому «принципу»: после нас хоть потоп, а на наш век хватит,— предавая, по сути, святое ленинское дело, за которое заплачено жизнями миллионов лучших?

Говорю, пишу и выступаю об этом свыше четверти века подряд.

На мне уже нет живого места, но я по-прежнему не теряю Веры в торжество Правды и социальной справедливости, в торжество подлинного народовластия в нашей стране.

Решительно отвергаю различного рода запугивание народовластием (демократией, демократизацией): не созрели! Опасно! Изберут не сильных мира сего, а... добреньких! Будут сводить счеты! И т. д. и т. п.

Все это — отрыжка все того же оскорбительного недоверия к советскому Человеку, Народу, Низам.

Если вы решитесь на публикацию письма, пожалуйста, условие одно: гонорар — на Памятник.

Е. Н. Девятисильный, ветеран труда, член КПСС с 1955 г., агроном-экономист (родился я 7 ноября 1926 года).

Московская обл., Истринский район.

В размышлении о пьесе Шатрова

М. Шатров. Дальше... дальше... дальше! Пьеса. «Знамя», 1988, № 1.

Пьеса Шатрова затронула многие острые и малоизученные вопросы нашей истории. Острота и резкость постановки проблем предопределены уже теми историческими фигурами, общий разговор между которыми организован в пьесе: Ленин, Свердлов, Сталин, Троцкий, Бухарин, Каменев, Зиновьев, Корнилов, Плеханов, Струве, Керенский... Как видим, право голоса получили и те, кто десятилетия отсутствовал на нашей исторической сцене, кто волею авторов «Краткого курса истории ВКП(б)» с вольчим билетом «врага народа» был сокращен из числа исторических действующих лиц.

Впрочем, время удивляться тому, что по сцене ходят люди, называющие себя Троцким или Бухариным,— это время уже позади. И Шатров пытается идти дальше, вглубь, разворачивая между персонажами острую политическую дискуссию. Причем острота эта отнюдь не мнимо-театральная, условная, она настолько реальна, что разрушила рампу и породила в нашей печати явление беспрецедентное — дискуссию о пьесе, еще ни одним театром не поставленной. Спор между героями пьесы как бы продолжился вне ее. Собственно говоря, таким и должен быть политический театр, существующий в «настоящем времени», здесь и сейчас.

Драматург прозорливо предусмотрел даже те возражения, которые в ходе дискуссии о пьесе действительно были высказаны некоторыми участниками, и заранее ввел их в пьесу. Так, три доктора исторических наук, выступившие в «Правде», уличили Шатрова в том, что «он увел народ со сцены изображаемых им действий» (цитирую дословно, как это было напечатано в газете), но оказалось при внимательном прочтении, что этот мотив уже прозвучал в пьесе. Не кто иной, как Сталин, припертый к стене, внезапно прибегает к демагогическому ходу: «выходя» из разговора с Дзержинским и обращаясь непосредственно к зрителям, он критикует пьесу Шатрова. «Движущая сила истории — народ. Почему здесь нет нашего героического народа? Почему нам не показывают массу?..»

Уже один тот факт, что критикующие пьесу профессора не смогли найти каких-то новых аргументов по сравнению с теми, что уже приведены в пьесе самим драматургом, характеризует не только самих критиков, но говорит и о том, что спор в пьесе ведется серьезный.

Похоже, когда М. Шатрову те же историки недвусмысленно говорят: «Осади назад!» —у него пытаются отнять самое главное — право на собственную историческую концепцию. Но разве Шатров, человек, глубоко знающий историю и свободно владеющий историческим материалом, тридцать лет пишущий на «историко-революционную тему», разве он-то не имеет права на с в о ю историческую концепцию? И не срабатывает ли в этом случае старая привычка: сначала должны быть спущены официально утвержденные положения, а затем уже могут появиться и пьесы, их иллюстрирующие? Неспроста ведь Сталин в пьесе, возражая против остроты и нелицеприятности обвинений, выдвинутых против него, прямо предупреждает: «Такие вопросы не театрами решаются»...

Собственно говоря, при Сталине так оно и было. Нам думается, что сегодня философские, исторические идеи вполне могут утверждаться и разрабатываться в художественной литературе даже раньше, чем в науке, художественная практика может оказаться исключительно отзывчивой к новому, поскольку является самой мобильной частью культуры (а не временным заменителем истории, как кажется некоторым).

Одна из важнейших задач, которую пьеса Шатрова решает,— это пересмотр схем, канонизированных «Кратким курсом». Конкретно речь идет о двух важнейших альтернативах: об альтернативе Октябрьской революции и об альтернативе развития страны в 20-е и последующие годы. Говоря о пьесе, этих вопросов никак не миновать.

Согласно сталинской концепции, альтернатива Октября была такова: или «европейская демократия под эгидой правительства Керенского и министров-социалистов типа Церетели и Чернова, или «большевистская диктатура». В пьесе утверждается иное: диктатуре большевиков реально противостояла военная диктатура, своей целью ставившая реставрацию монархии «железом и кровью». Потому среди персонажей пьесы и появились Корнилов, Деникин и другие генералы, причем появились не как «герои» гражданской войны, а как активные деятели октября 1917 года. (К о р н и л о в: Нужна стройная система военной диктатуры, гарантирующая возвращение рек в берега. Я шутить не люблю... И если

придется, к сожалению, сжечь пол-России и даже залить кровью три ее четверти... не мы сделали этот выбор.)

Именно с различным пониманием основной альтернативы в дни Октября связан в конечном счете раскол в Военно-революционном комитете и ЦК, о котором говорится в пьесе, а отсюда и различное отношение к восстанию и его срокам, к тактике борьбы.

Кстати, Сталин был в числе тех, кто выступал в 1917 году против ленинского требования немедленного восстания, накануне революции у него была общая позиция с Троцким. Уже потом, когда все участники событий были уничтожены, Сталин стал изображать себя «рядом с Лениным». «Я всегда был рядом с Лениным»,— упрямо повторяет он в пьесе главную мысль своего «Краткого курса». Правда, и в этом вопросе выясняются интересные факты, разрушающие стереотипные представления. В воображаемом разговоре Сталина с Лениным, разговоре, который происходит в «сценической реальности» (кстати, очень интересный и для политической пьесы острый прием, оправданный именно условностью театра), Ленин говорит: «Комендант Московского Кремля Веденин, принимая кремлевские помещения, обнаружил в каком-то темном коридоре под лестницей свалку книг, покрытых запыленной тряпкой. Выяснилось, что это книги из моей библиотеки. В квартире по вашему указанию сделали машинописное бюро, а книги свалили под лестницу»...

Теперь о второй альтернативе, относящейся уже к послеоктябрьскому периоду: о вариантах развития партии, государства, экономики, культуры. О тех самых вариантах, которые были намечены Лениным в его последних работах, но были отвергнуты, отброшены Сталиным. Не случайно из уст Ленина звучат в пьесе слова: «И если вы и вам подобные называете себя учениками Ленина, ленинцами, то я в таком случае не ленинец!»

Противопоставление ленинского и сталинского путей развития — сюжетный стержень этой политической пьесы. На один из главных вопросов: «Был ли сталинский путь развития продолжением ленинского дела?» — пьеса отвечает однозначно отрицательно. Так же, как и на вопрос: «Был ли сталинский вариант, сам Сталин на посту генсека исторической необходимостью?» Потому внимание драматурга и сосредоточено на обстоятельствах «выдвижения» Сталина: именно в этом и скрыт главный и роковой произвол, который игнорировал историческую необходимость.

Две статьи из числа появившихся в последние месяцы имеют непосредственное отношение к этим вопросам: И. Клямкина под красноречивым названием «Какая улица ведет к храму?» в «Новом мире» и «Феномен Сталина» Д. Волкогонова в «Литературной газете». Оба автора, обсудив вопрос, существовала ли альтернатива персонально Сталину и сталинскому варианту развития социализма, пришли к выводу: такой альтернативы не было, Сталин и сталинизм со всеми его беззакониями, политической аморальностью и презрением к человеку — историческая неизбежность. Справедливости ради надо признать, что если взглянуть на дело исторически, если вспомнить, с чего мы начинали, то уже сама постановка вопроса — «а неизбежен ли был Сталин?» — покажется прогрессом, и немалым.

Мне не удалось выяснить, распевали ли в солнечном тридцать восьмом году частушку, написанную тогда от имени народа и напечатанную в роскошном томе «Ленин и Сталин в творчестве народов СССР»: «С неба звездочка упала в колосистые поля. С нами Ленина не стало — стойкий Сталин у руля». Однако как точно выражены в этом нехитром четверостишии идеи «Краткого курса», появившегося в том же году: и бездумная легкость отношения к невосполнимой утрате, вытесненная всеобщим ликованием по поводу того, что «Сталин у руля», и подразумевающаяся естественность перехода «руля» из ленинских рук именно в руки Сталина.

Но вот другой, не «частушечный» уровень:

«Каменев. Мы думали только о том, как сохранить Сталина.

Ленин. Почему? Разве не было людей с хорошей организаторской хваткой, более терпимых, более лояльных, более внимательных к товарищам? Я говорил с вами о Фрунзе... А Дзержинский? И у Сталина могла быть интересная работа, ведь речь шла не об отставке, а о передвижке».

Пожалуй, впервые в нашей литературе устами Каменева описываются события, в конечном счете приведшие к монархическому единовластию «кремлевского горца»: совместная борьба против потенциального диктаторства Троцкого, объединившая Каменева, Зиновьева и Сталина в их общем противодействии известному предложению, высказанному в ленинском «Письме к съезду»; политиканство, которое вытеснило чувство исторической необходимости, отменившее всякие социальные гарантии соблюдения законности даже в отношении друг друга.

«И летал усатый сокол, целый мир вгоняя в дрожь. Он народ ценил высоко, а людей не ставил в грош»,— как написал недавно Булат Окуджава.

Накануне процесса в августе 1936 года, накануне расстрела, Каменев и Зиновьев предстают перед комиссией Политбюро, Сталиным и Ворошиловым. Сталин обещает жизнь в обмен на публичное признание на открытом процессе в заведомой и вопиющей лжи: «По заданию Троцкого мы организовали убийство Кирова и готовили убийство

Сталина, Ворошилова и других руководителей партии...» Каменев просит дать гарантии, что их не обманут еще раз. И Сталин не случайно его высмеивает, высмеивает беспощадно: «Гарантия? Какая тут, собственно, может быть гарантия? Это просто смешно!»

Эпизод 1936 года поставлен в пьесе сразу вслед за описанием политических интриг, помеченных маем 1924 года: монтаж событий обнаруживает явную причинно-следственную связь.

В этих эпизодах, между прочим, выявляется еще одна важная идея пьесы, только-только нами осваиваемая: коллективность исторической ответственности. Вина Сталина в том, что он сделал «методы и средства, применимые исключительно в условиях открытой гражданской войны, универсальными методами строительства социализма» (эти слова в пьесе произносит Ленин). Однако он был не одинок, на разных этапах пользуясь поддержкой и Каменева с Зиновьевым, и Кирова, и Бухарина, и Орджоникидзе. И то, что эти люди были убиты Сталиным, оказались жертвами, не снимает с них исторической вины за «феномен сталинщины», который явился делом именно коллективным! «Культ личности» невозможен как результат одних усилий самой личности, какими бы организационными талантами она ни обладала; необходимо было господство идеи единоличного лидерства, вытеснившее мысль о коллективном руководстве после смерти Ленина.

Естественно, Шатров писал не учебник истории, а пьесу, которая всего вместить не в состоянии. Явная «фигура умолчания» осталась на том месте, где необходимо было раскрыть роль Троцкого в событиях, последовавших за смертью Ленина. Конечно, это внесло бы дополнительные сложности в историческую концепцию, но... Но нельзя и пройти сегодня мимо фактов, осмыслить которые назрела необходимость. Например, когда открылась художественная выставка, посвященная пятилетию Красной Армии, то «гвоздем» ее стал портрет Троцкого работы Юрия Анненкова. Михаил Булгаков в цикле очерков 1923 года «Золотистый город» — о Москве, об открывшейся сельскохозяйственной выставке — замечал, описывая прилавок с изделиями народных промыслов: «И всюду Троцкий, Троцкий, Троцкий. Черный, бронзовый, белый гипсовый, костяной, всякий...»

В пьесе же Шатрова Троцкий, формально присутствуя на сцене, все-таки остался внесценическим персонажем. К счастью, этого не произошло с Бухариным, вторым — после Ленина — «положительным героем» (хотя в то время, когда она создавалась, до реабилитации этого имени оставалось еще полгода). Полемика Бухарина со Сталиным о нэпе, об альтернативах сталинизму, захватывает не только своей исторической стороной,— в том, что говорит в пьесе Бухарин и что в 1929 году Сталин в прямом смысле заглушал чудовищными обвинениями, шельмуя «агента кулака в партии»,— все это имеет прямое отношение к дню сегодняшнему, к продолжающимся битвам «товарников» и «кавалеристов», о которых пишет А. Стрелянный. В двадцать девятом переломном году еще можно было, вероятно, повернуть, предотвратить. Но прав Сталин, когда напоминает: за Бухариным никто не пошел.

«...Все-таки, наверно, мы с Рыковым и Томским чего-то недоучли, недооценили,— размышляет в пьесе Бухарин.— Партия нас не поддержала. Мы капитулировали. Настроения в пользу методов военного коммунизма оказались сильнее. Мало кто понимал, насколько эти настроения противоречат их же коренным интересам. Конечно, положить маузер на стол и сказать безоружному мужику: «Отдавай все, что у тебя есть»,— гораздо легче, чем наладить гибкие цены, разумные налоги, хорошую агрономию. К 37-му поняли, но было уже поздно».

Симптоматично, что сталинский путь развития получает в пьесе положительную оценку из уст... Деникина. Утверждая вслед за Корниловым необходимость для России монархии и кровавой диктатуры, генерал заявляет: «...Правильность линии, которую мы выработали, подтверждена жизнью, историческим опытом,— именно эти методы и средства позволили Сталину... вывести Россию в разряд великих держав мира...»

Критиковали пьесу Шатрова за основной его драматургический прием, позволяющий своевольно нарушать хронологическую логику, соединять в пределах сценической реальности события, происходившие в разные годы, увидели в этом выражение некоего «антиисторизма». Это узкий и неверный взгляд. И дело не только в том, что мы имеем дело с пьесой. Историзм ведь заключается отнюдь не в простом воспроизведении «последовательности событий», но в отыскании взаимосвязей между ними, скрытой логики исторического процесса, его закономерностей! Двадцать девятый год отзывается в тридцать седьмом, май двадцать четвертого — августом тридцать шестого. Монтаж эпизодов, временные сдвиги, вторжение современности — все это и обнаруживает потаенные причинно-следственные связи между отдаленными событиями, выражая эти связи языком драматической формы.

Не теряя остроты и резкости, разговор об истории ныне пошел вглубь, и пьеса Шатрова — симптом этого. Река истории, ставшая в тридцатые годы подземной, вырывается из темноты и течет дальше, дальше, дальше...

М. ЗОЛОТОНОСОВ

г. Ленинград

О классиках / современниках

•

И. Виноградов. По живому следу. Духовные искания русской классики. Литературно-критические статьи. М., Советский писатель, 1987. **П. В. Палиевский. Русские классики.** Опыт общей характеристики. М., Художественная литература, 1987.

•

«...Может быть, мы скажем иеслыханную, бесстыднейшую дерзость, но пусть не смущаются нашими словами; мы ведь говорим только одно предположение...» Какую же дерзость хотел сказать Достоевский в 1861 году? А вот какую: «...а ну-ка, если «Илиада»-то полезнее сочинений Марко Вовчка, да н не только прежде, а даже и теперь, при современных вопросах; полезнее как способ достижения известных целей, этих же самых вопросов, решения настольных задач?» Не знаю, смутились ли читатели 1861 г., озабоченные известными вопросами, но сегодня подобная точка зрения уже не кажется даже простым парадоксом (и вряд ли смутит сегодняшнего Марко Вовчка).

«Классика приобрела функцию текущей литературы... Мы отождествляем свои заботы и свое бытие с ее образами и темами»,— пишут И. Роднянская и Р. Гальцева в статье «Журиальный образ классики» («Литературное обозрение», 1986, № 3), имея в виду, конечио, не «Илиаду», а уже самого Достоевского. Или Толстого. Или Чехова. Да, наши отношения с классикой сегодня весьма многослойны; тут и тяга к вечным, в своем роде «апробированным» ценностям (порой, чего скрывать, не без зскапистских теиденций), и справедливая неудовлетворениость тем, что предлагается в качестве текущей литературы... Но главное: мы начинаем понимать, что в каком-то глобальном смысле мы с нашнми классиками живем *в одну* эпоху («бездна», разделившая в начале века старую и новую Россию, начинает иа глазах «зарастать»), и потому отождествление наших забот с классическими образами имеет некоторые объективные основания.

«...его (Пушкина.— **А. В.**) проблемы охватывают до сих пор наиболее полно наши проблемы»,— пишет известный литературовед П. Палиевский в новой книге «Русские классики», впрочем, не останавливаясь на этом особо. Его интересует русская классика как целостное явление, каким она видится из сегодняшнего дня. «Опыт общей характеристики» — таков подзаголовок киигн. И он справедлив во всех смыслах. Опыт как попытка — не окончательное решение вопроса, а подступ к такому решению. Опыт как эксперимент, предпринятый исследователем в одиночку, хотя ои и оговаривается, что поставленная цель может быть достигнута только коллективными усилиями. Опыт как эссе (зто французское слово, ставшее у нас популярным, переводится на русский как «опыт») — книга представляет собой симбиоз академического, поэтически-метафорического и вольного, почти разговорного стиля, так что ощущается определениое противоречие между жесткой структурой книги, ее композицией и текстом, «заполняющим» структуру. Мысль Палиевского идет как бы пуиктиром. Он стремится назвать, обозначить, отметить, указать, ио не убедить и тем более переубедить. Местами кажется, что «Русские классики», книга очень лакоиичиая, является прообразом какой-то большой книги, которую Палиевский еще напишет. Или не напишет (что более вероятно). Палиевскому словно бы скучно обосновывать, доказывать, развивать, когда можно просто сказать. Палиевский по натуре — *сеятель идей*, как бы уверенный, что семена иепременио падут иа добрую почву и дадут хороший плод, хотя бы и выращеиный чужими руками. Такие руки, готовые подхватить тезисы исследователя и приложить их к делу, есть и среди «молодых». Сложность, одиако, в том, что даже те, кто прямо иазывает Палиевского своим духовным учителем, меиьше всего расположены развивать и обосновывать его идеи и полагаются скорее на авторитет ученого, чем иа аргументы; так особеино популярен его темпераментный памфлет «К поиятию гения» — на иего ссылаются, как если бы это была фундаментальиая теоретическая работа, раз и навсегда разрешившая проблему гения истиииого и гения самозваиого.

Каковы же основные идеи Палиевского, высказанные в книге «Русские классики»? Их, основных, три (я не касаюсь его интереснейших иаблюдений и замечаний о конкретных произведеииях коикретных писателей). Во-первых, мысль о том, что русская классическая литература XIX — начала XX века есть иекая общность. Во-вторых, утверждеиие, что суть этой общности ие может быть выражена через уже знакомые нам понятия из истории мировой литературы. В частности, ои не согласен с пониманием русской классики, как Русского Возрождения, поскольку «Возрождение выдвигает идею безграничного обладания — присвоения и поглощения человеком всех благ земиых, достающихся лучшим, всесторонне развитым, сильным», а у русской классики — иные цели и ценности («Они связаны для нее прежде всего с представлением о смысле жизнн и с возможностью такого строя отношенйй, где раскрывался бы этот смысл, а не просто частный ннтерес»). Литературовед справедливо считает, что русская классическая литература сама есть отдельный этап в развитии мировой культуры и «это новое в своей зиачительной части еще не имеет наименования». В-третьих... Но это третье и есть самое главное. Дело в том, что русская классика как некая общность — это (простите за каламбур) общее место, факт подобной общности общепризнан и в доказательствах ие нуждается («Нет, кажется, пишущего сегодня о русской классике, кто бы не чувствовал этой цельиости...» — констатируют Гальцева и Родиянская). Что же в таком случае среди тезисов Палиевского в доказательствах нуждается? Нуждается в доказательствах то авторское утверждение, что «общее в русской классике, конечно, сильнее внутренних дифференциаций, и *сами эти разделения имеют смысл лишь в борьбе за него* (разрядка моя.— **А. В.**), то есть за постоянное возобиовление общего пути и продолжение совместного движения» (прн этом как бы подразумевается, что «дорога» уходит и в наше время, присутствует в сегодняшнем дне, хотя бы как возможность и необходимость такой дороги).

Лет двенадцать назад иа обсуждении книги Палиевского «Пути реализма» Вл. Гусев проницательно отметил, что, «как иногда бывает у живо мыслящих людей», некоторые исходные и конечные тезисы этого автора противоречат его собственному кругу идей; мысль Вл. Гусева справедлива и по отношеиию к «Русским классикам». Во всяком случае, главное утверждение, что «общность» сильнее и важнее «дифференциации», имеет достаточно волевой характер и является для автора скорее исходной предпосылкой, чем следствием; оно *ие доказано*, то есть из достаточно разнонаправленных (и по отдельностн чрезвычайно интересных) очерков о Пушкине, Гоголе, Толстом, Достоевском, Чехове и Горьком *этот* вывод неопровержимо не вытекает. Парадокс заключается в том, что, «резко» утверждая приоритет «общности» над «дифференциацией», Палиевский невольно выступает как «профессионал» в отрицательном значении этого почтенного понятия, как представитель «цеховой» науки, которую он, судя по предшествующим работам, явно презирает. Ибо ни один человек (если только он не цеховой ученый) никогда не нмеет дело со всей общностью русской классики, а всегда делает духовный *выбор* в пользу одних писателей за счет других и даже в противовес другим, основываясь именно на «дифференциации»; важным оказывается как раз то, что классики — очень разные. Оторвавшись же от литературной конкретики, понятие общности превращается в «слово», с которым нам просто нечего делать, потому что слово это — внутренне полое. Не говоря уже о том, что тезис изначально обречеи на вульгаризацию: неважно, *кто* идет по общей дороге, а важно, что он идет по *общей*, «стратегически точной» (выражение Палиевского) дороге; естествеиной реакцией на такой тезис будет отшатывание к «модернистам», осуждаемым Палиевским за создание изолированных индивидуальных миров. Да, опыт «Русских классиков» подтверждает мнение литературоведа Ю. Манна, что настоящее исследование «говорит не одним выводом, но всем развитием своей мысли, каждым ее новым моментом и поворотом».

«Хаджи-Мурат» принадлежит к тем кннгам, которые надо бы рецензировать, а не писать о них литературоведческие работы»,— замечает Палиевский, поскольку «каждая встреча с иими читателя есть несравиенно более сильиое вторжение в центральные вопросы жизни, чем — увы — иной раз бывает у догоняющнх друг друга современииков». Но сам Палиевский все же пишет о толстовской повести не рецеизию, а литературоведческую работу (анализ этой повести занимает почти всю главу о Толстом). Он именио литературовед, находящийся за пределами изучаемого объекта — литературы (постольку, поскольку литературоведеиие есть наука о литературе); литературный же критик находится виутри литературного процесса, поскольку критика сама есть литература.

Литературовед литературное движение изучает, критик в литературном движении участвует. Второй герой моей рецензии — Игорь Виноградов — как раз такой «участник». Он понимает себя именно как литературного критика, а вот книга его посвящена «становлению и развитию русской философской прозы» — творчеству Лермонтова, Белинского, Достоевского, Толстого, Булгакова. Чем объясняет Виноградов литературно-критическую, а не литературоведческую направленность своего анализа классических текстов, главным образом наследия Толстого и Достоевского? Критик идет по живому следу (в историческом масштабе действительно недавних) исканий Толстого и Достоевского, настаивая, что мы с нашими классиками живем *в одну* всемирно-историческую эпоху, эпоху «кризиса релнгиозного сознания — эпоху, начавшуюся еще во времена Возрождеиия, но достигшую высшей точки в развертывании своего содержання именно во второй половнне XIX и в XX веке». Таким образом, в этом смысле произведення Толстого и Достоевского продолжают оставаться для нас если не «текущей», то современной литературой, а их проблемы — нашими проблемами, полное разрешение которых еще впереди.

Трудно отрнцать нарастающую актуальность проблематики, связанной с религиозным и внерелигиозным сознанием, с интеллектуальным и психологическим кризисом «*этической «иевменяемости» стихийного безрелигиозного сознаиия*...» (разрядка Виноградова.— **А. В.**). Религиозные искания Толстого, привычно трактуемые у нас как досадная слабость гениального художинка и социального протестанта, являются, по миению критика, отражением общественно-исторических процессов, «ие обнимаемых уже рамками одной только русской пореформенной жизии с ее национальными социально-нравствен-

ными противоречиями и проблемами, но характерных для всего мира новейшей европейской, или, говоря более обобщенно, христианской цивилизации и культуры». Кризис религиозного сознания привел к новой духовной ситуации, к ситуации «открытого сознания, покинувшего традиционные религиозные способы духовной ориентации в окружающем мире и оказавшегося поэтому перед необходимостью заново и самостоятельно, на путях «чистого разума» ответить на самые первые, самые «проклятые» нравственно-философские вопросы человеческого бытия, ранее «закрытые» истинами Откровения». Но ведь это и наша духовная ситуация. Как актуально звучат сегодня слова о том, что всемирный кризис религиозного сознания по самой природе своей не может быть ситуацией «одной лишь *утраты* прежнего религиозного миросозерцания», напротив, он создает ситуацию «выхода к каким-то *новым* системам мировоззренческих ценностей, необходимость которых человек немедленно осознавал, как только с избавлением от «суеверий» и «предрассудков» религиозной веры он обнаруживал груду развалин на месте прежнего стройного здания своих ценностно-нравственных представлений о мире». Тем, по мнению критика, и ценен опыт религиозных исканий Толстого, что он доказывает: «В пределах логического постулирования Бога никакой «разумно-достоверной» этики, опирающейся на принципы такого же строго логического выведения соответствующих следствий из принятого основания, просто не может быть». Доказательность своих тезисов очень важна для Виноградова. Он хочет именно убедить. Отсюда — обстоятельность, даже многословие его статей; отсюда — обилие повторов, возвращений, в *его* системе анализа действительно необходимых. Примечательно, что критик Виноградов гораздо менее эссеистичен, чем литературовед Палиевский (это, между прочим, показывает, что отличие литературоведения от критики не в слоге).

Не вступая в обстоятельную полемику, отмечу, что в своих исходных посылках критик несколько преувеличивает «*экзистенциальную* потребность человека именно в *безусловном* смысле своей жизни»; он, в сущности, разрывает двуединую духовно-телесную природу человека, словно забывая, что «воля к жизни» *доразумна*. Потребность в безусловном, не уничтожаемом смертью смысле жизни еще не означает, что такой безусловный смысл является условием человеческого существования; можно жить и без такого смысла и, пользуясь терминологией критика, жить вполне «вменяемо»,— ведь это факт, и факт по-своему не менее поразительный, чем потребность в безусловном смысле жизни (это мое расхождение с автором имеет характер, как бы он наверное выразился, экзистенциального выбора, не опирающегося на логические аргументы).

Концептуально-плодотворны размышления Виноградова о сентиментальности социально-психологического реализма XIX века. Этот сентиментализм, отлично совмещающийся с «трезвостью» и «объективностью» такого реализма, есть наиболее «органичная эстетика частной моральной духовности, сохраняющей себя в условиях всеобщей социальной детерминированности общественного зла». Он, продолжает Виноградов, есть «выражение того *плача* о человеке, каким и был по своей идейно-эмоциональной природе так называемый критический реализм XIX века, весь представлявший собою, в сущности, непрерывную элегию, посвященную гибели человечности и человеческой свободы...» Толстой и Достоевский — именно они, по мнению критика, типологически обновили реализм прошлого столетия и заложили основу нового искусства XX века.

Непреходящая актуальность есть свойство всякого истинно живого классического наследия, но это вовсе не значит, что оно *может* взять на себя «функцию текущей литературы». «Классика» и «текущая литература» суть не пустые, условные ярлычки, а действительно разные явления, требующие к себе соответствующего отношения. Осуществление классикой функции текущей литературы не так уж безобидно. Мы порой навязываем классикам *наши* вопросы и как бы вымогаем у них желательные нам ответы на наши же вопросы. Мы получаем то, что хотели бы услышать. И в то же время не слышим их вопросов и их ответов. К тому же взаимоотношения с современной литературой, хотя бы и уступающей классике в ценностном отношении, настолько важны, что не могут быть заменены ничем. Порой кажется, что классики уже сказали *все*. Но нет, они сказали *не все*. Вспомним известные строки Твардовского о том, что свое слово передоверить

...даже Льву Толстому
Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог.

Да и читатель вряд ли сможет удовлетвориться великой правдой Льва Толстого или Достоевского, замкнув слух для слова писателя-современника. Присвоение классикой функции текущей литературы есть симптом общественно-культурного неблагополучия. Ситуацию эту необходимо трезво исследовать, но восхищаться ею нет причины. Можно предположить, что в дальнейшем будет возрастать значение именно новинок современной литературы, то есть текущая литература будет сама осуществлять свою естественную функцию (что, собственно, и есть *норма*); и это будет движение вперед — к новым отношениям с классикой, которая как бы «отодвинется» от нас, а в какие конкретные формы воплотятся эти новые отношения, мы сейчас, пожалуй, знать не можем. Любое гадание на этот счет, я думаю, преждевременно.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

Отклик

«КОМИССАРЫ НА ЛИНИИ ОГНЯ» — так называется шеститомное повествование о трех поколениях политработников Вооруженных Сил СССР (книги вышли в Политиздате).

Подняты новые пласты истории Отечества, около двухсот героев, дотоле неизвестных, или почти неизвестных, ожили на страницах этих книг. Писатели, журналисты работали в военных, личных архивах, обратились к ныне живым героям, друзьям и близким не доживших до наших дней или погибших в огне боев. Среди авторов шеститомника К. Симонов, М. Матусовский, Л. Соболев, Б. Горбатов, А. Хамадан, С. С. Смирнов, И. Эренбург, Е. Воробьев, Е. Войскунский, Герои Советского Союза Н. Никольский, В. Голубев, И. Арсентьев. Новые тома приурочены к 70-летию создания Советских Вооруженных Сил. Две книги — о гражданской войне. А заключительный том — о современных политработниках, отмеченных наградами Родины в мирные дни, о воинах-интернационалистах, о летчике, защитившем воздушную границу, и о другом — спасшем боевую машину, о подводнике и морском пехотинце...

Итак, последние три тома пришли к читателю. И уже появился первый читательский отклик из подмосковного Солнечногорска, от Ю. М. Андреева. Он, в частности, пишет: «Проходят годы, многое меняется в нашем мире, а легендарные фигуры комиссаров гражданской войны видятся все более зримо, и время здесь поистине невластно».

К. ЯЦКЕВИЧ

О СТАТЬЕ ЮРИЯ ГАЛКИНА «СЛОВО И ДЕЛО» я узнал стороной,— знакомый спрашивал восьмой и девятый номера журнала «Север», где эта работа опубликована. Когда читатель охотится за критической статьей, это в наше время что-то да значит. Раздумье автора повестей «Пиво на дорогу» и «Будний круг» о прошлом и настоящем российской литературы многостороннее, содержит немало неожиданных отвлечений,— пересказывать его в коротком отклике нет смысла. Одно могу сказать: прочитать статью стоит. Особенно берут за живое последние ее главки, доводящие разговор до злободневных литературных проблем, что связаны с перестройкой, гласностью. Для становления их писатели делали немало, и на обвинения «Где же вы были?» иные из них могут ответить, не опуская глаз: «Готовили перестройку». Другое дело — куда наша литература пойдет от сегодняшних рубежей. Ю. Галкин жаждет литературы «положительного жизнетворчества», «положительной художественной идеи в отношении человека», идеи, которая формировала, укрупняла бы в читателе чувство «его личной ответственности перед самим собой и своей жизнью». Уточняя таким образом акценты в разговоре о современной литературной ситуации, статья Ю. Галкина, кроме всего прочего, и сама выглядит определенным «уточнением» того вопроса, который в «Литературной газете» (1988, № 8) поднял С. Боровиков, главный редактор журнала «Волга». Он пишет о неисчислимых бедах и заботах «провинциальных» журналов — от скудного штатного расписания до отсутствия валюты, которой можно было бы привлечь иноземного автора, а в конце концов доходит до совсем уже отчаявшейся мысли: «А нужны ли «толстые» литературные журналы по регионам?» Хочется сказать: все-таки *нужны*,— если, конечно, они будут искать и находить авторов, не боящихся затрагивать самые острые и общенасущные проблемы. Как это делает, например, Юрий Галкин в петрозаводском журнале «Север».

В. МАТВЕЕВ

В СВЯЗИ С РОМАНОМ В. ГРОССМАНА «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» сейчас столько разговоров, раздумий, попутных соображений! В свете их бросилась в глаза такая частность: в опубликованной «Литературной газетой» стенограмме мартовского пленума правления СП СССР среди других приводилось выступление М. Ганиной, а в том выступлении следующие слова, относящиеся к роману: «Перечитав лагерные сцены, я отметила, что политические у Гроссмана — главным образом евреи. Они отнюдь не идеализированы, со своими ошибками, заблуждениями, слабостями. Зато уголовники — негодяи, держащие барак в страхе, казня-

щие ночами неугодных,— русские». Я бы посоветовала т. Ганиной еще раз внимательно, без запала, перечитать «Жизнь и судьбу», тогда она увидит, что была не права в своих опрометчивых обобщениях: среди героев-политзаключенных отнюдь не одни евреи. Зачем выдумывать лишнее? Я бы считала, что здесь скорей следовало задуматься писательнице над фактами иного рода, вроде пасквилей, распространяемых некоторыми деятелями «Памяти», вроде того, что в нашем городе, например, иные до сих пор считают Берию евреем... Такой серьезный роман у Гроссмана, а нам предлагают заниматься привходящими частностями!

Н. Я. РАЕВСКАЯ

г. Гродно.

КНИГА СТИХОВ АЛЕКСАНДРА ФАЙНБЕРГА «НЕВОД» издана в Ташкенте, в Издательстве литературы и искусства имени Гафура Гуляма. Парадоксальность взгляда, юношеская бесшабашность, особая ранимость — вот черты характера героя стихотворений Файнберга. Самоирония, вдруг оборачивающаяся пронзительной исповедальностью. Перед тобой возникает образ упрямого романтика, и сегодня живущего по законам дворового, коммунального братства 60-х. Он презирает тех, кто многого достиг благодаря знанию конъюнктуры и умению прислуживать, этаких «потребителей благ», уверенных в своих особых заслугах. Потому и резка сатира поэта на подобных «избранников» судьбы, опередившая реальное возмездие эпохи перестройки.

«Насыпи, шпалы да рельс перехлест. Что для поэтов три тысячи верст?.. Посох ли, шпага иль блеск эполет, что для поэтов три тысячи лет?» Автор этих строк умеет облечь важную нравственную заповедь в игровой сюжет, и стихи его часто по жанру близки балладе, стихотворным новеллам Высоцкого. Пример тому — стихотворение «Одиннадцатиметровый штрафной удар», впервые опубликованное на страницах «Нового мира». Музыкальность и точность нравственных координат стихов Александра Файнберга позволяют им часто превращаться в песни. И поют под гитару у костра, забывая имя автора: «Нарисую сеть пустую. Птицу в небе нарисую. Краски есть — о чем тужить? Нарисую — буду жить»...

Л. САДЫКОВА

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 28.03.88. Подписано к печати 29.04.88. А 01472. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 250 000 экз. Заказ № 2229.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.